

СЛОВО О СОЛДАТЕ

Слово о солдате

Вера Михайловна Инбер, Вадим Михайлович Кожевников, Владимир Германович Лидин, Мариэтта Сергеевна Шагинян, Василий Иванович Ардаматский, Валентин Петрович Катаев, Лев Абрамович Кассиль, Вениамин Александрович Каверин, Леонид Максимович Леонов, Алексей Силыч Новиков-Прибой, Михаил Михайлович Пришвин, Алексей Николаевич Толстой, Александр Трифонович Твардовский, Михаил Александрович Шолохов, Вячеслав Яковлевич Шишков, Сергей Николаевич Сергеев-Ценский, Александр Александрович Фадеев, Леонид Сергеевич Соболев, Константин Георгиевич Паустовский, Аркадий Алексеевич Первенцев, Евгений Захаро-

вич Воробьев, Юрий Николаевич Либединский, Борис Леонтьевич Горбатов, Федор Васильевич Гладков, Всеволод Вячеславович Иванов, Константин Александрович Федин, Борис Андреевич Лавренёв, Павел Филиппович Нилин, Андрей Платонович Платонов, Семен Петрович Бабаевский, Лев Вениаминович Никулин, Федор Иванович Панфёров, Алексей Александрович Сурков, Александр Серафимович Серафимович, Николай Евгеньевич Вирта, Константин Андреевич Тренёв, Леонид Сергеевич Ленч, Константин Яковлевич Финн, Геннадий Семенович Фиш, Евгений Иосифович Габрилович, Николай Александрович Тихонов, Анна Александровна Караваева, Кузьма Яковлевич Горбунов, Братья Тур

Аннотация
СЛОВО О СОЛДАТЕ. Рассказы и очерки военных лет
Достояние истории. Предисловие
Михаил Александрович Шолохов
Люди Красной Армии
Василий Семенович Гроссман
Капитан Гастелло
Алексей Александрович Сурков
Ночной поиск
Александр Трифонович Твардовский
Двадцать два «языка»
Владимир Петрович Ставский
Соколиная повадка
Вадим Михайлович Кожевников
Гвардейский гарнизон дома № 24
Неспокойный человек
Юрий Николаевич Либединский
День боя
Стойкость
Константин Яковлевич Финн
Подвиг Петра Игнатьева
Геннадий Семенович Фиш
Сапер Легов
Сын Армении
Сергей Николаевич Сергеев-Ценский

У края воронки
Вениамин Александрович Каверин
Сила сильных
Павел Филиппович Нилин
Совесть
Александр Трифонович Твардовский
На переднем крае
Федор Васильевич Гладков
Малка
Как Никифор Петрович на фронте побывал
Михаил Брагин
Честь шофера
Константин Георгиевич Паустовский
Просьба бойца Терехина
Вячеслав Яковлевич Шишков
Советские Сусанины
Гордая фамилия
Евгений Иосифович Габрилович
Фронтовое письмо
Константин Александрович Федин
Ленинградские рассказы
Часики
Каша
Леонид Сергеевич Ленч
Спасение
Леонид Максимович Леонов

Твой брат Володя Куриленко
Константин Андреевич Тренев
Народ бессмертен
Лев Вениаминович Никулин
Уральские очерки
Товарищи ленинградцы
Обыкновенные девушки
Бирнамский лес
Валентин Петрович Катаев
Расшифрованная сводка
Николай Александрович Тихонов
Мгновение
Федор Иванович Панферов
Рука отяжелела
Всеволод Вячеславович Иванов
Счетовод Динулин
Ванда Львовна Василевская
Ты — красноармеец
Владимир Германович Лидин
По ту сторону
Алексей Силыч Новиков-Прибой
Волга
Евгений Захарович Воробьев
Снайпер
Мариэтта Сергеевна Шагинян
Простые рассказы

Звонок жизни
Девичий танец
Алексей Николаевич Толстой
Отважное сердце
Владимир Петрович Ставский
Бронебойщик Рахманов
Константин Александрович Федин
Мальчик из Семлева
Александр Александрович Фадеев
Встреча
Боец
Александр Серафимович Серафимович
Ребята
Леонид Сергеевич Соболев
Урок командира
Борис Леонтьевич Горбатов
Орден Славы
Братья Тур
Любовь
Евгений Иосифович Габрилович
В снегах
Федор Васильевич Гладков
Между жизнью и смертью
Вячеслав Яковлевич Шишков
Буря
Борис Андреевич Лавренев

Универсальная система
Евгений Захарович Воробьев
Пехотная гордость
Анна Александровна Караваева
Родная земля
Николай Асанов
Сто двадцать секунд
Семен Петрович Бабаевский
Лилико
Вера Михайловна Инбер
Из ленинградских дневников
Аркадий Алексеевич Первенцев
Девятый вал
Кузьма Горбунов
Вестник добрый
Василий Иванович Ардаматский
Комендант немецкого города
Елена Кононенко
Муфта
Леонид Сергеевич Ленч
Метель в Москве
Лев Абрамович Кассиль
Солнце светит
Николай Евгеньевич Вирта
Серый денек
Михаил Михайлович Пришвин

Кладовая солнца
Андрей Платонович Платонов
Сержант Шадрин
Николай Александрович Тихонов
В те дни...
Федор Иванович Панферов
Здравствуй, мой победитель!
Выходные данные

Аннотация

В сборник включены рассказы и очерки известных советских писателей, опубликованные в 1941–1945 годах в журнале «Красноармеец» (ныне «Советский воин»). Посвященные подвигу советского человека в годы Великой Отечественной войны на фронте и в тылу, они написаны по свежим следам событий и фактов и проникнуты горячей любовью к Родине, твердой уверенностью в торжестве правого дела — неизбежной победе нашего народа над злейшим врагом человечества — германским фашизмом.

СЛОВО О СОЛДАТЕ
Рассказы и очерки военных лет

Достояние истории
Предисловие

Подшивки старых газет и журналов всегда открываешь с волнением, будто возвращаешься в молодость. Ощущаешь, как дышат их ломкие пожелтевшие страницы прошлым, и понимаешь, что напечатанное на них — уже достояние истории.

Каких-то четыре десятка лет отделяют нас от победных залпов 45-го. Молодежи этот срок может показаться очень большим, а для нас, фронтовиков, еще слышатся отзвуки того исторического салюта, вздымающего в сердце волну радости и восторга. Именно с этим чувством я читал сборник «Слово о солдате», составленный из рассказов и очерков известных советских писателей, опубликованных в годы Великой Отечественной войны в журнале «Красноармеец» (ныне «Советский воин»).

Родословная этого журнала очень интересна — он всего лишь на один год моложе самой Советской Армии. Первый его номер вышел в свет в апреле 1919 года. Знаменательный факт —

неистово гремели фронты гражданской войны, со всех сторон лезли на молодую Советскую Республику белые генералы и интервенты, в Красной Армии не хватало оружия, боеприпасов, обмундирования, хлеба. Обстановка в стране была тяжелейшей. И в это время партия и правительство приняли решение о создании военного журнала «Красноармеец». Печатное слово партии, литература были крайне необходимы в войсках, как и оружие. Недаром боевые распоряжения тех лет были дополнены таким пунктом: «Литературу отправлять на фронт срочно, наравне с огнеприпасами». Это относилось и к родившемуся в огне сражений молодому общественно-политическому и литературно-художественному изданию, каким являлся «Красноармеец». Уже в первых номерах журнала начали печататься такие выдающиеся писатели, как Максим Горький, Демьян Бедный, А. Серафимович, В. Брюсов, А. Неверов, А. Новиков-Прибой, Н. Асеев, Д. Фурманов и многие другие.

Сейчас, с позиций прожитых журналом лет, ясно видишь, что в переломные, крайне сложные для нашей Родины годы «Красноармеец» собирал вокруг себя наиболее талантливые творческие силы страны. Стоит посмотреть даже на содержа-

ние настоящего сборника, как станет ясно, каким мощным идеологическим оружием являлся тот литературный и публицистический материал, небольшая часть которого представлена здесь. Именно небольшая, ибо не хватит даже нескольких книг, чтобы в полном объеме показать ту литературную работу, которую проводил журнал во время Великой Отечественной войны.

С ее началом была поставлена задача по перестройке журнала. Редакции предлагалось привлечь к участию в нем лучших поэтов, прозаиков, публицистов, художников; расширить тематику материалов, повысить их качество; ввести новые отделы, улучшить внешний вид и оформление «Красноармейца» — его надо было превратить в любимый литературно-художественный журнал воинов Красной Армии. Первый год войны редакцию возглавлял М. Скурихин, а с августа 1942 года главным редактором стал В. В. Панов. Членами редколлегии были В. И. Лебедев-Кумач, С. П. Щипачев, В. П. Ставский…

Как и в гражданскую войну, вокруг журнала объединилась сильнейшая литературная рать советских писателей: А.Толстой, В. Шишков, К. Паустовский, Б.Лавренев, Л. Леонов, Ф. Гладков, Ф. Панферов, А. Твардовский, Л. Соболев, М. Ша-

гинян, Н. Тихонов, К. Федин, А. Фадеев…

Одни из них были прикомандированы к журналу и как корреспонденты «Красноармейца» находились на фронтах, в партизанских отрядах, в осажденном Ленинграде. Другие, где бы ни пребывали, верные своему патриотическому долгу, пером и пламенным словом звали и поднимали советских воинов на борьбу с врагами Родины. В очерках и рассказах они шли от факта, события, случая — всего, из чего складывались тяжкие, кровавые будни войны, помогали этим осмыслить глубинную сущность происходившего, почувствовать необходимость бескомпромиссной борьбы с врагом до полного его уничтожения. В этом и заключалась главная ценность художественного осмысления писателями тех грозных исторических событий.

Именно с этой точки зрения надо рассматривать содержание данного сборника. Ведь каждому читателю попятно, что не все опубликованное здесь равнозначно по своим литературным достоинствам. Разные авторы — разные стили, подходы к материалу, свое изображение увиденного. Да и подчас, видно, материалы шли в набор, что называется, из-под пера, ибо тогда очень важна была их оперативность, необходимость

попасть журналу в войска как можно скорее. И литература, как и прежде, шла на фронт наравне с боеприпасами.

Со страниц «Красноармейца» познакомился читатель с «Русским характером» Л. Толстого, «Василием Теркиным» А. Твардовского, написанным автором, кстати, по прямому заданию редакции, «Морской душой» Л. Соболева и многими другими произведениями, ставшими золотым фондом советской военно-патриотической литературы.

Сборник «Слово о солдате» является в своем роде антологией фронтового очерка и рассказа, аналогичных которому еще не было. Составители постарались представить на его страницах и малоизвестные произведения, что, несомненно, поможет читателю лучше познакомиться с творчеством писателей — авторов журнала военного периода.

Высокую оценку деятельности журнала дал Маршал Советского Союза Г. К. Жуков: «Журнал „Красноармеец“ стал самым любимым и популярным журналом на фронте, подлинным другом солдатской души».

А К. Е. Ворошилов, приветствуя журнал в день его 25-летия, подчеркнул: «Всегда хороший, в годы войны „Красноармеец“ стал превосходным

журналом, привлекшим к сотрудничеству в нем лучшие литературные и художественные силы. Журнал стал одинаково нужным красноармейцу и офицеру Красной Армии».

К этому же юбилею, в 1944 году, журнал был награжден орденом Красной Звезды. С уверенностью могу сказать, что «Красноармеец» — «Советский воин» явился творческой колыбелью для многих прозаиков и поэтов, на его страницах постоянно выступали и выступают и начинающие, и зрелые, ведущие художники слова нашей страны.

Закончу свое небольшое вступительное слово пожеланиями «Советскому воину» не терять славных литературно-боевых традиций, а читателям этой книги, приуроченной издательством ДОСААФ к 40-летию нашей великой Победы над гитлеровской Германией, — познакомиться с ее героями и полюбить их. Предлагаемые в книге рассказы и очерки расположены в хронологической последовательности, как они и были напечатаны в «Красноармейце», начиная сорок первым годом и кончая сорок пятым. Часть из них дается с небольшими сокращениями, а те, которые вошли в полные собрания сочинений именитых авторов, — по последним их редак-

циям.

Иван Стаднюк,
лауреат Государственной премии СССР

Михаил Александрович Шолохов

Люди Красной Армии

Генерал Козлов прощается с нами и уезжает в одну из частей, чтобы на поле боя следить за ходом наступления. Мы желаем ему успеха, но и без нашего пожелания кажется совершенно очевидным, что военная удача не повернется спиной к этому генералу-крестьянину, осмотрительному и опытному, по-крестьянски хитрому и по-солдатски упорному в достижении намеченной цели.

Выхожу из землянки. До начала нашей артподготовки остается пятнадцать минут. Меня знакомят с младшим лейтенантом Наумовым, только что прибывшим с передовых позиций. Ему пришлось ползти с полкилометра под неприятельским огнем. На рукавах его гимнастерки, на груди, на коленях видны ярко-зеленые пятна раздавленной травы, но пыль он успел стряхнуть и сейчас стоит передо мной улыбающийся и спокойный, по-военному подобранный и ловкий. Ему двадцать семь лет. Два года назад он был учителем средней школы. В боях с первого дня войны. У него круглое лицо, покрытые золотистым юношеским пушком щеки, серые добрые глаза и выгоревшие на солнце белесые брови. С

губ его все время не сходит застенчивая, милая улыбка. Я ловлю себя на мысли о том, что этого скромного, молодого учителя, наверное, очень любили школьники и что теперь, должно быть, так же любят красноармейцы, которым он старательно объясняет военные задачи, видимо, так же старательно, как два года назад объяснял ученикам задачи арифметические. С удивлением я замечаю, что в коротко остриженных белокурых волосах молодого лейтенанта, там, где не покрывает их каска, щедро поблескивает седина. Спрашиваю, не война ли наградила его преждевременной сединой. Он улыбается и говорит, что в армию пришел уже поседевшим и теперь никакие переживания уже не смогут изменить цвета его волос.

Мы садимся на насыпь блиндажа. Разговор у нас не клеится. Мой собеседник скупо говорит о себе и оживляется только тогда, когда разговор касается его товарищей. С восхищением говорит он о своем недавно погибшем друге лейтенанте Анашкине. Время от времени он прерывает речь, прислушиваясь к выстрелам наших орудий и к разрывам немецких снарядов, ложащихся где-то в стороне и сзади территории штаба. Прошу его рассказать что-либо о себе. Он морщится, неохот-

но говорит:

— Собственно, про себя мне рассказывать нечего. Наша противотанковая батарея действует хорошо. Много мы покалечили немецких танков. Я делаю то, что все делают, а вот Анашкин — этот действительно был парень! Под деревней Лучки ночью пошли мы в наступление. С рассветом обнаружили против себя пять немецких танков. Четыре бегают по полю, пятый стоит без горючего. Начали огонь. Подбили все пять танков. Немцы ведут сильный минометный огонь. Подавить их огневые точки не удается. Пехота наша залегла. Тогда Анашкин и разведчик Шкалев ползком незамеченные добрались до одного немецкого танка, влезли в него. Осмотрелся Анашкин — видит немецкую минометную батарею. Орудие на танке в исправности, снарядов достаточно. Повернул он немецкую пушку против немцев и расстрелял минометную батарею, а потом начал расстреливать немецкую пехоту. Погиб Анашкин вместе с орудийным расчетом, когда перекатывали пушку, меняя огневую позицию.

Серые глаза моего собеседника потемнели, слегка дрогнули губы. И еще раз во время разговора заметил я волнение на его лице: неосторожно спросив о том, как часто получает он письма от

своей семьи, я снова увидел потемневшие глаза и дрогнувшие губы.

— За последние три недели я послал жене шесть писем. Ответа не получил, — сказал он и, смущенно улыбнувшись, попросил: — Не сможете ли вы, когда вернетесь в Москву, сообщить жене, что у меня здесь все в порядке и чтобы она написала мне по новому адресу? Наша часть сейчас переменила номер почтового ящика, может быть, потому я и не получаю писем.

Я с удовольствием согласился выполнить это поручение. Вскоре наш разговор был прерван начавшейся артподготовкой.

Грохот наших батарей сотрясал землю. Отдельные выстрелы и залпы слились в сплошной гул. Немцы усилили ответный огонь, и разрывы тяжелых снарядов стали заметно приближаться. Мы сошли в блиндаж, а когда через несколько минут снова вышли на поверхность, я увидел, что саперы, строившие укрытие, не прекращали работы. Один из них, пожилой, с торчащими, как у кота, рыжими усами, деловито осматривал огромную сваленную сосну, постукивая по стволу топором, остальные дружно работали кирками и лопатами, и на глазах рос огромный холм ярко-желтой глины.

— Не хотите ли поговорить с одним из лучших наших разведчиков? Он только сегодня утром пришел из немецкого тыла, принес важные сведения. Вот он лежит под сосной, — обратился ко мне один из командиров, кивком головы указывая на лежащего неподалеку красноармейца. Я охотно изъявил согласие, и командир сквозь гул артиллерийской канонады громко крикнул:

— Товарищ Белов!

Быстрым, неуловимо мягким движением разведчик встал на ноги, пошел к нам, на ходу оправляя гимнастерку.

Внезапно наступила тишина. Командир посмотрел на часы, вздохнул и сказал:

— Теперь наши пошли в атаку.

Было что-то уверенное в движениях, в скользящей походке разведчика Белова. Я обратил внимание на то, что под ногой его не хрустнул ни один сучок, а шел он по земле, захламленной сосновыми ветками и сучьями, но шел так бесшумно, как будто ступал по песку. И только потом, когда я узнал, что он уроженец одной из деревень близ Мурома, исстари славящегося дремучими лесами, мне стали понятны его сноровистость в ходьбе по лесу и мягкая поступь охотника-зверовика.

В разговоре с разведчиком повторилось то же, что и с другими: разведчик неохотно говорил о себе, зато с восторгом рассказывал о своих боевых товарищах. Воистину скромность — неотъемлемое качество всех героев, бесстрашно сражающихся за свою Родину.

Разведчик внимательно рассматривает меня коричневыми острыми глазами, улыбаясь, говорит:

— Первый раз вижу живого писателя. Читал ваши книги, видел портреты разных писателей, а вот живого писателя вижу впервые.

Я с не меньшим интересом смотрю на человека, шестнадцать раз ходившего в тыл к немцам, ежедневно рискующего жизнью, безупречно смелого и находчивого. Представителей этой военной профессии я тоже встречаю впервые.

Он сутуловат и длиннорук. Улыбается редко, но как-то по-детски, всем лицом, и тогда становятся видны все его редкие белые зубы. Словно ночная птица, он боится дневного света, прикрывая глаза густыми ресницами. Ночью он, наверное, видит превосходно. Внимание мое привлекают его ладони: они сплошь покрыты свежими и зарубцевавшимися ссадинами. Догадываюсь — это оттого, что ему много приходится ползать

по земле. Рубашка и брюки разведчика грязны, покрыты пятнами, но эта естественная камуфляция столь хороша, что ляг разведчик в блеклой осенней траве, и его не разглядишь в пяти шагах от себя. Он неторопливо рассказывает, время от времени перекусывая крепкими зубами сорванный стебелек травы:

— Вначале был я пулеметчиком. Взвод наш отрезали немцы. Куда ни сунемся — всюду они. Мой друг-пулеметчик вызвался в разведку. Я пошел с ним. Подползли к шоссе, залегли у моста. Долго лежали. Немецкие грузовые машины идут. Мы их считаем, записываем, что они везут. Потом подошла легковая машина и стала около моста. Немецкий офицер вышел из нее, высокий такой, в фуражке. Включился в полевой телефон, лег под машину, что-то говорит. Два солдата стоят около него. Шофер сидит за рулем. Мой товарищ подмигнул мне и достал гранату. Я тоже достал гранату. Приподнялись и метнули две сразу. Всех четырех немцев уничтожили, машину испортили. Бросились мы к убитым, сорвали с офицера полевую сумку, карту взяли с какими-то отметками, часть оружия успели взять, и тут, слышим, трещит мотоцикл. Мы снова залегли в канаве. Как только мотоциклист сбавил ход возле

разбитой машины, мы опять кинули гранату. Мотоциклиста убило, а мотоцикл перевернулся два раза и заглох. Подбежал я, смотрю, мотоцикл-то целехонький. Мой дружок очень геройский парень, а на мотоцикле ездить не умеет, я тоже не умею, а бросать его жалко. Взяли мы его за руль и повели. Руки он мне, проклятый, оттянул, пока я его из лесу вел, а все же довели мы его до своих. На другой день прорвались из окружения и мотоцикл прикатили. Теперь на нем наш связист скачет, аж пыль идет! Вот с этого дня мне и понравилось ходить в разведку. Попросил я командира роты, он и отчислил меня в разведчики. Много раз я к немцам в гости ходил. Где идешь, где на брюхе ползешь, а иной раз лежишь несколько часов и шевельнуться нельзя. Такое наше занятие. Все больше ночью ходим, ищем, вынюхиваем, где у немцев склады боеприпасов, радиостанции, аэродромы и прочее хозяйство.

Прошу его рассказать о последнем визите к немцам, Он говорит:

— Ничего, товарищ писатель, нет интересного. Пошли мы позавчера ночью целым взводом. Проползли через немецкие окопы. Одного немца тихо прикололи, чтобы он шуму не наделал. Потом долго шли лесом. Приказ нам был рвануть один

мост, построенный недавно немцами. Это километров сорок в тылу у них. Ну, еще кое-что надо было узнать. Отошли за ночь на восемнадцать километров, меня взводный послал обратно с пакетом. Шел я лесной тропинкой, вдруг вижу свежий конский след. Нагнулся — подковы не наши, немецкие. Потом людские следы пошли. Четверо шли за лошадью. Один хромой на правую ногу. Проходили подавно. Догнал я их, долго шел сзади, а потом обошел стороной неподалеку и направился своим путем. Мог бы я их перестрелять всех, но мне с ними в драку нельзя было ввязываться. У меня пакет на руках, и рисковать этим пакетом я не имел права. Дождался ночи возле немецких окопов и к утру перешел на свою сторону. Вот и все.

Некоторое время он молчит, щурит глаза и задумчиво вертит в руках сухую травинку, а потом, словно отвечая на собственные мысли, говорит:

— Я так думаю, товарищ писатель, что побьем мы немцев. Трудно наш народ рассердить, и пока он еще не рассердился по-настоящему, а вот как только рассердится, как полагается, — худо будет немцам, задавим мы их!

По пути к машине мы догоняем раненого красноармейца. Он тихо бредет к санитарной

автомашине, изредка покачивается, как пьяный. Голова его забинтована, но сквозь бинт густо проступила кровь, отвороты и полы шинели, даже сапоги его в подтеках засохшей крови. Руки на локте в крови, и лицо белеет той известковой, прозрачной белизной, какая приходит к человеку, потерявшему много крови.

Предлагаем ему помочь дойти до машины, но он отклоняет нашу помощь, говорит, что дойдет сам. Спрашиваем, когда он ранен. Отвечает, что час назад. Голова его забинтована по самые глазницы, и он отвечает, высоко поднимая голову, чтобы рассмотреть того, кто с ним говорит.

— Осколком мины ранило. Каска спасла, а то бы голову на черепки побило, — тихо говорит он и все же пробует улыбнуться обескровленными синеватыми губами. — Каску осколок пробил, схватился я руками за голову — кровь густо пошла. — Он внимательно рассматривает свои руки, еще тише говорит: — Винтовку, патроны и две гранаты отдал товарищу, кое-как дополз до перевязочного пункта, — И вдруг его голос крепнет, становится громче. Повернувшись на запад, откуда доносятся взрывы мин и трескотня пулеметов, он твердо говорит: — Я еще вернусь туда. Вот подлечат меня, и я вернусь в свою часть. Я с

немцами еще посчитаюсь. — Голова его высоко поднята, глаза блестят из-под повязки, и простые слова звучат торжественно, как клятва.

Мы идем по лесу. На земле лежат багряные листья — первые признаки наступающей осени. Они похожи на кровяные пятна, эти листья, и краснеют, как раны, на земле моей Родины, оскверненной немецкими захватчиками.

Один из товарищей вполголоса говорит:

— Какие люди есть в Красной Армии! Вот недавно погиб смертью героя майор Войцеховский. Неподалеку отсюда, находясь на чердаке одного здания, он корректировал огонь нашей артиллерии. Шестнадцать немецких танков ворвались в село и остановились вблизи здания, где находился майор Войцеховский. Не колеблясь, он передал по телефону артиллеристам: «Немедленно огонь по мне! Здесь немецкие танки!» Он настоял на этом. Все шестнадцать танков были уничтожены, угроза нашей обороне была предотвращена, но погиб и Войцеховский.

Дальше едем молча. Каждый из нас думает о своем, но все мы покидаем этот лес с одной твердой верой: какие бы тяжкие испытания ни пришлось перенести нашей Родине, она непобедима. Непобедима потому, что на защи-

ту ее встали миллионы простых, скромных и мужественных сынов, не щадящих в борьбе с коричневым врагом ни крови, ни самой жизни.

Василий Семенович Гроссман

Капитан Гастелло

Сурово, мужественно выглядит теперь Москва с ее быстрыми автомобилями, управляемыми военными шоферами, мешками с песком, закрывающими витрины, людьми с противогазами. И рядом — неожиданно наивен вид подмосковного села Богородского. Маленькие домики, окруженные зеленью.

В светлой, чистой комнате рабочего домика, в котором все полно спокойствия и уюта, я познакомился с женой и матерью капитана Гастелло, командира эскадрильи легких бомбардировщиков.

Каков он, человек, начертавший огнем свое имя на черном грозном небе войны?

Жена Гастелло, Анна Петровна, и старуха-мать его, Анастасия Семеновна, рассказали мне о бесстрашном командире, кровь от крови, плоть от плоти великого класса рабочих.

Отцу Николая Францевича сейчас 67 лет. Пятьдесят лет проработал он вагранщиком. Состарившись, он продолжает работать истопником при читальне. Пятьдесят лет изо дня в день трудился он среди пламени и жара расплавлен-

ной стали. За пятьдесят лет он лишь однажды сделал небольшой перерыв, когда вырвавшаяся плавка обожгла ему глаза. Пятьдесят лет правил он расплавленным металлом, и, должно быть, в жилы, в кровь его вошла рабочая уверенность в свою силу, в свою власть над стихией огня и металла. Эту уверенность, эту силу передал он своему сыну.

Родился Николай Гастелло в 1907 году.

«На Красной Пресне, на самой боевой, родился», — сказала Анастасия Семеновна. Она тоже работает, несмотря на преклонные годы, на заводе «Богатырь». Работает вся семья — и младший сын Виктор — модельщиком на заводе, и сестра Нина. Труд — высший закон семьи. И Николай Гастелло, поучившись в Сокольнической школе, пошел на работу: сначала в паровозоремонтные мастерские, в литейный цех, в инструментальный, потом был токарем по металлу. Работал он в Муроме и в Москве до 1932 года. Двадцати пяти лет он был направлен Московским комитетом партии в летнюю школу. Московский комитет не ошибся — сын вагранщика, родившийся на Красной Пресне, и сам рабочий-металлист, стал настоящим воином рабочего класса.

В 1934 году, окончив школу, Гастелло пошел в

дальнюю бомбардировочную авиацию. Сперва был он пилотом, скромным, исполнительным, внимательным к своему делу. Служба в авиации стала для него почетным трудом — он вложил в нее все свое рабочее сердце, смекалку, любовь. Он полюбил самолет — совершенную, могучую машину, высшее создание технического гения.

За все время службы у него не было ни одной аварии, его премировали за экономию горючего, командование отметило молчаливого, скромного летчика. Вскоре был он назначен командиром тяжелого корабля, затем командиром отряда. В 1940 году он уже был помощником командира тяжелой эскадрильи.

Он уверенно и неуклонно шел вперед, он шел по воздуху так же спокойно, умно, сильно, как отец его шел по горячему цеху.

Когда началась Великая Отечественная война, Николай Гастелло командовал эскадрильей легких бомбардировщиков.

Он был среднего роста, широкий, с ногами футболиста. Товарищи, шутя, так и называли его: футболист. У него были крупные, резкие черты лица, глаза — карие, спокойные, черные ресницы; внизу ресницы были густые, длинные и от этого глаза казались черными, но жена знала, что

у Николая карие глаза.

Это о нем и о таких, как он, сказано «владеть землей имеет право». Ибо такие люди — добрые, сильные, мужественные, любящие труд, науку и красоту жизни, — должны быть хозяевами земли. Когда я подивился прекрасным чертам этого человека, Анна Петровна, жена его, сказала:

— Он был такой, как все. По-моему, наши летчики все друг на друга похожи.

Он никогда не повышал голоса, не сказал ни разу грубого слова.

Он никогда не рассказывал о своей боевой работе. Ведь был он и в Монголии, участвовал в Финляндской кампании, сбрасывал парашютные десанты над Бессарабией в 1940 году. Но не от него жена узнала о том, как он летел с тридцатью ранеными через горный хребет во время страшного ненастья, когда один из моторов отказался работать. Не от него узнала она о том, как он с неуспевшего подняться самолета сбил внезапно налетевшего на бреющем полете врага.

Зато много и любовно говорил он о товарищах, восхищался Кравченко и Шевченко, с которыми ему приходилось вести боевую работу в воздухе. Он во всех сослуживцах и подчиненных умел находить хорошее, доверял людям, старался

повысить в них чувство ответственности и уверенности в своих силах.

Он обладал исключительно привлекательными чертами коммуниста-массовика, и к нему тянулись десятки людей. Где бы он ни появлялся — на аэродроме, в мастерских, — всегда его окружали люди. Одинаково хорошо относились к нему и подчиненные, и комиссар, и полковник, и инженеры, и техники.

К нему ходили советоваться — он был опытен, обладал большими знаниями, много читал партийной литературы, собирал библиотеку по техническим вопросам. В свободное время он любил и попеть, и поплясать, очень любил ходить в театр, слушать музыку. Нравились ему комические представления и кинофильмы.

«Смеялся он всегда тихо, почти бесшумно, — сказала Анна Петровна, — но до слез».

Любимыми его писателями были Максим Горький и Джек Лондон. Он все хотел достать полные собрания сочинений Толстого и Тургенева. Просил об этом родных и знакомых, живших в Москве и Ленинграде.

Удивительно — человек, командовавший эскадрильей сказочных, быстрых бомбардировщиков, остался таким же московским рабочим,

какими были все родные его, отец, друзья, товарищи детства. Он был рабочим. Каждая капля его крови была рабочей кровью.

У него имелся большой набор слесарных инструментов, и всюду он возил с собой паяльники, пилы, стамески, молотки, напильники.

Все знали, что у Гастелло можно достать любой инструмент, и часто командиры, такие же рабочие, как и он, ходили к нему позанять паяльную лампу либо какую-нибудь иную слесарную снасть.

«Бывало, посмотришь, — говорит Анна Петровна, — на его руки, большие, огрубевшие, на темные пальцы, и не верится, что эти руки умеют делать тонкие, прекрасные вещи, хрупкие, почти как кружево прозрачные».

Чего только не умел сделать рабочий — капитан эскадрильи. В часы отдыха он выпиливал лобзиком ажурные рамки и коробочки. Он выточил из эбонита земной шар с рельефом материков и океанов и над этим земным шаром летел красный чкаловский самолет своим знаменитым маршрутом из Москвы через Северный полюс в Америку. Из куска березового дерева он сделал самолет-ночник, удивительно изящную вещицу, полную копию тяжелого бомбардировщика. К

обыкновенным часам-ходикам он приделал усики, стрелки задевали эти усики в определенный час и заставляли гудеть радио, когда надо было капитану идти на аэродром. «Он даже умел шить на швейной машине, — говорит мать, — и, когда мальчиком был, для кукол младшей сестренке все платья пошил».

«Он и теперь шил на машине, — говорит Анна Петровна, — и для себя, и для сына нашего Вити, и даже для меня. Придет кто-нибудь из командиров, застанет его за работой и смеется: капитан-портниха. А он лишь усмехается, делает свое дело. Так товарищи о нем говорили: ты, Гастелло, и токарь, и слесарь, и столяр, и жестянщик, и портниха, и сапожник».

* * *

Рано утром 22 июня 1941 года на аэродроме была объявлена тревога. Летчики улетели. Вскоре комиссар собрал жен и объявил о войне. В 12 часов 15 минут все слушали речь Молотова. В одиннадцать часов вечера Гастелло вернулся. Жена подошла к нему, обняла и сказала: «Началось?» «Началось», — ответил он. «Ну как?» — спросила Анна Петровна. «Дали им дым и огонь».

Больше он ничего не сказал. Ложась спать, он

проговорил: «В 3 часа придет связист, разбудит меня, не тревожься, когда он будет стучать. Витю не отпускай далеко от себя, могут налететь».

Днем женщины поехали на аэродром набивать пулеметные ленты. Много их нужно было.

Теперь каждый день капитан Гастелло вставал в 3 часа утра. Жена, прощаясь, обнимала его. «Не давайся живым», — говорила она и плакала. «Ну что ты плачешь, я все сам знаю», — отвечал он. Она спускалась с ним до первой площадки лестницы и смотрела, как он выходил в дверь. Потом она поспешно поднималась и смотрела в окно, как капитан шел по лесной дорожке к аэродрому.

25-го на аэродром внезапно налетел вражеский бомбардировщик. На бреющем полете, ревя моторами, сыпя пулеметными очередями, он мчался к машинам эскадрильи Гастелло. Капитан вскочил в машину — речь шла о долях секунды. Теми же неторопливыми, внешне неловкими движениями рабочего человека он направил пулемет на врага. Миг видел он лицо фашиста, огненный поток пуль взвыл над его головой. Гастелло дал очередь, за ней вторую. Подбитый фашист приземлился, экипаж взяли в плен. У офицера на груди было два Железных креста.

Анна Петровна вечером расспрашивала мужа: «Ну как было, расскажи, что ты все молчишь». — «Было? — переспросил он. — Да ничего такого не было, рассказывать нечего, — он усмехнулся. — Вот только, когда увидел его лицо, выругался первый раз в жизни».

Он похудел, лицо его загорело, только вокруг глаз образовались белые круги в тех местах, где очки защищали лицо от солнца и ветра.

Возвращаясь домой после боевых вылетов, после воздушных сражений и бомбежек, капитан был таким же, каким всегда знала его жена. Такой же спокойный, неторопливый, неразговорчивый, ласковый. «Послушает радио, начистит до блеска сапоги, — он очень любил, когда сапоги блестят, — подошьет сам чистый воротничок, побреется, поглядит на себя в зеркало и ляжет спать. А в три часа утра за ним приходит связист».

26-го семьи летчиков были эвакуированы в тыл. В последний раз проводила Анна Петровна мужа до дверей, в последний раз обняла его. В это утро, казалось ей, он был особенно сосредоточен и молчалив. Она смотрела в окно, как он закурил и пошел с знакомым командиром, но не обычной тропинкой, а другой дорогой. «Ну зачем ты так пошел, — подумала она, — я тебя меньше увижу».

3 июля жена, мать, отец, армия, весь народ, мир узнали о подвиге командира эскадрильи легких бомбардировщиков, московского рабочего Николая Гастелло, обессмертившего свое имя.

Краткое газетное сообщение гласило:

«3 июля во главе своей эскадрильи капитан Гастелло сражался в воздухе. Далеко внизу, на земле, тоже шел бой. Моторизованные части противника прорывались на советскую землю. Огонь нашей артиллерии и самолеты Гастелло сдерживали и останавливали движение врага, громили его.

Но вот снаряд вражеской зенитки разбивает бензиновый бак самолета Гастелло. Машина в огне. Гастелло сделал все, чтобы сбить пламя, по это не удалось. Выхода нет.

Что же, так и закончить на этом свой путь? Скользнуть, пока не поздно, на парашюте и, оказавшись на территории, занятой врагом, сдаться в постыдный плен? Нет, это не выход.

И капитан Гастелло не отстегивает наплечных ремней, не оставляет пылающей машины. Вниз, к земле, к сгрудившимся цистернам противника мчит он огненный комок своего самолета. Огонь уже возле летчика. Но земля близка. Глаза Гастелло, мучимые огнем, еще видят, опаленные руки

тверды. Умирающий самолет еще слушается руки умирающего пилота.

Так вот как закончится сейчас жизнь — не аварией и не пленом, — подвигом.

Машина Гастелло врезается в „толпу“ цистерн и машин — и оглушительный взрыв долгими раскатами сотрясает воздух сражения: взрываются вражеские цистерны».

Нелегко умирать. Но такая смерть прекрасна, как вечная жизнь.

Алексей Александрович Сурков

Ночной поиск

Александров с тревогой взглянул на часы. До выхода в поиск осталось сорок минут, а Редков все не возвращался. Уж не стряслось ли с ним чего-нибудь?

Маленький широкоскулый карел был во взводе на все руки мастером. Тридцать лет жизни в северокарельских лесах приучили его небольшое сильное тело к суровым морозам. Таежный лесоруб и охотник, он чувствовал себя в лесу как дома. В любую непогоду он чутьем угадывал дорогу и заменял взводу и компас и карту. На войну он пришел из запаса и принес в суровые финские леса вместе с таежными повадками жгучую неистребимую ненависть к шюцкору. Давно, в тысяча девятьсот двадцать втором, налетела шюцкоровская банда на бедную пограничную карельскую деревушку и живьем сожгла вместе с избой отца, члена сельсовета, мать и двух младших сестер Редкова. Закроет Редков глаза и видит: пылает в ночи, стреляя головешками, черная отцовская изба. Небо над избой красное, и сугробы вокруг избы красные. Простоволосый белоголовый мальчуган в валенках на босу ногу,

зарывшись в красный сугроб, глядит неподвижным, как у покойника, взглядом в ревущее пламя и слышит, как, замирая, доносятся из страшного костра родные, перехваченные мукой голоса…

Александров закурил папиросу. Задумался. И вдруг представил себе: лежит Редков на лесной поляне, широко разметнув руки, лицом к небу, а на светлые ресницы иней падает… Нет, не может быть!..

Проскрипели лыжи. Дневальный у землянки шепотом спросил пропуск… Никак вернулся?.. Едва Александров успел подняться с нар, как в землянку ввалился Редков.

— Задание выполнено, товарищ младший лейтенант. — Редков снял маскировочный халат и стал стряхивать с него снег. — Надо бы лучше, да нельзя. Выполз я на ихнего часового. Прямо чуть не под ноги ему. Лежу, не ворохнусь. Стрелять — обидно, тревога поднимется. Так уползти — близко, услышит. Часа полтора и вылежал в сугробе, как бревно. Он стоит с ноги на ногу переминается. Кашляет в рукав. Холодно — терпенья нет. Слышу: кричит часовой «Сейз!» и пропуск спрашивает. Я думал: он меня приметил, собрался уже гранату метнуть. Но оказывается, сменять часового пришли. Пропуск сказали. А пока они

тары-бары разводили, я нырком по снегу отполз и — тягу сюда…

— Так, значит, вы пропуск узнали?..

— Узнал, товарищ младший лейтенант.

— Вот это здорово. Молодец вы, Редков. Давайте обогрейтесь у печки. Дневальный, поднимайте людей!.. Редков, а вы хорошо по-фински говорите?

— Как они говорят, так и я говорю.

— А если большой разговор придется вести?

— И большой разговор можно.

— А если вы будете командиром взвода ихних разведчиков?

— Как это, товарищ младший лейтенант?

— А вот так: взвод ваш из лапуасского батальона. Ходил на нашу сторону в поиск. Подзаплутал. Вышел в расположение соседей.

— Надо обдумать. Может, и выйдет.

— Думайте, думайте… Пришли, с часовым встретились. Столковались. Узнали, какая там часть стоит. Спохватились, что именно командиру той части у вас пакет есть, срочный, секретный, в собственные руки. Ну?..

— Есть, товарищ младший лейтенант. Если надо, можно попробовать.

— А если не поверит, прикладом его по лбу

— «язык» будет, и то хлеб.

Александров вышел из землянки. Разведчики толпились под соснами, подгоняя лыжи, вполголоса переговариваясь.

— Готовы?.. Вот что, товарищи. Задание нам — разведка боем. Редков подслушал финский пропуск. Попытаемся спектакль егерям устроить. Каски оставить в землянке. Халаты запахнуть хорошенько, чтобы пуговицы советской не видно было. Марлевые наличники спустить и не поднимать до команды. Оружие и гранаты держать наготове. И молчать. Мы — финская разведка. Командует взводом Редков, а вы около меня держитесь. Без моей команды ничего не делать. Открывать огонь по моему свистку. Понятно?..

Обошел строй разведчиков. Все в порядке. Стоят готовые к выходу — все белые, как привидения. Поди различи их, какой они армии. Подошел к Редкову. Оглядел с головы до ног. Спохватился:

— Чуть не проморгал! Нельзя вам в валенках. Давайте-ка сменимся.

Сел на пень, стянул с ног желтые финские офицерские пьексы. Отдал Редкову в обмен на валенки.

— Пошли!..

* * *

Ночь выдалась мутная, беззвездная. Редкими хлопьями падал снег. Хорошо пригнанные и смазанные лыжи скользили ходко, почти бесшумно.

В который раз отправлялся взвод в ночную разведку, а опять все по-новому.

Миновали передний край своих. Снежные окопы между деревьями. Часовые в тени. Молчаливые замаскированные «максимы», застывшие темными пятнами между присыпанных снегом веток.

Кончился нахоженный, расчерченный лыжнями снег. Впереди — белая целинная простыня, рыхлая, неисхоженная. Лыжи головных глубоко уходили в рассыпчатую снеговую толщу. Тихо. Только где-то слева, далеко в лесу, потрескивали редкие винтовочные выстрелы.

Поднялись на высотку, густо заросшую молодым сосняком. Редков замедлил шаг, прошептал Александрову:

— Приготовиться надо. Сейчас спустимся под горку, и часовой будет…

На ходу вытянулись тремя цепочками, по отделениям. Редков вырвался вперед и широко зашагал под гору.

Достигли дна лесного оврага. Стали подниматься вверх. И вдруг над головами прозвучал хриплый, глухой окрик:

— Сейз!

Замерли, как пригвожденные к снегу. Сивков инстинктивно опустился на левое колено, прилаживая «Дегтярева» для стрельбы. Секундная пауза, и за деревьями знакомый голос Редкова негромко проговорил по-фински:

— Свои, свои, что ты орешь!..

— Руки вверх, подходи один, говори пропуск! — скомандовал часовой.

Александров слышал, как заскрипели лыжи Редкова, шурша на подъеме по черствому снегу.

Весь напряженный, как туго свернутая пружина, Редков шагал на голос часового. Ночная темень скрывала егеря. Не замедляя шага, стараясь быть совсем спокойным, Редков четко выговаривал пропуск.

— Подходи ближе! Кто? Откуда?

Только теперь стало приметно, что за толстым стволом сосны стоял коренастый, невысокого роста человек в белом халате с винтовкой наизготовку.

Самое томительное прошло. Наступило то нервное спокойствие, которое делает все ощущения

особенно острыми и заставляет мозг работать четко и быстро. Не снимая пальца с гашетки автомата, Редков, стараясь держаться в тени соседней сосны, попытался взять инициативу в свои руки.

— Что это у тебя руки трясутся? Должно быть, первый раз в ночном карауле.

Спокойные интонации голоса обманули часового. Он опустил винтовку к ноге и уже менее тревожно спросил:

— Откуда? Какой ты части?

— Сержант лапуасского батальона Ярвинен. Ходил с ребятами на ту сторону москалей пощупать. Да сбились, видно, с дороги. Ты не наш будешь?

— Нет. Вам надо правее держать. Тут недалеко за горкой ваши.

— Значит, ты в куопийском служишь?

— Да нет. Я третьего егерского. Сменили мы куопийцев.

— Постой, постой, так третий егерский — наши соседи. Удача какая! — Редков стал рыться на груди под халатом. — У меня вашему командиру батальона пакет есть… Вот здорово. А я думал — до утра придется плутать, искать вас.

Редков приподнял марлю наличника. Спокойно и прямо поглядел в глаза часовому. Под его взглядом егерь как бы обмяк, стал доверчивее.

Видать, не очень давно воюет.

— Штаб батальона нашего не очень далеко. Только дорога путаная, лесом. Не найдете вы его сами, господин сержант. Провожатого надо. А я не могу с поста уйти…

— Правильно, — покровительственным тоном, входя в роль, сказал Редков. — Пост для солдата — святое место. Стой, как вкопанный, и гляди в оба. А может быть, мы все-таки сами попытаемся пробраться. Как ты думаешь, парень?

— Да что вам без толку плутать. Еще обстреляют, чего доброго. Вы тут подождите малость. Скоро должны караулы проверять…

Слева послышался шорох снега.

— Стой, кто идет?..

— Свои… Ты с кем тут, Лейпенен, разговариваешь?

Из-за деревьев вырисовывалась грузная фигура егеря,

— А-а, Тойво… Что тебя черт носит?

— Меня не черт носит… Я часовых проверяю. — Егерь заметил Редкова. — А это что за личность?

— Это не личность, а сержант Ярвинен, парень, — веско и сердито ответил Редков. — Что-то ты, парень, очень развязно держишься?

— Извиняюсь, господин сержант… Здесь ночью

трудно отличить начальника от солдата…

— Ну то-то же!.. Ты проведешь меня с ребятами в штаб третьего егерского…

— Но, господин сержант…

— Никаких но, Тойво… К вашему командиру у меня срочный оперативный пакет. Выполняй приказание. Потом доложишь, что выполнял мой приказ…

— Слушаю, господин сержант…

Решительный, суровый тон Редкова обескуражил егеря. Он просительно взглянул на своего приятеля, как бы спрашивая, что ему делать. Лейпенен молчал.

— Значит, пошли…

Не давая опомниться провожатому, Редков негромко подал стоящему поодаль взводу условные слова финской команды:

— Взвод, за мной, марш!

Заскрипели, зашуршали по снегу лыжи. Тремя цепочками, смыкаясь на ходу потеснее, разведчики, молчаливые, настороженные, прошли мимо часового. Весельчак Сивков, поравнявшись с часовым, нарочно поскользнулся и смачно проворчал знакомое ему финское ругательство:

— Саттана!..

* * *

Шли и запоминали каждый изгиб тропы, каждый холм, каждую прогалину.

У выхода на маленькую лесную полянку егерь остановился.

— Вот видите — внизу две палатки. Слева — это штаб, а справа — командирская…

— Нет, ты уж до места доведи, а потом и возвращайся в роту.

— Слушаю, господин сержант…

Александров тихо тронул локтем идущего рядом Сивкова. Тот — следующего разведчика. Легкий толчок обошел весь взвод. Это значило: быть наготове, скоро начнется.

Маленькая колонна вслед за провожатым спустилась в ложбинку. Стали ясно различимы две небольшие палатки с черными печными трубами наружу, запорошенные снегом. Александров приметил: возле сосен стояло несколько пулеметных лодочек. Около палатки — тень часового.

— Стой! Пропуск!

Резкая серебряная трель свистка разрезала морозный воздух. Редков, быстро вскинув автомат, свалил выстрелом в упор провожатого. Александров короткой, в три выстрела, очередью

хлестнул по часовому.

— Огонь!

Сначала беспорядочно, потом сливаясь в гулкие залпы, началась стрельба. Резко лопнула одна, другая, третья гранаты.

— Вались на палатки!

Бойцы первого отделения дружно навалились на палатки, подминая деревянные колышки, опрокидывая печки.

— Людей вяжи. Документы забирай!

Все делалось молниеносно, стремительно. Из-под прорванной парусины выволокли четырех воющих людей, связали, заткнули рты варежками, повалили на лодочки. Вытащили из палаток бумаги, карты, завернули в халат, снятый с мертвого часового.

— Все готово?

— Все!

— Теперь пошли пробиваться!

Возбужденный удачей Александров легко вырвался вперед.

— За мной, товарищи! Теперь все дело в быстроте. Не дать опомниться. Опомнятся — все ляжем здесь…

Лес уже гудел от беспорядочной стрельбы. Редков несся впереди взвода, рядом с командиром.

Памятью старого лесовика он угадывал все повороты и петли путаной лесной тропы. Со всех сторон хлопали выстрелы. Длинной трелью залился один пулемет, другой, третий. Невдалеке провыла и разорвалась мина.

— Все в порядке, Редков! Такая канитель началась, что только дурак не проскочит. Подтянуть людей надо, чтобы не растерялись в лесу.

В грохоте выстрелов, наполнившем ночной лес, взвод, безмолвный, готовый к любым неожиданностям, летел на северо-восток, за линию чужих часовых, к своим.

Знакомая горка. Сосна. Часовой. Приметив тени, он поднял винтовку.

— Ах, ты так!

Редков на ходу вскинул автомат. Выстрел. Часовой боком упал на землю, с воем закрутился в снегу.

— Вяжи и его с собой!

Александров быстро скользил по проторенной лыжне к переднему краю окопов полка, обгоняя передовой дозор. Бойцы, чуя близость своих, налегали на палки. Шуршали по снегу гладкие днища лодочек, нагруженные ошеломленными пленными и трофеями.

Кончился нехоженый снег. Темной стеной

вырос впереди завал. Настороженный оклик часового. Разменялись пропусками. Миновав передовые посты, остановились, перевели дух.

Озабоченный Александров обошел тяжело дышащих разведчиков.

— Все в порядке. Все налицо. Двое легко ранены. Теперь к полковнику будет не стыдно с рапортом явиться…

По ту сторону завалов, с юго-запада, гремела трескотня выстрелов. Рвались мины…

— Ну и кашу мы заварили, товарищ младший лейтенант, — потирая озябшие руки, озорно сказал пулеметчик Сивков.

— До утра палить будут. Верно я говорю, господин лапуасский сержант? — обернулся он к Редкову.

— А это вы вон у него спросите, — отозвался Редков, кивая в сторону лежащего в лодочке связанного финского майора…

Александр Трифонович Твардовский

Двадцать два «языка»

В один из первых дней войны боец Саид Ага Файзулаевич Ибрагимов понес большую утрату. Пал в бою его друг и земляк из далекого Дербента — Борис Медиков. Они вместе росли, учились, вместе были призваны в Красную Армию. И вместе пошли воевать.

Много в стране краев, много республик, а родина — одна. Лезгин Саид Ибрагимов понимал, что, защищая украинскую землю, по которой впервые ступали его ноги, он защищает и свой далекий Дербент, где живут его родные и друзья, его жена и маленький сын Сабир.

Так же, наверное, думал и Меликов, земляк Ибрагимова.

Как ни тяжело быть вестником горя, Саид должен будет сообщить домой о смерти, своего товарища. Умолчать нельзя. Но пока он не мог добавить в письмо, что отомстил за Бориса Меликова. Еще не выпало случая, чтобы поквитаться с врагом в поединке, с глазу на глаз.

Кто его знает, когда выпадет такой случай. Нужно покамест просто воевать, выполнять в точности любую задачу, а там видно будет.

Саид должен был произвести разведку села, лежавшего на пути следования части: пробраться через реку, войти задами в село, — там как будто никого нет, но нужно было проверить, прислушаться, присмотреться. Так приказал, посылая Ибрагимова в разведку, младший лейтенант Бакало.

А он человек строгий. Ему доложи: есть в селе хоть один немецкий солдат или нет ни одного солдата. И за свои слова отвечай. Нужно смотреть, слушать, угадывать, оставив все другие мысли: о себе, о Меликове, о жене и сыне. Ты сейчас идешь один, но вслед за тобой должно пройти много людей, твоих товарищей, и если ты чего-нибудь не доглядел, ты подведешь всех.

Саид перешел реку ниже полуразрушенного моста. Вода была в самом глубоком месте по грудь. Саид бережно нес над водой свой пистолет-пулемет. Оружие это он хорошо знал, владел им свободно и мастерски и питал к нему чувство особого благоговейного уважения. «Машинка — лучше нет», — говорил он обычно и прищелкивал языком.

В селе было тихо, безлюдно. В теплой мягкой пыли копалась одинокая курица. Двери и окна многих домов были открыты. Похоже было, что

жители ушли неподалеку и каждую минуту могут вернуться. Печки еще сохраняли остаток тепла. Только беспорядок, брошенные на полу вещи, стекло от разбитой посуды говорили о том, что жителей столкнули с насиженных мест большие и грозные события.

Саид услыхал негромкий ноющий звук, — он так подходил ко всей обстановке покинутого села, что Саид не стал к нему прислушиваться. Скрипела где-нибудь ставня или качался, свесившись, лист кровельного железа.

Подбористый, гибкий и сильный, Саид легко и бесшумно перелезал через плетни, пригибался у палисадников, полз по канавам. Одежда на нем успела обсохнуть. Движения его были ловки и расчетливы. Если нужно было притаиться, он при своем довольно высоком росте без труда помещался в какой-нибудь ямке; он умел так приникать к стволу дерева, к стене, к углу строения, что был совершенно невидим. Страха Саид не испытывал. Он знал, что сейчас, в разведке, не ему пугаться, а он, Саид Ибрагимов, невидимый и зоркий, — самое страшное для врага, которого окружают чужие поля и укрывают чужие стены.

Ноющий звук послышался ближе. Теперь он что-то смутно напоминал Саиду. Боец насторо-

жился и вскоре понял, что звук доносился из небольшого сарайчика, который стоял за одним из домов, в саду. Саид невольно улыбнулся, лежа в картофельной борозде. Это было сонное однообразное нытье свиньи. Похоже было, что кто-то успокаивал ее, почесывая спину…

Саид приблизился к сарайчику. Запор снаружи был откинут. Боец оглянулся вокруг, взял свою «машину» в правую руку, а левой быстро рванул дверь…

Может быть, тем и хорошо получилось, что у Саида не было времени раздумывать и соразмерять силы. В сарае на соломе тесно сидели и лежали человек двадцать немецких солдат. Саид успел еще различить макинтош офицера с черным воротником. Очередь из пистолета-пулемета застала всех на месте. Саид мог их всех перестрелять до единого, но увидел, что они и так в его руках. Онемев, немцы в ужасе глядели в дуло его «машины». Саид встал у двери поудобнее и приказал:

— Выходи по одному. Становись тут…

По движению его головы они поняли, чего он требует, и, поднимая руки, стали выходить наружу. Подняться и выйти без посторонней помощи смогли почти все. Сосчитал их Саид Ибрагимов

только по дороге в штаб.

Всего было двадцать солдат и два офицера. Восьмерых Саид ранил с первой очереди, остальные сдались без единой царапины. Не успели они сложить в кучу оружие, как подоспели наши бойцы, — должно быть, услышали стрельбу, — и группа пленных под надежным конвоем направилась к штабу.

Саид Ибрагимов не очень четко доложил все, что полагается, но командир ободряюще кивнул ему головой.

— Задержал? Один? Двадцать два человека? Спасибо. Молодец!

Когда Ибрагимов вышел из штаба, кажется, первая мысль, пришедшая ему в голову, была о том, что теперь легче будет сообщить в письме о гибели земляка Меликова.

Владимир Петрович Ставский

Соколиная повадка

— По самолетам! — звучит команда.

Над посадочной площадкой взлетает, шипя, сигнальная ракета. Истребители стремительно взмывают в воздух, ложатся на курс и исчезают вдали.

Погода пасмурная. Несутся низкие, рваные облака. Надо зорко смотреть и не прозевать коварного врага. Командир эскадрильи старший лейтенант Николай Васильевич Терехин пристально наблюдает за воздухом.

И вот в серых глазах летчика вспыхивает острая радость. Крепкая рука его легким движением качает самолет, подавая сигнал остальным. Старший лейтенант Терехин и его товарищи бросают свои послушные боевые машины на врага.

Пять «хейнкелей» вынырнули из облаков. Старший лейтенант видит, как фашистский стрелок-радист, судорожно вертя маленькой черной головой, ведет по нему огонь из своих пулеметов. Терехин чувствует, что несколько пуль врага попали в его боевую машину. Но у него хватает выдержки, чтобы, несмотря на огонь врага, подойти к бомбардировщику на верную

дистанцию, ударить по нему в упор, наверняка. Терехин очень ясно видит озверелое, перекошенное злобой и ужасом лицо фашиста.

«Вот теперь пора!» — решает старший лейтенант.

Он крепко нажимает гашетку своих пулеметов. Огненные мечи трассирующих пуль хлещут по бомбардировщику, поражая фашистов. Буйное пламя возникает над фюзеляжем. Неуправляемый «хейнкель» валится книзу.

Терехин оглядывается. Он видит еще два «хейнкеля» в пламени и дыму. Расстрелянные товарищами Терехина, они падают вниз. Победа!

Пора уходить к себе на посадочную площадку. Мотор работает с перебоями, что-то произошло с управлением, оно плохо слушается. При посадке на аэродром истребитель вдруг бросает в сторону. Только хладнокровие и умение Терехина предотвратили неминуемую аварию.

Товарищи, подбежавшие к самолету, поздравляют летчика с победой. Старший лейтенант Терехин застенчиво улыбается. На смуглом от загара лице его блестят белые зубы. Безгранично смелый в бою, на земле он скромен, тих и ласков. И это еще более усиливает уважение и любовь к нему.

Летный состав его эскадрильи — молодежь. И сам Терехин молод: ему всего 25 лет. Он из села Чардыма, Лопатинского района, Пензенской области. Отец и мать его и сейчас живут там. Они колхозники. Жизнь Николая Терехина проста и обычна: школа, пионерский отряд, десять лет в комсомоле, на работе в руководящих организациях.

Все эти годы он мечтает об авиации. И только об истребительной! Волнуется, что его не примут в авиацию в восемнадцать неполных лет. Его принимают в школу летчиков. Это было в 1934 году. Он кончает школу, служит в авиации. Становится коммунистом, командиром, комиссаром эскадрильи.

* * *

В семь часов вечера на другой день старший лейтенант Терехин снова поднимается в воздух. Он летит на другой машине. Задача такая же — перехватить группу немецких бомбардировщиков и уничтожить ее. Как и вчера, пасмурная погода. Как и вчера, нелегко разыскать врага в этих серых облаках.

Но так же, как и вчера, старший лейтенант Терехин находит группу немецких бомбардиров-

щиков и атакует ее. Он стремительно бросается на ближайший самолет, в упор стреляет по нему и сразу убивает радиста-стрелка. Следуют короткие, меткие очереди. Бомбардировщик валится вниз, и на земле взметывается пламя взрыва.

Но впереди еще два немецких стервятника. Они удирают. Их нельзя отпустить. Терехин преследует стервятников. Он ведет огонь по ближнему самолету. И вдруг патроны в его пулеметах кончаются. Теперь враг может уйти. Но ведь этого нельзя допустить! Врага надо уничтожить любой ценой, любым способом.

Николай Терехин идет на таран.

Струя газов от удирающего немецкого бомбардировщика сбивает самолет Терехина чуть в сторону, и плоскостью своего самолета он рубит не по мотору, а по хвосту врага. Навсегда остается в памяти, как срывается вниз немецкий стервятник, а правая плоскость «ястребка» задирается вверх.

Но истребитель еще управляем. А впереди последний бомбардировщик врага. Его также надо уничтожить! Николай Терехин по-соколиному стремительно сближается с бомбардировщиком. По истребителю бьют пули немецкого стрелка. Терехин быстрыми и точными движениями

отбрасывает борт кабины, отстегивает ремни, сбрасывает со лба очки, и тотчас его истребитель таранит врага. Тот разлетается в куски.

Но и боевая машина Терехина разбита. Терехин, ошеломленный ударом, с рассеченным об управление лбом, падает вниз. На высоте четыреста метров, придя в себя, он раскрывает парашют. Он видит, как под ним приземляются два немецких парашютиста и бросаются наутек. Но им не уйти! Терехин видит, как немецкие летчики попадают в руки красноармейцев.

И сам он попадает в эти же руки. Для него они ласковы, советские красноармейские руки!..

Вадим Михайлович Кожевников

Гвардейский гарнизон дома № 24

Из окна комендатуры застучали станковые пулеметы. Очередь прошла сначала над головами бешено скачущих лошадей, потом расщепила оглоблю, и пули, глухо шлепая, пробили брюхо коня и его по-птичьи вытянутую шею.

Вторая упряжка свернула на тротуар и помчалась дальше. Став на колени, Горшков метнул в окно комендатуры гранату. Савкин, лежа в санях, бил вдоль улицы из ручного пулемета. Кустов, намотав на левую руку вожжи, сбросив с правой рукавицу, свистел. Это был зловещий свист, полный удали и отваги.

Чугунная тумба попала под сани. Бойцов вышибло из разбитых саней, и лошади, волоча обломки, ускакали.

Улегшись в канаве, Савкин отстреливался от голубо-мундирных жандармов, уцелевших в комендатуре. Горшков вскочил в раскрытые двери ближайшего дома, через секунду он выбежал наружу и, прислонясь к косяку, метнул внутрь гранату. Взрывом вырвало стекла вместе с рамами.

Поднявшись с земли, Горшков крикнул:

— Сюда, ребята!

Кустов вошел в наполненное дымом здание. За спиной у него миномет, два железных ящика с минами висели по бокам. В руках он держал за веревочные петли ящик с патронами.

Продолжая отстреливаться, вполз Савкин. Не оглядываясь, он поспешно приладил на подоконнике пулемет и продолжал бить короткими очередями.

С пола, шатаясь, поднялся фашистский офицер. Кустов, руки которого были заняты, растерялся. Потом высоко поднял ящик с патронами и с силой обрушил на голову врага.

Ящик треснул от удара — и пачки патронов посыпались на пол.

Пули с визгом ударялись в стены, крошили известку. Протирая слезящиеся от известковой пыли глаза, Савкин, меняя огневую позицию, перебегал от одного окна к другому.

Поставив стол, на пего табуретку, взобравшись на это сооружение, Горшков стрелял из автомата в круглое отверстие в стене, пробитое для вентилятора.

Вражеские солдаты вытащили на крышу соседнего здания тяжелый станковый пулемет. Пули, ударяясь о каменную стену, высекали длинные

синие искры. Но прибежал взволнованный офицер и приказал солдатам прекратить стрельбу.

Дело в том, что немецкий гарнизон, оставшийся в хорошо укрепленном городе, должен был прикрывать отступление основных своих сил. Обеспокоившись наступившей тишиной, угрюмо заговорил Горшков:

— Что же такое, ребята, получается: приехали три советских гвардейца, а фашисты, выходит, на них внимания не обращают?

Савкин, зажав в коленях диск, закладывая патроны, огорченно добавил:

— А командиру чего обещали? Не получилось паники.

— Получится, — сказал глухо Кустов и, взвалив на спину миномет, полез по разбитой лестнице на чердак.

Скоро здание начало мерно вздрагивать. Это Кустов уже работал у своего миномета. Прорезав кровлю и выставив ствол наружу, он вел огонь по немецким окопам, опоясавшим город.

И немцы не выдержали. Они открыли яростный огонь по дому, в котором засели гвардейцы.

Горшков, прижавшись к стене, радостно кричал:

— Вот это запаниковали, вот это да!

Серый дым полз с чердачного люка, обдавая угарным теплом.

* * *

Командир батальона сказал:

— Бойцы, вы слышите эти выстрелы? Это дерутся наши люди. Тысячи пуль, которые обрушились на них, могли посыпаться на нас. Пусть имя каждого из них будет жечь ваши сердца. Вперед, товарищи!

Батальонный любил говорить красиво. Но в бою он не знал страха. И если б в атаку можно было ходить с развевающимся знаменем в руках, он держал бы это знамя.

Бойцы пошли в атаку.

А с крыши дома № 24 уже валил черный дым, и яркое пламя шевелилось на кровле, дорываясь взлететь в небо.

Спустившись с чердака в тлеющей одежде, Кустов прилаживал к амбразуре окна миномет.

Фашисты пытались взять дом штурмом. Взрывом гранаты вышибло дверь. Ударом доски Кустова бросило на пол. Нашарив в дымном мраке автомат, прижав приклад к животу, он дал длинную очередь в пустую дверную нишу, и четыре вражеских солдата растянулись на пороге.

Тогда гитлеровцы выкатили пушку.

Савкин гордо сказал:

— До последней точки дошли! Сейчас их пушки шуметь будут.

Горшков добавил:

— Выходит, ребята, мы задание перевыполнили.

Кустов, глядя на свои раненые ноги, тихо произнес:

— Уходить даже неохота: до чего здорово получилось.

В грохоте взрывов тяжелые осколки битого кирпича вырывало из шатающейся стены…

Батальон ворвался в город и после короткой схватки занял его.

Командир батальона, выстроив бойцов перед развалинами разбитого дома, произносил речь в память трех павших гвардейцев.

В это время из подвального окна разбитого дома вылез человек в черной, дымящейся одежде, за ним другой, третьего они подняли и новели под руки. Став в строй, один из них сипло осведомился у соседа: «Что тут происходит?» И когда боец объяснил, Савкин сердито сказал: «Значит, хороните! Фашисты похоронить не смогли, а вы хороните…» — и хотел доложить командиру о

выполнении задания.

Но Кустов остановил его: «После доложим. Интересно послушать все-таки, что тут о нас скажут такого».

Командир говорил пламенную речь, полную гордых и великолепных слов.

А три гвардейца стояли в последней шеренге крайними слева с вытянутыми по швам руками и не замечали, как по их утомленным, закопченным лицам катились слезы умиления и восторженной скорби.

Когда командир увидел их и стал упрекать за то, что не доложили о себе, три гвардейца никак не могли произнести слова, так они были взволнованы.

Махнув рукой, командир сказал:

— Ладно, ступайте в санбат. — И спросил: — Теперь, небось, загордитесь.

— Что вы, товарищ командир! — горячо заявил Горшков. — Ведь это же все по недоразумению сказано.

Неспокойный человек

Петя Савкин, шофер нашего артдивизиона, был из тех людей, которым состояние покоя даже во сне недоступно.

Невысокого роста, чернявый, с глазами, вечно шмыгающими и нетерпеливыми, он не говорил, а кричал, не ходил, а бегал. Он не вел свою машину, а гонял ее, как черт.

В буран, вьюгу, ночи темные и густые, как деготь, он уверенно мчался вперед, просвечивая темень одними своими кошачьими глазами. Большаки, искалеченные, изуродованные, где погрязали надолго другие машины, он преодолевал, как нанаец пороги кипящей реки, вдумчивым и отважным мастерством первоклассного водителя.

Наткнувшись на транспортную пробку, Петя Савкин давал воистину концертный номер. Он бегал вдоль остывающих машин, орал на шоферов, покорно дремлющих на баранках, срывал с себя ватник, бросал его под колеса буксующей машины, влезал сам на сиденье, и машина, покоренная его нетерпеливой яростью, выползала на Дорогу.

Однажды генерал-майор, затертый в своей машине образовавшейся пробкой, увидел распорядительность Савкина, подозвал его и, высказав благодарность, пожал руку.

Савкин стоял, как при команде «смирно», коротко попросил у генерала разрешения обратиться к нему:

— Товарищ генерал-майор, если б вы мне при всех пожали руку, тогда это — да. А то я буду рассказывать, а мне все равно не поверят.

Выдумывать Петя Савкин действительно очень любил. Даже про то, что так сказал генералу, Петя, наверное, тоже выдумал.

Но самая главная правда, о которой Петя почему-то не любил говорить, заключалась в том, что, когда Савкин обслуживал нашу батарею, мы никогда не знали перебоев в боепитании. И когда мы били с открытых позиций, и немецкие снаряды и мины рвали вокруг землю в клочья, и вражеские танки мчали на нас, Петя лихо подкатывал к самым орудиям и, помогая выгружать снаряды, уже орал:

— Ребята, я парочку лишних к себе в кабину положил. Разрешите за это дернуть шнурок!

И батарейцы подпускали его к орудию, и Савкин производил выстрел. Потом он уверял нас

всех-всех, кто был на батарее, что своими глазами видел полфашиста в воздухе.

Прорвав немецкие укрепления, мы далеко выкатились вперед, продолжая крушить вражьи гнезда; орудия пожирали целые эшелоны боеприпасов, и наши шоферы работали вторые сутки без отдыха. И снег на поле боя стал черным от копоти.

Вражеские автоматчики пробрались в лес. Устроив себе на деревьях снайперские гнезда, они простреливали большак. Шоферы были вынуждены объезжать в этом месте дорогу. Трассирующие пули цветными тропами чертили ночную тьму.

Савкин мчался в тяжело нагруженной снарядами машине и рядом с ним сидел артиллерийский наблюдатель Госяков, держа у себя на коленях жестяной ящик с ракетами, а за поясом у него висела ракетница, похожая на древний дуэльный пистолет.

Стараясь перекричать шум мотора, Савкин рассказывал Госякову о том, как он с одного выстрела из орудия № 4 подбил вражеский танк и вывез его под огнем на буксире, но в пути немецкий офицер вскочил к нему в кабину и хотел задушить. Савкин задушил его сам левой рукой,

не выпуская баранки из правой.

И опять, конечно, Савкин врал, потому что танка он никакого не подбивал и офицера не душил, но то, что он вывез из-под обстрела на тракторе наш подбитый танк, — это была правда.

Госяков вежливо слушал Савкина. Он не возражал ему, потому что кто станет перечить человеку, сидящему у руля в темноте, невнятной как бездна, и видящему своими кошачьими глазами все, что нужно.

Когда подъехали к тому месту, где шоферы сворачивали на объезд, избегая огня «кукушек», Савкин внезапно заявил, что объезжать он не желает, потому что ему некогда.

Приказав Госякову вылезти из кабины, он спросил:

— Когда встречная машина тебе полными фарами в морду засвечивает, ты видишь что-нибудь?

— Глаза до слез щиплет, где тут, — промямлил Госяков, не понимая, к чему клонит Савкин.

— Ну, так вот, я эту шпану из лесу выкину, — и Савкин щелкнул затвором, загоняя патрон в патронник. — Ты за мной иди, как увидишь — по мне сажают, дуй в то место ракетой и освещай, попятно?

— Есть! — оживился Госяков, но потом тре-

вожно спросил: — А если тебя с первого патрона ухлопают, куда я с машиной деваться буду?

— Меня офицер ихний хотел на обе лопатки положить, — сердито сказал Савкин, — а он в Гамбургском цирке борцом был, медали имел. А как я его французским ключом по котелку съездил, так он все нельсоны забыл.

Госяков скорбно вздохнул и, набив карманы ракетами, пошел вслед за Савкиным, проваливаясь по пояс в снег.

Лес, слипшийся во тьме в черный тяжкий массив, скоро стал прозрачным и светящимся. Пронзительный свет, возникая в нем, горел странным колдовским синим, красным и белым цветом

Это было бы необыкновенно красиво в чарующей тишине ночи, если бы не сухой зловещий стук автомата и не ответный хлесткий винтовочный выстрел.

И опять тишина и мрак. И снова цветущее дивное сияние, стук автомата и хлесткий винтовочный выстрел.

Потом наступило полное безмолвие.

Выползшая в небо луна тлела холодно, как гнилушка, и снег вспыхивал короткими огоньками.

На дорогу вышел Госяков, обвешанный тремя

немецкими автоматами. Он был возбужден и кричал взволнованно, все время оборачиваясь к Савкину:

— Я последнему залепил. Аж жареным завоняло. Вот подсветил, так подсветил.

А Савкин, как ни странно, уныло плелся за ним вслед и морщился так, словно слова Госякова раздражали его.

Всю дорогу Савкин молчал и вел машину осторожно, как никогда в жизни. А Госяков все говорил и говорил. Хорошо, что за шумом мотора разобрать всех слов его было нельзя.

Прибыв на батарею, Савкин не вылез из кабины, а продолжал сидеть в ней, склонив голову на баранку.

Командир орудия № 4 Бурлаков открыл дверцу и весело предложил:

— Петя, давай. Твой положенный ждет.

Но Савкин не поднял головы.

Бурлаков спросил:

— Ты спишь, что ли?..

Савкина вынесли из кабины, бойцы увидели, что стеганка его набухла от крови. Кровь была на сиденье и на полу кабины…

В госпитале Петя Савкин заморочил всем головы своими рассказами о фронтовых похож-

дениях, но когда его спрашивали, при каких обстоятельствах его ранили, Савкин сдержанно замечал:

— Не люблю лишний километраж гонять, бензин зря жечь и все такое. На дороге порядок должен быть, а то что получается…

И начинал рассказывать, как снял немецкого парашютиста, висевшего на сосне. И как после этого все ребята его автобата ходили в шелковых портянках, сделанных из немецкого парашюта.

Юрий Николаевич Либединский

День боя

Первый взвод дошел уже до опушки леса, который точно поглощал людей. (Они, может быть, передвигались дальше ползком? Или прятались в кустарниках?) Но стрельба там стала учащенной, торопливой, и среди монотонно-злых звуков немецких автоматов сильно стали слышны коротенькие и четкие очереди наших автоматических ружей, которые казались Дементьеву особенно бодрыми. Там начиналось то самое главное, для чего их послали.

Дементьев глядел вслед своей быстро идущей роте. Он видел спины, хлястики шинелей, и вид этих спин пробудил в нем чувство опасности: точно что-то грозило всем этим людям. И вдруг чутье, выработавшееся на всем кровавом опыте этой войны, подсказало Дементьеву, что нужно сделать. Он ускорил шаг, обгоняя бойцов. Он спрашивал, где командир взвода, и, обгоняя его, передалось по цепи: «Командира взвода к политруку».

Командир взвода, очень тоненький, высокий, слегка сутулый, как это бывает с людьми подобного сложения, поджидал уже Дементьева,

и его большеглазое, курносое и бледное лицо улыбалось приветливо и заинтересованно. Они поздоровались и назвались друг другу. Засыпкин Александр Ильич — так звали командира взвода.

— Я поговорить с вами хочу, товарищ младший лейтенант, — сказал Дементьев. — Наши вошли уже в бой. Не лучше ли будет вашему взводу остановиться здесь и прикрывать тыл… Ведь, кто их знает, могут танки выскочить…

— Это точно, — хмурясь и в задумчивости покачиваясь, сказал Засыпкин. — Точно, — добавил он оживленно.

— Взвод, стой! — отрывисто скомандовал он. Он подал одну за другой несколько команд, и бойцы стали окапываться, кто опустившись на колени, кто присев на корточки. Маленькими шанцевыми лопаточками взрывали они холодную, спящую землю… Вокруг далеко и близко гудел бой, и это подгоняло людей и придавало их движениям лихорадочную поспешность.

Засыпкин, который ненадолго уходил, снова вернулся.

— Вот, товарищ политрук, — сказал он возбужденно, — по этой стороне оврага пройдет рубеж моего взвода. Когда наши погонят немцев, они будут бежать этим оврагом. Я оставлю здесь два

пулемета, всех их здесь уложим…

— Значит, займись, а я пойду туда, — показал Дементьев в сторону леса, где перестрелка все усиливалась.

Он быстро шел вдоль цепи. Люди молча взглядывали на него и продолжали окапываться. Не все делали это одинаково. Видно, некоторым лопата была в новинку. Дементьев любил каждого из этих людей, так внимательно, то строго, то весело поглядывавших на него. Он поговорил бы с каждым, но говорить было некогда.

Лес был все ближе… Оттуда со свистом, вкрадчивым и ленивым, пролетали пули…

Дементьев сначала шел пригнувшись. Но это мешало ему двигаться быстро. К тому же пули летели над самой землей. Пригнувшись, он скорее мог получить тяжелую рану. Он выпрямился и во всю силу своих резвых ног побежал по осеннему, побуревшему жнивью.

Он добежал до леса и сразу упал в кустарник: из лесу слышны были противно-чужие голоса, все приближавшиеся. Немцы! Вот они!

— Обратно, обратно! Слышите вы, швайнхунде! — кричал своим солдатам коренастый немец. Он крутился на месте, угрожающе поводя вокруг себя своим автоматом, и Дементьев близко видел

его густые черные брови и одутловатое лицо. Немец подпрыгивал на своих коротких ногах, обутых в наши («наши!») сапоги. Как сквозь неизмеримо далекое пространство, доносились слова, которые Дементьев понимал, так как еще до войны изучал немецкий язык. Как грязно ругал своих солдат этот коренастый, весь точно налитый злой силой, подпрыгивающий на месте офицерский чин: «Собачьи свиньи! Висельники! Приплод обезьяны!» И тут же, не переводя дыхания, вдруг стал он мурлыкать об отечестве и о возлюбленных, оставленных дома. И снова сменил это мурлыканье, слащавое и слезливое, на угрозы.

А кругом стояли спокойные темные русские ели.

Офицер добился своего. Черные куртки стали возвращаться в глубь леса. Токот немецких автоматчиков участился…

— Обер-ефрейтор Шпигельбаух! Ко мне! — крикнул офицер. Щупленький, с рыжими бачками, франтоватый молодчик подскочил к офицеру. Вытянувшись, он пучил на него свои белесые глаза… — На мне ничего не нарисовано, мальчик! — со смешком сказал офицер, дружески ударяя обер-ефрейтора по руке, поднесенной к

козырьку, и опуская ее. — Смотри-ка, сюда… — Он показывал обер-ефрейтору что-то, чего Дементьев не видел и что, очевидно, было картой… — Возьмите всех своих и еще отделение бедняги Вальтера. Пройдите-ка вот сюда и сюда. — Офицер рассказывал обстоятельно, но Дементьев многого не понимал, это были топографические термины, пересыпанные цифрами… — Отсюда и подойдите к их батарее. Внезапно… К этой чертовой батарее, и мы заткнем ей глотку! Нет, откуда только у этих свиней такая дьявольская меткость и столько драчливости! — воскликнул он.

Щупленький обер-ефрейтор Шпигельбаух, прихрамывая, пробежал туда, где между деревьями темнели черные куртки немцев. «Эсэсовцы», — подумал Дементьев. Обер-ефрейтор мгновенно и, по оценке Дементьева, очень толково отделил некоторое количество немцев и повел их в сторону.

Наведя свой автомат на просвет между деревьями, в котором должна была показаться вся группа Шпигельбауха, Дементьев ждал. Вот они: первый немец, второй, еще два и сразу кучей. Дементьев нажал крючок. Мерный и злой токот его автомата влился в общий и ровный гул стрельбы немцев. Поводя этим вздрагивающим, послушным, точно

превратившимся в часть его существа оружием, Дементьев продолжал свой грозный счет, но скоро сбился. Одни немцы падали, другие бегали, кричали блеющими голосами, махали руками. Они не понимали, кто и откуда бьет по ним… Но Дементьев вдруг прекратил стрельбу. Все свое внимание он направил на главного врага — на офицера, который был озлоблен, удивлен, но отнюдь не растерян… Он оглядывался, и вдруг Дементьев встретил взгляд этих враждебных, ненавистных глаз… Офицер рванулся, но Дементьев держал его уже под прицелом. Три быстрых выстрела, и, рявкнув и в последний раз подпрыгнув, офицер упал. Дементьев быстро подполз к нему.

Вырвав пистолет из рук офицера, еще горячих, Дементьев вскочил, пробежал несколько шагов в сторону цепи черных курток, видных ему со спин. На глаза ему попался хороший бугорок с камнем, выступавшим из-под земли. Дементьев лег за камнем и стал целиться по черным курткам… Вдруг совсем близко, откуда-то сбоку, откуда он совсем не ожидал, поднялась волна победоносного крика. Это было «ура». И тут все стало происходить очень быстро. Немцы отходили в ту сторону, где залег Дементьев. Подпустив их на

расстояние, наиболее выгодное, он опять открыл прицельный огонь по этим черным курткам, так что каждая короткая очередь его автомата валила на землю то трех, то четырех немцев… Немцы испуганно оглядывались, встревоженно перекликались. Они, видимо, были растеряны.

Среди деревьев вдруг появились серые шинели. Раскрасневшиеся родные лица, штыки наперевес. Немцы теперь просто побежали прочь, и многие бросали автоматы и скидывали ранцы.

Их догоняли.

— Здорово, товарищ политрук! — Дементьев увидел командира роты Закоморного.

«Ура» продолжало греметь по лесу, и Закоморный возник как бы из этой победоносной волны.

— От батареи мы их отогнали, — рассказывал Закоморный. — Теперь надо гнать, не давать зацепиться. Пройди, дорогой, по лесу, погляди, не отстал ли кто из наших, всех их вперед… А я туда… — он указал в ту сторону, где лес редел и куда гнали немцев.

Вдруг все в мире содрогнулось. Это близко загрохотало орудие. И Дементьев, точно его позвал кто-то, пошел в ту сторону, откуда слышен был этот грохот. Он увидел длинный, несколько необычно приподнятый кверху хобот орудия, все

тело которого было замаскировано размашистыми ветвями ели, под которой оно стояло. Видно, что около этого орудия совсем недавно юла жестокая схватка. Появились женщины, которые казались маленькими в своих мешковатых шинелях. Это были совсем молодые девушки… Они осторожно помогали вставать, они ободряли, они говорили те ласковые слова, бессмысленно-нежные слова, которые сказали бы впервые своим возлюбленным и детям…

Дементьев пошел к девушкам-санитаркам, чтобы узнать о раненых своей роты. Вдруг: «Воздух, воздух!» — закричали с поля. Дементьев кинулся туда… Самолеты, множество самолетов летели над деревней, и близко ударили зенитки… Земля взревела и вздрогнула — где-то близко упали бомбы. Дементьев увидел, что некоторые бойцы его роты, залегшие по краю лощины, в которой скрылись немцы, прекратили стрельбу, другие то вскакивали, то опять падали на землю и жались к ней, третьи беспорядочно метались, прячась в кустарниках. Немцы, уже загнанные в лощину, видимо, ободрились, и треск их автоматов стал опять ожесточеннее.

Но среди рева и сотрясения взрывов по-прежнему были слышны легкие, лопающиеся выстрелы

зениток. Артиллеристы также добавили во все это свою долю грохота. Еще один снаряд по «навесной траектории» полетел в направлении неприятельских окопов.

Командир взвода командовал:

— Огонь! Огонь!

Вдруг вверху сверкнуло голубое пламя, что-то загремело, но по-новому. Рыжий огонь мелькнул между деревьями.

— Самолет упал! Наши второй самолет сбили! — крикнул Дементьев. Опять сверкание, холодное и голубое, опять гром. Третий…

— Ура, ура зенитчикам! — воодушевленно грохнуло по цепи. Обстрел лощины, запятой немцами, возобновился. Два орудия, ближнее и дальнее, тут же почти одновременно дали еще по выстрелу в направлении вражеских окопов. И Дементьев вдруг представил себе, что кто-то упрямо направляет всю эту сокрушительную работу артиллерии, подумал о зенитчиках, которые только что оборонили работу артиллеристов, и о своей роте, которая отогнала фашистских автоматчиков от орудий… И на мгновение все происходящее — стоны, крики, раны, кровь, смерть и эти все страшные гулы и грохоты, — все слилось вдруг в одно, прекрасное и величественное, отчего серд-

цу в груди сделалось вдруг тесно. «Мы боремся, мы дружно боремся, и мы победим!» — так можно было выразить языком слов это чувство, но были эти слова слишком бледны перед тем восторгом, который переживал Дементьев.

Разгоряченно и восторженно оглядывал он поле сражения, и вдруг все точно остановилось в нем: слева из-за холма, ломая изгороди, по грядам огородов быстро выползали огромные черные жуки… «Вот оно…» — точно кто-то сурово и строго сказал в душе Дементьева. «Выдержишь ли?»

И Дементьев бежал в сторону третьего взвода. Не напрасно задержал он его для охранения тыла… Из танков его заметили, по нему сыпали пулеметными очередями. Он ложился, вскакивал и снова бежал: то, что сейчас происходило, грозило участи всего сражения, и Дементьев думал только об этом.

Засыпкин издали отчаянно махал Дементьеву и кричал:

— Ложись, ложись!

— Зачем, товарищ политрук, жизнью рискуешь? — укоризненно сказал он, когда Дементьев добежал до него и лег рядом. — У нас здесь, как на Красной площади 7 Ноября.

Он старался говорить спокойно, даже весело и

шутливо, но струйка крови стекала у него с угла рта. Он сам не замечал, что до крови прокусил себе губу…

Это были средние танки, вооруженные каждый несколькими пулеметами и одной пушкой. Пушки били торопливо, точно захлебываясь злым грохотом; снаряды с визгом один за другим пролетали над цепью и тяжело и глухо шмякались во влажную землю пустого, гладкого поля, по которому только что пробежал Дементьев. Одновременно из танков били пулеметными очередями. В цепи то и дело раздавались стоны, ругательства.

— Они нас раздавят к черту, — крикнул вдруг кто-то, и столько страха было в этом крике, что Дементьева всего передернуло. Он видел, как вслед за этим криком зловещее содрогание прошло по цепи.

— Товарищи! Москва, — крикнул он звонко, — за нами Москва! Москва! — Он кричал так, как кричит мать, требующая спасения своего ребенка. Кричал, ни о чем не помня. Да и среди грохота боя вряд ли было слышно, о чем он кричал. Но все слышали слово «Москва!». И все видели его лицо. Кто-то схватил Дементьева за руку и с силой потянул вниз, заставляя его лечь. Это был один из

бойцов, пожилой, с проседью в щетинке бороды.

— Никто не побежит, товарищ политрук, — сказал он, — довел ты людей до совести. А если найдется трус, мы его тут же кончим.

Один из танков задымился, подпрыгнул, и язык голубого воющего пламени поднялся над ним…

— На мину нашу налетел! — крикнул Засыпкин.

Танки замешкались и стали сбоку обходить минное поле. Позади цепи появилась наша противотанковая батарея, и грохоту еще прибавилось. За короткое время подбили они два танка: один уже стоял неподвижно и горел, другой, как изуродованное насекомое, крутился на месте. Но передние четыре танка уже спускались по пологому краю лощины, и с минуты на минуту должна была вступить в действие цепь истребителей. Дементьев вглядывался и никак не мог их разглядеть, хотя они были не более как в шагах двадцати. Забыв о пулях, которые продолжали свистеть вокруг, забыв о своей жизни и смерти, Дементьев и Засыпкин возбужденно переговаривались. Дементьеву ясна была та причина, которая вынудила немцев кинуться в эту танковую атаку. Они во что бы то ни стало хотели прорваться к батареям, чтобы смять их и

приостановить их губительный огонь.

Танки уже перебирались на эту сторону лощины. Дементьев чувствовал, что настал тот момент, когда бойцы-истребители должны были войти в общий ход сражения. Эти неизвестные ему парни-комсомольцы были сейчас все равно, что он сам. Ведь эта задача — не дать фашистским танкам помешать уничтожающей работе батарей — это его задача, он должен выполнить ее.

— Я перейду к ним, — сказал Дементьев. Схватив связку противотанковых гранат и вплотную припадая к земле, он пополз по-пластунски, перебрасываясь с руки на руку и помогая себе ногами, вплотную прижатыми к земле…

Изредка для ориентировки он поднимал голову, оглядывая окружавший мир. Он никак не мог сосчитать, сколько всего танков участвует в нападении. Досчитывал до пятнадцати и сбивался. Во всяком случае их было не больше двадцати и три уже были выведены из строя. Передние пять были совсем близко, и еще ближе, в нескольких шагах от себя, Дементьев увидел возвышавшиеся над землей зеленые каски. Это были истребители. Они сидели в ямках, отрытых попарно… Дементьев свистнул. К нему обернулось несколько молодых лиц. Только в детстве,

во время мальчишеских игр, видел он такие лица, страстно серьезные и увлеченные. Один, с татарскими черными, длинно прорезанными глазами, улыбнулся Дементьеву, мигнул ему, вскочил, одним прыжком переметнулся вперед, прямо к переднему танку… Раздался оглушительный взрыв, передняя часть танка поднялась и загорелась. «Погиб вместе с танком», — подумал Дементьев о черноглазом, но тут же раздался второй взрыв, та же мальчишеская фигура, освещенная пламенем, снова поднялась с земли и тут же ушла под землю. Второй танк взорвался.

Мир состоял из грохота и серо-розового удушливого дыма, из яростного восторга: три танка были уже подбиты… Фашистские танкисты, полуодетые (в танках, наверное, было очень жарко), выскакивали одни с голыми плечами и руками, другие в нижних рубашках… У некоторых в руках были автоматы. Дементьев пристрелил двух… Он не верил своим глазам, но это было так. Фашисты выбежали из четвертого танка, хотя он был в целости. «Да, да, они нас боятся», — подумал Дементьев, опять с восторгом подхватывая свою мысль, которая не раз волновала его в течение этого дня, длящегося точно целую жизнь…

Еще одна группа немецких танков появилась

вдруг сбоку, а на смену тем, которые были уже уничтожены, лезли новые шесть. Рядом с собой Дементьев видел сейчас только четырех истребителей. Среди них был и тот первый смельчак с татарскими глазами. На его петлицах было два треугольника…

— Как зовут тебя? — спросил Дементьев внимательно, чтобы навеки запомнить, вглядываясь в это молодое, румяно-смуглое лицо, отмеченное опасным, недавно зарубцевавшимся, но еще багровым шрамом. Этот шрам пересекал щеку и уходил под воротник.

— Аркадий Забалуев, товарищ политрук. А тебя как звать?

— Григорий Дементьев…

— Владлен Кассовский.

— Александр Груздь.

— Дмитрий Фетисов.

Они наперебой, торопливо называли свои фамилии. Это были только фамилии, но в эти моменты каждому из них казалось, что они говорят друг другу и узнают друг о друге все, что можно сказать словами. Аркадий Забалуев держал в руках бутылку и зорко оглядывался. Танки приближались…

— Начинай, друзья! — крикнул Забалуев, и

опять все было застлано дымом и чадом… На какие-то мельчайшие доли секунды Дементьев вдруг забывался. Ему казалось, что происходит чудовищная игра в городки: розовая от заката, жаркая пыль, вздымавшаяся на улице станицы, пыль жаркая, обжигающая, горячая, пыль вместе с дымом и удушливой, знойной тракторной вонью… Синее небо и слепящее солнце, беспредельные хлеба, урожай…

— Бей, ребята!

— Бей, ребята, фашистов!

Еще три танка горело, и еще шесть немецких танкистов пристрелил политрук Дементьев из своего автомата. Но вдруг тяжелый удар по голове свалил его с ног… «Я живой», — думал Дементьев и отползал, но танк шел на него, и он близко видел эту шершаво-жаркую броню, какую-то чужую, нерусскую клепку, чужие рогатые цифры и буквы… От танка веяло жаром и смертью. Вдруг раздался грохот, танк дрогнул и накренился на бок… Еще одна вспышка грохота. «Мы бьем их, — подумал Дементьев и перестал ползти. — Мы бьем их, значит, все хорошо». Он чувствовал тупую боль в голове, в боку саднило, и вдруг чьи-то сильные руки схватили, потащили его…

Это был Аркадий Забалуев.

Стойкость

I.

Деревня Сорокино, за которую шел бой, давно сожжена фашистами. Только по старым ветлам, расщербленным, отрепанным и обезображенным, можно догадаться, в каком направлении здесь шел уличный порядок. Черепки посуды, какое-то обуглившееся тряпье, искривленные черные скелеты кроватей… Каждый клочок осквернённой земли требовал мести, и бойцы младшего лейтенанта Федорова дрались с каким-то немым ожесточением. Для большинства это был первый бой. Совсем недавно пришли они из запасных частей Подмосковья, Верхнего Поволжья. И нетрудно им было представить на месте сожженного Сорокино свою родную деревню.

Бой начался утром, кончился к вечеру. Гитлеровцев отогнали на сто метров за деревню и закрепились северо-западнее ее на открытой редкой опушке осиновой рощи.

Эта опушка была целью наступательных действий младшего лейтенанта Федорова: владея ею, враг поражал отсюда фланкирующим огнем на-

ши окопы. Нам эта позиция, на шестьсот метров выдающаяся в расположение противника, нужна была как исходная для будущего наступления.

Младший лейтенант Федоров понимал, что немцы не могут примириться с потерей этой важной позиции. Он понимал также, что, выбив фашистов из деревни Сорокино, он только положил начало в выполнении своей очень трудной и очень почетной задачи. Нужно остаться на этой позиции и закрепиться здесь.

Не отдохнув после боя, бойцы в темноте наступившей ночи громоздили снеговые валы, воздвигали круговую оборону. Враги были не более чем в нескольких десятках метрах: справа, слева и спереди явственно слышны были их голоса. Они усиливали огонь, но пулеметчики Софронов и Круглов на каждую вспышку вражеского огня давали свою стремительную, короткую, уничтожающую очередь. Так прикрывали они лихорадочно-быструю и спорую работу по укреплению блиндажей, работу, которая шла в темноте. Нужно успеть до света зарыться; ведь с утра немцы получат возможность бить прицельным огнем. Нужно успеть зарыться и на их огонь ответить тройным огнем. Нужно зарыться здесь. Если выбора не будет — погибнуть, но не

уйти отсюда.

Перед рассветом, в самый темный час ночи, Федоров собрал своих бойцов. Невысокого роста, русенький, незаметный, он завоевал их доверие своей спокойной отвагой, тем, что помнил каждого своего бойца.

— Товарищи, — сказал он, — если потребуется, мы последуем примеру семнадцати наших братьев. — Он замолчал…

— Последуем, — ответил кто-то из бойцов.

О примере семнадцати знали все. А некоторые из бойцов Федорова в лицо помнили этих героев, ели с ними из одного котла и дружески здоровались при встрече. Семнадцать красноармейцев прославились тем, что, взяв два вражеских дзота, все погибли, по навсегда удержали эти дзоты для советского войска, для Советской страны.

Задачу семнадцати героям ставил тот же командир старший лейтенант Булахов, который послал бойцов Федорова в бой за деревню Сорокино. У Федорова было сейчас восемнадцать бойцов, твердо готовых следовать примеру семнадцати.

II.

Старший лейтенант Булахов лежал в темной и тесной землянке на своем КП. Связисты тянули

провод к Федорову, и Булахов ждал возможности поговорить с ним по телефону. Старший лейтенант вспоминал все свои действия в тот памятный день, когда погибли семнадцать героев. Нет, никак не мог он сделать иначе. Все силы его батальона были в бою, а когда подошло подкрепление из полка, семнадцать уже погибли. Но зато дзоты и посейчас являются опорными пунктами расположения полка. Слава семнадцати озарила не только полк и дивизию — вся страна знала о героях. Как в явь, видел Булахов сейчас эти родные лица: какие подвиги мог бы совершить каждый, если бы остался в живых! Но ведь живы те восемнадцать, что закрепляются северо-западнее Сорокино, там, откуда, то затихая, то вновь разгораясь, слышна перестрелка. «Все сделаю, но не дам им погибнуть», — говорил себе Булахов и перебирал все отданные приказания: прорыть траншеи сообщения с группой младшего лейтенанта Федорова; подтянуть боеприпасы и продукты: до света они должны быть туда перекинуты, раненые оттуда доставлены, нужно подобрать людей взамен. Скорее бы, скорее заработала связь!

Трудно молодому командиру сдерживать себя, хочется самому отправиться туда, откуда слышна

перестрелка. Несколько месяцев назад, когда Булахов впервые прибыл на фронт, он, конечно, так и сделал бы. Зимой, когда батальон попал в трудное положение, он пошел вместе с бойцами в контратаку и неплохо поработал своим автоматом. Но за месяц войны повзрослел он, как за год, и твердо знал сейчас, что не пристало ему в передовой линии блистать доблестью. Нет, оставаясь здесь, на КП, он должен отсюда руководить всей совокупной силой огня своего батальона.

III.

Наступили дни горячего весеннего солнца, и с угрожающей быстротой стали оседать только что воздвигнутые снежные укрепления. И опять ночи напролет работали бойцы Федорова, торопились закапываться в землю. Днем же, стараясь использовать для укрытия каждый пенек, каждую ложбинку, каждую воронку от снаряда, каждый камень, они вели перестрелку с немцами, не позволяя врагу поднять головы. Но и самим им тоже целые дни приходилось лежать в талой воде. Разогреваться приходилось в работе: земля была промерзшая и нелегко поддавалась кирке, лому и лопате.

Старший лейтенант Булахов делал все, что-

бы обеспечить бойцам Федорова возможность осуществить свою тяжелую почетную боевую задачу. Телефонная связь работала бесперебойно. По ночам, с риском попасть под обстрел, восемнадцати бойцам доставлялись боеприпасы и обеденная еда.

Этим, по положению, ведал старшина роты Жданов. После того как его ранили в один из первых дней боев за Сорокино, на место его назначен был молодой красноармеец Нестеренко. Это было в те тяжелые дни, когда осели снеговые блиндажи, а земляные укрепления только еще строились, в дни, когда особенно опасно было добраться до восемнадцати храбрецов.

Но не только о том, чтобы были сыты бойцы, заботились командир и комиссар батальона. Младший политрук Данилов ежедневно пробирался к восемнадцати со свежими газетами, устраивал читки и обсуждения политических новостей. Денно и нощно страна работала для фронта, и Нестеренко, чтобы доставить еду, а Данилов, чтобы донести свежие газеты и новости, рисковали своей жизнью.

Здесь, под обстрелом, в нескольких метрах от ненавистного врага, как никогда, остро чувствовали советские воины свою неразрывную связь

с Родиной.

Родина! Они чувствовали себя живой оградой ее. Граница Родины проходила через их сердца, и с особенной отвагой разили они ненавистных врагов. Пулеметчики Софронов и Круглов били из станкового пулемета. Бойцы Поляков, Акоскин, Некрасов, Драгомиров, Миронов, Злобин и другие поражали огнем из винтовок. Командир взвода четыре раза водил свой взвод в атаку и каждый раз отгонял немцев прочь. Подвиги исчислялись десятками, вся жизнь стала подвигом. Но это не были минутные ослепительные порывы, вспыхивающие и тут же гаснущие: геройство восемнадцати горело упорным и ровным пламенем.

IV.

Старший лейтенант Булахов посетил позицию восемнадцати.

Вечер. Но враги почему-то не переставали бить из минометов. Несмотря на это, пунктуальный Федоров начал ночные земляные работы — весенние ночи коротки. Булахов узнал одного из работающих. Недавно прибыв из пополнения, этот боец был послан к Федорову. Командир и комиссар не сразу решились его послать сюда,

боялись, что он может струсить. Но вот он весь в работе. Боец копал землю так спокойно и старательно, точно у себя на огороде, не обращая внимания на отвратительное взвизгивание мин и на разноцветные вспышки ракет — «немецкую чертовщину», предназначенную для того, чтобы сбивать с толку простаков.

— Как дела, папаша? — спросил вдруг Булахов.

Боец взглянул на командира глубоко запавшими глазами.

— Тяжеловато здесь, — глухо ответил он. — Но ничего. Нипочем не уйдем отсюда.

Булахов кивнул головой и отошел. Ведь ему самому не хотелось уходить отсюда. Когда он приходил сюда, он чувствовал, что нет сейчас для человека большего счастья и нет большей чести, чем лежать здесь, на сырой и холодной земле, на шестьсот метров впереди своего расположения, и самому, пряча голову, караулить зазевавшегося врага.

В темноте белели столбы очагов; зловеще безмолвен пустырь, но старой памяти называющийся деревней. Родина! Тихие еловые и осиновые рощи, родные поляны — и эта обугленная пустота на том месте, где была деревня… Каждый из бойцов в сердце своем ощущал эту пустоту, точно

из родной природы насильственно исторгнута была живая и милая душа ее. Вот почему не было большего счастья и не было большей чести, чем часами лежать на сырой, холодной земле и, слушая близкие и ненавистные немецкие голоса, караулить каждое неверное движение врага. Выстрел, короткий предсмертный вопль — еще один враг на счету.

Счет убитых фашистов увеличивался. Сначала отрыты были огневые ячейки, потом их соединили ходами сообщения и прокопали траншеи глубоко в тыл. Сделали деревянные укрытия, отрыли землянки. Стала сильно затоплять вешняя вода — прокопали канавки для стока воды. Теперь в землянках и блиндажах стало сухо, уютно, и бойцы подсмеивались над немцами, которые, визгливо проклиная бога и черта, русских и свое начальство, вычерпывали воду из своих окопов. Слышно было, что они дни и ночи занимаются этим дурацким делом.

— Рус, тебе вода много? — кричали они, удивленные тем, что с нашей стороны не слышно звуков вычерпываемой воды…

Шла нормальная жизнь воинской части. Политрук Семаков жил с восемнадцатью и вел постоянную политмассовую работу. Выпущено

было три боевых листка, проходили партийные собрания, приняты были в партию младший лейтенант Федоров и старший сержант Жильцов.

Командир батальона Булахов поставил себе серьезную задачу и осуществить ее сумел: двадцать дней отстаивали позицию северо-западнее деревни Сорокино восемнадцать героев и потом были сменены другой частью. Трое из восемнадцати — Поляков, Акоскин, Некрасов — после этого посланы были на курсы младших командиров. Сержант Панасенко принял взвод. Старшему сержанту Жильцову присвоено было звание младшего лейтенанта. Но на место выбывших приходили новые люди. Основное ядро восемнадцати сохранилось, по-прежнему бойцы Федорова были на первом месте в батальоне. И когда мне нужно было встретиться с восемнадцатью, чтобы расспросить об их двадцатидневном подвиге, они во главе с неизменным командиром своим опять оказались на такой позиции, откуда лишь поодиночке могли приходить только поздно ночью.

Много говорить мне с ними не пришлось. Весенняя ночь коротка, и они торопились — нужно успеть на новом месте скорее окопаться. «Подвиг? Да какой это был подвиг! Выполнили приказ.

Что было — прошло. Главное то, что происходит сегодня...» И люди скорее торопятся уходить из землянки. Выходя, берут наизготовку автоматы: ведь снаружи совсем близко трещит, сыплется перестрелка...

Только вчера батальон старшего лейтенанта Булахова занял эту рощу, которая полуостровом врезалась во вражеское расположение. Эту рощу враги простреливают с обеих сторон. Очевидно, решив, что русские из-за этого в нее не пойдут, они своевременно ее не заняли. До прихода сюда полка, в составе которого находится батальон старшего лейтенанта Булахова, так оно и было. Но в этом полку шутить не любят. Не пройдет суток, как здесь будут отрыты окопы, построены блиндажи и расставлены пулеметы и минометы. Пройдут считанные дни, и роща превратится в огневой клин, вбитый в глубь вражеских позиций, станет тем, чем стала позиция северо-западнее деревни Сорокине, станет одним из множества пунктов, исходных для нашего наступления.

V.

Пустые поля и неподвижные рощи; темный ельник, сквозистый осинник. Безветренные сумерки... Природа молчит.

Одни из этих рощ заняты нами, другие — врагом, и часа не проходит, чтобы здесь не происходили передвижения и изменения. Война ознаменовывает себя разнообразными грохотами. То беспорядочно громоздится оружейная перестрелка, то вдруг зловеще, вкрадчиво затокует пулемет, то слышен мужественный гул артиллерии, то шакалий взвизг немецких минометов. Звуки возникают то вблизи, то вдалеке, порой сразу и одновременно в нескольких местах…

Константин Яковлевич Финн

Подвиг Петра Игнатьева

Красноармеец Петр Игнатьев был ранен в ногу, когда шел в разведку. Он упал.

Невдалеке от него полз Тимоша Корень. Игнатьев крикнул:

— Тимоша! Я ранен.

Но Тимоша не слышал. Игнатьев крикнул еще раз. Тимоша опять ничего не услыхал, хотя был теперь в каких-нибудь трех шагах от Игнатьева. Петр закричал что было мочи:

— Тимоша! Тимошка!

Но голос свой слышал только он сам: ни Тимоша Корень и никто другой слыхать его не могли, потому что уже минут двадцать Игнатьев в полубеспамятстве лежал на снегу. Ему только казалось, что он кричит. Пуля немецкого часового подстерегла его близ деревни, куда они вместе с Тимошей пошли в разведку, и Тимоша думал, что Игнатьев убит.

Петр Игнатьев очнулся в крестьянской избе. Он лежал на печке. Перед глазами — маленькое оконце. За оконцем — тусклый день. Игнатьев прошептал:

— Кто тут есть?

Никто не ответил.

Он захотел встать с лежанки. Ничего не вышло. Правая нога, казалось, больше не была частью его тела, она как бы стала теперь частью кирпичной лежанки.

Петр пошевелил левой ногой — она была легкая, живая. Он пошевелил руками, помотал головой — все жило. Ободрившись, он попытался оторвать правую ногу от кирпичей, и опять ничего не вышло.

Он закричал:

— Кто ж тут есть?

В избу из сеней вошел старик. Клубы морозного пара ворвались в дверь. Старик был высокий, широкоплечий, костистый. Он подошел к лежанке легкой походкой молодого человека. Ладный старик, из тех, которые живут не хворая и не жалуясь, сохраняя силу свою очень долго, и умирают в одночасье.

— Ну, вот, видишь, — сказал он Петру. — Вот ты живой.

Подойдя к лежанке вплотную, он привычным жестом поправил тулуп, которым боец был укрыт.

— Сколько я здесь дней? — спросил Игнатьев.

— Шесть.

— А нога моя?

— Пухнет, — ответил старик.

— Товарищ мой — где же?

— За ним немцы погнались. Да я слышал — не поймали: тебя я подобрал. Далеко же вы забрались. Тут кругом немцы.

— Ну, еще что про меня скажешь? — спросил Петр.

— Что ж тебе сказать? Винтовку твою я спрятал.

— А немцы не накроют тут меня?

— Лежи, лежи спокойно. Храним тебя пока, слава богу.

Еще десять дней пролежал Игнатьев на кирпичной лежанке. Правая нога становилась тоньше и легче. Она ожила к концу третьей недели. Петр встал с лежанки. Нога заболела страшно, и ему пришлось вернуться на лежанку. Вползая на нее при помощи старика, он первый раз за всю жизнь заплакал. Пролежал еще пять дней и встал. Еще через три дня он откопал винтовку и ушел в лес. Ему хотелось пробраться в какой-нибудь партизанский отряд, но старик, приютивший его, ничего не мог сказать ему путного об отряде. Он только слыхал, что недалеко в лесу есть партизаны. Местность эту Игнатьев не знал. Он вошел

в лес ночью.

Дул ветер. Шумели ели. Лес был огромный. Петр шел наугад. Старик дал ему мешок с хлебом, лопату. Шел часа полтора, а может быть, два. Не встретив никого, он решил пока здесь остановиться. Выбрал место для землянки и стал долбить землю лопатой. Это был нечеловеческий труд. Земля, скованная морозом, не поддавалась.

— Мы все можем, — говорил себе Игнатьев, обливаясь потом, ударяя изо всех сил железной лопатой по мерзлой земле. — Черта с два нас запугаешь.

Он работал два дня. Землянка была выкопана. Замаскировал ее снаружи, утеплил изнутри. Сложил из камней нечто вроде камина, проделал отверстие для выхода дыма. Затопил.

Игнатьев устал и заснул крепко на еловых ветках. Спал много часов. Когда проснулся, было утро. Он вышел из землянки. Лес сейчас был тихим, спокойным, почти беззвучным. Ели в тех местах росли очень высокие. Игнатьевым овладело торжественное состояние. Он умылся снегом, съел кусок хлеба и стал чистить винтовку. Вынул затвор, смазал. Он чистил винтовку тщательно, как чистил ее в части, и думал о Тимоше.

Когда винтовка была вычищена, Игнатьев по-

шел в лес. Лесная дорога проходила, оказывается, километрах в четырех от землянки. На снегу были видны следы автомобильных покрышек. Петр отыскал удобное место для засады. Тут росли кусты, можно было хорошо замаскироваться. Он тщательно разгреб снег между кустами, надрубил ствол соседней ели и повалил ее на то место, где собирался лечь. Со стороны казалось, что ель надломилась сама.

Петр лежал в засаде часа два. Послышался шум мотора. По дороге шел мотоциклет. Это был, очевидно, связной. Петр Игнатьев подпустил его близко и выстрелил.

Несколько минут еще трещала и билась мотоциклетка на земле.

— Нечего тебе, фашист, на свете жить! — сказал Петр Игнатьев, снимая с убитого немца автомат и сумку. — Тебя сюда не звали.

Он оттащил немца и мотоциклет подальше в лес, а сам снова залег на свое место. Уже к вечеру он опять услышал шум мотора. На этот раз показалась грузовая машина. Смеркалось. Петр не разглядел, сколько в ней было людей. Он дал по машине короткую очередь из автомата — берег патроны.

В машине оказалось трое. Шофер и унтер-офи-

цер сидели в кабине, другой унтер-офицер — в кузове. Первые двое были убиты наповал. Мотор заглох. Машина дернулась и остановилась. Унтер-офицер, тот, что стоял в кузове, выстрелил.

— Плохо стреляешь, — сказал Игнатьев и выстрелил в унтер-офицера.

У этого унтер-офицера оказался парабеллум с тремя обоймами, полными патронов. Патроны подходили к автомату, добытому днем у мотоциклиста. Это обрадовало Петра.

В полной темноте добрался он до своей землянки. Зажег костерок, поел. Спать ему не хотелось. Он совсем не чувствовал усталости. Достал из немецкой полевой сумки блокнот и карандаш и стал при свете горящих веток писать письмо Наде.

Это хорошая девушка. Конечно, каждый парень хвалит свою девушку. Это известно. Но тут же вполне объективно: какая у нее улыбка, голос. А то, что она предпочла его, Петра Игнатьева, небольшого роста паренька, белобрысого с приплюснутым носом, красивому Коле Терентьеву, весьма пустому человеку, что это означает? Значит, девушка прекрасно разбирается в людях, и ее не проведешь. Вот такие нам нужны.

Он писал письмо с увлечением до тех пор, по-

ка не догорел костер. И только когда лег спать, подумал, что письмо отправить, пожалуй, будет невозможно.

— Ничего, — сказал он себе. — Буду писать ей каждый день. А потом сам привезу ей все письма. Она будет их читать, как книжку, и ей будет понятно, как я жил и что я ее не забывал.

И он заснул, думая о ней.

Назавтра он нашел новое место у лесной дороги, приспособился и залег. В этот день он уничтожил двух немецких мотоциклистов. А вечером, при свете горящих веток, он опять писал письмо Наде.

С каждым днем он все больше и больше узнавал местность. Примерно в двенадцати километрах на запад от его землянки проходил большак. Он сходил туда, свалил несколько телеграфных столбов.

Километрах в семи на юг, в бывшем совхозе, помещалась немецкая хозяйственная база. Два дня бродил Петр Игнатьев вокруг совхоза, разглядывал и разведывал, а на третью ночь поджег склад с обмундированием. Игнатьев стоял в лесу в пятистах шагах и наблюдал пожар. Огонь лихо пошел гулять по строениям, загорались все новые и новые дома. Петр слышал крики ужаса, брань,

проклятия.

В эту ночь он написал письмо Тимоше.

«Я воюю, Тимоша, — писал он, — изо всех своих сил. Партизаню пока в одиночку и буду партизанить, пока не доберусь до своей части. Здешние партизаны действуют где-то дальше. Конечно, скучаю без коллектива, но что поделаешь, а по тебе скучаю очень».

Дня через два Игнатьеву захотелось поговорить с кем-нибудь. И ночью он пошел в деревню к старику. Старик встретил его приветливо.

— Вот ты все к партизанам стремился, — сказал он, — теперь найдешь их.

— Где? — спросил Петр нетерпеливо.

— В нашем лесу отряд появился. Вчера тут немецкий офицер нас пугал, чтобы мы выдавали. Вообще, кричал.

— Да где же они есть? — спросил Игнатьев.

— В нашем лесу. Не могу тебе сказать, где точно, но есть. Офицер тот нам говорил, что партизаны склад подожгли в бывшем Ивановском совхозе, потом, видишь, на дороге солдат поубивали.

И старик стал перечислять то, что сделал сам Петр.

Боец не знал и, конечно, не мог знать, что в донесениях германского командования он, Петр

Игнатьев, вот уже дней десять фигурирует как партизанский отряд, который необходимо уничтожить во что бы то ни стало.

— Ищи, ищи отряд, — сказал старик. — Найдешь! Я тебе говорю.

— Постараюсь, — ответил Игнатьев коротко.

Вернувшись в землянку, он написал Тимоше:

«Хотя я действую пока один, Тимоша, но врагом, как я сегодня установил, расцениваюсь как целый партизанский отряд. Это свидетельство врага, конечно, придаст мне бодрость. Теперь в мою задачу входит убедить врагов в том, что я не только отряд, а большой отряд. На это я положу все свои силы».

Петр Игнатьев добился этого. В сводках германского командования он стал фигурировать как большой партизанский отряд. Командир дивизии полковник фон Горншторн писал начальнику укрепленного района майору Клюге:

«Почему вы не принимаете решительных мер к уничтожению отряда, действующего в Семеновских лесах? В результате вашего попустительства отряд этот разрастается с каждым днем. Я предлагаю вам немедленно принять все меры к уничтожению отряда».

Майор Клюге делал все для того, чтобы выпол-

нить приказание командира дивизии. Группы немецких солдат рыскали по лесу. Но Игнатьев был неуловим.

И неожиданно кончилось его одиночество. Как-то вечером, возвращаясь в землянку, он услышал скрип шагов по снегу. Он спрятался за дерево и через несколько минут увидал двух человек с винтовками. Один из них был совсем молодой, почти юноша, другой — лет сорока. Они были так похожи друг на друга, что Петр понял сразу — эта отец с сыном.

— Найдем, — сказал отец сыну, — обязательно найдем.

Петр Игнатьев вышел им навстречу.

— Кто? — спросил он, вскидывая винтовку.

— Партизаны, — сказал молодой.

— А ты кто? — спросил старший.

— Партизан.

— Тебя-то нам и надо. Мы действуем тут по соседству, пришли установить связь с вашим отрядом. Веди нас в отряд…

В этот вечер было весело и уютно в землянке Петра Игнатьева. Ветки в костре горели особенно ярко. Петр Игнатьев нашел своих.

Геннадий Семенович Фиш

Сапер Легов

Из фронтового блокнота

Младший лейтенант Круглов приказал младшему сержанту Владимиру Федоровичу Легову взорвать мост, переброшенный через пролив на перешейке между двумя большими озерами. Задание было чрезвычайно важное. В этом направлении противник контратаковал.

Владимир Легов, забрав с собою взрывчатку и шнур, отправился выполнять приказ.

Прошло несколько часов. Младший лейтенант Круглов, политрук роты Балашов и бойцы-саперы услышали грохот взрыва и поняли, что мост поднят на воздух. Вскоре явился и сам Легов и доложил, что задание выполнено.

На другой день один из командиров, наблюдавший за подрывом моста, сказал младшему лейтенанту Круглову:

— Ну, и герой же у тебя Легов!..

— Хороший боец, — отозвался Круглов.

— Хороший? — изумился командир. — Мало сказать хороший! Настоящий герой!

И он рассказал, как было дело.

Заложив несколько килограммов тола под настилом моста, саперы зажгли детонирующий шпур. Огонек медленно пополз по шнуру, но вскоре заглох. Снова подожгли шнур. И снова через полметра огонек потух. Шнур не хотел гореть. Он был переломан, перебит на сгибах. Фашисты уже приближались по дороге к мосту. Обеспечивая их продвижение, заработали вражеские автоматчики…

Ни за что мост не должен был попасть в руки фашистов.

Один из саперов вложил запал в ручную гранату, встряхнул ее и бросил в ящик с толом. Все на берегу с замиранием сердца ждали взрыва. Но взорвалась только граната.

Детонации не произошло, и мост перед глазами стоял во всей своей неприкосновенности. Неприятельские солдаты совсем уже близко подходили к мосту.

Еще несколько минут, и первые фашистские автоматчики проскочат по мосту, захватят его, и тогда вслед за ними пройдут неприятельские части!

Этого нельзя допустить…

И тогда встал Владимир Легов и пошел по дощатому пастилу моста к тому месту, где была

заложена взрывчатка. Он снял с гранаты ее стальную защитного цвета рубашку, вложил в гранату запал, снял с предохранителя и, сильно встряхнув гранату, впихнул ее прямо в середину взрывчатки, превращая в своеобразный запал. Затем спокойные и размеренные его движения сменились торопливыми. Он отскочил в сторону… второй рывок… И сразу вслед за этим раздался оглушительный взрыв. Столб густого дыма взметнулся к небу, и вверх взлетели поломанные доски настила, перекореженные бревна устоев… Через минуту стало тихо — провалились пролеты моста, по воде плавали обгорелые доски.

Только редчайшей счастливой случайностью можно объяснить то, что Легов остался цел и невредим.

Контратака фашистов захлебнулась.

И вот Легов стоит перед своим командиром и политруком.

— Почему вы не доложили о подробностях дела, — спросил Балашов, его бывший школьный учитель. И, смущаясь, словно в школе, когда приходилось отвечать невыученный урок, Легов ответил:

— Мне стыдно было, что шнур отказался действовать… А мост надо было взорвать во что бы

то ни стало… Это я хорошо понимал!

Сын Армении

Из фронтового блокнота

Однажды, когда в одной части выступал приехавший на гастроли ансамбль песни и пляски «Красный Восток», младший сержант Казарьян попросил у командира разрешения выступить на сцене вместе с ансамблем. До призыва в армию, до тех пор, пока он стал артиллеристом, Казарьян работал в этом ансамбле… Горячими аплодисментами наградил танцора-красноармейца переполненный зрителями зал.

В тот жаркий день, когда мы встретили впервые младшего сержанта Казарьяна, мы ничего не знали о его прежней профессии. Дело было в рощице у дороги, на артиллерийских огневых позициях. Перед рощицей лежало широкое открытое поле. Отлично замаскированные орудия били по наседавшему врагу. Они расстреливали его с близких дистанций. Казалось, что сейчас лопнут барабанные перепонки от грохота орудийной пальбы.

К командиру батареи быстро подошел артиллерист. На загорелом и почерневшем от дыма лице

белки быстрых глаз казались особенно белыми. Это был младший сержант Казарьян. Повязка, небрежно повисшая на раненой голове, сползла на лоб.

— Товарищ командир, — озабоченно сказал Казарьян, — товарищ командир, — у меня распухло орудие, что делать? — Он улыбнулся и, словно излучая радость боя, добавил: — За три часа выпустил сто сорок один снаряд…

— Тогда подождите немного, дайте отдохнуть орудию, — сказал командир.

В это мгновение в нескольких шагах от нас с визгом разорвалась мина, пущенная неприятельским минометом. Все сразу полегли на землю. Вслед за первой — другая мина, за ней — третья, и все рвались в роще, где были расставлены орудия батареи.

— Я пойду, товарищ командир, — сказал Казарьян и, ловко вскочив на ноги, быстро пошел своей легкой походкой к орудию.

— Когда неприятель нащупает батарею, продолжайте вести огонь как ни в чем не бывало, чтобы противник не догадался, что он нас нашел, — сказал ему вслед командир. — Тогда они скорее перенесут свой огонь на другую площадь.

И, точно подтверждая слова командира, совсем

рядом раздался гулкий выстрел. Орудие Казарьяна снова вступало в бой.

Вечером мы еще раз встретили Казарьяна.

— Батарея, вперед, за мной! — командовал он, выскакивая верхом на дорогу.

Лошади, закусив удила, роняя пену, на быстром аллюре вывезли орудия. Батарея выезжала на новые огневые рубежи,

С новых рубежей, прикрывая пехотинцев, орудия прямой наводкой расстреливали наседающего врага. Белофинны не щадили своих людей. Они шли плотными группами. Выдвинутое далеко вперед орудие Казарьяна расстреливало их картечью в упор. Снаряд за снарядом попадал в группы врагов, взметая их в воздух, вырывая из рядов десятки солдат.

Под прикрытием этого огня наша пехота переходила на новые рубежи.

Был убит наводчик. Казарьян встал на его место… Потом вражеская пуля унесла с собой жизнь подносчика… Но еще оставалось несколько снарядов.

Казарьян сам подносил, сам заряжал, сам наводил; сам давал команду: «Огонь!» И сам стрелял. Его охватило вдохновение боя, оно увеличивалось с каждым выстрелом, действие которого он

отлично видел.

— Так! Так! — выкрикивал он. И вдруг остановился. Больше снарядов не было… Оставался только один — последний.

Товарищи из боевого расчета лежали, бездыханные, подле орудия…

Младший сержант сорвал с головы наползавшую на глаза повязку. Враги подбирались к орудию. Казарьян отлично видел их сероватые тужурки. Он зарядил орудие последним снарядом. Затем нагнулся и, вырвав вместе с черничными кустиками кусок дерна, бросил его в жерло орудия. Копнув шанцевой лопаткой, он подбросил туда еще немного земли, затем дернул за шнурок. Ствол орудия был испорчен…

— Ничего вы не получите — ни пушки, ни меня! — закричал он и, зарядив гранату, начал поджидать врагов.

Он затянул гортанным голосом слова родной армянской песни.

О чем он думал в ту минуту? О чем он пел? О прекрасной ли своей стране, о своем ли освобожденном пароде, о ненависти ли к людям, которые хотят поработить нас? Вероятно, все это звучало в его песне.

То ли враги хотели взять его живьем, то ли,

слыша его песню, они подумали, что артиллерист сошел с ума…

Когда фашисты приблизились к нему так близко, что хотели уже его схватить, он, не прекращая петь, бросил рядом с собой гранату. Граната, уничтожив несколько солдат, унесла с собой и звучавшую, как песня, жизнь Казарьяна, прервав ее на полуслове. Но он умер победителем.

Сергей Николаевич Сергеев-Ценский

У края воронки

1

Это было в начале войны, в июле, когда немецкие войска вторглись в пределы Украины, наполняя ревом несчетных самолетов и танков небо и землю.

Заняв утром оставленное ночью нашим отрядом село Вербки, командир одного из немецких пехотных полков барон Гебзаттель получил от своего высшего начальства три часа на отдых и завтракал с несколькими из своих офицеров в хате сельсовета.

То был длинный с вытянутым лошадиным лицом человек, державшийся важно и говоривший наставительно, но в то же время возбужденный успехом своего полка и вином, которого было достаточно на столе.

— С сегодняшнего дня, господа, мы уже не в Западной, а в Восточной Украине, то есть давно уже советской, — говорил он, — однако нам очень хорошо известно, как украинцы настроены против русских… В восемнадцатом году они ведь вполне были уверены, что получат полную

независимость, а получили от русских большевиков советы! Вы, разумеется, знаете, что они не примирились с этим, а я скажу больше: они ждут нас, как своих избавителей… Они помнят, как мы дали им гетмана Скоропадского в восемнадцатом году, как мы поддерживали их Петлюру… А я лично должен вам сказать, знаком был с вопросом об Украине еще с пятнадцатого года, когда был лейтенантом, и никто другой, как мой дядя, генерал от кавалерии в отставке, был тогда председателем немецко-украинского общества… Еще бы, да я отлично помню, как торжественно открывалось это общество и как оно называлось даже… Признаться, несколько длинно, но вразумительно… а именно: «Союз германских ревнителей украинских освободительных стремлений»… Да, да, — пытаясь улыбнуться, показал барон желтый оскал крупных зубов, — мы уже тогда были заняты теми самыми вопросами, которые решаем теперь благодаря нашему фюреру.

— Хайль Гитлер, — хором отозвались на это офицеры, чокаясь с ним и друг с другом, а барон Гебзаттель продолжал:

— Я присутствовал на открытии общества. Открывал собрание мой дядя с соответственной речью. Конечно, и украинская история упомина-

лась, и литература, и искусство и прочие скучные вещи, — без этого нельзя, наконец дошел он до экономики Украины, что было самое существенное… После моего дяди с обстоятельным докладом выступил ученый доктор Левицкий, — кажется, не ошибаюсь… Помню такую фразу из его речи: «Украина — экономический хребет России…» Еще бы не хребет! Криворожская руда, донецкий уголь, пшеница, породистый скот из немецких колоний. Еще бы не экономический хребет!.. Потом показывались световые картинки: города, села, виды и типы Украины, — это произвело впечатление на публику. Не обошлось, разумеется, в докладе и без кружев и прочего рукоделья, — это уже специально для дам, — вот, дескать, какие у вас будут искусные работницы… Потом мы имели возможность убедиться в том, что это за богатая страна, когда ее завоевали. Тогда нам не удалось удержаться в ней, — что делать, — зато теперь… теперь мы останемся здесь навсегда.

— Хайль Гитлер, — единогласно крикнули офицеры и потянулись к нему чокаться. Но он не сказал еще всего, что думал сказать, он продолжал, разжигаясь от собственных слов и становясь более красноречивым:

— Ненависть украинцев к русским поработи-

телям — вот что, господа, позволит нам пройти Украину молниеносно, и через неделю-другую быть уже одним частям в Москве, другим — на Кавказе! Большевики заставили украинцев служить в армии, но это нам только на руку. Что, кроме развала, может произойти от их принудительной службы? Армия большевиков рассыплется в прах при нашем нажиме, потому что она разноязычна! Большевики пожнут то, что посеяли: они ввели на Украине свои советы, но оставили в неприкосновенности ее язык, а здесь-то и зарыта собака! Мы-то умеем вводить порядок в порабощенных странах, а большевики лишены этого таланта… за что они и поплатятся очень скоро потерей всего своего европейского пространства.

Барон Гебзаттель говорил так весело, как может говорить только удачливый полководец, хотя Вербки были заняты фланговым ударом танковой колонны, а его пехота пришла уже на готовое.

Понятно, что его поднятое настроение удваивалось в офицерах, и один из них, полковой адъютант, обер-лейтенант фон Ган, придумал подходящее развлечение своему непосредственному начальнику и, чуть только закончен был завтрак, пустился приводить в действие, что

задумал.

Он не плохо говорил по-русски, так как родился и рос в семье немца-управляющего у курских помещиков, бежавших от Октябрьской революции в Германию; был взят из запаса, имел уже почтенную лысину на темени и мечтал добраться поскорее до бывших хозяйских владений.

Замысел фон Гана состоял в том, чтобы доказать воочию молодым офицерам полка полную справедливость слов их командира, он спешил опросить оставшихся в селе раненых красноармейцев, нет ли из них украинцев.

2

Четверо украинцев сержант Задорожный, красноармейцы Линник, Очеретько и Готковой и четверо русских младший сержант Молодушкин, красноармейцы Плотников, Колдобин и Семенов были отобраны фон Ганом из числа контуженых и тяжело раненных, но, по его мнению, могущих добраться до площади против сельсовета. Все были опрошены, не коммунисты ли они, но все оказались беспартийными.

Задорожный, раненный пулей в левую ногу и потерявший много крови, когда его подняли, с трудом даже встал перед немецким офицером.

Кровь хлюпала в его сапоге, и он сказал просто так самому себе, а не этому серо-зеленому, с лоснящимся красным носом:

— Перевязаться бы надо.

— Ничего, хорош будешь и в таком виде, — отозвался на его слова обер-лейтенант и отошел.

Невысокий чернявый, слегка горбоносый, Задорожный поморщился от боли, поставив левую ногу на каблук, — так было легче, — и обратился к своему соседу Плотникову, шевельнув взлохмаченными бровями:

— На вас опираться буду, если идти придется.

— Вполне можете, товарищ сержант, — ответил Плотников и зашел к нему так, чтобы прийтись левой стороной тела: правая рука его висела плетью, ноги же были только ушиблены прянувшей в них землей от разрыва снаряда, однако шагать еще могли.

Молодушкин, худощавый, сероглазый, со стремительным профилем, впалыми щеками, измазанный кровью, был ранен в голову вскользь, но гораздо более серьезной была его пулевая рана в плечо, а главное, он был придавлен крышкой разметанного танком сарая, едва выбрался и имел теперь недоуменный вид. Он еще только пробовал каждый мускул своего тела, какой слу-

жит, какой не хочет, а между тем надо будто бы собираться зачем-то в кучку, ему приказывает какой-то немец, — он в плену.

— Товарищ Очеретько, куда нас, а? — спросил он своего бойца, который отстреливался от немцев из сарая рядом с ним, вместе с ним был придавлен крышей, но выкарабкался раньше его и ему потом помог.

— Мабуть, танцювать, товарищ младший сержант, — сказал Очеретько без улыбки.

Это был ротный остряк. Совсем не положено по уставу, чтобы существовала такая должность в роте, но тем не менее почему-то она существовала, и если не во всех ротах подряд, то в большинстве рот полка непременно находятся такие, которые за словом в карман не лезут, присутствия духа ни в какой обстановке не теряют, и стоит им только рот открыть, от них уже все кругом ждут какого-нибудь коленца, как от комика в театре.

Теперь этот круглолицый приземистый полтавец имел понурый вид, он оглядывал исподлобья улицу села, своих товарищей, немецких солдат около них и офицера, который только что приказывал одному из них, стоявшему навытяжку. Видно было Молодушкину, что ему трудно было держаться стоя.

— Что? Ноги? — кивнул он на странно согнутые его ноги.

— Шкандыбаю, товарищ младший сержант, — без улыбки ответил Очеретько и добавил, показав на Колдобина: — А тому бедолаге ще гирше.

Колдобин, рослый и дюжий, если смотреть на него сзади, стоял согнувшись. На спине его гимнастерки алело скупое пятно, молодое лицо его было землисто-бледное; он кашлял и отхаркивал кровью.

Обер-лейтенант подошел было к нему с видом участия и спросил:

— Как фамилия?

— Колдобин, — неожиданно резко ответил тот.

— Ага, — неопределенно отозвался на это фон Ган, скользнул беглым взглядом по Линнику и Готковому, с виду более крепким, чем остальные, сказал про себя: «Украинцы» и приказал старшему из трех солдат-конвоиров вести их на площадь перед хатой сельсовета.

3

Идти было не так далеко, но трудно — даже и команде вполне здоровых бойцов, не только искалеченным жестоким боем, следы которого были тут повсюду.

Разбитые снарядами хаты выпирали вперед обломками крыш и стен. Трупы людей и лошадей едва успели оттащить к порядку хат. Нависли над улицей и поломанные высокие вербы, зияли воронки, и то и дело приходилось их обходить. Пахло гарью от дотлевавших строений, сожженных ночью артиллерийским огнем, но жителей села не было видно, — прятались ли они внутри хат, ушли ли перед боем, — попадались лишь немецкие солдаты.

Старший из конвойных шел впереди, двое других по сторонам, равняясь на последних из пленных и приноравливаясь к их медленным через силу движениям.

Не один Плотников, — еще и Линник с другой стороны поддерживали Задорожного, который ступал только правой ногой, а левую подтягивал; Готковой заботливо поддерживал Семенова, Молодушкин помогал идти Очеретько, и только Колдобин, держась рукою за грудь и сплевывая кровь, шел один.

Из того, что конвойный никого не подгонял, Молодушкин сделал вывод, которым поделился с Очеретько:

— Куда-то хотят доставить нас в целости.

Очеретько же буркнул на это:

— Звистное дило, народ вдумчивый.

Задорожный, услышав, что сказал младший сержант, отозвался ему:

— На допрос, должно быть, ведут.

И добавил, несколько повысив голос, чтобы всем было его слышно:

— Помните, товарищи, никаких сведений о своей части врагу не давать.

Все чуть кивнули на эти слова головами, но конвойным, видно, не было приказано запрещать разговоров, и они шли молча, не обращая на них внимания, пока старший из них, шедший впереди, не скомандовал: «Хальт!» и не остановился сам около глубокой и обширной воронки среди площади. Про эту воронку Очеретько сказал, значительно взглянув на Молодушкина:

— Эт-то котлован.

И все дружно переглянулись, а Готковой протяжно и глухо присвистнул. Однако и без этого выразительного свиста можно было понять, для чего подвели всех к такому «котловану»: со стороны хаты сельсовета шли тот самый оберлейтенант, который отбирал их и говорил с ними, но обогнал их, идя не по улицам, а через дворы; рядом с ним высокий важного вида полковник, как определил Задорожный, а несколько

сзади человек шесть офицеров; следом за ними несколько солдат несли лопаты.

— Видать, допрос будет недолгий, — сказал Очеретько.

Барон Гебзаттель оглядел кучку раненых бойцов и обратился недовольным тоном к фон Гану.

— Где же здесь русские, где украинцы, я не вижу.

Это, действительно, было упущение обер-лейтенанта, и он, выкрикнул с запалом:

— Зачем перемешались так, а-а?.. Русские четверо — стать нале-во. Украинцы — напра-во.

Задорожный поглядел вопросительно на Молодушкина, подняв черные густые брови, тот — на него, дернув кверху плечо, а Плотников сказал вполголоса:

— Стена на стену он нас пустить, что ли, хочет, а?

Однако он не выпустил руки сержанта. Другие тоже остались на своих местах, несмотря на то, что все поняли команду.

Тогда конвойные, которым мигнул обер-лейтенант, ретиво подскочив, оттащили Плотникова от сержанта, при котором остался Линник, державший его крепко, и Очеретько от Молодушкина; Готковой же, передав Семенова Молодушкину,

отодвинулся к Задорожному сам и стал на место Плотникова.

Между украинцами и русскими бойцами расстояние было не больше двух шагов, но дело было не в том, чтобы их отделить друг от друга.

Фон Ган, старавшийся держаться на одной линии с полковником, чтобы не потерять ни крупицы его одобрения своей затее, подбросил как мог молодцеватей голову, точно приготовился говорить перед целым батальоном, и начал, тщательно выбирая слова и глядя не столько на Задорожного, сколько на трех других около него:

— Украинцы!.. Мы все понимаем, все знаем! Вас заставили сражаться против нас большевики, — мы это знаем. В восемнадцатом году, тогда… все было тогда иначе, чем теперь. Тогда вы могли быть свободным народом, — вот чем вы могли быть тогда, если бы не русские большевики вами тогда овладели!.. Кто нес вам свободу и независимость тогда? Мы, немцы… Это называлось тогда по-украински, вы знаете, — самостийность, — вот как это называлось, украинцы… Так я говорю? — вдруг перебил он свою речь вопросом, однако ему никто не ответил, и он продолжал, мельком взглянув на полковника: — Я говорю так, как надо: самостийность, и мы, немцы, вам ее

дали, они ж, русские, — показал он пальцами на Молодушкина и других, — у вас ее отняли. Они, русские большевики, с которыми мы воюем, отняли у вас все, чем вы жили: хозяйство, землю, завели эти самые кол-хо-зы, которые вы, — нам хорошо известно это, — ненавидите изо всех сил!.. Они отняли у вас религию, да, даже ре-лигию, а вы были такие религиозные — в каждом хуторе церковь и ваш этот, как называется, поп. Они уничтожили по-ме-щи-ка, да, которого вы почитали… у которого вы… могли брать в аренду зем-лю… Они, эти русские, — он опять указал пальцем на Молодушкина, — ввели у вас большевизм, который вы ненавидите.

Тут фон Ган посмотрел искательно на барона Гебзаттеля, и тот при слове «большевизм» качнул одобрительно головой.

— Вот врет-то, — буркнул Плотников Молодушкину. Очеретько же, обращаясь к Задорожному вполголоса, сказал то же самое, только по-украински:

— Бреше, як цюцик.

Но кивок командира полка окрылил обер-лейтенанта, и он закончил речь с подъемом:

— Повторяю вам, украинцы, что русские — наши враги и они — ваши враги… Сзади вас яма.

Столкните сейчас же туда этих русских и тогда… тогда мы вас будем лечить, украинцев, и мы вас вылечим, и мы вас пустим домой к своим семьям… Поняли?.. Ну… Начинай…

Он приостановился, но, не видя ни малейшего движения среди четырех украинцев, скомандовал раздельно:

— Начи-най.

Очеретько слегка толкнул локтем Задорожного, но тот видел и сам, что ему надо ответить за всех своих, как старшему, и, кашлянув, начал:

— Во-первых, разрешите сказать вам, что это вы напрасно даже и сделали, нас разделили на русских и украинцев: мы все одинаково советские бойцы.

— Постой, постой! — закричал фон Ган. — Ты что мне по-русски? Ты — украинец?

— Украинец!.. А вам як хочется, щоб я по-вкраински балаков, то я можу и по-вкраински…

— Постой, постой, — вновь перебил фон Ган, не ожидая для себя ничего подходящего от сержанта, и указал на Очеретько, спросив предварительно:

— Как твоя фамилия?

— То не нажить, яка в менэ хвамилия, а шо касаемо вкраинец, то як же ни, — расстановисто начал Очеретько. — Вкраинец, та еще из-пид Пи-

рятина. А як вы хвалились, шо все чисто знаете, то може и то знаете, що Пирятин — вин усим приятель, так же бачите, и русьским… Касаемо земли, то вже усим известно, — землю мы получили паньску в вичность… А що Хитлера вашего замест иконы встремить, то, сказать вам прямо, не треба, хай ему бис. А касаемо помищиков…

Фон Ган не дал ему закончить. Пусть ни командир полка, ни кто-либо из офицеров не понял, что именно сказал про Гитлера этот дерзкий украинец, зато он понял и закричал визгливо:

— Молчать, мерзавец… Сейчас же столкай всех русских в яму, ну! Иначе, иначе… — он только показал Очеретько кулак, на момент захлебнувшись от злобы, но вместо Очеретько ответил на его визг Готковой:

— Касаемо русьских, то они у нашему Союзи на равних правах з нами, вкраинцами, также само и в Красной Армии, и того вы не дождетесь, шоб мы их, товарищей своих ридных, кудысь товкали.

— Ага. Та-ак… Так вот вы какие появились! — вне себя от того, что провалилась его затея, закричал фон Ган. — В таком случае вы, вы, русские, столкните их, их, этих мерзавцев.

— Как смеешь называть мерзавцами, ты-ы, хлюст! — в тон ему, так же высоко и резко, закри-

чал Молодушкин, ставший вдруг страшным со своими впалыми закровавленными щеками, потемневшими глазами и порывистым наклоном тела вперед.

— Провокацией занимаешься, сволочь, дурак?! Не на тех напал, гнида! — неожиданно громко выкрикнул самый слабый на вид из всех восьмерых Семенов. И обер-лейтенант фон Ган, родившийся и проведший детство, отрочество и юность в имении в Курской губернии, где не только были липовые аллеи, но и высокие цитроны в больших кадках в зимнем саду, потерял всю свою выдержку. Он выхватил из кобуры револьвер и выстрелил в Семенова, потом в Очеретько… Тут же подскочили и конвойные, выставив штыки…

Борьба у края воронки не могла быть ни яростной, ни долгой. Безоружные раненые и без того еле держались на ногах, не могли сопротивляться, и через минуту жесткая желтая земля уже летела вниз, засыпая иных убитых, иных еще живых, восьмерых бойцов, а посрамленный затейник обер-лейтенант уходил к хате сельсовета, держась на шаг сзади высокопарного барона Гебзаттеля, имевшего несколько недовольный вид.

Вениамин Александрович Каверин

Сила сильных

Почти невозможно было представить себе, что лишь неделю назад он защищал диссертацию на тему «Древнейшие сказания европейских народов». Аудитория была полна, и старый Кирпичников, открывая заседание, поблагодарил его за то, что он занялся этим вопросом, и сказал длинную изящную фразу о своих учениках, сменивших перо на винтовку и с равным успехом сражающихся на фронтах войны и науки.

Аня тоже была на защите, хотя ей рано еще было выходить после родов. Она сидела, как на иголках, потому что скоро надо было бежать кормить это удивительное, некрасивое, с морщинками существо, которое, кажется, только вчера появилось у них в комнате, а уже заставило всех думать о себе. Он делал ей знаки, что пора, но она кивала, смеясь, и все сидела, раскрасневшаяся и счастливая.

Несколько раз во время прений ему приходила в голову досадная мысль, что его бы не так расхваливали, если бы он не приехал с фронта. Но ведь работа была в самом деле, кажется, недурна. Как бы то ни было, ему единогласно присвоили

степень кандидата наук, и Кирпичников в заключительном слове даже сказал, что в сущности это докторская диссертация, — не хватает только более подробного анализа некоторых важных источников.

После защиты он растерялся от поздравлений и позвал к себе слишком много гостей; негде было усадить их в маленькой комнатке, полной книг и пеленок. Гости рассматривали и хвалили сына…

Все это было ровно неделю назад. Да полно, было ли это?

Мертвое, взрытое снарядами поле лежало перед ним, земля, на которой был посеян и взошел хлеб, а потом сгорел и был развеян по ветру вместе с пороховым дымом, земля, на которой было сделано все, чтобы человек не мог на ней существовать.

По одну сторону этого куска земли лежали, спрятавшись за глинистыми буграми, гитлеровцы, пришедшие в чужую, далекую страну по приказу своего фюрера, уничтожающие, грабящие, сжигающие все на своем пути, живущие лишь сегодняшним днем, не желающие смотреть в глаза будущему, которое грозило им гибелью и позором. Их было много, не меньше взвода. Неподалеку от них, по эту сторону мертвого

ржаного поля, лежал только один — кандидат филологических наук младший лейтенант Лев Никольский.

Он был окружен и по всем правилам войны, которую немцы вот уже более двух лет вели на континенте Европы, должен был положить оружие и сдаться в плен победителям. Но он не считал себя побежденным. Пулемет еще работал, а если бы он замолчал, в ход пошли бы винтовка и гранаты. Впрочем, он был не один. Двенадцать мертвых товарищей, которые еще вчера вместе с ним защищали этот голый кусок земли с одинокой березой, лежали вдоль траншеи. Тринадцатый был еще жив. Это был разведчик Петя Данилов, любимец всего полка, талантливый и умный парень, писавший стихи и читавший их вслух в самые горячие минуты боя.

Теперь он лежал, раненный в грудь навылет, и смотрел в небо, осеннее, но ясное, с редкими, освещенными снизу облаками. Береза вздрагивала от выстрелов, и желтые листья время от времени падали на раненого. Один лист упал Пете на лицо, но Петя не смахнул его, не пошевелился.

«Умер?» — оглянувшись и увидев это бледное спокойное лицо, на котором лежал желтый лист, подумал Никольский.

В одну из редких пауз тишины он подполз к Пете и, смахнув лист, взял его за руку.

— Ну как ты, а?

— Ничего, — чуть слышно ответил Петя, — дышать трудно. Послушай… — он помолчал, потом стал с трудом вынимать из кармана гимнастерки бумаги. — Тут мои стихи остались. Пошли их вместе с письмом, ладно?

Накануне он долго писал письмо, и Никольский знал, что он пишет девушке, которая часто приходила к нему, когда часть формировалась в Ленинграде.

— Ладно, пошлю. Пить хочешь?

Он поставил подле Пети кружку с водой и вернулся к пулемету.

Должно быть, не больше пяти минут он провел с Петей, а уж немцы, воспользовавшись тем, что пулемет замолчал, намного продвинулись к траншее. Никольский дал очередь, другую — они залегли. Потом снова стали приближаться, прячась между редкими пучками ржи, торчавшей в поле.

Плохо было то, что слева, метрах в двухстах от березы, стояло орудие. Правда, оно стреляло не по траншее, а в глубину, туда, где на горизонте были видны темные, еще дымящиеся развали-

ны сгоревшей деревни. Но в любую минуту оно могло ударить и по траншее, которую защищало подразделение, состоящее из двенадцати убитых, одного серьезно раненого и одного живого. Эх, подобраться бы к этому орудию! И тропка была — вот там, где за выходами взрытой бурой земли начиналось болотце с высокой травой. Но нечего было и думать! Он понимал, что немцы захватят траншею, едва только замолчит пулемет.

Никольский невольно вернулся к этой мысли, когда начало темнеть. Солнце заходило, и, обернувшись, он увидел, как под легким ветром клонилась трава на зеленом болотце. Теперь тропка была почти не видна.

Ему показалось, что Петя зовет его. Он ответил шепотом:

— Что?

Петя молчал. Но прошло несколько минут, и слабый голос снова произнес что-то. Никольский прислушался, и в первый раз его сердце дрогнуло, и он крепко сжал зубы, глаза, все лицо, чтобы справиться с невольным волнением. Петя читал стихи. Он бредил, но голос был ясный, звонкий:

Есть улица в нашей столице,
Есть домик, и в домике том

Ты пятую ночь в огневице
Лежишь на одре роковом…

Петя читал, закрыв глаза, и каждое слово доносилось отчетливо и плавно.

— Петя, — взяв его за руку, тихо сказал Никольский.

Петя открыл глаза. Глаза были туманные, и одно мгновение Петя смотрел на Никольского, не узнавая.

— Что? — чуть слышно спросил он.

— Петенька, голубчик… Ты меня слышишь? Пулемет нельзя оставить, а то бы я к ним с тылу зашел. К тому орудию, понимаешь? А так все равно конец. Ты не можешь?..

Никольский не окончил, такой бессмысленной вдруг показалась ему эта мысль.

Петя приподнялся на локте. Он хотел что-то сказать, но промолчал и, часто и трудно дыша, стал садиться. Волосы упали на лоб, Никольский откинул их и, держа его лицо в руках, говорил что-то, не слыша себя, беспорядочно и быстро.

— Дай-ка воды, — отчетливо сказал Петя.

У него было потемневшее страшное лицо, когда, сунув в кружку с водой руку, он начал водить ею по лицу, по глазам. Потом вылил воду на го-

лову и, тяжело опершись на Никольского, пополз к пулемету.

— Есть! Иди, — сказал он, схватившись за ручки пулемета. — А я... Да иди же! — нетерпеливо повторил он, видя, что Никольский медлит, и дал очередь.

— Видишь? Все в порядке. Я еще покажу им!

Пробираясь по тропке к болотцу, Никольский услышал звонкий Петин голос между двумя пулеметными очередями:

Не снятся ль тебе наши встречи
На улице, в жуткий мороз,
Иль наши любовные речи
И ласки, и ласки до слез?

Должно быть, Петя переоценил свои силы, потому что пулемет замолчал, едва только Никольский добрался до выхода из траншеи. Пулемет замолчал, и, не теряя ни минуты, враги пошли в атаку. Притаившись за большими комьями мокрой земли, Никольский видел, как стреляя из автоматов, они набежали на траншею и, мешая друг другу, стали прыгать в нее. Торопились.

Он видел, как, подброшенное штыками, взлетело одно мертвое тело, потом другое. Не остерегаясь больше, он поднялся. Сердце у него замерло.

Высокий толстый солдат наклонился над Петей. Нож блеснул — раз, другой, третий.

Никольский невольно вскрикнул и прикусил губу. Все стало для него другим в эту минуту.

— Ах, вы так? Вот что!.. Раненого? Вы так! — пробормотал он.

Он не спал трое суток и почти ничего не ел. Еще полчаса назад он лишь мучительным усилием воли заставлял себя стрелять, следить за своими движениями, думать. Несколько раз он ловил себя на сонном чувстве полного безразличия ко всему, что происходит вокруг.

Теперь все переменилось. Он снова свеж и бодр. Время, тянувшееся бесконечно долго, вдруг разделилось на самые короткие секунды, и сердце, охваченное злобой и жаждой мести, билось в такт этим секундам — отчетливо и мерно.

Втянув голову в плечи, он мягко опустился в траву и бесшумно пополз, скорее угадывая, чем видя чуть примятую, пересекавшую болото тропинку. Редкие выстрелы автоматов еще слышались в траншее, но для него во всем мире наступила огромная тишина. И в этой тишине оглушительно громко билось сердце.

Он подобрался к орудию сзади и некоторое время лежал, слушая, как немцы разговаривали

резкими уверенными голосами. Он ждал, когда весь расчет соберется возле орудия. Минута, другая, третья. Он приподнялся, бросил одну гранату и сразу вторую.

Все, что произошло потом, было похоже на сон. И это был самый лучший и радостный сон в его жизни.

Немцы, занявшие траншею, были захвачены врасплох, и первым снарядом из уже заряженного орудия Никольский убил сразу же человек двадцать. Петино лицо, бледное, с прядью белокурых волос, упавших на лоб, стояло перед ним, и он твердо знал, что нет ничего лучше, выше, благороднее во все времена, во всем мире, как убивать врагов, фашистов, петиных убийц.

За стихи, которые Петя читал между пулеметными очередями, за дымящиеся развалины сожженной деревни, за ограбленных женщин и детей, бродящих по лесам без крова и пищи, за горе каждой семьи, за разлуку с близкими, за Аню с маленьким сыном, которых он больше никогда не увидит…

* * *

Из газет: «Младший лейтенант Лев Николаевич Никольский на одном из участков Ленинградско-

го фронта, будучи окружен немцами, в течение суток один держал укрепленный рубеж. Оставив у пулемета раненого товарища, он подобрался с тылу к небольшому немецкому орудию и, овладев им, прямой наводкой уничтожил до пятидесяти немцев. Рубеж был удержан до прихода наших подкреплений. Постановлением правительства лейтенант Никольский награжден орденом Красного Знамени».

Павел Филиппович Нилин

Совесть

Никто из товарищей не мог бы в точности сказать, где родился он, где вырос и где оставил семью, этот невзрачный на вид, неразговорчивый и как будто застенчивый, Антон Бережков.

Никто не помнил теперь, когда и откуда он пришел сюда, в стрелковое подразделение, которым командовал капитан Князев, никто, впрочем, никогда и не спрашивал его об этом. Как-то не приходилось спросить.

И он сам никого ни о чем не спрашивал…

В землянке в короткие паузы между боями он сидел всегда в сторонке, занятый починкой обмундирования и пригонкой снаряжения.

Писем он никогда никому не писал.

А когда с ним разговаривал заместитель политрука, он отвечал на вопросы кратко и не очень охотно, уклончиво.

Бывают такие скрытные, тихие люди.

Но как только начинался бой, человек этот сразу преображался, становился подвижным и цепким и лез в самое пекло, будто отыскивая для себя самое трудное дело в этой трудной и тяжелой войне.

И заметно было, что драться он умеет, что в боевом азарте он не теряет головы и смелость его сочетается со сноровкой и ловкостью и природным, неистребимым лукавством.

Однажды он прыгнул во время боя в глубокий немецкий окоп, где сидели два солдата и офицер.

Двух солдат, растерявшихся, должно быть, от неожиданности, он заколол штыком. А офицер свалил его, подмял под себя и стал душить. Офицер был крупный, тяжелый и толстый, может быть, больше оттого, что надел поверх шинели дамскую беличью шубу.

Видно, и дама, носившая эту шубу, была не из мелких.

Маленький Бережков совсем было исчез под грузной тушей. Но через мгновение офицер вдруг всхлипнул, дернулся и свалился на мокрую солому, устилавшую глубокий немецкий окоп.

Оказывается, Бережков, полузадушенный, отыскал под беличьей шубой офицерский кинжал и ткнул офицера в брюхо сквозь сложную броню из шинели, мундира и белья.

В другой раз Бережков оказался один на один против тяжелого немецкого танка, прорвавшего наше боевое охранение.

Похоже было, что Бережкова больше нет. Может, танк уже раздавил его. Но вдруг танк подпрыгнул и закрутился на месте. И тогда стало ясно, что боец жив и цел. Он только прижался к снегу и, слившись с ним в своем белом маскировочном халате, кинул связку гранат под танк…

Всю зиму батальон, как и вся армия наша, начавшая наступление, шел в метель и в мороз по глубоким снегам, пробирался ползком в дыму жгучей поземки, часами и сутками лежал под открытым небом на обледеневшем снегу, блокируя и атакуя узлы немецкого сопротивления…

Выносливостью и даже смелостью теперь, пожалуй, нелегко удивить. И все-таки Бережков, рядовой, невзрачный на вид красноармеец, именно этим удивлял многих. А совсем недавно, в апреле, он, казалось, сам превзошел себя.

Враги пошли в контратаку, чтобы таким способом удержать укрепленный пункт, за который уже сутки шел упорный бой. После того как контратака была отбита и наша пехота продвинулась вперед, с правого фланга почти в тылу у наступающих неожиданно заговорили два замаскированных пулемета. Опасность для нашей пехоты была велика. И тут Бережков обратил на себя всеобщее внимание. Под пулеметным

огнем, не ожидая приказаний, он быстро пополз в ту сторону, прорывая в глубоком снегу узенькую траншею. Вскоре за ним последовали еще три бойца. Но догнать Бережкова было нелегко. Он полз, как лисица, сердито орудуя руками и ногами.

Минут через пять все услышали взрыв гранаты. Потом второй, третий. Некоторое время спустя раздались еще пять или шесть взрывов. Но главное уже было сделано Бережковым. Пулеметы замолчали после первых взрывов. Пехота снова двинулась вперед. И Бережков поспешно бросился догонять наступающих, оставляя позади себя на зернистом предвесеннем снегу пятна крови.

А вечером, когда немецкие глубокие блиндажи были заняты нашей пехотой, молчаливый этот человек, отказавшийся пойти в санбат, перевязанный, сидел по своему обыкновению в уголке на бревнышке и, как всегда, был занят починкой своего обмундирования. Но теперь все разговоры были сосредоточены вокруг него. И многие спрашивали, как он себя чувствует? Не лучше ли ему все-таки сходить в санбат? Бережков конфузливо отвечал, что у него все в порядке, что пули только оцарапали его и каску помяли. А так — полный порядок…

Вспомнили, что Бережков был уже представлен раньше к медали «За отвагу». И теперь говорили, что, когда он будет получать медаль, ему, наверно, тут же вручат орден, потому что лейтенант уже доложил про него капитану Князеву. А капитан Князев человек внимательный и давно знает про Бережкова. Может, Бережкову даже звание присвоят.

— Будешь, Бережков, у нас командиром.

Бережков вдруг улыбнулся:

— А вы согласны, чтоб я был?

— Ну что же, — сказали красноармейцы. — Человек ты смелый, огневой.

Приходили из соседнего взвода и даже из третьей роты приходили спрашивать, что за парень такой отчаянный у них во втором взводе. Последним в тот вечер пришел сержант-сибиряк Афанасий Балахонов. Он сказал, что сибиряки тоже удивились. Ну, один пулемет заглушить — это понятно. Но чтобы два станковых зараз один человек заглушил… И главное — быстро, вот что любо-дорого. Можно считать — это просто геройство. Привет такому товарищу.

Бережков, стесняясь, опускал глаза. Похвала сибиряков, видимо, тронула его. Ведь теперь все знают, что за парни — сибиряки… Похвала сиби-

ряков стоит многого.

Но, похвалив, Балахонов не уходил. Он присел рядом с героем и, приглядываясь к нему, стал расспрашивать обо всем. Потом сказал:

— Я тебя, парень, где-то, однако, видел.

— Не знаю, где, — сказал Бережков.

— И голос мне твой знакомый, — задумчиво произнес сержант.

И вдруг в памяти двух людей, может быть, одновременно, возникло Минское шоссе в октябре. Дождь и снег и снова дождь. И туман, ползущий из леса. А где-то вдалеке бухают пушки.

По шоссе увозили раненых. А навстречу им двигалась колонна грузовиков, в которых ехали на фронт сибиряки.

На короткой остановке идущие в бой расспрашивали вышедших из боя о немце. Враг остервенело рвался к Москве. Он, говорили, уже прорвал передний край нашей обороны. Бойцы закуривали и ждали встречи с ним. Непонятно еще было, где и когда эта встреча произойдет.

И вот из тумана вышел небольшого роста человек в военной шапке и в шинели, но подпоясанный не ремнем, а обрывком провода.

— Разрешите, товарищи, и мне закурить, — сказал он, — как пострадавшему бойцу.

Видно было, что он не ранен, но винтовки у него не было.

— Винтовка-то у тебя где? — спросили его.

— Винтовка, — повторил этот странный человек. И вдруг озлился: — Вы, наверно, еще там не бывали. Вот как побываете… — крикнул он, точно рыба на берегу, открывая рот, заросший давно небритой рыжей щетиной.

— Дурак, — сказал ему раненый. — Это ж сибиряки. Чего ты их пугаешь.

А один сибиряк брезгливо взял человека за шиворот и спихнул с обочины.

— Что ж вы на русского, как на немца, бросаетесь? — закричал странный человек, снова выползая на шоссе.

— Какой ты русский, — сдерживая ярость, сказал ему сибиряк. — Ты чурка с глазами. Я таких из глины могу делать. По три копейки за штуку. Руки только марать не хочу, а пулю жалко…

И странный человек ушел в туман.

Бережков не стал финтить. Неожиданно прослезившись сейчас, он признался, что все так в точности и было тогда в октябре. Он был напуган, отстал от своей части, которая шла на пополнение к Москве или за Москву.

Документы у него были в общем правильные.

Видно было, что он отстал от части. И патрули указывали ему, куда обратиться, чтобы вернуться к своим. А встречным людям он говорил: вышел, мол, из окружения. Народ жалел его. Угощали, потчевали чем придется. Одна баба пяток яиц ему дала. Дома, может, у нее дети, а она ему — пяток яиц даром.

— На, пожалуйста, дорогой товарищ, ежели ты наш защитник, красный армеец.

Народ повсеместно приветствовал его, как бойца. И было стыдно ему. Ну с какими глазами он после войны поехал бы к детям, к жене домой, в совхоз на Волгу? Дети его учатся, растут, все понимают. Неужели он и детям своим будет врать?

В Москве в это время даже бабы окопы рыли и кровь свою сдавали в госпиталя. Побродил Бережков по Москве этак дня полтора, поглядел на все и постигла его такая смертная тоска, какой, наверно, не испытать больше во всю жизнь.

— Чурка с глазами, сказал ты про меня тогда, — напомнил Бережков сержанту Балахонову. — Может, я действительно как чурка тогда был. Все русские, как русские, а я — как чурка. Подумал я, подумал и пошел обратно на фронт.

Вот тут Бережков и принял, как говорят старухи, всю казнь господнюю. Шел он на фронт, а

его не пускали. Говорил он в сердцах часовому на шоссе:

— Ведь я не на свадьбу иду, на войну. Чего же ты меня задерживаешь?

А часовой говорил:

— Мы на войну тоже не всех пускаем. Проверять тебя надо.

Приблудился все-таки Бережков к одной части. Показал документы. Время было горячее, приняли его. Проявил он себя. Да так и остался тут.

— А все-таки до сей поры сердце жжет мне пятно, которое положил я на себя в октябре. Не напугает меня теперь немец во веки веков. Нам политрук объяснял, будто немец сейчас грозится весной. Пусть. Хоть весной, хоть летом. Нечему ему нас пугать. А за испуг мой тогдашний буду я теперь ему мстить до окончания жизни моей, пока не сниму с себя пятно окончательно.

Балахонов слушал его. Потом признался:

— А я, знаешь, тоже тогда затосковал. Почему, думал, я на него пулю пожалел. Казнить надо таких людей, которые с испуга могут Советскую Родину продать. А ты, однако, вон, гляди какой. Действуешь. Сердце просто радуется глядеть на тебя. Ведь ты кровью своей, как я понимаю, смываешь с себя пятно. Звать-то тебя как?

— Антон Иваныч.

— Ну, действуй, Антон Иваныч, на счастье, — сказал, протянув ему руку, сержант-сибиряк Афанасий Балахонов. — Желаю быть с тобой знакомым…

И Бережков заметно повеселел от этих слов. Он, оказывается, не от природы угрюмый и тихий. Он от смертной тоски своей, от пятна на совести стал угрюмым. А на самом деле он веселый, Антон Бережков.

Александр Трифонович Твардовский

На переднем крае

Родное

Люди только что пришли сюда по ходам сообщения, тропинкам, вдоль редких придорожных кустиков, по окольным овражкам с передовых постов боевого охранения.

Они по-свойски размещались в хате — кто на низеньких крестьянских нарах, занимавших треть помещения, кто на лавках вдоль стен, а кто на полу у ног товарищей. Старуха-хозяйка оставляла за собой только почку. В иное время она, может быть, и поворчала бы по поводу махорочного дыма, но теперь только изредка отмахивалась от него, хмурясь смешливо и добродушно. Совсем недавно в этой деревушке и в этой хате были немцы. И сейчас они еще не так далеко…

Потемневшие от морозов лица людей, проведших зиму в боях, были такими, какими, казалось, они только и могут быть. Привычная напряженность, серьезность и тень усталости старили их. Но стоило ребятам рассесться в теплой хате, закурить компанией, стоило крепышу-пулеметчику

Орехову поставить баян себе на колени и чуть тронуть его, как все обернулось иначе.

Глаза у всех оживились, и сразу стало видно, что это такие ребята, молодые, хорошие ребята, которые от души рады этой минуте отдыха.

Сперва с песней не ладилось. Вышел один, и, дирижируя рукой, затянул что-то мало знакомое, затянул и скривил, повел не туда. И до того получилось неловко и жалостно, и такой дружный породило смех, что можно было подумать — нарочно парень разыграл этот номер. Но мало-помалу баянист навел на тон и дело пошло. Пелись больше всего простые, душевные песни — русские, украинские. Политрук Ошеров сидел в центре хора и с превеликим усердием размахивал руками, сводя голоса всех в одно целое и в то же время стараясь подтянуть, подхватить, выручить на самых трудных переходах…

Перед воротами
Ударь копытами,
Может, выйдет та девчонка
С черными бровями…

И простой, милый мотив этой старинной песни уже заметно брал власть над самими поющими. Что-то щемящее, далекое и близкое вместе, жи-

вое и неумирающее, свое родное было в нем, то, что одинаково дорого и дома, и на войне, и на суше, и на море.

И когда один голос, вырываясь вперед, но попадая в лад, уже как будто не пропел, а сказал:

— Но не вышла та-а девчонка… — у всех заблестели глаза от хорошего волнения.

А гулянье брало разгон.

— Вальс! — с нарочитой лихостью скомандовал молодцеватый лейтенант Григорьев, и мешковатые пары в шинелях закружились в центре тесно стоявшей толпы нетанцующих.

— Общий! Дамы в круг! — под хохот всей хаты продолжал выкрикивать Григорьев, точно забывая в неудержимости бального веселья, что дамой здесь являлась только хозяйка, лежавшая на печи и с предельным умилением смотревшая на все это.

— Дамы налево, кавалеры направо. Агош! — И с неподкупной деловитостью толпились «дамы» и «кавалеры», задевая противогазами всех стоявших вокруг.

Старик-хозяин, считавший, видимо, что ему более к лицу находиться внизу, среди всех, чем на печке со старухой, все же то и дело переглядывался с ней, хитро и недоверчиво поводя головой.

Балуетесь, мол, а неприятель-то — вон он еще близко…

— Встать! — обрывая музыку, говор и шмыганье сапог, раздалась команда. Вошел общий любимец — комбат Красников.

— Вольно, вольно — давай дальше.

— Есть, давать дальше! Командир взвода связи младший лейтенант Глушко исполнит… — Григорьев сделал паузу и выкрикнул последнее слово: — Русскую!

Но не успел тот сделать двух кругов, как наперерез ему кинулся другой танцор. Он дал дробь и, вытянув правую ногу, одной этой ногой начал изображать что-то такое уморительное и необычное, что круг колыхнулся со смеха.

И когда уже баянист хватил «расходную» и комбат Красников смотрел на своих бойцов ласковыми и умными глазами старого солдата, и все было хорошо и красиво, изба содрогнулась от совсем близкого внезапного разрыва снаряда. Вслед за ним ухнул другой, третий, четвертый — обычная вечерняя порция, что отпускал немец из своих скудеющих запасов.

Бабка начала было креститься, но смутилась, видя, что никто из гостей не переменил позы, не нарушил веселья. А дед-хозяин с невозмутимо-

стью видавшего виды человека успокоительно крикнул ей:

— Перелет! В белый свет кидает…

Неизвестно, о чем говорили в эту ночь старик со старухой на печи, но утром возле их хаты мы наблюдали занятную и полную значения картину. Дед вытащил из осевшего серого сугроба большой старинный сундук, очистил его веничком от весеннего липкого снега и поволок в сени.

— Что, дед, не боишься уже, что немец вернется?

— Хватит его бояться. Не может быть ему возврату сюда. Кончается его басня…

Надя Кутаева

Надеждой Петровной никто еще не зовет ее, человека неполных восемнадцати лет. Товарищем Кутаевой изредка называют ее, но больше всего Надей.

Вот сидит она на подводе, пытается заснуть на минутку и, несмотря на большую усталость, не может. Бой грохочет уже совсем близко. Ездовый Шерабурко почмокивает на лошадь, подергивает вожжами и как будто бы даже спешит до места, в батальон. Но всякий раз, когда наискосок через дорогу со свистом проносится снаряд, голова бой-

ца уходит в плечи, и он всем корпусом подается вперед, к крупу лошади.

Когда же слышится глухой неблизкий разрыв, Шерабурко вновь выпрямляется и начинает еще деловитее почмокивать и подергивать вожжами. И старается как можно развязнее сказать, с улыбкой оглядываясь на медсестру:

— Подбрасывает фашист?

— Ладно, ладно. Подбрасывает, — неласково отзывается она. — А ты, давай, смотри, куда лучше с подводой подъехать, чтобы мне не три версты таскать раненого.

Ездовый обиженно отворачивается. Поле боя уже близко. Столбы разрывов встают внезапно, как из-под земли, то там, то здесь, то врозь, то кучно.

Надя всматривается в какой-то черный предмет справа от дороги — не то строение какое, не то автомашина, брошенная в снегу. Комбайн. А место подходящее поставить повозку. И носить не так далеко.

Шерабурко выпустил вожжи и мигом свалился под повозку.

— Шерабурко, что с тобой?

«Не ранен ли?» — подумала Надя. Но он был не ранен, этот добрый, простецкий парень, не

обвыкший еще на фронте.

— Садись, правь лошадью, — приказала она строго и решительно, — там раненые ждут, а ты под повозкой прятаться. Вот я тебя сейчас, — она задумалась на минуту, чем бы таким пригрозить, — я тебя сейчас гранатой подорву.

Ездовый быстро вскочил и схватился за вожжи. Бедняга и не сообразил даже, что и гранаты здесь нет и что расправа эта просто немыслима. Он только чувствовал властный и требовательный тон этой девушки, которая ничего не боялась и ни перед чем не останавливалась, когда речь шла о помощи людям, пострадавшим в бою.

Через полчаса Шерабурко по этой же дороге отвозил двух раненых, уложенных на повозку Надей. А сама она осталась в батальоне. И там в самом кипении боя случилось с ней то, о чем до сих пор с улыбкой вспоминают в батальоне. Ей попался раненый такого могучего роста, такой грузный, что девушка не смогла его не только поднять, но даже протащить хоть немного. А обстрел с каждой минутой усиливался. Надя покорно прижималась к земле, слыша нарастающий жуткий звук летящей мины, вновь приподнималась, но от раненого не отползала. Должен же кто-нибудь подоспеть, помочь. Где же они все застряли?

Попробовала еще раз поднять своего богатыря — ничего не выходит. Тогда она по-детски заплакала, лежа рядом с бойцом, которого она не могла унести отсюда. В промежутках между разрывами мин она поднимала от снега свое покрасневшее, мокрое лицо с наивно посаженным носиком и кричала, звала требовательно и беспомощно:

— Новоженин! Новоженин! Иди сюда, тебе говорят. Те-бе гово-рят… — захлебывалась она слезами обиды, одиночества, горя.

Новоженин — это был старший санинструктор. Он услыхал ее, подбежал, и все кончилось благополучно.

В дыму подожженной немцами деревни она натолкнулась на тяжело раненного лейтенанта Морозова. Его уже укладывали в сани, первая помощь была оказана, но он лежал в одной гимнастерке, шинель, видимо, сбросил в горячке боя. Надя быстро сняла свою шинельку, укрыла Морозова, да так и осталась в одной стеганке.

В этой деревне ей пришлось бы худо, если бы не лейтенант Пономарев. Немцы оттеснили наших на окраину деревни. Покамест справились с перевязкой и отправкой раненых, автоматчики подобрались уже близко. Надо было уходить.

А ноги ее уже не слушались, так она устала,

измучилась, и тут попадается боец с залитым кровью лицом. Пуля попала ему в глаз. Надо помогать. Пономарев подхватил за руки обоих — и больного и сестру — и потащил их обходным путем из деревни. А на выходе дорогу пересек станковый пулемет противника. И пришлось там долго, долго лежать на снегу потной, разгоряченной. Потрясения и муки этого дня не прошли даром. Надя заболела; ее отправили в тыл — отдохнуть, отлежаться. Два дня побыла там, затосковала.

И снова на работу, снова на поле боя, в озаренные улицы горящих сел, туда, где наши люди отдают кровь и жизнь за Родину и где им можно оказать незаменимую помощь.

Там она вновь встретила своего спасителя лейтенанта Пономарева. Он был ранен в голову.

— Уходи, уходи, Надя, дела мои плохие, беги, помогай другим.

— Нет, уж теперь я над вами хозяйка, товарищ лейтенант, лежите смирно.

Она перевязала и вынесла его одна, хотя Пономарев был немногим легче того богатыря, над которым она плакала…

Слава тебе, маленькая девушка, с синими глазами и милым белорусским говорком, сестра

наших воинов и благородная труженица войны!

Федор Васильевич Гладков

Малка

Когда Малка узнала, что я иду в госпиталь, она взволновалась и набросилась на меня:

— Что же это вы? Почему раньше мне этого не сказали? Я тоже хочу… Мне это очень нужно…

Мы шли вместе с нею с завода. Она только что сменилась. Малка была стахановка и девушка, что называется, с «характером»: живая, экспансивная, увлекающаяся, напористая. Любила спорт, участвовала в каждом лыжном кроссе, отлично состязалась в стрельбе и большая была охотница потанцевать.

Но сегодня Малка была сосредоточенной и грустной. Она узнала, что ее большой друг — Стеша, уехавшая на фронт в качестве медсестры одного из полевых госпиталей, была убита в то время, как выносила с ноля боя раненого. Спасенный ею боец лежал теперь в местном госпитале. Как раз в этот госпиталь мы шли. К нам присоединились два выздоравливающих бойца, которые хотели повидать своего товарища.

— Я твердо решила: поеду на фронт, — горячо заявила Малка, — я должна заменить Стешу…

В этом госпитале я был несколько раз. Здесь

лечились командиры и политработники. И хотя многие из них были прикованы к койкам — тяжело раненные в грудь, в голову, в ноги, в живот, — но они были молоды и жадно хотели жить. В палатах было говорливо, гулял жизнерадостный смех и задумчиво лилась хоровая песня.

Комиссаром госпиталя был мой приятель, начинающий беллетрист Голобков, коренастый парень с обликом цехового рабочего. Близко знал я и начальника госпиталя — врача Благово.

Встретил нас Голобков в своем просторном кабинете, уютно обставленном черной мягкой мебелью. Он с радостной улыбкой вскочил со своего кресла и покраснел от удовольствия. Обоих наших спутников, раненых бойцов, пришедших навестить своего приятеля, он уже знал, а перед Малкой расшаркался и так крепко пожал ей руку, что она вскрикнула, а потом с сожалением посмотрела на свои пальцы.

— Вот хорошо! Вот неожиданность! Ух, как здорово!.. Проходите, садитесь, товарищи… — говорил комиссар.

Он по-военному повернулся к бойцам и с сожалением сказал:

— Только к вашему товарищу сейчас нельзя: он очень плох — лежит почти без движения. Благово

решил принять меры, иначе дело будет швах. Кровки ему надо побольше… Кровки — здоровой, молодой…

И вдруг с удивлением и тревогой взглянул на Малку, точно сейчас обратил на нее внимание, как на постороннего человека.

— Вы тоже… садитесь. Только, знаете, Благово наш не любит посторонних. Повидать больного вам едва ли удастся, он в очень тяжелом состоянии…

Малка порывисто повернулась к нему.

— Так я же для этого и пришла. И вовсе мне смотреть ничего не надо. Наоборот, я хочу, чтобы мою кровь… понимаете, перелили в него… Зачем же холодную, из банки, когда можно взять у меня… Голубчик, я вас прошу… Ведь я же все равно не отстану…

Дверь нерешительно отворилась, потом осторожно опять закрылась и начала беспокойно подрагивать. Вдруг она быстро распахнулась, и в комнату широко шагнул Благово. Он наклонил седую голову и поверх очков стал осматривать каждого из нас. В белом халате, высокий, он шел, как на ходулях. Густые брови шевелились странно: одна поднялась на лоб, другая опустилась, и хвостики бровей на концах вздрагивали.

— О! Народ? Это — что? Делегация, что ли?.. Хо, и вы? И вы? — удивился он, здороваясь со много, и затеребил свою ехидную бородку.

— Вот… пришли товарищи… — пояснил Голобков, показывая на нас обеими руками.

— Факт бесспорный… да-с-с, вижу, пришли… — подтвердил Благово, вопросительно оглядывая нас. — К вашим услугам…

И сухо обратился к Малке:

— Чем обязан вам, чтобы выражать свое удовольствие?

Малка смутилась и очень покраснела.

Голобков с лукавинкой в глазах сдержанно и почтительно ответил:

— Это — работница с завода… она пришла с очень хорошим предложением.

— Работница с завода, хм… да-с… Теперь рабочие и работницы очень много дают хороших предложений… Неудивительно…

— Почему же вы так пренебрежительно относитесь к этим предложениям? И почему бы вам не поинтересоваться моим предложением? Именно вам?.. — обиделась Малка.

Благово даже вздрогнул от неожиданности. Пальцы его остались в воздухе около бородки, ловили ее, но поймать не могли. Голобков под-

мигнул мне и отвернулся, чтобы спрятать смех.

— Извиняюсь, я, кажется, угодил в больное место? У врачей это бывает… — с неприветливой иронией сказал Благово. — Какое же у вас предложение? — теребя бородку, наклонился он к Малке.

Малка неожиданно бросилась к Благово, схватила его за плечи и вся залилась румянцем.

— Голубчик, дорогой доктор, ведь ради этого больного я и пришла… Вы понимаете, его вынесла из-под снарядов моя подруга Стеша Бережкова… И в тот же день была убита… Товарищ Благово! Вы должны чувствовать… У меня крови этой больше, чем нужно… Я просто не знаю, куда ее девать… Да что там, просто меня сама судьба погнала сюда… Уверяю вас, кровь моя замечательная… Я не уйду отсюда…

Благово осторожно снял со своих плеч ее руки и впервые улыбнулся. Девушка понравилась ему, но он все-таки хотел сохранить свой неприступный вид.

— А на что нам ваша кровь? У нас достаточно и готовой крови. А потом ваша кровь, хотя и замечательная, может не подойти…

— Уверяю вас: подойдет… Поймите, что я хочу… Я хочу сама видеть, как моя кровь вливает

жизнь в человека… Какой вы не чуткий, товарищ Благово!

Благово был человек опытный: он за долголетнюю свою работу встречался со всякими характерами и неожиданными поступками людей. Он внимательно выслушал Малку и терпеливо проверил ее пристальным взглядом. Брови нахмурились у переносья и круто изогнулись посередине. В зрачках у него заиграли лукавые искорки.

Малка в упор спросила его:

— Скажите, можно это сделать или нельзя?

— Конечно, можно. Дело несложное.

И круто повернувшись, широко зашагал к двери длинными ногами.

…В кабинете Благово, просторном, очень светлом, обставленном с холодной больничной простотой, Малка встретила нас звонким криком:

— Моя взяла, товарищи! Все в порядке. А товарищ Благово — отец родной.

Благово зашевелил серыми усами в усмешке и сурово задвигал бровями. Он сдвинул очки на лоб, и желтые его глаза колюче вонзились в ликующее лицо Малки, но в зрачках его играли веселые искорки.

Невнятно отдав какое-то распоряжение сестре, он подхватил под руку Малку.

— Вы, дорогая девушка, идите с ней…

Малка впервые сконфузилась, сильно покраснела, вздохнула и засмеялась.

— Своенравная девица… жгучий характер… Такая не даст себя обезоружить…

— Ну, и у вас тоже характерец… — уязвил я его. — Всласть помучили девчонку… Что это? Профессиональная привычка?

Он вскинул одну бровь высоко на лоб, а другую вонзил в переносье. Острые глазки его весело смеялись.

— У врачей, как и у писателей, профессиональная слабость — выводить людей на чистую воду… Или, как говорится, — за ушко да на солнышко…

В хирургической палате, просторной, белой, с огромными окнами, полной небесного света, на высоком столе, утопая в белоснежном белье, лежала Малка, а на другом, низком — неподвижный больной, с мертвенно-бледным лицом, с отросшими черными волосами на щеках и подбородке. Он лежал покорный, немой, с закрытыми веками и дышал едва заметно. Малка смущенно улыбнулась мне и вздохнула. Обе сестры, все в белом, с белыми масками от глаз до подбород-

ка, — одна молоденькая, немного раскосая, другая — высокая, пожилая, с усталыми глазами, — приготовляли какой-то аппарат.

— Протяните руку! — ласково и грустно сказала пожилая сестра, и Малка послушно вытянула левую руку в сторону больного.

Стеклянный баллон с таинственными приспособлениями стоял на низком белом столике.

Малка лежала неподвижно и не отрывала глаз от больного. А он, как в обмороке, вытянулся на столе под простыней, и грудь его поднималась и опускалась медленно и судорожно. Глаза его были полуоткрыты и наблюдали за сестрами с немым интересом ребенка. Бескровное лицо его покрылось серой пылью. Потом он с трудом, толчками повернулся к Малке, открыл глаза и с изумлением проснувшегося человека всмотрелся в нее, как будто не понимая; что происходит.

Благово тихо и деловито бросал пожилой сестре отдельные слова. Белокурый врач взял блестящий наконечник и вонзил его в руку Малки. Молоденькая сестра стояла около него и держала руку Малки, хотя в этом не было надобности: Малка даже не дрогнула. Пожилая сестра молча и неторопливо делала что-то с рукой больного. В баллоне забурлила, запузырилась густая, алая

кровь.

Малка, сосредоточенная, прислушиваясь к себе, смотрела на больного широко открытыми глазами. Она старалась уловить в его мертвенно-застывшем лице хотя бы призрачное трепетание жизни и ждала с затаенным дыханием. Я видел, что она верила в целительную силу своей крови, верила, что чудо должно обязательно совершиться сейчас же.

В эти секунды в палате царила напряженная тишина. Не слышно было даже дыхания людей и шелеста халатов. Каждый миг, как удар сердца, был напряжен ожиданием. Молодой, русокудрый врач подошел к больному, взял его за кисть свободной руки, безжизненной, будто парализованной, и стал безмолвно прислушиваться к пульсу. В лице его мелькнула неуверенная улыбка. Он с недоумением взглянул на Благово, а Благово точно ждал этого улыбающегося взгляда своего коллеги и одобрительно кивнул головой.

— Хорошо-с… — пропел он добродушным фальцетом. — Вот и влили эликсир жизни.

Младшая сестра торопливо хлопотала над рукой Малки, а пожилая ласково и мягко приложила вату, смоченную йодом, к руке больного. Малка пристально смотрела на его лицо и ждала

какого-то рокового мгновения, которое бывает только один раз в жизни. В глазах ее сияла радость и темнел страх. Она никого не видела, а чувствовала только этого молодого, полумертвого человека. И то чудо, которого она ждала, совершилось: лицо больного стало как будто пробуждаться, на щеках призрачно расцветал румянец, веки задрожали, и глаза медленно открылись, свежие, утренние. Он страдальчески улыбнулся и вздохнул:

— Спасибо, друзья!

— Ожил, ожил!.. — тихо со слезами в голосе вскрикнула Малка, не отрывая от него глаз.

Благово затеребил бородку и вскинул брови на лоб.

— Ну-с, каково? Благодарите не нас, а вот эту девицу. Это она настояла, чтобы кровь ее переливали от сердца к сердцу.

Больной повернул к ней свое лицо. Его глаза были очень темные, точно без зрачков, и поблескивали слезой.

— Вы… родная…

Малка встала и наклонилась над ним. Несколько секунд она молчала, пристально вглядывалась в его лицо. В белом халате и в белой повязке она была похожа на медсестру. В глазах сияло счастье

и что-то новое, похожее на печаль.

— Вы чувствуете себя лучше, товарищ Мезенцев?

— Да. Тут не только кровь… другое… душа… Спасибо… за вашу жизнь…

Благово бесцеремонно взял Малку под руку и отвел ее от больного.

— Хорошенького понемножку…

Сестры забеспокоились. Молоденькая взволнованно выбежала из комнаты, а пожилая с задумчивым сожалением проводила Малку своими тихими глазами.

Малка оглянулась, и в лице ее на мгновение вспыхнуло смятение: ей хотелось броситься к больному и досказать ему какие-то недосказанные слова. Она смущенно, с мольбой в глазах робко спросила Благово:

— Можно мне… поцеловать его?..

И опять оглянулась. Больной лежал неподвижно, закрыв глаза и, казалось, был в отчаянии, что все покинули его.

— Ну, можно же… товарищ Благово?

Благово переглянулся с русокудрым врачом и, усмехнувшись едва заметно, кивнул головой.

Как Никифор Петрович на фронте побывал

…Мне шестьдесят пять годов, друзья мои. Зовут меня Никифором Петровичем. А именем своим, откровенно скажу вам, я очень горжусь, потому что Никифор, по русскому смыслу, есть победоносец. И мне, потомственному уральскому металлисту, выпала историческая судьба бороться за победу рабочего класса.

Урал свой я люблю, корнями врос. Урал мой, край мой родной! Идешь утречком рано на завод, любуешься. Люблю я наше уральское утро. Горы — тихие, увалистые, древние! Глядишь — без конца они и края. Вслушаешься — стонут они от обилия своих недр и ждут человечьих рук, трудолюбивых, ждут — множества рук и умов.

Войну-то эту с фашизмом мы встретили по всей нашей трудовой стране как борьбу со смертью. И не струсили, не спаниковали: свободный человек мощь свою носит в свободном труде, и его никак невозможно разбить и победить, какие бы страдания и ужасы ни обрушились на него.

Одним словом, перестроились мы на оборону

Родины, на вооружение нашей дорогой Красной Армии. Поручило нам правительство очень замечательную и сокрушительную продукцию производить, такую продукцию смертельную, которая от фашистов и праха поганого не оставит.

«Никифор Петров, — говорю себе, — ты мастер цеха, ответственный боец. Организуйся и все номера деталей выпускай сверх всяких норм. Объявляй соревнование. Все мобилизуй: и технологию, и опыт свой, свой дух большевика». Никогда, кажись, такого боевого волнения не испытывал. И вот сейчас удивляюсь: как будто другим я человеком стал — и сильнее, и моложе, и умнее. Стали мы давать сначала полторы нормы, потом две, три, а сейчас, как видите, и до пяти достигаем. Конечное дело, это — не предел. Но работа наша трудоемкая: много тонкой обработки, много мелких процессов.

И вот мой сынок Володя, политрук, посылает мне с фронта письмо. «Горжусь, — говорит, — тобой, папаша. Продукция твоя чудеса невиданные делает. Обнимаю тебя, — говорит, — как боевого друга и вызываю тебя на соревнование». Володька-то, а! На соревнование! Событие это было большое для всего завода. Командование благодарность заводу прислало. И вдруг, в пе-

чати — приказ Михаила Ивановича Калинина: награждение уральцев орденами и меня тоже, старика. Тут я — телеграмму Володьке: «Принимаю твой вызов, до конца войны норму буду увеличивать и подготовлю десятки высоких мастеров».

А тут новое событие: выбирают меня везти на фронт бойцам подарки от нашего города.

Прибыли мы на фронт. До чего ужасные разрушения я увидел! Не села, не деревни, не города, а сплошные развалины да пепелища. Одни печки с трубами торчат, а на черных пожарищах бабы да детишки уголь и пепел расковыривают. Самому хотелось схватить оружие и ненасытно стрелять этих кромешных дьяволов-фашистов.

Прибыли мы на боевую линию. Ребята бравые, веселые, на зависть. Незаметные землянки дымком дышат. Бойцы бросились к нам толпой, как к родным. Впереди командир, русачок такой крепенький, молодой, румяный, с хорошими такими, очень белыми зубами. Рядом с ним — комиссар, высокий богатырь, очень радостный, словно ждал, что мы ему привезли какое-то счастье.

Обнялись мы с командиром, с комиссаром, поцеловались троекратно, а от бойцов отбою не было — целоваться устали. А это, надо сказать

вам, была одна гвардейская часть — вся из уральцев, очень героическая, большими подвигами прославилась. Командир по фамилии Рудаков — потомственная горняцкая фамилия.

Повели нас в землянку, просторную, чистую. Сытно нас накормили, напоили чайком. Разговоры начались такие, что отвечать не успевали; похвалили нас за оружие и допытывались, какие у нас победы и достижения. А так как оружие-то, которое производит наш завод, очень на фронте любят и высоко ставят, — то я, конечно, первым делом обращаюсь к полковнику Рудакову.

— Товарищ, — говорю, — полковник, дорогой Иван Семеныч, очень, — говорю, — я интересуюсь посмотреть, в какие руки попала моя боевая продукция, какое имеет обхождение она здесь и как вы ею, этой моей продукцией, фашистов угощаете…

— Как же, — говорит, — как же! Эту замечательную вашу продукцию бойцы очень нежно любят.

В этот же день привелось мне своей продукцией полюбоваться.

Дал мне полковник Рудаков бинокль.

— Глядите, — говорит, — Никифор Петрович, вон туда, в лощинку, направо, к другой деревне.

Там врагов до черта… с танками прут… Замечайте, что будет…

Ну, ребята, скажу вам по совести: не думал, не гадал увидеть такую незабываемую картину. И продукция отличная, и руки замечательные — не руки, а золото. Такая музыка загремела, такой оркестр, что душа замерла. Но виду не показываю, бинокль от глаз не отвожу. И вижу: там, где были фашисты с танками, — дым, пыль, взрывы, пламя… И только отдельные фигурки ползут и разбегаются. Танки застопорили. И сразу — тишина, в ушах звенит… Вдруг наши грянули «ура», да так погнали гадючьих детей, что мне, старому партизану, до дрожи обидно стало, почему я не с бойцами, почему не в их рядах.

Отнял я от глаз бинокль и гляжу на товарища Рудакова. А он как ни в чем не бывало говорит:

— Спасибо, — говорит, — вам, Никифор Петрович, за ваши пушки. Горжусь нашими земляками-уральцами: и дерутся здорово и работают, как бойцы. Верю, что вы еще крепче поднажмете. Наш общий военный план мы на фронте и в тылу должны выполнить согласно, четко, ритмично. Будем соревноваться. Так и передайте братьям-уральцам.

Обнял я его и поклялся ему:

— Товарищ Рудаков, родной! Не подкачаем! Вдвойне, втройне перевыполним!

Тут вижу, начали пленных врагов пригонять — группами и цепочками.

Не стерпел я — ненависть душу замутила. Прошу:

— Дайте мне, Иван Семеныч, парочку слов им сказать.

Подвели ко мне одного офицерика. На ногах какая-то чертовщина из соломы, не то снопы, не то корзины. Скрючился фашист, дрожит.

Говорю переводчику:

— Задайте этому мозгляку вопрос мой: зачем он на нашу землю вломился и чего хотел здесь получить? И прямо скажи ему: спрашивает, мол, хозяин русской земли, потомственный рабочий.

Переводчик сказал ему мои слова по-немецки, а у вражины рожа обмороженная вся перекосилась, в глазах — ужас. Бормочет что-то и трясется.

— Не сам, — говорит, — пошел, а Гитлер приказал. Я, — говорит, — солдат и обязан повиноваться без рассуждений.

— Сукин, — говорю, — ты сын! Что тебе невинные люди сделали? Кто есть твой отец?

Взглянул он на меня, как шкодливый пес, ви-

новато бормочет:

— Фюрер распоряжается всеми.

— Ты, — говорю, — со своим бандитом-фюрером до Урала хотел добраться, так вот я — уральский рабочий. И то, что вы, разбойники, испытали сегодня от наших снарядов, это мы, уральские рабочие, вам приготовили. И в тысячу раз больше приготовим… Чего дрожишь и корчишься, аль холодно? Ну, Красная Армия так вас «согреет», что небу будет жарко… — плюнул я и ушел.

Столкнулся с нашим часовым и говорю ему:

— Фашист этот… даже на Урал наш рот разевал. А уральцы наши смертоносной продукцией накормили его. Правда, брат, здорово накормили?

— Точно, папаша! Накормили их, чертей, досыта. Спасибо вам на такой горячей пище, только гоните ее раз за разом побогаче…

Вот, товарищи, какие дела! Одна у нас с вами главная забота: гнать и гнать на фронт нашу продукцию. Нажимать как можно сильнее и крепче. Ведь мы, друзья мои, не только трудимся, но и по-настоящему бьемся на фронте. Сам своими глазами увидал, душой почувствовал и пережил. Поэтому всей рабочей нашей армией вместе с бойцами — в решительное наступление! Бить врага наверняка!

Михаил Брагин

Честь шофера

В глухую зимнюю ночь 1941 года пять автомашин мчалось по улицам Москвы. Улицы были пусты. Над великим городом царила тишина. Но в тишине напряженно и скрытно от врага страна готовила силы для отпора врагу.

Днем и ночью на полях Подмосковья шла титаническая борьба Красной Армии с гитлеровскими полчищами. Днем и ночью в метель и снеговые заносы по дорогам Подмосковья, обгоняя сотни других автомашин, набирая скорость, точно сцепленные одним тросом, проносились по фронтовым дорогам пять грузовиков отделения старшего сержанта Лобова. На исходе третьих суток, когда опустели железнодорожные пути и станции выгрузки, командир сказал шоферам:

— Славно поработали, ребята. Задание командования трижды перевыполнено.

Усталые, но довольные успехом, шоферы приехали в расположение своего батальона.

Батальон в строю стоял на дворе казармы. Комиссар подразделения политрук Булыгин приказал приехавшим шоферам выйти из машин. Запыленные, с почерневшими от пыли и копоти

лицами, они были удивлены, узнав, что батальон выстроен в их честь. Комиссар открыл митинг.

— Товарищи, — сказал он, — осуществление приказа Наркома Обороны во многом зависит от того, насколько быстро и в полной сохранности будут доставлены на фронт военный груз и продовольствие. Пусть их работа, — комиссар показал на шоферов отделения Лобова, — послужит примером для всего нашего полка.

* * *

С каждым рейсом труднее и ответственнее становилась работа. Все дальше от Москвы на запад отбрасывала Красная Армия озлобленную гитлеровскую армию, и шоферы по спидометрам видели, как удлиняется путь снабжения наших войск, ухудшаются пути, изуродованные отходящей немецкой бандой.

Дороги и обочины были минированы, изрыты воронками снарядов, забиты танками и орудиями, брошенными отходившим врагом. Отделение Лобова подвозило боевые грузы непосредственно к линии фронта. Невдалеке шло сражение, бомбила авиация, но рядом с нашими танками и орудиями упорно и бесстрашно шоферы вели свои машины. Они укрывали их ветвями от нале-

тов, а когда однажды вспыхнули ящики бутылок с горючей жидкостью, шоферы растащили ящики, шинелями сбили пламя и, рискуя жизнью, предотвратили взрыв.

В прифронтовой полосе они чаще всего двигались ночью, по неезженным путям, без света; иногда ощупью находили укатанные дороги. Они возили снаряды, зная, что без них молчат орудия, а на паровозе, как выразился шофер Мальчиков, в лес не заедешь. Они возили для раненых консервированную кровь и сберегали ее от порчи. Они возили сено и литературу, сухари и патроны. Самые новые образцы вооружения прямо из цехов заводов попадали к бойцам на машинах отделения Лобова.

И в этих условиях отделение дало большую экономию горюче-смазочных материалов, перекрывая в то же время нормы суточного пробега.

Внешне, кажется, ничего нового они не придумали, а в действительности они стали подлинными боевыми стахановцами военного времени, новаторами в эксплуатации автомашин.

* * *

Победа их начала складываться из мелочей. Они повели борьбу за экономию бензина. Над

ними вначале кое-кто из шоферов даже подтрунивал: «Вы только с меркой ходите...» Но они упорно продолжали «ходить с меркой», они избегали простоев, добивались полной загрузки машин при возвращении с фронта, а в тех случаях, когда груза не было, одна машина буксировала другую. Шоферы бережно заправляли машины, шли под уклон с выключенным мотором, преодолевали выбоины, препятствия, максимально используя инерцию.

Так, сберегая каплю по капле, шофер Дьяков сэкономил за 15 дней 104 килограмма бензина и обещал при полном пробеге машины сэкономить в месяц 200 килограммов. Простая арифметика показывает, что сотни тысяч наших шоферов, борясь за капли бензина, сохранят в год сотни тысяч тони. И эта борьба за капли бензина станет делом громадной государственной важности.

* * *

Одновременно шла борьба за увеличение суточного пробега. Перед рейсом тщательно изучался маршрут, составлялся расчет пути. Головным в колонне шел Лобов и добивался максимальной быстроты. Замыкающим шел шофер кандидат ВКП(б) Адиянов, исполнявший обязан-

ности комиссара колонны, готовый немедленно прийти на помощь каждому в случае вынужденной остановки. Шоферы набирали скорость на протяжении всего пути, боролись на километре за метры.

Мелочью кажется прокол шины в пути, но шофер в одиночку долго меняет камеру, задерживая всю колонну. В отделении Лобова к неисправной машине немедленно сходятся все шоферы. И через несколько минут все отделение снова в пути.

Прибыв на станцию, они сами становятся организаторами погрузки, сводят к минимуму простой.

Все это доступно каждому шоферу. Сотни тысяч шоферов, работая по-стахановски, борясь за метры и минуты, дадут новые миллионы тонно-километров, необходимых для армии, для всей страны.

Отделение Лобова ведет борьбу за постоянную боеготовность машин, за ремонт на ходу, в пути. Порванную в пути камеру они не откладывают. Ее ремонтируют во время рейса в кабине помощники шофера Макеевин или Халоша, и уже на ближайшей стоянке в резерв командира отделения возвращается исправное запасное колесо. Профилактический осмотр и ремонт произво-

дятся во время погрузок и разгрузок. Крупный ремонт — в тех случаях, когда обстановка на фронте вынуждает к ожиданию.

Принципом своей стахановской работы они сделали ремонт на ходу, и потому удивленный диспетчер, спрашивая у Лобова при возвращении в парк, сколько дней потребуется на ремонт, получал неизменно ответ: «Все машины исправны и готовы немедленно в новый рейс».

Под Адрианополем взрывом немецкой бомбы тяжело повредило машину шофера Мальчикова. Казалось, отремонтировать ее не было возможности. Не хватало запасных частей, не было приспособлений для ремонта, стояли лютые морозы. Но у шоферов была воля к преодолению трудностей, чувство шоферской чести; им казалось позорным тащить на буксире машину в свою часть. Машину отремонтировали. И снова к родному батальону одна за другой подкатили все машины отделения Лобова.

* * *

Наши шоферы выросли в годы первых пятилеток, в напряженном труде и борьбе с природой.

Командиру отделения старшему сержанту Сергею Лобову всего двадцать три года. Он рос в

труде и учебе. Окончил школу ФЗУ. Работал на заводе и за хорошую работу был послан на курсы шоферов. В первые дни Отечественной войны вместе со своей частью Лобов ушел на фронт.

Иван Адиянов, колхозник Саратовской области, стал заправщиком первого трактора, который появился в деревне в 1933 году. О нем писали в районной газете и за ударный труд послали учиться на курсы шоферов. И он, как и Лобов, завершил техническую учебу в Красной Армии, первоклассным шофером вернулся в колхоз и по зову страны в первый день мобилизации ушел на фронт.

Мальчиков и Дьяков — уже бывалые шоферы. Условия труда забрасывали их в Казахстан и Монголию. В армии один из них служил на персидской границе, другой — на границе с Финляндией.

Самый молодой в отделении, комсомолец Иван Полигалов, окончив ФЗУ, потянулся к машине; он успел до войны исколесить Урал и Сибирь, работая на лесозаготовках.

Сила и знание, русская сметка и упорство, помноженные на чувство взаимной выручки, боевой дружбы, — вот закон бойцов отделения Лобова. Все вместе берутся они за любую труд-

ную работу, быстро и точно выполняют ее. По внешности они удивительно похожи: сильные, кряжистые, мужественные и ловкие.

— Дружные в работе, дружные в быту, четкие в строю, а сядут обедать — ну точно одна семья! — с любовью говорит о них комиссар полка Парасюк.

Много сил и командирского чутья проявил старший сержант Лобов, сплачивая свое отделение. Отличный шофер, он вначале, как сам говорит, «попал в беду». За красивый почерк его сделали писарем в штабе. Немало просьб было написано Лобовым, пока ему не разрешили уйти в автоотряд, к любимым машинам. Получив отделение, он просил только об одном; чтобы его людей не откомандировывали, машины не обезличивали. И начав свою работу с воспитания людей, продумав, как рационально использовать время, хорошо подготовив машины и выжав из них все, что можно, Лобов добился результатов, за которые правительство наградило его орденом «Знак Почета».

Пример работы отделения Лобова широко распространился в подразделениях батальона и полка.

В своем обращении к авточастям Красной Ар-

мии полк призывает бороться за то, чтобы 98-100 процентов всех машин были всегда в боевой готовности, как винтовка пехотинца. Полк призывает бороться за каждый километр пути, за каждую каплю бензина.

Когда задушевно побеседуешь с бойцами отделения Лобова, и они, скромные в начале разговора, даже застенчивые, разговорятся, ясно чувствуешь, как за простыми их словами кроются большие для страны нашей, для всего государства дела.

— У нас один бензиновый бак на всех — запас горючего СССР, и каждый из нас и все мы за его расход отвечаем, — говорит большевик Адиянов.

— Мы видим, кого везем и что везем. Чем медленнее будет подвоз, тем медленнее наступать будут наши части, тем дольше будут топтать наши земли враги, — говорит шофер Мальчиков. — Мы видели своими глазами, что фашисты творят с нашими людьми, и нельзя нам медленно ехать. Ненависть к врагам гонит нас вперед!

Константин Георгиевич Паустовский

Просьба бойца Терехина

Правая рука у меня разбита осколком, лежит в лубке. Сам я ни одного слова нацарапать не могу. Так что у меня к вам великая просьба: напишите за меня письмо Петру Гавриловичу Голубеву в Ленинград. Живет он на Мойке против Певческого моста. Его на Мойке все знают. И вы про него слыхали! Да как его не знать, старика? Он первостатейный художник. Скольких мальчишек приохотил к живописному делу, вывел в люди! И меня, было, начал выводить, да война малость задержала это дело.

Я Петра Гавриловича знаю давно. Я родом из-под Новгорода Великого, из тех мест, куда он приезжал летом работать. Край наш древний, пустынный. В городках летом липы цветут, хозяйки сушат липовый цвет на окошках, в каждом саду пчелы гудят. А за городками — синий лен, и холмы, и леса, и озера с такой чистой водой, что иной раз не разберешь, вода это или воздух. А воздух у нас легкий, пахнет брусникой. И очень уж тихо у нас. Бывает, дождь прошумит в кустах, иволга просвистит, пастух заиграет на рожке, соберет свое стадо — и опять ничего не слышно.

А вместе с тем знаменитый наш край. В деревнях, в погостах — да хотя бы в нашей деревне — стоят такие церкви, каких, говорят, и в Италии нету. Белые, строгие, обмерные, построенные по верному глазу. В таких церквах — стенная роспись. Называется — фреска. Жаль, что вы не видели. Сотни лет прошли, а роспись эта горит и горит, будто с каждым годом краска на ней молодеет. Работали эту роспись и строили здания — наши предки, простые мужички, зипунные живописцы. Наше это, крестьянское мастерство. А вот видите, большие художники приезжали любоваться на их работу и прикидывали и так и этак, чтобы добиться секрета старых красок. И Петр Гаврилыч за этим приезжал, срисовывал фрески в нашей церкви и нам, мальчишкам, велел, чтобы мы не били церковные окна и не портили роспись.

Жил я в деревне с отцом. Мать у меня умерла очень молодой. Я ее совсем и не помню. Говорят, была красавица. Особенно про глаза ее вспоминают: очень синие были у нее глаза. Отец мой был человек спокойный и любил ремесло. Дуги он делал росписные. Бывало, в ясный день развесит их сушиться по избе, так лучшего праздника для нас, для ребят, и не надо. На дугах накрашены

разные травы и цветы, и дубовый лист, и узоры, и желтые птицы, и козероги. Прямо ярмарка! Под такую дугу подвесь бубенец и вали по дорогам, пыли, заливайся, спорь звоном с птицами, пугай журавлей! Петр Гаврилыч очень отца за эти дуги уважал и, бывало, все говорил: «Талант у тебя, Прохор, великий, и дуги твои можно показывать в Эрмитаже рядом с картинами». А отец только смеялся. «Мне бы, — говорит, — Гаврилыч время, да не такую кучу ребят; да дорогую краску, я бы еще и не то сделал».

Когда я подрос, взял меня Петр Гаврилыч с собой в Ленинград и отдал в художественную школу. Я там первое время ходил как спросонок, никак не верил, что все кругом настоящее. Стою час, стою два, смотрю на какой-нибудь дворец и пугаюсь даже, до чего великолепно все это придумано и сделано. Даже милиционеры меня иной раз гоняли. «Чего, — говорят, — ты стоишь тут, как тумба! Проходи по своему делу!» А разве это не дело — таким городом любоваться. Это, может, важнее, чем ихние светофоры.

Что-то больно я уж разговорился. Да… так вот о чем Петру Гавриловичу хотел я написать. Началась война. Пошел я в Красную Армию. У нас в роте все ребята подобрались с севера. Все красно-

щекие, сероглазые. Наш лейтенант даже смеялся. «Действительно, — говорит, — вы настоящие красные бойцы». Объяснил он нам, что в старину слово «красный» обозначало красивый, очень ладный.

Боев было много. И так уж привелось, что отходил я со своей частью через родные места. Было это осенью. Первые морозы легли на землю, а снега еще не было. И от тех морозов все дни падал и падал желтый лист, засыпал чистые наши озера, синие наши реки, и солнце стояло невысоко. А воздух был горьким, прямо как слезы. Очень трудно было бойцам отдавать каждую межу, каждую березу.

А зимой начали мы наступать, гнать врагов со своих полей. И опять так привелось, что подошли мы к своей деревне. Называется она Великий Двор. Деревня наша стоит на яру над рекой. С колокольни старой нашей церкви очень далеко видно. Старухи нам, ребятам, всегда говорили: «Полезай на колокольню — половину России увидишь. Только, гляди, не испугайся».

И до чего дошла фашистская подлость! Устроили они в нашей церкви штаб и склад снарядов. Расчет у них, конечно, был правильный. Тоже ведь понимают, собаки, что ни у кого, кто чело-

веком называется, не подымется рука разбить из орудий редкую красоту, что простояла сотни лет, спалить огнем мужицкую роспись. Вот они и засели в церкви. И видят, верно, наша артиллерия огня по церкви не ведет. И выходит, будто они в безопасности, и даже еще смеются над нами: «Вот, мол, русские мозги, на какой пустяк мы их поддели!»

За красоту спрятались! И так это меня ударило, даже зубами я заскрипел и думаю: «Я от вас, от зверья, ни одного клочка не оставлю». Пришел к командиру и доложил: «Разрешите, я их из церкви выбью без всякого повреждения архитектуры и великолепной этой росписи». «Каким же это манером?» — спрашивает командир. «Да я здешний, — говорю. — У меня есть свой способ. Только разрешите взять несколько дымовых шашек.»

Командир согласился. Ночью я пробрался в свою деревню — мне там каждая веточка знакома. Большого труда не было. Да и ночь была колкая, студеная. Добрался к рассвету, отыскал отца. Вошел к нему в сарай — чуть заря, — а он сидит седой, как снег, а лицо черное. Увидел меня, заплакал, — а слезы наши тяжелые, тяжелее чугуна, — и говорит: «По глазам вижу, Ваня, что пришел ты за делом». Я ему все объяснил. Дело

простое. Есть у нас на кладбище часовня старенькая-старенькая, кривая. Из-под той часовни ведет к церкви подземный ход. Мы, ребята, ход тот знали, как свою избу, — сколько раз лазили. Петр Гаврилыч тоже знал, рассказывал, что вырыли ход во время старинных набегов, прятались в нем жители от татар.

Ночью прошел я в этот ход, а отца отправил в лес за реку: там сидели в самых берлогах наши старики-партизаны. Отправил, конечно, с приказом. Подождал я до назначенного часа, прополз по подземному ходу до алтаря. Слушаю. Гудит телефон, что-то немцы по-своему кричат, огрызаются друг на друга. Я поднял плиту в алтаре. Подымал я ее, думаю, целый час. Подпер ее ломиком, чтобы не упала. Кругом на полу ящики со снарядами.

А потом — очень просто — зажег я дымовые шашки. Вы видели, какой от них ядовитый дым? Жуткое дело! Ну, конечно, паника началась страшная. Представьте, пожар, а кругом все забито снарядами.

Немцы выскочили наружу, а на околице — партизаны. У них было три пулемета. Бой начали, какого я никогда и не ждал. Ну, одним словом, через час враги вымелись из нашей деревни, а тут подоспела и моя часть. Вот только отца в этом

бою убили. Вы так и напишите Петру Гаврилычу: «Убили, мол, Прохора Терехина, отца Вани. Погиб он, старый старик, на защите живописного дела и стародавнего нашего мастерства. И жалко мне, что не дождался он до победы. Вот бы на радостях сделал дуг — от них бы у ямщиков сердце падало. С теми дугами и бубенцами вернулись бы мы с фронта с победой в родные места, — тысяче жаворонков нас не перезвенеть».

Да вот не дожил старик. Вы на меня не сердитесь, что я разболтался. Наше дело сейчас такое: лежим, думаем, вспоминаем и досадуем на эти свои раны — скорее бы они зажили да отпустили нас в свою часть.

Вячеслав Яковлевич Шишков

Советские Сусанины

Светлый образ Ивана Сусанина дорог каждому советскому человеку. В нем прежде всего нам особенно ценно воплощение гражданского долга, искренней любви к Родине, доблести и огромного мужества. Этот незабываемый облик мстителя, за свой народ жив поныне: наша освободительная Отечественная война во множестве родит советских Иванов Сусаниных. То здесь, то там, на колоссальном фронте войны, гремят их славные подвиги, они бестрепетно приносят свою жизнь во благо Отечества, именами этих мучеников за правое дело, за счастье Родины будут блистать страницы военной истории.

Внук

Шустрый, со смышленой мордочкой Петя ведет рассказ неторопливо, с толком. Волосы у мальчонки белесые с соломенным отливом, щеки нажеваны, толстые. Ему всего одиннадцать лет, но после недавнего с ним происшествия он чувствует себя взрослым. Этой зимой он осиротел и теперь находится на попечении всей деревни.

В каждом семействе, в порядке очередности, он живет по неделе, пользуется любовью односельчан, собирается пойти в партизаны.

— Слушай, — говорит он человеку с записной книжкой, и его глаза загораются каким-то особым блеском. — Я уже многим рассказывал, не ты первый, не ты последний. Ну, пиши.

И вот, значит, такое дело… Сидим мы за этим самым столом, чай пьем, кислое молоко с творогом хлебаем. Дело зимнее, чуть зорька утренняя загоралась, бабушка печку топит, дедушка девятый стакан допивает, лучина в светце горит. А керосину не было у нас, был, да бабушка сослепу пролила его. Вот ладно. И только дедушка стал цедить из самовара десятый стакан, вламываются в избу вражий офицер да пятеро солдат. Офицер башлык от усатой морды отвернул и прямо, брюхо вперед, на деда. И говорит ему по-русски, хотя не больно складно, а понять из пятого в десятое можно все-таки. Говорит, а сам в немецкую географическую карту поглядывает.

— Знайт, знайт, — говорит, — я все знайт… Твоя, — говорит, — восемьдесят годов, ты старая, только ты карашо знайт ваш лес. Ты веди наши карош солдат на речка Черемха, там, кудой ваш красная сольдат укрепился, я все знайт…

Только чтобы тихо-мирно, чтобы нам нагрянуть ату-ату… Понял, старая хрыча? К обед доведешь, живой станешь, а обманешь, пристрелю, как собачка, сверх земля валяться будешь. — Тут он вытащил этакой большущий пистолет и прямо деду в нос: — Убью!

Я, конешное дело, с непривыку задрожал, бабушка уронила ухват, ахнула и шлепнулась на лавку, а дедушка ничего, дедушка хоть и побелел, а ничего себе, старик крепкий. Покрестился он по старой привычке на образа, со мной переглянулся и этак срыву бросил:

— Ты, супостат, не стращай меня! Уж ежели убить грозишь, так ладно, поведу вас. Так и быть.

Офицер сказал:

— Гут-гут.

Вот ладно. Дедушка обряжаться стал, натягивает зипун, а сам головой мне кивает: пойди, мол, Петька, сюда. Вот я подошел, а он и шепчет мне:

— Беги скорей, Петя, прямо к командиру Горбунову. Упреди. А я врагов кружить по лесу буду, в Медвежий Лог, мол, выведу их, там встретьте.

Офицер заметил, что дед нашептывает мне, да как заорет:

— Молчи!.. Пристрелю! — а сам револьвером

потряхивает.

Я шапку в охапку, сунул за пазуху полкраюхи хлеба, да дуй-не-стой. Еще темновато было, а уж над лесом заря полыхала, через часок, пожалуй, и солнце вздымается. Я прямо в лес. Ой, да и лес наш, без конца, без краю! Зверючьи тропинки мне все знакомые, я с дедушкой слопцы на горностаев да на лисиц почасту ставлю. А военный начальник Горбунов, к которому дедушка послал меня, тоже знакомый наш: он родом из соседнего села, и недавно в нашу школу со своей позиции подарки привозил, карандаши да бумагу. Ежели прямиком идти, то до товарища Горбунова километров двадцать пять. Для меня это два плевка, лишь бы на стаю волков не наткнуться. Я взял лыжи, да и пошел отмахивать. По полянам да в редком бору на лыжах, а в чащобе — пешедралом.

Иду по лесу, а сам горько-разгорько думаю: «Бедный ты мой дедушка, этакая тебе выпала доля на старости лет: отряд товарища Горбунова выдать с головой. Только я знаю, дедушка Матвей… ты предателем ни за что не согласишься стать, ты куда ни то заведешь вражью силу, в самую погибель заведешь. Ой, дедушка, дедушка! Ведь тогда враги убьют тебя, ведь ты старый старик, тебе не

убежать от них. Ну до чего жаль мне тебя… Стой, стой, дедушка Матвей, не унывай, я выручу тебя, мы с товарищем Горбуновым за милую душу распатроним всю свору, а тебя спасем».

Малость полегче мне стало. А башка у меня мокрая, по щекам пот струйками течет и сам весь мокрый. Дай, думаю, на валежинку присяду, отдохну. И как только присел, вдруг будто в лоб влетело, вдруг вспомнил: да ведь дедушка-то мой — настоящий Иван Сусанин, а я не Петька, а воспитанник Сусанина — мальчик Ваня, и будто велено мне скакать на коне в Посад и всех там взбулгачить, грохать в ворота и что есть силы кричать: «Отоприте, отоприте! Моего отца злые вороги в лес увели, вооружайтесь скорей, а то вороги перебьют вас всех!» Я все это представление в Ленинградском театре видел, называется «Иван Сусанин». Нас, лучших учеников, возили из нашего села в экскурсию. В жизнь не забыть… Ох, и замечательное представление! А в конце — как зазвонили во все колокола, да как начали греметь в тысячу труб, да как запели актеры хором, я аж вскочил от радости. А вот когда Сусанина убивали, у меня сердце зашлось, и слезы потекли. Молодец Сусанин, вот молодчага! Не побоялся умереть за родину: «Смерти, говорит, не боюсь,

страха не страшусь, лягу за родную Русь» Вот он какой… Ну да и дедушка мой не хуже его поступит, даром, что не Сусанин фамилия, а Кузьмин Матвей Матвеич, уж я-то знаю моего дедушку.

И вот, конешно дело, часовой с ружьем: «Стой!» — кричит на меня. А я ему с форсом: «Мне требуется по скорому секретному делу до самого начальника Горбунова». И вот, братцы мои, я в землянке у начальника. «Ты откуда, паренек? По какому делу?» Тут я все взял да и выложил ему. Тот обнял меня, поцеловал, приказал бойцам поскорей сбираться, готовиться к выступлению, велел пулеметы тащить. «А пареньку, говорит, дайте-ка щец горячих похлебать, да каши, да отрежьте-ка хороший кусок шпику, а то, говорит, притомился он». Я говорю: «Вы, товарищ Горбунов, Медвежий Лог знаете? Ну так вот туда бойцов ведите».

Вскоре все бойцы ушли. Я на скору руку подкрепился, шпик и сухари за пазуху, да дуй-не-стой наматывать за отрядом. Догнал. А как прошло часа два, а то и все три, товарищ Горбунов подходит ко мне и говорит: «Мы их скоро встретим. Мои разведчики уже установили с ними связь. Лезь на дереве, либо зарывайся куда-нибудь, жарко будет». Я хоп-хоп-хоп на высокую сосну, как белка.

Еще с час времени прошло. Надоело мне сидеть, да и о дедушке сердце ноет. Ослабел я, в сон бросать меня стало. Вот и солнце к закату клонится, а я все еще сижу, бойцы по скрытным местам пулеметы расставляют. И вспомнил я тут про вкусный шпик, вынул его из-за пазухи, шпик такой ядреный, белый и круто посолен. И только я откусил да с усладой жевать стал, как слышу наши пулеметы: чо-чо-чо-чо-чок… Я головой верть-верть во все стороны. Батюшки мои, эвот они, фашисты-то!

Глядь — и мой дедушка Матвей в сугробах пурхается. Родимый мой, дедушка! Видишь ли меня?

И снова мне подумалось: а ведь дедушка-то мой и верно — вроде как Иван Сусанин в представлении. Только все в театре нарочно, там все не настоящее: и музыка играет, и поляки поют: «Куда, мол, завел ты нас, старик?» И снег поддельный сыплет, бумага, должно быть, настрижена. Там не страшно. Хоть жалостно, да не страшно. А вот здесь — сугробы по пояс, мороз, лес настоящий вековечный, а замест музыки — стрельбище со всех сторон, живые люди валятся, кровь течет, одним словом — страх.

А врагов набегает все больше да больше: пожа-

луй сотни с три, а нет и с полтысячи. Ну, думаю, беда, сомнут они наш отряд. Только не тут-то было. Как начали да как начали наши пулеметчики строчить, враги будто зайцы стали по поляне прыгать, да один по одному брык на землю, брык! А наши пулеметчики и спереди, и сзади, и с боков. Немцы и свои пулеметы выставили. Вижу — два пулемета немецких за огромными пнями притаились. Я что есть силы ору с сосны: «Эй, бойцы!.. Эвот они, эвот за корягами!» Эх, жаль, не захватил я, дурак, своего ружьишка. Ну да и без меня… Бегут, бегут наши на приступ, а пулеметы строчку выгоняют, а враги один по одному кувырк-кувырк-кувырк… От их тел снег уж стал сереть, много накрошили их, потому — засада.

А дедушка Матвей из глаз моих куда-то скрылся. Я ну карабкаться на самую вершину. И весь обомлел. «Братцы… Товарищ Горбунов!» — надрываюсь, кричу. Да, может, и не кричу, может, мне так только кажется, пожалуй, и голосишкото мой пропал, в глазах темнеть стало, ой, упаду, ой, упаду я с дерева. И снова хочу крикнуть: «Товарищ Горбунов! Спаси деда. Убьют его». И ловлю глазом: бегут на помощь к деду наши храбрые бойцы, винтовки со штыками наперевес, бегут, «ура» кричат, и я самогромко закричал «ура», да

уж и не понимаю, то ли я сам с дерева свалился, то ли сила непонятная будто ветром смахнула меня с вершины прямо на поляну.

И вот мчусь я по поляне прямо к деду, и вижу — опоздал! Пузатый вражий офицер уж пристрелил старичка… Распластался мой бедный дедушка Матвей, только правой рукой шевелит, за белый снег как в судороге хватается, кафтан возле сердца кровью набух. А около деда тот офицер с разбитым черепом лежит, наши бойцы таки пристукнули его. Три бойца с дедушки зипун срывают, бинты готовят, а старик и глаза стал закрывать, постанывает легонько, лицо белее снега. Я завопил тут: «Дедушка!.. Желанный дедушка…» И пал пред ним на колени, в лоб его целую, в щеку, в бороду. А он еле шевелит губами, шепчет:

— Петя, внук… Отходили мои ноженьки. Вот где довелось конец принять. Умираю… умираю, Петя. Вражеских злодеев погубил, сам погиб, а своих людей, слава богу, спас. Легко теперя мне… За родну… родну… ю… землю уми… ра… — Тут дедушка захрипел, глаза закатились, вздохнул этак с наслад да навеки и умолк.

Вот каков был мой дедушка Матвей Кузьмин. Превечный покой его головушке…

Товарищ Горбунов велел переложить дедушку на грузовую машину, чтоб в нашу деревню везти. Кругом машины все бойцы выстроились, а Горбунов речь стал говорить. Что он говорил, я не слыхал: я о милом своем дедушке думал. Только и запомнил я последние слова начальника.

— Вот, бойцы, берите пример с этого удивительного старика. Всю долгую жизнь честно трудился, людям хлеб из земли выращивал, народ кормил, а умер — дай бог всякому… Героем умер, сложил свою седую голову за честь, за славу Родины. И всем нам своей чистой кровью спасение принес.

А дедушка лежит как живой, слушает и ничего в ответ не может молвить.

Я увидел сквозь слезы, как лицо товарища Горбунова задрожало, как он губы закусил, взмотнул головой и через силу добавил:

— Спи спокойно, старик. Вечная тебе слава!

Трясина

Тульская область, Белгородские леса, большое село Лишняги. Иван Петрович Иванов, старый крестьянин с окладистой белой бородой, сидел в кругу своей семьи и пришедших навестить его ближайших соседей. На столе квас с кислинкой, вареная картошка, льняное свежее масло, паху-

чая коврига хлеба.

— Вот и пришел в наши края враг, — горько улыбаясь, сказал дед Иван. — А пошто пришел? — Разорить пришел нас… Ну да ничего, дай срок, мы ему пятки-то к затылку подведем. Нам бы только раскачаться да злости поболе в сердце понабрать.

Было часа три, угасал декабрьский серенький денек. За окошками раздались лязгающие звуки, вот они ближе, ближе, вот задрожала от сотрясения почвы крепкая изба Ивана Петровича. Все бросились к окошку.

— Что за притча за такая… Немцы! — изумленно вскричал хозяин. — Ой, ты… Что же делать-то нам, ребята?

И не кончилось еще замешательство, как в избу вошел хмурый и подтянутый немецкий офицер.

— Который Иванофф есть? — спросил он.

Иван Петрович молчал, и все молчали. Офицер более крепким голосом повторил вопрос. Ивану Петровичу не хотелось вступать с ним в разговор, но он все же вынужден был ответить:

— Ну, я Иванов. Что надо?

— Нужно маленько провожать нашу колонну чрез ваш большуща лес.

— Нет, я не пойду. Я стар, да и хвораю, в поясах

свербит.

— Ого, — угрожающе сказал офицер, и глаза его стали злыми.

— Что стар, это не есть отговорка. Я заставлю тебя! — он крикнул из сеней троих солдат и приказал им: — Взять его!

— Стой! — густым басом гаркнул дед Иван. — Не насильничай. Ежели по-хорошему желаешь, так проси по-хорошему и… подь к черту.

— Теперь согласен, Иванофф? Мне ваш крестьянско начальство кафариль, ти самая очшень карашо знаешь окружающий место. Согласен? Много немецких деньги будешь получить.

— Согласен… И подь к черту с деньгами со своими.

— Карош, карош. Гут!

Расставание с семьей было трогательное. Плакала старуха, утирали слезы три снохи. Иван Петрович, прощаясь, бубнил в бороду:

— У меня десять сыновей да внуков воюют в Красной Армии, а он, змей, немецкие деньги в глаза сует. Предателей среди нас сроду не бывало. Да я лучше свою седую голову сложу, смерть так смерть.

— Карош, карош! — нетерпеливо и повелительно покрикивал офицер. — Идем!

И вот деда Ивана уже посадили на головную машину. Сзади было еще двадцать машин, доверху нагруженных оружием.

«Возьмем свое сердце в зубы, Иван, будь тверд, как камень», — подбадривает себя Иван Петрович, прощаясь со всем тем, что, может быть, в последний раз видят старые глаза его. Сердце старика тоскует, сердце надрывно бьется в груди. Легко ль в такие минуты человеческому сердцу?

Спускались сумерки. А вот и Белгородский лес. Лес хмурый, непролазный, весь в глубоких сугробах, неприветливо встретил немецких оккупантов. Для Ивана же Петровича он свой. Он пред ним весь как на ладони. Вот они с детства знакомые дубы в два обхвата, вот бородатые, разлапистые елки, а на гривах стройные с розово-желтой корой вознесшиеся к небу сосны. Эх, лес, лес… Неужто прости-прощай доведется сказать тебе?

— Где есть дорога тут? — строго спросил офицер.

— Да уж знаю, уж не сумневайся, — буркнул Иван Петрович. — По дороге правимся.

Чрез густые Белгородские леса пролегала единственная дорога, да и ту перемело глубокими снегами. А сверни с дороги — сразу в непролазное

болото угодишь. Частые болота еще не глубоко промерзли: сверху ледяная корка, под ней — гиблая трясина.

Валил густой и мокрый снег. Туманной завесой он преграждал пространство, слепил глаза. «Вот и хорошо, — думал Иван Петрович. — Снежок дивно болотца заметает. Втухаю их, окаянных, в провалище, там и карачун им будет». В лесу становилось темновато.

— Где твой карош дорога? — уж который раз надоедливо спрашивал офицер, в злобе стискивая зубы.

— Эвот, эвот... Вишь, как перекрыло ее снегом-то. Эвот она куда идет, гляди, — указал Иван Петрович в противоположную от дороги сторону, туда, где протекала самая болотистая речка Лобановка.

Колонна машин стала жутко скрипеть и грохотать по бездорожью.

Прошло довольно много времени. Офицер курил сигару за сигарой. Передний грузовик, где сидели Иван Петрович с офицером, подминая кусты, с треском ломая молодую поросль, медленно двигался вперед.

— Пропал твой карош дорога! Где он?.. — срывающимся голосом заорал офицер на старого Ивана

и в гневе схватил его за опояску.

— А мы прямичок делаем, чтобы короче путь вышел, — успокаивал старик, ненавистно косясь уголками глаз на офицера. — Да уж ты не сумневайся, барин.

Офицер сильно волновался, часто отворял дверцу, с тревогой вглядывался в сгущавшуюся темень. Снег перестал. По небу текли рваные облака, кой-где виднелись бледные звезды. На землю наплывал от звезд мороз. Становилось очень холодно.

Холодела и мятущаяся душа старого Ивана. Земные интересы, семейная и колхозная жизнь крепко, как клещами, держала его в своих тисках. Старику хотелось одним глазом взглянуть в будущее: как и когда будут выгнаны немцы, как будет возрождаться родимая страна? Да, да, любопытно все это, любопытно и… страшно умирать.

«А умереть доведется, враги все едино убьют меня, — с горечью думал старик и снова впутал себе: — Эх, Иван, Иван. Возьми сердце в зубы, становь превыше всего, превыше жизни своей — родную землю. Уж ты, стар. Так умри же с пользой для Отечества… Народ не забудет тебя, Иван. Народ и советское правительство не оставят в сиротах и твою семью… Эх, Иван, Иван… Качается душа

твоя, как рой пискучих комариков под ветром. Решайся, Иван. Пора…»

Тут головная машина нырнула носом в болото, за ней весь караван машин. Чем дальше, тем глубже. И вот все тридцать машин застряли.

Офицер схватил Ивана Петровича за белую бороду и замахнулся кулаком. Силач-старик легко отвел его руку и нажимисто сказал:

— Стой, барин! Здесь завсегда болото живет. Иного пути нету. Прикажи солдатам, чтобы подсобляли машины выпрастывать. Эй, солдатня! — злорадно прокричал дед в тьму. — Скидывай портки, лезь в болото.

Офицер сердито раздувая ноздри и пугающе косясь на старика, скомандовал солдатам перетаскивать машины на себе. Через ледяную болотную грязищу, увязая выше колен, солдаты стали исполнять приказ. Бились часа три, страшно передрогли, ругали старика. Мороз крепчал. Поднялся резкий ветер. Лес закачался, зашумел, лес встретил чужеземных непрошеных гостей ворчливой бранью.

Наконец, машины выбрались на сухое. И вскоре снова захрясли в еще более вязком, более непролазном болотище.

— Давай, давай! — угрюмо покрикивал Иван

Петрович, и душа его обмирала: неминучая, скорая смерть уже глядела ему в глаза.

Офицер выхватил револьвер и направил его прямо в лоб Ивану:

— Обман! Так это есть твой карош дорога? Смерть тебе!

— Я смерти не боюсь, — бесстрашно пробасил старик, и ему показалось, что бровастые глаза офицера горят, как у волка. — Видишь, ночь. Машины бросим здесь до утра, а утром вызволим.

Насквозь промокшие солдаты погибали от холода и голода. Их одежда на сильном морозе с ветром затвердела, как железо. Продрог и офицер.

Иван Петрович окинул хмурым взглядом глубоко утонувшие машины и подумал: «Теперь их сам черт не спасет».

— Барин, — сказал он. — Я тебя с солдатами проведу в сухое место. Там и обогреться можно, сараи с сеном есть.

— Шволочь!.. Изменник! Застреляю тебя! Веди!

И вот куда-то пошли сквозь тьму, утопая по пояс в сугробах. Измученные, промерзшие до костей солдаты окончательно выбились из сил. Проклиная жизнь, они падали на землю.

А мороз с пронизывающим ветром все крепче

да крепче.

Но дед Иван больше не чувствовал ни мороза, ни усталости, он как бы воспарил духом над сутолокой жизни, он до дна покорил в себе страх тленной смерти.

«Ну как, Иван, решил ли?» — в последний раз вопросил он самого себя.

Старик тяжело вздохнул, потряс головой, у него уже не было в душе колебания и он сам себе бесповоротно ответил: «Да, решил».

Посмотрел на восток, в сторону родного села, еще раз вздохнул, и голубые глаза его замутились умильными слезами. Да, теперь смерть не страшит его, он примет ее спокойно, с просветленным взором.

Где-то гулко раскатились орудийные выстрелы. Они заставили немцев вздрогнуть. Офицер подскочил к старику с яростью и ударил его в висок револьвером.

— Шво-о-лачь! Куда завела? Плен завела!

— В могилу завел я тебя, гада! — И старик, размахнувшись, сшиб офицера с ног железным кулачищем.

Тут щелкнули ружейные затворы, старый богатырь Иван был сражен сразу тремя пулями. И последняя мысль:

«Прости, родимая земля. Будь во счастии».

Гордая фамилия

I

Полевая баня была устроена в пещере, вырытой в нагорном берегу быстрой речки. Кругом хвойный лес, на прогалинах — большетравье, а в траве спелая земляника-ягода.

Жарко, солнечно. Возле входа в землянку сидят на длинной скамье пятеро голых бойцов, с наслаждением скребут ногтями разомлевшие на солнце бока и грудь, нетерпеливо ждут очереди в благословенную баньку, где как следует можно похвостаться веником и смыть накопившуюся за много боевых недель грязищу.

Рядом, на веселом костре, греется на двух котлах вода, два голых моряка — татарин и украинец — подают в порядке очереди воду ведрами в баню. Из бани долетает смех, говор, гоготанье, блаженные выкрики.

Сидевший на скамейке красноармеец Александр Суворов, сухой и широкоплечий, с загорелыми бронзовыми лицом и шеей, закорючив ногу, колупает мозоли и ведет разговор с товарищами.

— Фамилия наша гордая, — говорит он. — Мы — Суворовы. Я мальчонкой слышал от моего дедушки, ему за сто лет было, как генералиссимус Суворов Александр Васильевич через нашу деревню проезжал. А мой дедушка слышал от своего прадедушки, так это до нашего времени и дошло. Прадедушка моего дедушки в то время парнишкой был, так лет семи-восьми. Играли они в городки, в рюхи. Вдруг катит на простой таратайке какой-то, вроде военного, проезжающий, рядом с ним солдат сидит, и на облучке — солдат. Военный остановил лошадей, кричит:

«Ребята! А примите меня в городки поиграть! Кости поразмять хочу, засиделся».

Тут парнишка (это прадедушка дедушки-то моего) подошел к нему и говорит:

«Да ты не умеешь, тебе и в городок не попасть».

А он:

«Молодец! Бойкий!» — да подхватил парнишку и стал его шувыкать вверх-вниз, потом поставил на землю, спрашивает: «Как тебя звать?»

«Александром звать, Сашкой…»

«Ого, мой тезка, значит. А по изотчеству?»

«Васильич. А прозвище Суворов. Александр Васильевич Суворов я…»

Тогда военный избоченился, перевернулся на одной ноге и крикнул:

«Помилуй бог! Врешь ты, молодец!.. Помилуй бог! Это я Суворов-то, а не ты».

Тут все мальчишки загалдели:

«Он не врет, он верно Сашка Суворов. Его вчерась батька драл…»

Военный захохотал и молвил:

«Ну, стало быть, Суворов на Суворова наехал. Аида, ребята, в городки!»

Поставили городок, он выбрал из кучи палку самую толстую, поп любил этой палкой играть, да как ахнет! Рюхи, будто галки, в разные стороны полетели, аж заныли, вот как он саданул, несмотря что небольшого роста да сухонький. Тут подошел к нему старый солдат с тюрючком и говорит:

«Ваше превосходительство, не отведаете ли курочки?»

Ребята и рты разинули. А Сашка и говорит:

«Нет, ты не генерал. Эвот наш природный барин ваше превосходительство зовется, генерал он, так у него лента со звездой, а медалей да крестов полна грудь, курице некуда клюнуть».

«А кто же я?..»

«А ты, видать, шибко добрый да хороший…

Нешто генералы играют с ребятами?»

Суворов опять захохотал и молвил:

«Когда играют, а когда и турку бьют. Вей, не робей!» — да как ахнет. С трех палок выщелкнул с городка все рюхи и сказал: — «С праздничком, ребята. А ну, кто скорей до кибитки добежит! А ну, стройся! А ну, равняйсь! Бе-го-о-м… марш!»

Да как почесал, да как почесал вприпрыжку. А до кибитки сажен с двести. Он всех опередил, вскочил в кибитку, тут и ребятишки подбежали. Он крикнул:

«Наша взяла! И рыло в крови. Прощай, Александр Суворов! Прощайте, пузаны! Ямщик, а нут припусти лошадок!»

Из бани то и дело вместе с клубами пара вырывалось шипение — это парильщики поддавали на раскаленную каменку водой. Ожидающие нетерпеливо зашумели:

— Эй, в бане! Скоро, нет? В дзоты, что ли, закопались? Али запарились?

— Они там что — минны заграждения ставят, то ли в дрейф легли?.. Эй, братва! — закричал моряк с густой татуировкой на волосатой груди и захохотал.

Два краснокожих — долговязый и коротконогий крепыш — вывалились из темного жерла

бани, как из миномета мины, и, дымясь распаренными, пахнущими березовым веником телами, счастливые и легкие, давая друг другу шлепки, с гоготом пронеслись вприскочку к речке и с разбегу ухнули в освежающую воду.

— Вот каков был генералиссимус Суворов! — проговорил рассказчик. — И я его крепко полюбил. Как выучился в деревенской школе, в семилетке, стал книжки про Суворова покупать. Как поеду в город, так там что-нибудь и отхвачу: то книжку, то портрет. Есть у меня про него и большие книжки, так что я всю жизнь его знаю до тонкости, все походы его напамять рассказать могу. Занятный, ох занятный старик был, и большой руки чудак. Ну, а что вояка-то он замечательный, я о том уж не говорю, вы и сами знаете. Он всех бил и ни одного поражения не претерпел. Он никого не страшился, с самим Павлом Первым в ссоре был. А пришла пора-время, что царь-то первый ему поклонился: «Ну, дедушка, выручай».

II.

Красноармеец Суворов, попав на войну, первое время чувствовал себя неважно. В боевой обстановке на него накатывало какое-то томление, робость, страх. «Неужели я такой трусишка?»

— задавал он себе вопрос, смущенно вспоминая своего любимого генералиссимуса. Еще с товарищами ничего: хороший товарищ во всякой беде и выручить может, от хорошего товарища сила на тебя идет, спокойствие, уверенность. А вот в разведке, когда в поле один, иным часом тяжеленько становится. Но в такие неприятные минуты он всегда мысленно обращался с трогательным душевным движением к памяти великого полководца: «Дедушка, помоги мне!», после того, как ни странно, его силы сразу возрастали, будто он глоток живой воды хлебнул, появлялась уверенность, что он останется цел и невредим, будет победителем. Он никогда не считал себя готовым на какой-либо подвиг, напротив, он, горячий поклонник великого Суворова, с горечью думал, что ему не выдержать испытаний здесь, в огне и крови.

И вот после трех тяжелых боев он стал тверд, как камень, и бесстрашен. Юношеское, почти мальчишеское лицо его получило черты мужества; взгляд зеленоватых ласковых глаз стал пристальным, внимательным и волевым. Безусый рот с пухлыми губами сжимался во время боя в упрямую линию. Он весь, незаметно для себя, в какие-нибудь полгода возмужал и стал

походить на закаленного в сражениях солдата, на суворовского чудо-богатыря.

И сам он немало дивился происшедшей в нем перемене. Вначале он только и жил воспоминаниями о доме, о родных, о Фросе, на которой обещал жениться. Затем эти воспоминания тускнели, покрывались, как туманом, налетом боевой обстановки, а потом и совсем почти исчезли. Но разве он разлюбил мать с отцом? Разве перестал скучать о Фросе? Нет, эти чувства, разумеется, гнездились в нем, но они отошли на второй план, а надо всем властно возвышалась задача сегодняшнего дня. А задача эта — и сегодня, и завтра, и вплоть до самого конца — уничтожить неприятеля, погнать его с родной земли и начать мирную жизнь.

III.

И вот идут они в бой, двенадцать автоматчиков, двенадцать братьев-витязей. Красноармеец Суворов видел минувшей ночью странный сон: будто его мать подошла к нему, заглянула в глаза, проговорила: «Саша, помни...» — и исчезла. А что «помни» — не сказала.

Он шел вперед в душевном смятении. Снова стали вспоминаться мать, отец, родные места.

Его сердце загрустило.

Преодолев два проволочных заграждения, автоматчики стали приближаться к немецкому окопу. Заметив автоматчиков, немцы открыли губительный огонь.

— Вперед, братцы, за мной! — крикнул лейтенант Лапшин, увлекая за собой красноармейцев.

Воздух гремел и выл. Силы были не равны, ряды бойцов редели. Сраженный осколком мины, упал лейтенант. Еще минута, и рядом с ним упал раненый Суворов. Над ним где-то очень далеко слышалось русское «ура». Вот тише, тише… Сознание вернулось к Суворову. Один, вокруг никого! Вражеские минометы молчали.

С трудом он стал приподниматься, от режущей боли лицо его исказилось, но рука крепко держала автомат. И вот видит: подбираются к нему четверо немцев. «Ага, в плен? — мелькнуло в его мыслях. — Врешь, дешево не продам свою жизнь!» И он дал меткую очередь из автомата. Трое упало, четвертый, схватившись за бок, с воплем побежал назад к окопу. На помощь из окопа по одному стали выскакивать немецкие солдаты и на бегу стрелять.

Суворов чувствовал, как по левой щеке его течет теплый ручеек, кровь капает на кисть руки,

но глаза видят, мозг работает, значит, череп в целости. До немцев метров сто. Немцы с гвалтом бегут к нему. Крики, треск выстрелов в него и от него. Немцы валятся, валятся, и только последний набежал вплотную, замахнулся, чтобы пронзить штыком, но винтовка из рук врага упала и сам враг упал. Суворов едва превозмогал себя, грудь его раздиралась от шумного дыхания, глаза широко открыты. Перед ним и дальше до самого окопа — куча вражьих трупов. Он вытер окровавленную, с подсохшей кровью, кисть руки и почувствовал режущую боль в обеих ногах и в правом предплечье. Ему захотелось застонать. Он повалился лицом в землю, принялся скрести землю ногтями, стиснул зубы, боль начала затихать, но дыхание становилось коротким: душно. Нет, лучше на спину, лицом в небо. Он перевернулся грудью вверх.

Капля за каплей выходит из него вместе с кровью жизнь.

— Братцы, — стонет он еле слышным голосом, — я живой!

Но все кругом молчит, лишь строчат пулеметы, и небо сереет, должно быть, сумерки. И странное чувство: вдруг все в нем загудит, загудит и смолкнет, загудит и смолкнет. Клонит ко сну…

Нет, он спать не будет, он станет глядеть в небо и — быть начеку.

Боль… Опять боль. Господи, что же это? То ли мошкара, то ли тараканы по лицу ползают, тысячи тараканов… И зайчик пробежал, лягнул ногой и дальше. Тысячи зайцев с ножками… Он глубоко, взахлеб, вздохнул, подумал: «Смерть», — и закрыл глаза. Нет, он еще жив. И где-то голос: «Саша…» Ах, это снова матушка. «Ладно, не надо, дайте, мамонька, капельку покоя, не мешайте».

И еще голос услыхал: «Суворов, крепись!» И голос тот был какой-то особый, он доходил до самого нутра, сердце бойца застонало, затем на сердце стало легко и тепло. «Ты ранен, русский воин?» — и чья-то ласковая рука погладила его по голове, сразу сделалось легко дышать, страдания кончились.

Сухощекое лицо, такое родное и милое, склонилось над ним, а большие серые глаза заглянули ему прямо в душу. Высокий лоб в морщинах, надо лбом пушистый клок белых волос, как снежный вьюнок в метель.

И снова прозвучал тихий отеческий голос: «Помилуй бог!.. Крепись, чудо-богатырь! Крепись!»

— Креплюсь, товарищ генералиссимус, — ответил боец знаменитому Александру Васильевичу

Суворову. И от неповторимой, высокой радости, что вот к нему, к простому красноармейцу, подошел сам Суворов, боец всхлипнул.

И сквозь слезы видит: генералиссимус вскочил, замахал рукой и светлой сабелькой: «Сюда, чудо-богатыри, сюда! Живой!»

Красноармеец, словно поднятый ветром, тоже вскочил, тоже закричал:

— Живой я! Живой, братцы!

Но вдруг он ощутил, как высокое небо покатилось вправо, а земля рывком и очень быстро двинулась влево. Боец упал.

Очнулся Суворов в госпитале и не сразу поверил тому, что жив. Изумленными, помутневшими глазами он водил от лица к лицу: врач, две сестры, много раненых, — не находил того, кого искал.

— А где же… — и он запнулся, он не мог вспомнить, кого ищет его взор.

А где-то в глубине сознания слабым отблеском внезапно прозвучали слова матери: «Саша, помни». Тогда раненый боец обострившимся внутренним зрением ясно увидал угол своей избы, полку с книгами, над ней портрет вихрастого старца с ухмыльчиво поджатыми губами.

И после переливания крови, когда он стал помаленьку, но прочно входить из смерти в жизнь, он

рассказал товарищам о своем бредовом видении.

— Великий Суворов посетил меня. Сам генералиссимус, — взволнованно начал он. Смущенный, он едва справился с собой, приподнялся на локте и проговорил:

— Если б у меня не семь, а семьдесят семь ранений было, я все равно, как только окрепну, в тот же день на фронт. Дедушка-то Суворов какой наказ нам оставил!

Слышали? «Разите врага, детушки, спасайте матушку-Россию!»

Евгений Иосифович Габрилович

Фронтовое письмо

Дорогая Лиза! Получил вашу посылку и письмецо. Я очень тронут этой посылкой, особенно записной книжкой, в которой вы написали: «Коле Медведеву от Лизы Луковской» и списали песню «Синий платочек». Спасибо вам, милая Лизанька. Почему это вы вдруг вспомнили обо мне и написали мне в первый раз письмецо?

Вы спрашиваете, как я живу.

Мы очень далеко от вас, Лизанька! Я в отряде, углубившемся в расположение противника по специальным заданиям. Пищу, боеприпасы, вооружение доставляют нам пешком через болота, леса, иногда ползком. Вокруг немцы, каждый день они атакуют нас, мы для них — словно сучок в глазу. В общем «до смерти четыре шага», как поется в песне, которую часто передают по радио.

Лиза! Как часто вспоминаю я наш городок и техникум, где мы вместе учились!

Многие представляют себе, что на войне ни о чем не думаешь, кроме атак да стрельбы, ни о чем не вспоминаешь. Это неверно: нигде так много не вспоминаешь, не раздумываешь, как на войне. Многое из того, что казалось значительным,

серьезным, кажется пустяком и, наоборот, то, на что раньше не обращал внимания, кажется вдруг серьезным, глубоким, трогательным. Так-то, милая Лизочка, дорогой товарищ по техникуму!

Особенно я люблю рассматривать сейчас фотографии тех времен, у меня их здесь, к сожалению, совсем мало. На одной из них мы сняты вместе с вами, знаете, та фотография, где все мы на лодке, — вы, я, Сеня Петров, Катя Люсицкая. Сеня и я за веслами, а вы с Катей на корме, и Катя смотрит на Сеню влюбленными глазами: помните, как все в техникуме подшучивали над ее любовью.

Вот о Сене я и хочу вам написать. После мобилизации мы с Сеней вместе окончили школу лейтенантов и вместе попали на фронт в одну и ту же дивизию. Это знаменитая, прославленная на войне дивизия, и служить в ней великая честь. Нас с Сеней назначили в разные полки. Мы распрощались, и Сеня сказал:

— Как бы не сплоховать, Николай! Шутка сказать — такая дивизия! Давай поклянемся, что не подкачаем!

И мы дали друг другу клятву, так как оба были из далекого приуральского городка, в первый раз слышали канонаду, и нам, по правде сказать, было не очень-то по себе.

С тех пор долго не виделись. Я много слышал о Сене, читал в армейской газете о его подвигах.

В феврале наша дивизия ударила по врагу во фланг и двинулась по снежной целине, отрезая его коммуникации и окружая крупную фашистскую группировку.

Вот читали мы много книг о наших людях и все спорили, каковы качества нового человека, — помните наши споры, — а он уже существует, этот замечательный советский человек. Нигде это так не обнаруживается ясно, как на войне. Вот сибирский, уральский, рязанский колхозник идет рядом с тобой, идет уверенно, спокойно, без отдыха, несет не только свое личное вооружение, но еще части пулемета или миномета, ротные припасы, не дрогнет, не пожалуется, только пошутит над собой да над соседом, когда особенно туго придется.

Скажешь какому-нибудь политруку, который раз двадцать водил роту в рукопашный бой, сотню раз побывал под бомбежками, под орудийным обстрелом, живет с бойцами, не вылазит с передовых.

— Чудесный вы человек, особенный!

Удивляется.

— Особенный, чем? Вот уж самый обычный

партийный работник из далекой глубинки, даже в районном городе редко бывал.

Война разоблачает все ложное, раздутое, случайное, и сразу видно, где настоящее и где фальшивое; видно, что настоящих, действительно советских людей у нас миллионы.

Вот тогда-то, в этом походе, и встретил я Сеню. Было это вечером, в метель. Ночь была такая темная, что в трех шагах не видать. Столкнулись нос к носу. Страшно обрадовались, обнялись. Всю ночь шли вместе. Он рассказывал о своих делах, я — о своих. Когда был подан сигнал к отдыху, уселись рядышком, спина к спине. Вьюга, ветер, снег так и сыплет; то и дело встряхиваемся, как утки.

— Давай, — говорит Сеня, — о чем-нибудь хорошем вспоминать, теплее будет.

Стали мы вспоминать о техникуме, об учителе алгебры, о сторожe Федосеиче, о кино, о вас, о Кате Люсицкой, об экзаменах, о футболе. Сеня спрашивает:

— Теперь тепло?

— Теплее, — говорю.

— Ну, а теперь, — говорит Сеня, — давай попоем тихонько.

Стали мы напевать тихо-тихо наши студенческие песни и всякие другие — и грустные и

веселые, — и опять вспоминали о техникуме и о футболе и снова тихонько тянули мелодии.

— Вот и хорошо, — сказал Сеня, — теперь совсем жарко.

А потом стали говорить о разных личных делах, признались, кто в кого влюблен, и Сеня сказал, что был влюблен в Катю Люсицкую и только робел ей об этом признаться. Лиза, расскажите это Кате при случае.

Утром мы прощались. Снова я не видел Сеню месяца два и только недавно узнал, что он погиб. Дело это было геройское: вместе с горсткой бойцов он оборонял высоту, дрался трое суток, остался один у пулемета — бойцы были ранены или убиты, — так он один держался до тех пор, пока к нему не подоспела подмога. Он не ушел тут и продолжал бой. Вскоре он был ранен, его привезли в медсанбат.

Я побежал в медсанбат. Впустили меня. Он меня сразу узнал.

— Коля, — говорит, — помнишь, во время метели в лесу мы с тобой песни пели?

— Помню, — говорю, — я все помню.

Помолчали.

— Ну, как, Коля? — спрашивает. — Не подкачал я, клятву сдержал, дрался неплохо?

— Ты, говорю, герой.

— Герой, говорит, не герой, а не подкачал, воевал, как мог.

Вскоре я ушел, а вечером получил от него записку: «Дорогой Коля, если я умру, напиши моим старикам, что я умер легко и спокойно. Я ненавижу фашизм. Ненавижу кровавую, грабящую, убивающую фашистскую нечисть, ненавижу всеми силами своей души, и если бы у меня была вторая жизнь, я бы отдал и ее. Напиши им, что я счастлив, что был бойцом в этой великой битве. Прощай, не забывай меня, Коля».

Через два дня он умер. Его похоронили с почестями, под орудийный салют, как героя.

Милая Лиза, придет день, и мы выгоним Гитлера с нашей земли; настанет утро, когда не будет больше слышно пушек и бомб в этих прекрасных лесах и наступит удивительная тишина и снова запоют птицы. Тогда приезжайте сюда из нашего далекого городка. Я вам покажу места, где мы дрались, холм, где лежит Сеня. Пройдем тихим оврагом, где мы слышали столько грохота, я проведу вас по пустым окопам, блиндажам и расскажу о людях, которые, как и Сеня, бились с врагом, не жалея крови и жизни. И если бы у них была вторая жизнь, они отдали бы и ее за этот

светлый день грядущей победы.

Пишите мне, Лиза. Если бы вы знали, как приятно получить на войне письмо, вы бы писали часто-часто, может быть, каждый день.

Константин Александрович Федин

Ленинградские рассказы
Часики

В госпиталь прибыл один раненый с прозвищем сержант Иван Иваныч. Это величание вызвало у всех улыбку, потому что женственный мягкий подбородок сержанта Ивана Иваныча был едва-едва покрыт золотцем пушка и под военным суровым загаром щек светился шелковистый румянец юности.

Глаза Иван Иваныча были забинтованы, их видели только доктор и хирургическая сестра.

Приехав, сержант Иван Иваныч расспросил, куда он попал, и, узнав, что находится в старой глазной клинике, почти бессловесно применился к однотонному госпитальному порядку, ожидая, что даст лечение.

Назначена была операция, и спустя два дня после нее сержант Иван Иваныч решился задать робкий вопрос: будет ли он видеть? Доктор ответил:

— Одним глазком — нет. А другим, надо думать, полностью, как до ранения.

С этого времени сержант Иван Иваныч стал

беспокоиться, скоро ли дадут ему посмотреть тем глазом, который должен был видеть, как до ранения, все спрашивал у сестры, на перевязках: когда, когда? А сестра ему отвечала:

— Надо погодить. Больно нетерпеливый…

— Я хочу своей рукой письмо написать, — сказал Иван Иваныч, — а то еще подумают — я какой инвалид. —

— Что ж ты — безрукий? Я приду в палату, помогу, я это умею.

Сестра, и правда, умела это делать. Сержант Иван Иваныч писал с забинтованными глазами, а она одними пальцами чуть-чуть направляла его руку.

И, помогая ему, сестра видела, что он пишет дорогому другу Вере о том, что ранен, но совсем легко и уже поправляется, что на фронте кое-чего насмотрелся и все виденное так и стоит у него перед глазами и что он собирался привезти ей, дорогому другу Вере, в подарок часики, но отложил это дело «до после победы над немцами».

— Теперь где мне расписаться? — спросил Иван Иваныч.

— Вот здесь, — сказала сестра и положила его руку на край страницы.

— Я сам, — сказал он, — вы отвернитесь.

Сестра отошла в сторону, и сержант Иван Иваныч быстро написал: целую.

Но и после того, как отправлено было письмо, Иван Иваныч не переставал допытываться, когда дадут ему посмотреть тем глазом, который должен был видеть, как до ранения.

Наконец, минута эта наступила. Ему сняли повязку, и он долго приглядывался к темноте, перехватив дыхание и не шевелясь. Потом в комнате стало светлее, он начал улавливать непонятные очертания и вдруг прямо против себя увидел сестру.

Она была совсем другая, совсем не такая, какой он себе вообразил ее, когда она помогала ему писать. Перед ним стояла рыхлая, коротенькая, пожилая женщина в полотняной белой шапочке, с засученными по локоть рукавами халата. Он так был счастлив, что видит ее, что ни звука не мог произнести, и только старался удержать дыхание, чтобы не шуметь.

Пока свет теплился, сестра заметила, как вздрагивал золотившийся пушком подбородок сержанта Иван Иваныча, как несмелый, наполненный слезою глаз, с рассеченной и зашитой бровью, мигая, оглядывал ее изумленно и как этот глаз вдруг замер, остановившись на часиках,

надетых на ее руке.

Потом свет погас; доктор хлопнул Иван Иваныча по плечу, и сестра принялась за перевязку.

Когда сержанта Иван Иваныча уводили в палату, он спросил:

— У вас, сестрица, часики — русские или какие заграничные?

— Я и не знаю, — ответила сестра. — Скорее всего русские.

— Нет, не русские, — сказал Иван Иваныч, — наверняка, заграничные.

— Ну, слава богу, значит, хорошо видишь, коли разглядел, какие это часики.

— Вижу полностью, очень вам благодарен…

В госпитале сразу все узнали, что сержант Иван Иваныч видит: он стал разговорчивым, болтал с санитарками, на прогулках заставлял их все время водить себя по саду, из конца в конец.

На следующей перевязке он опять спросил у сестры:

— Вы свои часики купили где, или еще откуда взяли?

— Мне их подарили.

— Я думаю так, что они немецкие будут, — сказал он.

— Ну, может, и немецкие. Что они тебе дались?

— Да так, — ответил сержант Иван Иваныч и помедлил. — Хотите, может, я расскажу, почему я расспрашиваю?

— Расскажи.

— Нашу роту немцы три раза атаковали. А потом мы должны были сами на них внезапной атакой идти. Перед нами находилась такая ложбинка, а потом холмик. Мы должны были переползти ложбинку и тоже ползком — наверх, а там, дальше, бежать, прямо на врагов. Там была их позиция. Ну, мы поползли еще темно было. А далеко. До холма доползли — светать начало. Лейтенант нас остановил под самой горкой. Я как раз дополз до одного немца, — лежит убитый. Раскинулся, большущий. Когда мы их отбивали, он, значит, ковырнулся. Как раз у меня перед глазами — рука его, пальцами траву захватила, держит. А на руке, я вижу, часики поблескивают. Я немножко подполз, ухо придвинул, слышу — тикают часики, в исправности. Я и подумал: сниму, зачем им пропадать? Посмотрел на них — такие аккуратненькие, на оправе и на браслете — рисунок сделан листочками. Ну, да вы по своим знаете, точь-в-точь такие… В это время гляжу на лейтенанта, он знак делает, чтобы я передал по цепи, что сейчас пойдем в атаку. Я

передал бойцам приказ и опять — к часикам. Вижу, «труп» ухмыляется из травы, зубы на меня ощерил, голова ко мне повернута. Я тут задрожал не от испуга, наверно, а от холода, потому что мы как ползли по росе, так насквозь промокли. Опять я поглядел на часики. Очень мне стало тяжело переживать. И я тут ему сказал: «Ах, ты, сволочь ты этакая! — Извините, — сказал я. — Часиками думаешь меня взять? Не возьмешь!» Повернул я свой автомат к себе стволом и гляжу на нашего лейтенанта. Как он только команду подал подыматься, я сейчас прикладом автомата — тук! — по часикам. От них только брызнуло в стороны, точно я по воде ударил. И все как есть без следа в траве пропало. «Понял? — спросил я врага. — Понял, что я на твой соблазн не пойду?» Ну, так вот. Вскочил я, перепрыгнул через пего и побежал впереди своих ребят…

— Тебя тогда и ранило? — спросила сестра.

— Нет, ранило меня потом. Про то, как меня ранило, к делу не относится, — сказал сержант Иван Иваныч и задумался.

— Правильно я действовал? — спросил он погодя.

— Правильно, — сказала сестра.

— А после войны я такие часики найду, как вы

думаете?

— Думаю — найдешь. Для дорогого друга Веры? — спросила сестра.

— Для дорогого друга Веры, — мягко повторил сержант Иван Иваныч и улыбнулся. — Вы теперь, сестрица, про меня все знаете…

— Да, теперь все знаю, — подтвердила сестра.

Каша

Нина была только на год старше брата Вити, но, как девочка, рядом с ним, казалось, переросла свои десять лет. Она помогала своей матери в хозяйстве, и когда взрослые заводили речь о пайках, о хлебных карточках, об очередях, она серьезно вмешивалась в разговор.

— Ты, мама, не сравнивай с мирным временем, — говорила она и громко вздыхала, как женщина.

Витя, занятый особенными привязанностями, возникающими на лестницах многоэтажного дома, в закоулках большого двора, думал больше о своих однолетках-товарищах, чем о сестре. В душе он считал, что ее жизнь заполнена суетой. А у него была собрана коллекция осколков от зенитных снарядов, был немецкий Железный

крест, подаренный красноармейцем, были и другие военные трофеи, например золоченный пакетик от германского бритвенного ножичка, попавшего в руки того же лихого красноармейца при разгроме одной вражеской позиции.

Сестра Нина делала, конечно, все, на что была способна, но ее занятия Витя называл девчонскими, кроме, пожалуй, хождения за обедом, в столовую. Тут, однако, Нина не обходилась без Вити. Она брала его с собой, и одну кастрюльку нес он, другую — она.

Раз, в очень ветреный зимний день, они возвращались из столовой домой. Выдано было всего одно блюдо, но зато хорошее.

— Смотри, — сказала Нина, поболтав ложкой ячневую кашу, — какая густая. Это лучше, чем суп, да потом второй суп под маркой каши. Правда?

— А что такое под маркой? — спросил Витя. — На каше марок не бывает. Это не письма.

— Ты всегда не понимаешь, — сказала Нина, — это так говорится.

Закутанные, они шли, нагнувшись, против ветра, пряча маленькие личики в поднятые и обкрученные шарфами воротники. Нина несла кашу, Витя — пустую кастрюльку с ложкой.

Чуть-чуть начинало смеркаться, но они знали, что успеют до темноты прийти домой, и шли обычной дорогой — по Миллионной улице, потом наискосок по Марсову полю — узкой, кривой тропинкой, вытоптанной по неубранным сугробам снега, к Садовой. Когда они проходили мимо занесенного памятника Жертвам Революции, на них вместе с поземкой, точно из-под земли, налетело утробное завывание сирены.

— Вот тебе и воздушная тревога, — сказал Витя.

— Добежим, — ответила Нина и взяла брата за руку.

Они побежали, нагнувшись еще больше и вобрав головы в воротники. Ложка в пустой кастрюле позвякивала весело и звонко, словно бубенец, и Витя подумал, что вот он мчится на лошади в снежный буран, быстро, быстро.

Вдруг они услышали гул самолета и затем — режущий свист бомбы, близившийся с неба, как будто прямо на них.

— Ложись! — крикнула Нина, сильно потянув Витю за руку.

Они упали ничком в снег и секунду лежали без движения. Гулкий вздох разрыва наплыл на них сверху, и они еще немного полежали молча и не

двигаясь. Приподняв голову, Нина сказала:

— Это у нас.

— Нет, — отозвался Витя, — дальше. Я уж знаю.

Они опять уткнулись в снег, потому что новый взрыв раскатился по пустынному полю, тяжело переваливаясь через них и со стоном уходя за Неву.

— Знаешь, — сказала Нина, — побежим к Лебяжьей канавке, там спрячемся под мостик.

Они перебежали через поле, скатились по откосу набережной и, увязая в снегу, забрались под мост. Там было темно, угрожающе свистел ветер, но они так глубоко спрятались в пролете, что поземка не задевала их. Они прижались друг к другу и замерли.

Тогда началась бомбежка. Один за другим повалились на город бомбы. На розовых вспышках разрывов чернел грузный Инженерный замок, как будто припадая к мостику и потом отбегая от него, и деревья вокруг замка словно выпрыскивали из земли голыми черными вениками и опять прятались, как будто их кто-то вдергивал назад, в землю.

— Это все около нас, — совсем тихо сказала Нина. — Около нашего дома.

— Вот это — да, — ответил Витя.

— А что, если убьет маму? — спросила Нина.

Витя ничего не сказал. Он поправил кастрюли, сначала пустую, с ложкой, затем — с кашей, вдавив их поглубже в снег. Вдруг раздался такой удар, что лязгнул и простонал мост, и Витя услышал, как ложка запрыгала на дне кастрюли, жалобно прозвеневшей, точно струна гитары.

— Тебе не страшно? — спросила Нина и повторила: — Вот если убьет маму…

— Знаешь, Нина, — сказал вдруг басом Витя, — давай съедим кашу…

— А мама что? — спросила Нина.

— Все равно, когда ты говоришь, если маму убьет…

Они помолчали. Разрывы прекратились, ветер приостановился, и стало на минуту очень тихо.

— Ну, а если маму не убьет, — сказала Нина, — а мы с тобой съедим кашу…

Витя не ответил. Снова взорвались бомбы, раз, другой, третий, выплыл, придвинулся к мостику и исчез черный замок.

— Ну, а если маму убьет? — произнес еще более грубым голосом Витя. — Каша совсем замерзнет. На чем мы ее будем отогревать? Только больше чурок изведешь. А сейчас она еще мягкая… Съедим, Нина, а?

Нина подумала и сказала:

— Нет, Витя. Может, ее все-таки не убьет…

Не заговаривая больше, они дождались конца бомбежки, выползли на четвереньках из-под моста, окоченевшие, скорчившиеся, и пошли домой.

В воротах дома к ним кинулась мать и, обнимая их, забормотала какое-то неразборчивое слово, вроде маленькие или миленькие, все стараясь что-то проглотить и задыхаясь.

В комнате, разогрев кашу на железной печечке, она разделила ее поровну между детьми.

— Мам, а ты? — спросила Нина. — Почему ты не положила себе?

— Я уже поела, детка, кушайте, кушайте, — сказала мать, отворачиваясь от стола и копошась около огня.

Когда обед был кончен, Витя тихонько придвинулся к матери и поцеловал ее.

— Спасибо, — сказал о.н.

Потом ушел в дальний, совсем темный угол комнаты и позвал оттуда:

— Нина, а Нин, поди сюда.

Сестра подошла к нему, он обцепил рукой ее шею и прошептал:

— Нагнись. Ну, нагнись, тебе говорят, я скажу

на ушко… Ты знаешь… ты, это… не рассказывай маме про то, про что мы говорили под мостом…

— Про кашу? — тоже шепотом спросила Нина. — Что я — разве дура? Конечно, ни за что не расскажу…

Леонид Сергеевич Ленч

Спасение

Берег здесь был крутой, обрывистый, скалистый. Внизу в неверном свете молодой луны чуть белела узкая лента прибрежной гальки. На ней черными квадратиками выделялись разбитые, сброшенные за ненадобностью с дороги армейские грузовики.

Ночь была тихая. Черное море глухо шумело, лениво шевеля камни.

На высоком берегу под огромным дубом, великаньи ветви которого казались самостоятельными деревьями, растущими горизонтально, сидели Фадеев, старший лейтенант-зенитчик, Лысенко, младший политрук, и Черников, младший лейтенант. Их автоматы лежали рядом на траве.

— Ну, что будем делать, политическое руководство? — сказал Фадеев хриплым басом, снял морскую фуражку и вытер платком высокий массивный лоб.

Лысенко не ответил. Не отрываясь, он смотрел туда, где, багровея, словно рана на черном фоне ночного неба, весь в заревах пожаров и взрывов, умирал оставленный город. Смуглое привлекательное лицо Лысенко некрасиво кривилось,

мускул дрожал на щеке.

— Сволочи! — шептал Лысенко. — Ах, сволочи!

— Я тебя спрашиваю, Лысенко, — повторил Фадеев.

— Известно, что делать! — горячо заговорил Черников, высокий юноша, почти мальчик, с усталым лицом, которое в лунном свете казалось мертвенно-бледным. — Пробиться некуда — враги всюду. До партизан нам не дойти: на этом пятачке нас перестреляют, как перепелок. Немцы ждут только рассвета. Предлагаю утром вступить в бой, драться до последнего патрона, а бойцам честно и прямо сказать, что это — конец. Гвардейцы не сдаются.

Черников положил руку на кобуру с револьвером.

Наступило молчание. Вдали снова загремели взрывы, и пламя, клубясь, метнулось к небу громадным алым лоскутом.

— Сволочи! — опять прошептал Лысенко. — Ах, сволочи!

— Погибнуть — штука нехитрая, — сказал Фадеев. — Только меня батька с маткой не этому учили.

— А чему же тебя учили батька с маткой? — уже с вызовом спросил Черников.

— Тому они меня учили, — сказал Фадеев, — что человек один раз на свете живет. И помирает один раз. Так что выходит, друг ты мой ситцевый, смерть — это штука серьезная.

— Да ты что предлагаешь?! — почти закричал Черников. — Сдаваться?! Говори!

Фадеев нахмурился. Доброе лицо его стало суровым, скулы окаменели.

— Думайте, что говорите, младший лейтенант Черников, — строго сказал он. — Я смерти не боюсь. Я с ней давно на «ты» свои сто грамм выпил. Но помирать-то надо с умом, чтобы польза была.

— Я же предлагаю драться! — горячо ответил Черников. — Мы умрем в бою, наколотив кучу фрицев. Разве это не польза?

Фадеев улыбнулся и положил большую теплую руку на плечо Черникова.

— Видишь ли, Паша, если бы мы имели приказ командования защищать этот рубеж, ты был бы абсолютно прав. Тогда уж — драться до последнего, а в конце — пуля в висок или граната под голову. Но сейчас положение другое. Город оставлен. Значит, сейчас наша боевая задача — сберечь себя и пробиться к партизанам.

— Фадеев прав, — сказал, вставая Лысенко. — Надо пробиться к партизанам. Здесь вести бой

бессмысленно! Да и боеприпасов у нас — с гулькину душу!

— А как пробиться? — возразил Черников. — По берегу нельзя: они нас будут бить на выбор. Морем? На чем? — Он вскочил на ноги и заглянул вниз с кручи: Фадеев поднялся и встал рядом с ним. — Вон грузовики лежат разбитые. На них, что ли, поедем по морю, Фадеев?

Фадеев посмотрел вниз на грузовики, потом на Черникова, потом опять на грузовики. Внезапно глаза его хитро блеснули.

— Правильно, Паша, — сказал Фадеев, — на них-то и поедем.

— На грузовиках по морю? Ты, Александр Николаевич, должно быть, нездоров?!

— Я тебя тоже что-то не понимаю, Саша, — сказал Лысенко. — Объясни, пожалуйста.

Фадеев еще раз посмотрел вниз на грузовики, словно проверял, реальна его идея или нет, потом обернулся к Лысенко и Черникову и решительно заявил:

— Слушайте, други! Эти грузовики — наш единственный шанс на спасение. Предлагаю спуститься вниз, снять кузова, присобачить к кузовам скаты с покрышками для усиления плавучести и на этих, с позволения сказать, плотах

двинуть к партизанам. Нам надо проплыть вдоль берега километров двадцать, не больше. Погода пока тихая — грести будем досками. Задача заключается в том, чтобы делать все как можно быстрее и как можно тише. А плыть надо ночью до рассвета. Ну, как, Лысенко, принимаем решение?

— Обожди, Саша, — сказал Лысенко, — это ты здорово придумал. Но ведь надо вниз спуститься. И боеприпасы взять и оружие. А здесь, гляди, какая высота. Метров семьдесят! Головы поломаем!

— Ну, это, положим, не страшно, — вмешался Черников, — у нас есть телеграфный провод, сплетем канат хоть на сто метров. По канату можно легко спуститься вниз.

Фадеев кивнул Черникову.

— Правильно, Паша. Ну, как, Лысенко, согласен?

Лысенко комически сдвинул фуражку на затылок.

— Ладно! Поплывем на грузовиках, черт их дери совсем! Откроем, так сказать, новую страницу в истории мореплавания. Зови бойцов, Александр Николаевич.

Фадеев тихо свистнул. Сейчас же из-за кустов

и скал, из темноты ночи бесшумно появились люди в стальных шлемах, с автоматами, висящими на ремне на шеях. Лица их, воспаленные бессонницей, черные от пороховой копоти и усталости, осунувшиеся, с заострившимися чертами, выдавали страшное напряжение нервов, которое принесли им трагические, уже ставшие живой Легендой бои за город. Смерть его они сейчас наблюдали, сжав зубы и кусая кулаки, чтобы не разрыдаться,

— Бойцы! — просто сказал Фадеев. — Положение такое: надо пробиться к партизанам. Есть у меня один план…

И он коротко и точно рассказал, в чем заключается его план.

Бойцам предложение плыть по морю на грузовиках очень понравилось. Заиграли улыбки на измученных лицах. Высокий черномазый разведчик, коренной черноморец, которого все в полку звали ласково Юрочкой, показал в широкой улыбке все тридцать два великолепных зуба и сказал:

— Попы утверждают, товарищ старший лейтенант, что Иисус Христос по морю пешком ходил. А нам, выходит, пешком неудобно. Все-таки сейчас двадцатый век. Мы, значит, по морю на автомо-

билях! Шик, блеск, где-то треск!

Бойцы засмеялись.

— Надо канат сплести из телеграфного провода, чтобы спуститься вниз, и как можно скорее, — сказал Фадеев. — Старшина Игнатов, восемь человек на усиление кругового охранения, остальным — плести канат. Живо!

— Есть, восемь человек в охранение, остальным плести канат! — четко откликнулся Игнатов. — Разрешите исполнять приказ?

— Исполняйте!

Когда канат был готов, его обмотали вокруг дуба и закрепили надежным морским узлом.

— У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том, — с чувством продекламировал Юрочка. — Разрешите мне первому спускаться, товарищ старший лейтенант.

— Первым спущусь я, — сказал Фадеев.

— Нет, Александр Николаевич, так нельзя, — заявил Лысенко. — Ты — командир.

— Моя идея, мой и риск.

— Да разрешите мне! — взмолился Юрочка. — Я же, знаете, как лазаю, товарищ старший лейтенант! Как первоклассная обезьяна.

— Ну, полезай, обезьяна первоклассная! — улыбнулся Фадеев. — Автомат возьми с собой и

пару гранат.

— Есть, товарищ старший лейтенант! — обрадовался Юрочка и исчез в темноте.

Вернулся он через пять минут. На нем висели автомат, две сумки, наполненные гранатами, и трофейная гитара, захваченная с боем в румынском блиндаже. С этой гитарой Юрочка никогда не расставался: ему хотелось быть похожим на моряка из знаменитого фильма.

Он встал на четвереньки спиной к обрыву и, ухватившись за канат обеими руками, повис над черной пропастью.

— Цирк Шапито, — сказал Юрочка, напряженно улыбаясь, глядя снизу в тревожные лица товарищей, — воздушный акт на проволоке! Всю жизнь мечтал. Адью, друзья!

Он стал быстро спускаться. Наверху, затаив дыхание, люди следили за его осторожными, ловкими движениями. Наконец Юрочка благополучно достиг земли.

— Порядок! — негромко крикнул он снизу. — Давай резервы!..

Один за другим бойцы стали спускаться по канату. Они ничего не оставили врагам наверху. Даже пулемет в разобранном виде и тот совершил путешествие сверху вниз на спине одного

из гвардейцев.

Последним спустился Фадеев.

— Теперь, ребята, за работу, — сказал старший лейтенант, дуя на ладони, ободранные канатом до крови, — дорога каждая минута.

Однако как ни спешили бойцы, но снять кузова с их основ и прикрепить к ним скаты оказалось делом нелегким и долгим. Юрочка разыскал на берегу брошенные ключи, два топора и еще кое-какой нехитрый шоферский инструмент, но все же приходилось главным образом рассчитывать лишь на собственные руки да на приклады автоматов и ножи. Срывая ногти, обливаясь потом, моряки работали, как одержимые. Но только на рассвете, когда с моря потянуло свежим ветерком, вода из черной сделалась серой и звезды на небе стали быстро блекнуть, странные плоты с бортами закачались на невысоких волнах у берега. Люди мучительно хотели пить и спать, они падали с ног от чугунной смертельной усталости. Но пить было нечего. По приказу Фадеева всю воду, какая была во фляжках (а было ее очень мало), слили в одну. Вода была объявлена неприкосновенным запасом — на случай, если придется драться и появятся раненые. Спать тоже было нельзя. Надо было плыть к партизанам.

Фадеев подал команду: люди расселись по трем плотам, оттолкнулись от берега и поплыли, работая досками вместо весел.

Прошел час. Закусив губы, со вздувшимися жилами на лбах, в мокрых насквозь тельняшках, хрипло дыша, гребцы ритмично взмахивали своими досками. Чайки в страшном переполохе с визгом носились над странным караваном, словно спрашивая друг друга: «Что ж это такое, братцы?» А люди продолжали взмахивать досками, и грузовики медленно двигались вдоль берега вперед и вперед.

— А все-таки плывем, — упрямо сказал Фадеев Черникову. — Доберемся до партизан, враг мне за это идиотское путешествие сполна заплатит. Только бы они сейчас нас не открыли.

В ту же секунду с высокого берега раздался каркающий резкий окрик немецкого часового. Грянул выстрел. Пуля вспенила воду рядом с бортом первого плота.

— Давай в море! — крикнул Фадеев. — В море давай!

Гребцы стали тормозить своими досками, чтобы повернуть плоты в открытое море.

С берега шла яростная стрельба. Длинными очередями бил тяжелый немецкий пулемет, но

пули лишь пенили воду, не накрывая цель.

Юрочка сорвал с шеи автомат и ударил по берегу. В ответ немцы усилили огонь.

— Ничего, ребята, уйдем! — кричал Фадеев. — А ну, веселее, давай веселее!

Гребцы заработали досками.

С берега опять застрочил пулемет, и опять веер пуль, вспенив теперь уже голубое море, лишь обдал горячие лица гребцов солеными свежими брызгами. И вдруг, — это было, как в милой старой сказке, когда добрый волшебник нежданно-негаданно приходит на помощь погибающему герою, — вдали метров в тридцати от плотов море запенилось, забурлило, и из его глубин медленно всплыла на поверхность черная блестящая туша подводной лодки. На мостик ее выскочил человек в синем кителе с рупором в руках. Он приставил рупор ко рту и зычно крикнул:

— Эй, на плотах! Гребите к лодке!

На плотах в ответ дружно закричали «ура», замахали руками. Это было спасение. К погибающим героям пришел на помощь не волшебник из сказки — к ним пришла Родина.

...Подводная лодка доставила всех гвардейцев в один из кавказских портов. Расцеловавшись с подводниками, бойцы-зенитчики пошли в город.

Они шли вдоль пристани, и никогда солнце не казалось им таким ярким, а небо таким синим и морской горизонт таким необъятно широким.

Леонид Максимович Леонов

Твой брат Володя Куриленко

Набатный колокол бьет на Руси. Свирепое лихо ползет по родной стране. Безмолвная пустыня остается позади него. Там кружит ворон, да скулит ветер, пропахший горечью пожарищ, да шарит по развалинам многорукий иноземный вор…

Второй год от моря до моря, не смолкая ни на минуту, гремит стократное Бородино Отечественной войны. Утром шелестит газета в твоей руке, мой безызвестный читатель. И вместе с тобою вся страна узнает о событиях дня, с грохотом отошедшего в историю. Еще один день, еще одна ночь беспримерной схватки с врагом миновали. С благоговейной нежностью ты читаешь про людей, которые вчера сложили свои жизни к приножью великой матери. Кажется, самые тени великих предков наших обнажают головы и склоняют свои святые знамена пред ними. Какой могучий призыв к подвигу, мужеству и мщенью заключен в громовом шелесте газетного листа!

И еще громче орудийных раскатов звучит в нем тихое и строгое, как молитва, слово героя:

— За свободу, честь и достояние твое… в любое

мгновенье возьми меня, Родина. Все мое — последний жар дыхания, и пламя мысли, и биение сердца — тебе одной!

Многие из них уже отошли навеки к немеркнущим вершинам славы — воины, девушки и дети, женщины и старцы, принявшие на себя благородное звание воина. Нет, не устыдятся своих внуков, суровые и непреклонные пращуры наши, оборонявшие родную землю в годы былых лихолетий. Никогда не поредеет это племя богатырей, потому что самый слух о герое родит героев. Там, в аду несмолкающего боя, стоят они плотным строем, один к одному, как звенья на стальной кольчуге Невского Александра. Весь свет дивится нынче закалке и прочности этой брони, о которую разбиваются свирепые валы вражеского нашествия. Нет такой человеческой стали нигде на Западе. И в мире нет такой. Она изготовляется только у нас.

Слава вам, сыны великой матери!

Нам знакомы тысячи знаменитых имен современников наших во всех областях мирной человеческой деятельности. Мы гордимся ими и каждого знаем в лицо. Славные машинисты и шахтеры, хирурги и сталевары, строители материальных очагов нашего счастья, изобретатели

умнейших машин, мастера неслыханных рекордов, музыканты, художники, певцы… Ими, как ковром пестрых и благоуханных цветов, усеяны наши необъятные пространства. И вот мы услышали новые имена людей, которые в огне сражений или в бессонной партизанской ночи отдали себя Родине. Они стоят перед нами во весь свой исполинский рост, светлее солнца, без которого никогда — ни в прошлом, ни в будущем нашем — не цвели бы такие цветы на благодатной русской земле. Воистину непобедим народ, который родил их!

Сверкающей вереницей они проходят перед лицом Отечества. Опаляют разум картины их нечеловеческой отваги. Вот юноша-красноармеец заслоняет собою амбразуру пулеметного гнезда, чтоб преградить дорогу смерти и обезопасить идущих в бой товарищей. Вот сапер, когда разбило осколком его миноискатель, голыми руками, на ощупь, и в сыпучих сугробах по пояс расчищает перед штурмом минированное поле. Вот, приколов, как реликвию, поверх бушлатов клочки нахимовского мундира, идет в последнюю атаку севастопольская морская пехота…

Кто вырастил тебя, гордое и мужественное племя? Где ты нашло такую силу гнева и ярость

такую?

Родина скорбит о павших, по забвенье никогда не поглотит памяти об этих лучших из ее детей. Грозен и прекрасен летчик Гастелло, который крылатым телом своим, как кинжалом, ударил в гущу вражеской колонны. Легендой прозвучал подвиг двадцати восьми братьев, которых сроднила смерть на подмосковном шоссе. Бессмертен образ комсомолки Зои, которую мы впервые увидели на белом снегу газетной страницы в траурной рамке. Вся страна пытливо вглядывалась в это красивое лицо русской девушки. Ни смертная мука, ни ледяная могила не смогли стереть с него выражение бесконечной решимости и прощальной улыбки милой Родине… Созвездия надо бы называть именами этих людей, смертью поправших смерть!

Память народа — громадная книга, где записано все. Народ наш хорошо помнит причиненное ему горе. Не забудем ничего, ни даже сломленного в поле колоска. Есть у нас кому мстить, завоеватели!

Когда стихнет военная непогода, и громадная Победа озарит дымные развалины мира, и восстановится биение жизни в его перебитых артериях, лучшие площади наших городов будут украшены

памятниками бессмертным. И дети будут играть среди цветов у гранитных подножий и грамоте учиться по великой заповеди, начертанной на камне:

— Любите Родину свою, как мы ее любили!..

Но еще прежде, чем историки, скульпторы и поэты найдут достойные формы для воплощения беззаветных свершений героев, а Отечество оденет в бронзу их образы, следует любыми средствами сохранить в памяти хотя бы самые незначительные их живые черты. Запомни их лица, друг! Запомни навсегда эту гордую, по-орлиному склоненную к земле голову Гастелло, и хмурые, опаленные пламенем неравного боя лица двадцати восьми, и строгий профиль Зои, и честный; простой, как небо Родины, взор партизана Володи Куриленко.

Мы не знали его в лицо, хотя он жил среди нас, скромно выполняя повседневную свою работу. Это обыкновенный человек наших героических будней. Трудно начертать спокойный его портрет нашими обиходными словами. Могучие воины, его овеянные славой соратники, не много рассказали о нем. Еще гремят поля войны, дорого каждое мгновенье, и скупо цедятся нежные слова.

Знакомься же с ним, современник!

Вот он стоит с тобой, Владимир Тимофеевич Куриленко, голубоглазый, русоволосый русский парень, совсем юный. Он родился 25 декабря 1924 года. Семнадцать лет ему исполнилось в партизанском отряде, когда он умел уже не только стрелять, но и попадать в самое сердце врага. Природа одарила всем этого юношу. Он был, как тот, павший за Родину в битве на Калке, великолепный Даниил, о котором с предельной и сердечной ясностью сообщил летописец: «...был он молод, и не было на нем порока с головы до пят». И если любой, наугад взятый молодой гитлеровец — законченный пример средневековой низости, Владимир Куриленко — отличный образец честного, деятельного юноши нашей эпохи.

Итак, он сын учителя на Смоленщине. Восемь лет провел он в школе. В нем рано проснулся дар организатора: он руководил ученическим комитетом, пионерским отрядом, потом комсомольской ячейкой. С малых лет его влекло к себе широкое океанское раздолье, где человек меряется со стихией волей и выдержкой своими. Но природа не поместила на Смоленщине седого и грозного океана, который грезился Володе. Все же Володя создал отряд «юных моряков» и уж, наверно, армады детских корабликов ходили по

тамошней речке, и уж, конечно, адмиралом среди товарищей своих был этот статный и крепкий паренек…

Позже его в особенности влекла романтика военного дела. Хотелось ему также строить и изобретать. Он даже сердился на свою молодость, мешавшую ему поступить в Ленинградскую военно-инженерную школу. Он был принят туда 6 июня 1941 года, — все, даже самые мелкие даты важны в этой краткой и такой емкой биографии. Уже сбывалась мечта… и не сбылась, разрушенная, как и миллионы других молодых мечтаний вторжением фашистских громил. Ленинград был отрезан фронтом. Гитлеровская орда потекла на Русь. Юношеская склонность Володи к военным занятиям пригодилась; больше того — она стала потребностью дня. Такова первая страница в анкете героя.

Как быстро в военное время растут и мужают наши дети!.. Когда первые немцы появились в Володиных местах, где каждый кустик, каждую полянку он любил с неосознанной еще детской привязанностью, он сразу занял свое место рядом со взрослыми. Видимо, и отец Володи принадлежал к той замечательной категории народных учителей, которые собственным примером сво-

им учат молодых граждан поведению в жизни. Тимофей Куриленко встретил гитлеровских посланцев пулеметным огнем, и два сына его, Владимир и пятнадцатилетний Геннадий, помогали ему при этом.

— Учитесь, учитесь, детки, этой азбуке войны, без которой пока нельзя быть спокойным за свое счастье на земле.

Это был новый вариант старинной и любимой песни — о Трансваале, о родине, горящей в огне, и об отце, который повел своих юных сыновей бороться за свободу. Засада Тимофея Куриленко изменила направление неприятельского удара. Свернув с намеченного пути, фашисты наткнулись на регулярные части Красной Армии и были искрошены. Полтораста вражеских трупов и десятки разбитых машин — вот первое наглядное пособие, которое народный учитель показал своим сыновьям.

Несколько позже, в августе 1941 года, Володя самостоятельно организует партизанский отряд из ребят своего селения. Он сам становится педагогом в этой боевой школе. И вот наступает первый скромный урок — первая встреча с завоевателями, покорившими пол-Европы. Мальчики мужественно ложатся в засаду у дороги.

Грузовая машина, громыхая железной посудой, проходит совсем близко. И вровень с нею стволы винтовок движутся в высокой траве. Ребятки хорошо знают незваных гостей; это «доильцы», сборщики молока для германской армии. Кроме молока, они отбирают яйца, хлеб, мясо, вилки и ножи, сарафаны и ведра: доброму вору все впору!.. В особенности вон тот, что сидит поверх бидонов, знаком и ненавистен Володе. Этот выдающийся мастер гитлеровского разбоя, отлично изучивший русский язык в пределах своей грабительской деятельности, давно заслужил добрую порцию партизанского свинца.

— Огонь! — сурово произносит мальчик.

Гремит нестройный залп.

Хрипят тормоза, машина останавливается. Володя сердито кусает губы: ох, столько промахов враз, да еще по такой мишени! Выскочив, немцы залегли под откосом, — все, кроме того, белесого, который медленно, оскалив зубы, сползает с бидонов. Какое розовое молоко хлещет сквозь щели автомобильного кузова!.. Жаркая перепалка. Необстрелянные Володины юнцы разбегаются с поля боя. Значит, это дается не сразу… Хорошо! Оставшись один, Володя припадает к пулемету: «Вот я их!» Одиночный выстрел, очереди не по-

следовало. Второпях растерялся и сам командир: что это, поломка пулемета? Он же сам чистил и разбирал его накануне… Полудетское замешательство: в мгновенье ока надо припомнить все, что проходили на специальных занятиях в школе.

— Так почему же, почему же он не стреляет? Забыл, забыл… — шепчут губы.

Это похоже на экзамен, на грозный экзамен, где экзаменаторами — жизнь и смерть… В минуту затишья немцы вскакивают в машину. Володя снова хватается за винтовку: это проще. Ага, еще один свалился, точно нырнул в зеленую некошеную траву! А вот и вражеский офицер, согнувшись, хватается за живот.

— Смотри, не обожги себе утробы горячим русским молочком, майор!

Немецкий шофер успевает завести мотор. И только теперь Володя понял свою ошибку: он просто забыл нажать предохранитель. Машина пускается наутек. Гитлеровцев гонит животный страх перед русскими партизанами. Закусив безусую губу, Володя посылает вдогонку длинную не очень меткую очередь.

А вечером в укромном месте, где-нибудь в уцелевшем овине, состоялись, наверно, занятия в

отряде. Никто не глядел в лицо друг другу, и с недетской серьезностью звучал басок Володи:

— Ничего, товарищи! Учимся. Однако рассмотрим все-таки причины этой неудачной операции…

Конечно, он не бранил их; он всматривался в смущенные добрые лица крестьянских детей, искал слова поддержки, чтоб разбудить силу к сопротивлению. В конце концов немудрено, что случилась неудача. То была пора, когда вся страна лишь училась давать отпор внезапному врагу. Прославленная германская организованность, помноженная на массовый опыт всеевропейских убийств, примененная в гнусном деле разбоя и террора на нашей земле, казалась тогда черной и грозной силой. И Володя Куриленко знал, что этот первый урок еще пригодится им впоследствии.

Рано закончилась юность у поколенья русской молодежи времен Отечественной войны. Родина поставила их в самое горячее место боя и приказала стоять насмерть. Кто бы узнал теперь в молодом и строгом командире с незастегнутой кобурой и гранатой у пояса мальчика Володю Куриленко, мечтателя и адмирала несуществующих морей? Хозяйская ответственность за судьбу страны легла на его плечи и как бы придавила

их слегка. Суровая морщинка прочертилась меж бровей, тоньше и жестче стали возмужавшие губы и еще тверже сердце, познавшее радость мщения и горечь разлуки с павшими друзьями.

В сентябре враг высылает уже крупные карательные отряды против партизанских сил, к которым присоединилась и группка Володи Куриленко. Началась лютая охота нацистов на непокорное и непокоренное население. Уже каратели идут по избам, но командиру удалось проскользнуть сквозь самые пальцы ночной облавы. Несколько человек из отряда попадают в плен к фашистам. Приговор им вынесен заранее. Подобно прославленным восьми волоколамским комсомольцам-мученикам, они погибают на виселице.

Прощайте, юные мореплаватели, познавшие море жизни в самую грозную штормовую ночь! Может быть, вы стали бы капитанами дальних плаваний и прокладывали новые трассы в ледяных пространствах севера… Веревка иноземных палачей оборвала вашу мечту. Запомним: они заплатят вдесятеро. И на стальных бортах новехоньких кораблей ваши имена много раз еще обойдут все моря Родины!

Каратели трудятся. Питекантропы в гестапов-

ских мундирах убивают и жгут. Пепел и слезы, слезы и пепел — вот удел занятых врагом областей. Ничего, они — как споры ненависти, эти серые пепелинки: из каждой родится по герою. Дню всегда предшествует ночь… Партизанское движение в этом крае, кажется, совсем подавлено. Наступила черная осень 1941 года. Отступление нашей армии. Первый снег кружится над поруганной землей. Знойно и тихо в этой искусственно созданной пустыне, отгороженной от мира огневой завесой разрывов. Куриленко возвращается к отцу, и снова на некоторое время становится прежним Володей. Он отбивается от усталости и разочарования, что невольно крадутся в сердце: «Ничего, выстоим, выдюжим! Не для того мы рождались на свет… и еще не допеты наши песни!»

Тайком он устанавливает радиоприемник — пригодилась детская любознательность. Вместе с родными в темные ночи он слушает передачи из такой близкой и такой далекой теперь осажденной Москвы. Громче, громче бейте часы на Спасской башне: миллионы преданных сердец слушают вас в эту ночь! А чуть забрезжит утро, Володя отправляется в путь, с ломтем хлеба за пазухой. Он разносит слова правды, которые узнал

ночью, по всем отдаленным местностям района. В селах знают, любят и ждут его. Куриленко становится живой газетой. Трудное и почетное дело в условиях глубокого немецкого тыла и зверских законов оккупации.

Идут месяцы. Декабрь. Могучие удары сибирских дивизий под Москвою. Эхо их разносится по всему миру, добивая глупый миф о непобедимости германских армий. Фронт снова приближается к родным Володиным местам. Скоро, совсем скоро взметнется под ногами поработителей эта измученная, расковырянная земля. А пока таись и жди своего часа, гордый мститель Смоленщины! И часто, отправляясь с добрыми вестями по тайным тропкам в самые глухие углы, к друзьям, он останавливался где-нибудь на опушке леса, этот коробейник новостей, и, прищурясь, глядел на железнодорожное полотно.

Дни прибывали. Слепил глаза крепнущий снежный наст.

Шел очередной поезд с гитлеровскими убийцами. Усердно пыхтели паровозные поршни, и то ли зимний ветерок подвывал в ветвях, то ли постылая вражеская песня сочилась сквозь железную обшивку вагонов. Вражеские рожи прильнули к окнам изнутри. Любопытно было

поглядеть, среди каких таких восточных просторов и немеряных русских лесов придется им сгнивать в недалеком будущем…

И, наверно, улыбался Володя, думая про себя:

«Вот новая партия фашистских покойников своим ходом, в живом виде, направляется к своим предназначенным могилам. Не вернется ни один, ни один! Что же, спешите, бравые молодцы!..»

И кстати считал вагоны с живым и платформы с мертвым инвентарем, чтобы рассказать потом, кому следует, об этой встрече. Всякое знание полезно партизану.

…В январе не выдержало сердце. Володя уводит отца и брата в лес, в жгучую морозную неизвестность. Оказалось, там кочевал тогда отряд славного партизана товарища Ш.

Часть февраля уходит на разведку, на установление правильной связи с Красной Армией. Приходится много раз пересекать огневую линию фронта. У Владимира Куриленко накапливается большой богатый опыт диверсий, шлифуется мастерство партизанского действия. Ненависть к врагу — вот всенародная академия, где он получил свое военное образование. Теперь уже никакая внезапность не застанет его врасплох. Зрелость входит в его трудную и чреватую

опасностями юность. Партизан всегда бьется с численно превосходящими силами противника. «Четверо против шестидесяти восьми? Ничего. Великая мать смотрит на нас. Вперед!» И отступали, только израсходовав весь огневой запас.

Какое пламя гнева нужно было хранить в себе, чтобы не закоченеть в такие бездомные, метельные партизанские ночи!

Молодой Куриленко поспевает везде. Ему хватает времени на все, точно он сторукий. Все партизанские специальности знакомы ему. Вот дополз слух о том, что в одной деревне организован полицейский отряд для борьбы с партизанами. Володе дается поручение превратить в падаль изменников Родины, и он с друзьями выполняет приказ. Это он за каких-нибудь полтора месяца, сообща е товарищами, спускает под откос пять вражеских поездов с боеприпасами и живым солдатским грузом. Это он взрывает мосты на магистралях и сообщает нашему командованию о заторах, образовавшихся на путях. И стаи наших краснокрылых птиц расклевывают дочиста скопления вражеских эшелонов…

Порою, кажется, юноша дразнит судьбу, как будто не одну, а сотню жизней подарила ему Родина. И тут начинается широкая, как река,

песенная слава партизана.

Умей расшифровать, увидеть в недосказанных подробностях сухую газетную сводку, современник! Это стенограмма народной войны. Сердцем патриота почувствуй, глазами брата прочти эти скудные записи в партизанском дневнике. Вот некоторые из них, скромная повесть о буднях партизана:

«2. 3. 1942. Владимир Куриленко с товарищем А. при возвращении в лагерь наткнулся на немецкую батарею. Пулеметным огнем скошено 2 артиллерийских расчета. Товарищ А. убит.

5.3.1942. Четверо, среди которых Владимир Куриленко, вступили в бой с 68 фашистами. Убито три оккупанта, один ранен.

30.3.1942. Партизаны нашего отряда, Владимир Куриленко и бойцы отряда особого назначения, скинули эшелон под откос между станциями Л. и К. Убито 250 фашистов.

10.4.1942. Крушение товарного состава на дороге С. —Л. Одновременно подорвано соседнее железнодорожное полотно.

Владимир К.

13.4. 1942. Подбита машина. Уничтожено 4 немца. Куриленко с товарищами.

14.4.1942. На комсомольском собрании ответственным секретарем президиума ВЛКСМ избран Владимир Куриленко.

26.4.1942. Еще один эшелон на перегоне К. — Л. спущен под откос Владимиром К. Погибло 270 немцев. Взорван паровоз и железнодорожное полотно на О. направлении».

В этих скупо обозначенных эпизодах ничего нет о стремительной дерзости, о высоком искусстве преодоления, казалось бы, непреодолимых препятствий, об особенностях партизанской жизни. Каждую минуту бодрствования или тревожного, урывками, сна находиться в окружении! И в самом кратком, почти бесцветном эпизоде от 13 апреля ничего не сказано про обстоятельства очередной схватки с противником. Приблизь к глазам эту скромную запись, современник!

Ранняя шла в том краю весна. Талая кашица стояла под снегом, почернелым и истонченным, хрупким, как стеклянное кружево. Уже на возвышенностях, где днем пригревало солнышко,

глубоко увязали ноги. Трое, во главе с Володей Куриленко, шли на выполнение боевой задачи. О, столько раз описанное в литературе предприятие и ни разу не описанное до конца: мост. Река встала на их пути. Слабо мерцал в сумерках синий, истончавший ледок, кое-где уже залитый водою. На задней кулисе туманного леска тревожно чернел силуэт самой цели. По зыбкому, гибельному льду, чуть схваченному вечерним морозцем, подрывники перешли реку. Оставался еще ручей; он клокотал и шумел всеми голосами весны. Пришлось перебраться вброд. К мосту подошли уже мокрые по пояс… Спокойно и деловито закладывали кегли, когда Миша, товарищ Куриленко, сигнализировал о приближении вражеской автомашины. Жалко было упускать и эту, маленькую цель. Здесь было достаточно удобное место для засады, в глубоком затоне ручья. Трое залегли в воду, только глаза, злые и зоркие глаза их остались над поверхностью.

Мы не знаем, как тянулись эти минуты ожидания. Те, которые еще бьются с врагом на Смоленщине, расскажут потом подробнее про этот вечер. Наверно, пронзительная тишина стояла в воздухе. И, может быть, Володя спросил шепотом, чтобы шуткой поддержать товарища:

— Что, не промок, хлопец?

— Кажется, коленку замочил ненароком, — шуткой же отвечал тот. — А что?

— Ничего… Смотри не остудись. Этак и насморк можно заработать.

Ближе стеклянный хруст ледка в подмерзших колеях. Вот и свет фар показался на дороге. Кто-то шевельнулся в засаде. Желтые латунные блески пробежали зыбью по воде.

— Начнем с гранаты, хлопцы!

Трудно кидать эту чугунную игрушку закоченевшей рукой. Но не промахнись, партизан: их больше. Взрыв — и мгновение спустя басовитое одобрительное эхо вернулось от леска к засаде Куриленко. Машину почти сошвырнуло с дороги, но она еще двигалась. «Теперь стрелять…» Четырех убили, пятерых ранили; безотказно действовал ППД. Из строений ближней МТС, где расположились немцы, уже бежали, галдя и стреляя наугад, полуодетые фигуры солдат. Обшарили, прострочили всякий кустик, черневший на берегу, но все было неподвижно: и вода, и мертвые солдаты на завоеванной ими земле, и дальний лесок, охваченный чутким безмолвием весны…

Она вступила в свои права, весна. Повеселели лужки на припеках; тонким, почти бесплотным

туманцем окутались рощи. И птицы, каких еще не разогнал орудийный грохот, шумели иногда в лесных вершинках. Подступала пора великих работ на земле, и не было их — мешали фашисты. Злее становились удары исподтишка, в затылок врага. И ровно месяц спустя после памятной операции наступил отличный вечер, уже проникнутый тончайшим ароматом целомудренной русской флоры. Снова отправлялись в путь партизаны, и опять их было трое, с Куриленко Володей во главе. Теперь они свою взрывчатку заложили под железнодорожное полотно и терпеливо ждали, как ждет рыболов своей добычи на громадной и безветренной реке.

Сбивчивые стуки пошли по рельсам; земля подсказала на ухо партизану:

— Пора!

Володя выждал положенное время и крутнул рукоятку заветной машинки. И тихий русский вечер по-медвежьи, раскоряко, встал на дыбы и черную когтистую лапу взрыва обрушил на вражеский эшелон. Гаркнула тишина; вагоны с их живой начинкой посыпались под откос, вдвигаясь один в другой, как спичечные коробки… И где-то невдалеке трое юношей, исполнители казни, сурово наблюдали эту страшную окрошку

из трехсот фрицев.

— Люблю большую и чистую работу, — сквозь зубы процедил Владимир Куриленко и повернулся уходить.

Он был веселый в тот вечер. Легко и вольно дышалось в майском воздухе. И хорошо было чувствовать, что Родина опирается о твое надежное комсомольское плечо… Они шли молча, и необъятная жизнь лежала перед ними в дымке юношеских мечтаний. На ночь они расположились в деревне С., и никто не знал, что это была последняя ночь Володи.

В полночь деревня была охвачена кольцом карательного отряда. Началось избиение людей, не пожелавших выдать спрятанных партизан. В перестрелке был насмерть сражен друг и соратник Володи комсомолец К. Сам Куриленко, раненный в голову и живот, продолжал отстреливаться. Каратели подожгли дом. Пламя хлестнуло в окна, зазвенело стекло, черная бензиновая копоть заструилась в нежнейшем дыхании ночи. Тогда товарищ Володи, владевший языком врага, крикнул по-немецки в окно:

— В своих стреляете, негодяи! Кто, кто стреляет?

Пальба прекратилась, и в этот краткий миг

передышки Куриленко и его товарищ выскочили из избы на огород, не забывая при этом унести и оружие убитого товарища.

Кое-как они дотащились до соседней деревни. Незнакомая Володе смертельная слабость овладела его телом. Так вот как это бывает!.. «Ничего, крепись, партизан! Чапаеву было еще труднее, когда он боролся один на один со смертью и воды Урала тянули его вниз...»

Крови становилось меньше, он уже не мог стоять, когда добрались до деревни. Неизвестный друг запряг лошадь, положил, сколько влезет, соломы на дно телеги. Двинулись в путь медленно, чтоб не увеличивать муки раненого. Лошадь шла шагом.

— Крепись, крепись... Еще немного, Володя, — шептал А.

Откинув голову, ослабев от потери крови, Куриленко лежал в телеге. Тысячи самых красивых, самых здоровых девушек в стране без раздумья отдали бы кровь этому герою и всю жизнь потом гордились бы этой честью. Но не было никого кругом, кроме друга, бессильного помочь ему, да еще великого утреннего безмолвия. Затылок с непокорными юношескими вихрами, смоченными кровью, бился о задок телеги, и голубой взор

был устремлен в бесконечно доброе небо Родины, едва начинавшее голубеть в рассвете.

Он слышал все в этот час: всякий шорох утра, каждый запах, веявший с поля, треск сучка, шелест земли, разминаемой колесом, просвист птичьего крыла над самым ухом… И уже бессильный повернуть голову, он узнавал по этим бесценным мелочам облик того, что так беззаветно и страстно любил… Боль уже прошла, но это означало приближение смерти. Только острая тоска по Родине, покидаемой навсегда, теплилась в этом молодом и холодеющем теле. Вот оборвалась и она…

Такова последняя строка в анкете героя.

«Не долго жил, да славно умер», — говорит русская древняя пословица. Он умер за семь месяцев до своего совершеннолетия. Для того ли Родина любовно растила тебя, Володя Куриленко, чтоб сразила тебя пуля гитлеровского подлеца? Прощай! Отряд твоего имени мстит сейчас за тебя на Смоленщине.

Не плачь о нем, современник. Копи в себе святую злобу. Но вспомни Володю Куриленко, когда ты будешь идти в атаку или почувствуешь усталость, стоя долгую военную смену у станка. Это придаст тебе ярость и силы… На великой и

страшной тризне по нашим павшим братьям мы еще вспомним, вспомним, вспомним тебя, Володя Куриленко!

Константин Андреевич Тренев

Народ бессмертен

Война родит героев! — так говорилось исстари о великой войне.

Так, конечно, можно говорить и о нынешней Отечественной войне.

Это будет правильно. Но этого будет сейчас очень мало. Потому что еще не было в нашей истории подобной войны.

Не было войны, в которой принимал бы такое непосредственное участие весь наш народ.

Сегодня весь великий народ — герой. Беспримерное в его истории испытание послано ему судьбой.

Величайшее в его истории горе посетило страну. Посетило не где-нибудь на ее рубежах или далеких окраинах. Оно пришло к нам, на наши поля и нивы, в наш дом. Пришло в гнусном и страшном виде лютого, смертельного врага. Оно ввергло страну и каждого из нас в бездну горя и опасностей. Но оно же подняло каждого из нас на высоту великого патриотического подвига.

Идет второй год войны. Не просто войны, хотя бы и самой жестокой, а роковой схватки богатыря-народа с набросившимся на него бро-

нированным чудовищем, схватки на жизнь и смерть.

Весь народ и каждый из нас знает это и чувствует день и ночь, на всяком месте и во всяком деле. Чувствует каждым своим вздохом и каждой каплей крови. Это не может не отразиться в каждом мускуле нашего лица.

Посмотрите кругом: лица сейчас хмуры, серьезны и значительны, как никогда. На них отражается и играет зарево грозного пожара. На них легла великая патриотическая мысль, на них вспыхивает великая страсть, любовь к Родине и боль за нее, великая ненависть к врагу и жажда отмщения.

Горе и тревога страны — горе и тревога каждого из нас не только потому, что Родина в опасности, что на фронте тяжело, но и потому, что там, на фронте и за фронтом, в немецком тылу, в опасности наши близкие.

Мы прожили один, и вступили в другой героический год. Велики эти годы. Они будут жить в веках, в памяти и в сердцах далеких-далеких поколений.

И мы будем жить в этой памяти, и мы должны быть достойными современниками, участниками этих героических дней и дел.

История не забудет нас. Признание наших дел и подвигов еще будет, — это мы знаем.

Но оно не только будет, оно уже есть, мы это видим. Мы это чувствуем. Историческое звание защитников Москвы в сорок первом году уже признано за нами, и имена героев этой защиты произносятся с такой же благоговейной признательностью, как звание защитников Москвы в тысяча восемьсот двенадцатом году на Бородинском поле. Звание защитников Сталинграда в наши дни уже овеяно славой, как и защитников Царицына в годы гражданской войны.

Надо каждому из нас быть достойным этих наших братьев-героев. Нужны наши подвиги. История и Родина ждут их от нас и одинаково ценят. Но есть и огромная разница: история может ждать, а Родина ждать не может.

Подвиги наши будут жить в истории.

Но эти подвиги родиться должны сегодня. История будет хранить их в грядущих веках.

Родина требует их в текущие дни.

Ибо история создается именно в эти дни, и чтобы стать достойным жить в истории столетия, надо быть готовым умереть за Родину сегодня.

В этой борьбе сейчас смысл нашей жизни. В этом сейчас должна быть ее цель.

Каждый из нас несет на плечах горе, взвалившееся на Родину и ее судьбу.

Каждый из нас нужен, необходим Родине, каждый из нас — самая большая ее ценность.

Мы все объединены единой великой любовью к Родине-матери. Мы все сегодня, более чем когда-либо, скорбью и гневом объединенные товарищи. Кровью спаянные братья. Мы все сейчас охвачены беспредельной ненавистью к врагу.

Миллионы сердец горят этой ненавистью, как одно-единое сердце.

Но ненависть и любовь не только живут в человеческом сердце рядом. Они родятся одно из другого. Наша ненависть к врагу может проистекать только из любви к Родине.

Кто отдал свое сердце народу, тот всегда будет жить в сердце народа.

Народ бессмертен, и не умрет слава его героев, его верных сынов.

Лев Вениаминович Никулин

Уральские очерки
Товарищи ленинградцы

Под брезентовыми чехлами стояли тяжелые танки; ночью они должны были уйти на фронт. В этих могучих, тяжелых боевых машинах была доля труда человека, которого мы встретили на заводском дворе.

Звали его Алексей Ершов, и было ему за шестьдесят лет. Он кузнец известного в нашей стране трижды орденоносного завода имени Кирова. Зимой прошлого года он приехал вместе с тысячной армией рабочих на Урал из города Ленина. Это было великое переселение завода с запада на восток, передвижение людей из осажденного Ленинграда в город, который теперь по праву называется Танкогород. Старый кузнец перенес в Ленинграде всю тяжесть и лишения осады. Он не уходил из цеха, он работал под бомбежками вражеских самолетов. Иногда в цехе разрывался артиллерийский снаряд вражеского орудия, падали рядом раненые и убитые товарищи, но старик продолжал работать.

Кузнец — старая, заслуженная профессия в

армии металлистов. Эта профессия переходит из рода в род. Сын Алексея Ершова выбрал другую профессию. Он поступил в индустриальный институт, и отец радовался, когда думал, что его сын все же будет работать на Кировском заводе, пусть инженером, а не кузнецом, но будет кировцем.

22 июня 1941 года, в первый же день войны, сын Алексея Ершова ушел на фронт. Отец проводил его, они обнялись в последний раз, а 10 июля старик получил извещение о том, что сын пал смертью храбрых…

— Должен вам сказать, — говорит старый кузнец Алексей Ершов, — что война застала меня на покое. Был я пенсионером, никому в тягость не был. Началась война — пришел я в заводоуправление и опять попросился на завод. Работу мне дали легкую, сочли, что старого человека нельзя перегружать. Работал я по деталям в механическом цехе. И вот в тот самый день, когда пришла повестка, подходит ко мне парторг цеха, обнял и говорит: «Прочти, Ершов, и чем можешь отплати гадинам…» Ну, не стану вам говорить, какое для меня это было горе: единственный сын был у меня… Держу в руках извещение, и взяла меня такая злоба на врагов, что тут же я пошел в заводоуправление и сказал: «Я кузнец. Тридцать

лет был у молота, теперь на пенсии, работаю по деталям. Не надо мне пенсии, не хочу работать на легкой работе. Буду опять кузнецом, как тридцать лет был им». И просьбу мою уважили. Вот теперь работаю на Урале, как работал в родном Ленинграде.

И вот, стоит старый кузнец у тридцатитонного молота. С огромной силой, выбивая пламя, ударяет мощный молот! От его ударов сотрясается цех. Пламя освещает суровые, как бы отлитые из меди черты лица старого богатыря Алексея Ершова.

— Норму я выполняю на двести процентов, — говорит Ершов. — Кое-что придумал, чтобы облегчить работу, сделал себе хороший инструмент, раньше у меня инструмент был трудный, тяжелый…

Он вытирает локтем пот со лба и, помолчав, говорит:

— В общем надо считать — работаю в мои годы за двоих: за себя и за сына моего Валентина.

Мы идем мимо грохочущих мощных молотов кузницы, равной которой нет в Европе, и спутник мой говорит в промежутках между ударами молота, от которых дрожит земля:

— Придется нам пройти с полкилометра до другого цеха. Есть там один наш земляк-ленин-

градец…

После грохота кузницы спокойное жужжание сотен станков кажется мелодичной музыкой.

— Вот, — говорит мой спутник, — обратите внимание, черноволосый парень с повязкой на глазу. Фамилия его Михайлов. Он не любит, когда его отвлекают от работы. Работа у него требует особой точности: ошибешься на миллиметр — и зарезал деталь. Михайлов — инвалид Отечественной войны, был на Ленинградском фронте. Вынес из-под огня раненого командира и сам был трижды ранен. За тринадцать дней он выполнил месячную программу, то есть двести тридцать четыре процента нормы. Вот тебе и инвалид! И знаете ли, как действует на массу, как воодушевляет всех пример такой работы!

Мы вышли и остановились, на мгновенье оглушенные лязгом гусениц и грохотом мотора. По широкому проспекту, между цехами мчался огромный танк. И в этом стремительном и мощном сухопутном линкоре, в этом бронированном мстителе мы видели неукротимые души, львиные сердца ленинградцев — кузнеца Алексея Ершова и героя фронта и тыла, инвалида Отечественной войны Михайлова.

Обыкновенные девушки

Дочь электросварщика девятнадцатилетняя Клава Рыбалова и ее подруга Зина Данилова появились на заводе летом 1940 года.

Война изменила лицо завода. Завод, выпускавший в мирное время тракторы, теперь выпускал тяжелые танки.

Девушки жили и работали в мире машин, среди непрестанного жужжания станков. Временами этот привычный, несколько монотонный шум заглушал грохот танков. Он напоминал о фронте, о боях за Родину, о долге бойца трудового фронта.

Однажды мастер Раскин показал Клаве Рыбаловой небольшой сверлильный настольный станок. Его ласково называли «малыш». Станок поразил Клаву точностью работы: на нем можно было вырабатывать тончайшие детали.

Клава Рыбалова и Зина Данилова начали работать на этом прекрасном, но капризном станке. Одна девушка сменяла другую, как боец сменяет в дозоре бойца. Нелегко было совладать с «малышом». Ломались сверла, их надо было менять, а это приводило к потере времени. Однако почти в одно время обе подруги повысили норму

выработки.

В день, когда Клаву приняли в комсомол, ее станок дал триста процентов нормы.

Начальник отделения Радкевич давно присматривался к работе подруг. Он угадал в работе Клавы и Зины то, что называлось «чувством сверла». Он понимал, что триста процентов — не предел, и говорил: «Обыкновенная девушка, но руки у нее золотые».

— Для того чтобы дать тысячу процентов на этом станке, нужна подготовка и тренировка, — сказал Клаве Радкевич.

Все эти дни Клава Рыбалова думала о том, как избежать малейшей потери во времени, как подготовить рабочее место, правильно расположить инструменты, так, чтобы все было под руками.

Она настороженно следила за каждым нажимом сверла, стараясь уловить ухом характерный скрежет. Обычно вслед за этим скрежетом появлялась железная стружка и затупляла сверло.

«Надо правильно распределить нажим между правой и левой рукой, — думала она, — тогда не будут тупиться сверла. Левая рука зажимает обрабатываемую деталь, правая нажимает на рукоятку. Эта работа на грани искусства, вернее, это уже искусство».

Так работала Клава в дни тренировки, предшествовавшей главному испытанию.

Каждая минута давала шесть деталей вместо трех. В один час работы Рыбалова дала двести тридцать деталей. Это было близко к дневной выработке рядового рабочего, то есть к восьми часам работы.

Настал день испытания. Как всегда, Клава сменила Зину. «Станочек», как его нежно называла Клава, работал, точно хронометр.

Первый час работы дал двести восемьдесят деталей, второй — двести семьдесят, третий — двести девяносто. Мастер Раскин, комсорг Нина Зайцева, Радкевич с радостным волнением следили за почти неуловимыми для глаза движениями рук девушки. Восьмой час работы дал четыреста деталей. Итог рабочего дня Клавы Рыбаловой — две тысячи семьсот тридцать деталей, иначе говоря, тысяча сто шестнадцать процентов нормы. Так появилась первая тысячница цеха. В этот день Клава Рыбалова работала за одиннадцать рабочих.

Теперь всех занимала мысль, как ответит на этот рекорд подруга Клавы Зина Данилова.

Соревнование кончилось тем, что Зина обогнала подругу. Ее рекорд был тысяча триста сорок

процентов нормы.

«Если обыкновенная девушка, работая на сложном станке, может дать такую норму выработки, то почему же мне не дать больше, чем я сейчас даю»? — думал каждый рабочий в цехе.

Пример двух уральских девушек воодушевил и окрылил сотни людей.

Однажды, на многолюдном собрании, Клава рассказала об опыте своей работы. Она кончила свое краткое слово простым и теплым обращением к своим подругам, уральским девушкам:

— Даже в малом, — сказала она, — в работе над мельчайшей деталью, одной из нескольких тысяч деталей танка, можно послужить Родине, помочь своим братьям, сражающимся на фронте.

Бирнамский лес

Это было вблизи города В. в августе 1942 года. Над обрывом поднимались замшелые стены и сторожевые башни древнего монастыря. А над стенами и башнями — золотые купола монастырской колокольни. Оттуда, с колокольни, открывался чудесный вид на вековой бор. В это лето на месте затейливых дачных домиков дымилось черное пепелище, и черные дыры от снарядов зияли на золотых куполах колокольни. Наши люди сумрачным, ненавидящим взглядом глядели на стены и дозорные башни монастыря. Там был враг. Там были немцы.

И только бор, вековой бор по-прежнему радовал и привлекал людей. Впрочем, надо сказать, привлекал еще и потому, что был прекрасным естественным укрытием для войск и особенно для нашей бригады тяжелых танков. Танки закопались от осколков авиабомб в землю и ждали своего часа.

Лил дождь. В лесу было сыро, заедала мошкара. Донимали немецкие бомбардировщики. Каждое утро глухое эхо разрывов бомб раскатывалось по лесу. Впрочем, особого вреда от них не было.

Танкисты скучали и ждали боя. Торжественно шумел лес, почти заглушая грохот канонады на переднем крае.

Однажды, проходя по лесной тропинке к командному пункту, мы услышали звонкий, молодой голос. Кто-то негромко, с чувством и без запинки читал стихи:

«И что влечет меня? Желанье славы?
Как ярый конь, поднявшись на дыбы,
Оно обрушится — и я задавлен...»

Мы остановились и прислушались.

— Это Званкин, — сказал командир танковой роты, — стрелок-радист Званкин.

«...Вино лишило их ума и силы.
А мне дало и смелость и огонь...» —

читал тот же голос.

— Это она говорит? — спросил другой голос.

— Она, — ответил Званкин. — У них уж, знаешь, все решено. Старика убить и самому стать королем. Понятно?

«Макбет», — подумал я.

Странно было здесь, в лесу, вблизи переднего края, вдруг услышать трагедию Шекспира, услышать из уст стрелка-радиста тяжелого танка.

— Вот оно что такое власть, власть над людьми, — рассудительно сказал третий голос, — на все пошли, на злодейство, лишь бы власть иметь… Интересно, чем кончится.

Мы немного торопились, и потому мне не удалось поговорить со Званкиным, откуда у него влечение к величайшему английскому драматургу. Но вечером мы встретились у кухни, и я спросил, где он раздобыл в этом лесу Шекспира.

— Книга эта ездит со мной почти полгода. Надо вам сказать, интересная история вышла с этой книгой…

Подняв капюшоны плащей-палаток, мы пошли к машине Званкина. На минуту он исчез внутри танка, потом появился, неся в руках третий том роскошного издания Шекспира. Однако вид у книги был печальный: обгорел корешок, в середине не хватало тридцати страниц и многие превосходные иллюстрации были испорчены. Званкин бережно перелистывал книгу. На титульном листе я увидел штамп: «Отдел Народного образования. Городская библиотека».

— Так вот ее история… Подобрал я эту книгу на снегу возле городской библиотеки. В этом городе, как известно, два с половиной месяца сидели немцы. Библиотеку, по своему обычаю, разгро-

мили. Подумал я и взял ее с собой. Вот и ездит она со мной. Лежит себе в машине — никому не мешает, доставляет удовольствие. Есть свободное время — бойцы просят почитать. Вот сегодня «Макбета» читали. Интересно: едет Макбет по полю и встречает трех ведьм, и нагадали они ему, что будет он королем и погибнет, когда пойдет на него Бирнамский лес… то есть сдвинется с места и пойдет на его войско. А воины Малькольма взяли да замаскировались, надели зелень на шлемы и пошли в атаку. Вот и выходит, что лес двинулся.

— Сначала слушали, как сказку. А потом часа два говорили и не наговорились. Какая ж это сказка? Это — мудрость!.. — Званкин перелистал страницы и нашел то, что искал: — Вот видите:

«Пока Бирнамский лес
Не двинулся на Донзинанский замок,
Страх мне неведом…»

— Макбет тоже вот хотел владеть всем. На все пошел ради власти… вроде этого… Гитлера… И пришел ему конец за дурные дела. Так и с тем будет. Очень хорошая книга!

И, обернув книгу куском клеенки, Званкин унес ее в машину.

Ночью, как было условлено, меня поднял офи-

цер связи.

Лес был наполнен шорохом, глухими голосами и движением. В непроглядном мраке двигались тысячи людей, машины, орудия. Шум вековых сосен заглушал посторонний гул.

На рассвете мы были у опушки леса и двинулись дальше мимо молодой поросли к переднему краю. Здесь была та же обманчивая тишина. Временами вражеские ракеты освещали мертвенным, ослепительным светом «ничью землю», поросшую высоким бурьяном, прибрежные камыши и колючую проволоку заграждений. Наши ракеты, развешанные, точно фонари, над вражеским берегом, вдруг вырвали из мрака обрыв над рекой, дозорные башни и стены монастыря, похожие на руины древнего рыцарского замка. Все это вместе называлось на карте «высота 217». Операция, которая подготовлялась уже несколько дней и ночей, заключалась в том, чтобы взломать оборону врага, атаковать, взять штурмом эту высоту и дать продвинуться нашим правому и левому флангам.

Светало. В шесть часов воздух наполнился страшным грохотом. Через наши головы с пронзительным свистом полетели тяжелые снаряды. Началась артиллерийская подготовка. Два часа

над головами бушевал огненный ураган, уносясь на запад и обрушиваясь на врагов. Передний край нашей обороны, лежавший перед нами как на ладони, подернулся густым черным дымом. Он казался нам сплошной дымовой завесой от земли до низко плывущих облаков, черной завесой, пронизанной огненными стрелами минометов.

Вдруг красная ракета прочертила небо.

— Поглядите назад! — услышал я голос и обернулся.

Позади был лес, знакомый вековой бор. Еще ближе к нам — молодая поросль. И вдруг мне показалось, что огромный, дикорастущий кустарник ожил… Он странно менял свое место, он двигался, двигался к переднему краю, к древнему замку, к «высоте 217». Ветер шевелил зеленые ветви. Лес шел на высоту и с каждой минутой приближался к ней. Это было непостижимо… Лес двигался вперед с оглушительным грохотом. И вот он уже совсем близко от нас…

Это были танки, прославленные в боях тяжелые танки КВ. Зеленые ветви маскировки покрывали боевые машины, и они показались нам большим движущимся лесом.

Люк головной машины был открыт. Голова и плечи танкиста виднелись из люка. Он глядел в

небо, в низко идущие облака, озаряемые вспышками разрывов, я узнал Званкина. Он увидел меня и, подняв вверх руку, крикнул во всю силу своих легких:

— Бирнамский лес идет на Донзинан!

Началась танковая атака.

Валентин Петрович Катаев

Расшифрованная сводка

Из множества людей, с которыми мне пришлось встретиться за последнее время, особенно большое впечатление произвел на меня начальник одного из прославленных отрядов тов. Н. Надеюсь, вы понимаете, что настоящего имени этого человека я назвать не могу. Мы познакомились в Москве. Тов. Н. приехал на несколько дней. Он приехал «оттуда», с той стороны фронта.

Установилось представление о типе народного мстителя. Это — могучий, заросший бородой «лесной» человек, с охотничьим ножом и винтовкой. Конечно, это верно. Таких очень много. Но есть также много и других типов. Среди партизан — большое количество учителей, инженеров, врачей, кооператоров, хозяйственников, школьников, даже профессоров и писателей, не говоря уже об известных спортсменах, боксерах, пловцах, футболистах…

Начальник партизанского отряда тов. Н. — высокий, стройный интеллигентный человек, в опрятной полувоенной форме, с небольшим пистолетом на поясе. Он чисто выбрит; в его каштановых волосах, закинутых вверх, над чистым

красивым лбом, заметна небольшая седина. Глаза добрые, но вместе с тем очень твердые и спокойные. Под глазами несколько мелких морщинок, свидетельствующих о бессонных ночах и постоянном душевном и физическом напряжении. Все его движения очень точны и целесообразны, в них нет ничего лишнего. Поэтому, я бы сказал, его движения приятны. На ногах хорошие хромовые сапоги. Руки с длинными артистическими пальцами. По профессии он инженер.

— Что же вас, собственно, интересует? — спросил он, при этом мельком взглянул на свои часы-браслет с фосфорными стрелками. Я понял, что у него мало времени.

— Я хотел бы задать вам один вопрос.

— Пожалуйста.

— Часто приходится читать в сводках, в телеграммах такую примерно скупую фразу: «Партизаны пустили под откос немецкий поезд». Как это расшифровать? Что это значит в подробностях?

— В подробностях? — спросил тов. Н. — Хорошо, я вам постараюсь рассказать об этом в подробностях.

Он утомленно улыбнулся.

— Делается это так, — сказал он. — Вот, например, один конкретный случай из практики

нашего отряда. Это было зимой в очень глубоком тылу немецкой армии. Наша разведка донесла, что по железной дороге в восемь часов вечера прошел неприятельский эшелон. Мне была хорошо известна немецкая пунктуальность. Имелись все основания предполагать, что завтра ровно в восемь часов вечера опять пройдет эшелон. Мы установили наблюдение. Действительно, на следующий день ровно в восемь часов вечера прошел эшелон. Несколько вечеров сряду мы наблюдали за дорогой. Ровно в восемь часов каждого вечера эшелон проходил мимо нас. Сомнений быть не могло. Тогда мы стали готовиться. На подводах мы подвезли из лесу, из тайных складов нашего отряда, мины. Это были не электрические мины, взрывающиеся автоматически, от замыкания тока, — такие мины были нам не годны. Если бы мы употребили электрические мины, то взорвался бы только один паровоз, а нам требовалось взорвать и пустить под откос весь состав. Это можно было сделать, только употребив мины механические, то есть те, которые можно было взорвать все одновременно, по собственному желанию, и именно в нужный момент.

Самое трудное было заложить мины под полотно. Для этого, во-первых, требовалось время,

а во-вторых, необходимо было определить длину состава, для того чтобы взорвались все вагоны. Приблизительная длина эшелона была нами разведана раньше. Мы заложили одну мину впереди, другую — сзади на расстоянии 50 вагонов одну от другой. В промежутки мы заложили еще несколько десятков мин. Работали всю ночь. Работа была очень трудная. Несколько раз мимо нас проезжал немецкий разъезд. Но, к счастью, ночь была очень темная. Мы не курили, не разговаривали, Мы не должны были произвести ни одного неосторожного звука. Это чертовски утомительно, особенно если принять во внимание, что почва промерзла на метр и твердая, как гранит. Весь день мы скрывались в лесу. В семь часов вечера мы уже были на месте. Мы вырыли в кювете небольшую ямку. В эту ямку мы провели от каждой мины длинный шнурок, который стоило только дернуть, чтобы мина взорвалась. Весь секрет успеха заключался в том, чтобы как раз в тот момент, когда паровоз будет над первой миной, а хвостовой вагон над последней, дернуть сразу за все шнурки. Мы спрятались и стали ждать, изредка поглядывая на часы.

Ночь была черна. Проехал немецкий разъезд. Он проехал очень близко от нас. Мы слышали

дыхание лошадей и немецкую речь. Мы замерли. Разъезд нас не заметил. Без двадцати минут восемь рельсы загудели. Послышался шум. Неужели поезд? Неужели аккуратные немцы вышли из графика? Я взялся за свои веревочки и прижался к земле, каждый миг готовый потянуть за них. Я едва не произвел взрыва. Но в последнюю секунду опомнился. Это был не поезд. Мимо нас по рельсам промчалась моторная дрезина с фонарями. Она осматривала путь. Малейшая неаккуратность в нашей работе, малейший след земли на полотне мог сорвать все наше предприятие. Но все было сделано чисто. Дрезина промчалась мимо, не остановившись. Ух, гора с плеч! Теперь скоро должен был появиться поезд. Наше напряжение дошло до крайнего предела. Мы прислушивались к тишине ночи, мы всматривались в темноту до боли глаз. В том, что поезд появится в восемь часов, мы не сомневались. Нас интересовал другой вопрос: какой это будет поезд? Это для нас было не все равно. От этого зависела наша жизнь. Поезд мог быть с продовольствием и со снаряжением. Тогда нам не угрожало ничто. Поезд мог быть воинский, с солдатами. Тогда тоже ничего. Но поезд мог быть с боеприпасами, нагруженный снарядами

и взрывчатыми веществами. Тогда неизбежно произойдет взрыв такой силы, что, несомненно, мы все будем убиты.

И вот, мы смотрели вдаль и ждали. Ровно в восемь часов послышался шум поезда. Поезд шел с потушенными огнями, но кто его знает, какой он был: воинский, продовольственный или с боеприпасами? Кто его знает, что он нам нес: жизнь или смерть? Впрочем, в тот момент, могу поручиться, никто из нас не думал о смерти. Все думали только об одном, как бы произвести взрыв не раньше, чем паровоз станет на головную мину. Паровоз приблизился. Вот он уже прошел по всем минам. Вот он уже на головной. Из поддувала сыплются золотые угольки, освещая розовым светом снег. Время. Пора. Я изо всех сил дергаю за свои веревочки, плечо болит от рывка. И в тот же миг взрыв. Или, вернее, целая огненная серия чудовищных взрывов. Тендер становится на дыбы и наскакивает на паровоз. Они поднимаются в виде громадной буквы «А». Скрежет железа, лязг, треск дерева, звон стекол, огонь, дым, ад. Вагоны катятся, как коробки, под откос. И затем — минутная тишина, минутное оцепенение, во время которого сердце радостно бьется в груди! Живы! Поезд взорван. Задание

выполнено!

Через минуту молчания начинается крик, стон, истерический смех, беспорядочная стрельба из автоматов. Мы не совсем точно определили длину состава. Он оказался длиннее. Из этих уцелевших вагонов выскакивали обезумевшие люди и метались возле поезда, сверкали электрические фонарики. Густой пар из взорванного паровоза закрыл все вокруг. От пара пахло как в прачечной. Оставшиеся в живых враги бесновались. Но мы были уже далеко. Мы пробирались на лошадях по лесу. Через несколько минут мы слышали еще один взрыв. Это подорвалась на электрической мине, поставленной нашими людьми за два километра от места крушения, дрезина, спешившая на помощь взорванному эшелону. Через некоторое время после этого вы могли прочесть в сводке короткое сообщение, что партизаны там-то пустили под откос немецкий эшелон. Вот и все. Вот, собственно, как это делается.

Так закончил тов. Н. свой короткий рассказ. Он его закончил и почти без паузы сказал:

— Вы слышали вчера Барсову в «Севильском цирюльнике»? Говорят, она бесподобна.

— Да.

— А мне, знаете, не удалось достать билетов, —

сказал он огорченно.

— Но она будет петь послезавтра.

— К сожалению, завтра я уезжаю.

— Куда?

Он улыбнулся и не ответил на мой немного бестактный вопрос.

Николай Александрович Тихонов

Мгновение

Бывают мгновения, когда природа, окружающая вас, вдруг является во всем торжестве животворящей силы, во всем блеске, во всем неисчерпаемом богатстве, во всей своей неповторимости в одном из тех неисчислимых своих раскрытий, которое в это мгновение кажется единственным и угаданным только вами.

Для того чтобы вы это испытали, не нужно торжественной пальмовой рощи на берегу океана, не нужно каких-нибудь фантастических скал, окутанных тучами. Достаточно, если это — частица характерного пейзажа ваших родных мест. Пусть вас окружает роща скромных берез или широкое поле, над которым низко спустилось осеннее туманное небо; пусть это случится в городе, в городском парке, где сквозь листву до вас будут доноситься звоны трамвая и гудки машин, — все равно вы можете быть свидетелем этого глубокого мгновения.

И в природе вещей, в сосредоточении мастера, ищущего последней глубины творческого откровения, оттенки красок и слов вдруг обернутся тем настоящим, неповторимым мгновением, которое

мы называем старым словом — вдохновение.

Вот такое мгновение, полное ощущения расцвета жизни, такое редкое в жизни молодого существа, еще только отгадывающего, что же самое главное в предстоящем длинном пути, иногда является в высшем своем торжестве и в высшей неумолимости. Может быть, это мы и называем подвигом.

В связи с этим я хочу рассказать об одной скромной маленькой девушке, которую звали Женей.

Женя была ученицей девятого класса. Среди типичных городских девочек она, может быть, была самой незаметной — небольшого роста, хрупкая, с тонкими и правильными чертами лица, с кожей нежного, матового цвета, с большими голубыми глазами, с длинными, тонкими ресницами.

Женя старалась не выделяться, потому что остро чувствовала свой физический недостаток: она хромала. Эта хромота больше чем смущала ее, она мучила и постоянно напоминала о себе. Поэтому в иных развлечениях, свойственных ее возрасту, ей было отказано. Она не могла бегать, не могла танцевать. Хромоножка — слово не из тех, которые нравятся уху молоденькой девушки, почти девочки.

Но Женя хорошо умела возиться с бинтами и перевязками, когда училась, чтобы стать сандружинницей. Жила она в небольшом городке Колпино, под Ленинградом. Здесь протекала неширокая река, стояли небольшие дома, и только огромный завод, старый, как крепость, был настоящим источником шумной и новой жизни. Он постоянно увеличивал свои корпуса, он рос и в ширину и в высоту, и неумолчный его гул наполнял далеко все окрестности.

Городок старался сделаться красивее: он покрыл асфальтом свои улички, завел много новых машин взамен старых, расхлябанных, заезженных, посадил деревья, построил двухэтажные домики для рабочих поселков.

В таком городке, наполненном размеренной рабочей жизнью, мечтается не хуже, чем в самом большом городе. Весенние вечера в нем наполнены голосами молодежи, смехом и песнями. Как бы пошла дальше жизнь маленькой девушки, никто не мог бы сказать, если бы события, грозные и страшные, не обрушились на городок с внезапностью самой свирепой бури.

В первый же день, когда немецкие полчища нарушили нашу границу, Женя в числе прочих дружинниц перешла на казарменное положе-

ние.

Наступили строгие времена. Все знакомые Жене юноши и девушки ходили в военной форме, над городком шли воздушные бои, снаряды рвались на улицах, горели дома, рабочие садились в танки, которые выходили прямо из цехов в бой, улицы были усыпаны кирпичом, стеклами, обломками.

Как тяжелый сон, проходили дни. Не умолкала канонада. Далекими казались тетради, школа, прогулки, вечеринки. Исчезли огни — городок по вечерам проваливался в темноту уже осенних ночей, дождливых, мрачных, беспросветных.

И вот Женя руками, с которых еще недавно не сходили чернильные пятна, перевязывала раненых и, вся залитая кровью, слушала их стоны и бормотанья, отрезала бинты, давала пить, утешала, даже покрикивала на особо ослабевших духом и чувствовала себя песчинкой, увлеченной ураганом, который кружил над городком.

До сих пор никогда Женя не ночевала в поле, в яме, никогда не лежала на мокрой глине часами, прижимая свою сумку к шершавой шинели и грея руки, засунув их в рукава. Теперь она жила только тем, что ее окружало. Весь остальной мир перестал существовать. В том мире было светло,

тепло и радостно. В том же, что пришло, она видела только страдания и суровость, на которые, она боялась, у нее не хватит сил. Но уйти, попроситься куда-нибудь подальше от этого она не могла.

Хромая среди узких, спешно вырытых окопов, спотыкаясь, ползая по размытому лугу, промокшая, дрожащая от холода, она вздрагивала от тайной гордости, когда раненый говорил ей сведенными болью губами, чуть слышно: «Спасибо, родная» или «Эх, и маленькая же ты!» Иные, постарше, называли ее сестрицей. И вчерашняя школьница понимала, что отсюда она никогда не уйдет, что если бы ее гнали отсюда, она заплакала бы и умолила бы ее оставить.

Женя не разбиралась в действиях солдат и командиров, что двигались день и ночь вокруг нее, обвешанные оружием, сумками, гранатами. Она путалась всякий раз близкого разрыва снаряда, от которого долго гудело в ушах и ноги делались мягкими, восковыми.

В бытность дружинницей еще до войны она училась стрелять и стреляла неплохо, чем немало удивила подруг, но сейчас у нее не было никакого оружия при себе, кроме перочинного ножика, которым она обрезала бинты.

На одном небольшом участке, отвоеванном у

врага в недавнем бою, еще не построены были мощные укрепления; бойцы лежали в одиночных вырытых окопах, в неглубоких траншеях, даже в ямах, воронках и канавах. Начались дожди. Небо цвета солдатской шинели нависло над землей, и она, разбухшая, блиставшая зеленовато-желтыми лужами, скользила под ногами.

Женя заснула усталая, как сидела на корточках, прижавшись щекой к стенке ямы, на дне которой лежала ее сумка, противогаз и котелок, в котором ей принесли немного вареной картошки. Она спала в перерыве между перевязок, и ей снился школьный праздник, на котором собрались все ее товарищи. Бьют так много цветов, и кто-то стал пускать ракеты, и в небе повисли красные и зеленые змейки, а потом взошла большая оранжевая луна, и все пошли на станцию. Станция была убрана, как никогда, флагами и цветами, поезд привез много народу, все шутили и смеялись. Потом она полетела куда-то, и ей самой стало во сне смешно, она во сне вспомнила нянькину фразу: «Это ты растешь еще». Но поезд, который был украшен цветами, вдруг рассыпался на много черных машин, которые стали грохоча вертеться вокруг, стараясь наехать на нее, а она бегала между ними и не могла уже понять: это шутка или

всерьез ее хотят раздавить эти черные, рычащие машины. Грохот их стал таким сильным, что она проснулась.

Минуту Женя не могла сообразить, где она. Было уже темно, все вокруг гремело, и разрывы снарядов смешивались с пулеметным отрывистым рокотанием. Рука ее, прижатая к стенке, пока она спала, онемела, и ее покалывали иголки. Она показалась самой себе такой беспомощной, такой одинокой и брошенной на дно холодной, глинистой ямы. Ночь дышала холодом и угрозой. Она чувствовала, как кругом затаились люди, и среди многоголосья и самых разных звуков она поняла: только что начался сильный бой, и в это время ее окликнули:

— Женя, перевязывай!

И к ней в яму сполз, поддерживаемый подругой, раненый. Он сполз молча и упал к ее ногам, как темный мешок. Но, присмотревшись, увидела Женя, что он сжимает в руке автомат и глаза его почти светятся в темноте. Она уже знала этот блеск боли, сдерживаемый крепко сжатыми зубами. Она вздрогнула, пришла в себя окончательно и сильным движением, которым она овладела в последнее время, прислонила раненого к стенке и начала перевязку.

Когда Женя кончила, раненый шумно вздохнул и ничего не сказал. Только правая рука шевелилась все время, точно он хотел убедиться, что она действует, и он боится, что она каждую минуту станет такой же, как левая, к которой страшно притронуться.

— Ну, как дела там у нас? — спросила Женя.

— Плохо! — сказал вдруг ясным голосом раненый.

— Ну, что ты! — тревожно сказала она.

Ей стало как-то не по себе от этого ясного голоса. Она знала, что раненые под впечатлением только что пережитого часто представляют, что дела плохи.

Стрельба усилилась до чрезвычайности. Теперь казалось, что на эту темную, грязную ночную землю льется огненный ливень. Небо посветлело от ракет, горевших холодным, мертвым светом, от пожара, зарево которого поднималось и ширилось в темноте.

Но при свете ракет и зарева Женя видела, как оттуда, где свирепствовала стрельба, шагают темные фигуры, которые пробираются мимо нес, ныряют в соседние ямы и куда-то исчезают.

У нее сжалось сердце. Она приподнялась над краем ямы и потом почти вылезла из нее, всмат-

риваясь в темноту. Прямо на нее шли люди. Они шли пригибаясь, втянув голову в плечи, и первый, который достиг ее ямы, остановился, всматриваясь, нельзя ли перепрыгнуть.

— Что там такое? — спросила она. — Куда вы, товарищи?

Солдат, стоя над ней и казавшийся еще выше ростом от этого, хрипло сказал:

— А кто это здесь?

— Я дружинница. Осторожно, тут яма, — ответила Женя. — Что там такое?

— Там, — ответил солдат, и винтовка как-то странно качалась в его руке, — укрепиться мы не успели, девушка, враг опять наступает.

— А командиры где ваши? — спросила она, схватив его за шинель.

— Командиров побило, — глухо ответил он и, наклонившись, сжал ее маленькую горячую руку.

Затем он одним прыжком исчез в темноте, спрыгнув в соседнюю траншею.

«Что же это такое? — спросила она себя. — Они бегут. Бегут. И за ними идут враги. И вот сюда придут немцы, перепрыгнут, как этот солдат, в ближайшую траншею и потом дальше и дальше, к городку...»

Приближалась целая группа. Смотря на эти трепещущие в свете ракет фигуры, Женя задрожала всем телом от негодования и боли. Что делать? Она окинула взглядом все ночное пространство, такое дикое и мрачное, такое огромное, что они перед ним просто ничто, травинка, которую сожжет первый разорвавшийся снаряд самым маленьким своим осколком.

И вдруг она почувствовала, что она сильнее этой ночи, дышавшей на нее смертью, и этого темного пространства, угнетавшего ее страхами, и этих больших бегущих людей, опустивших винтовки, и того злобного, невиданного врага, что освещает этот мрак ракетами и стреляет так шумно, страшно и непрерывно.

Что-то сжало ее сердце, но это не было ни страхом, ни болью. Это было ощущение того полета, как во сне, когда она сама смеялась: «Я еще расту!» Ноги стали крепкими, а маленькие руки сжались в кулаки. Она вся трепетала от какого-то удивительного: все равно! Ей было все равно теперь, что стреляют, что осколки свистят над головой, все равно, что она маленькая и слабая, все равно, что она не умеет командовать. Это и было то мгновение, когда предельный восторг захватил ее с головы до ног. Что знала она о жиз-

ни, эта маленькая бывшая школьница? И вдруг она стала мудрой, неумолимой, беспощадной и страшно гордой. И безжалостной. Она встала во весь рост перед теми, кто уже почти приблизился к ней, отступая.

— Стой! — закричала она таким тонким и таким сильным голосом, что люди остановились. — Стой! — кричала она и уже бежала навстречу тем, что остановились, не понимая, чего хочет от них эта маленькая девчонка, хромавшая по взрытому полю. Она подошла вплотную. Она не могла рассмотреть лиц, но чувствовала, что на нее смотрит много глаз. За этими, стоявшими перед ней, она видела других, появлявшихся из мрака.

— Стой! — сказала она еще раз. — Бежите? А ну, вперед! За мной! Посмотрю я, какие из вас герои! А ну, вперед! Повертывайся!

Она стояла, грозная и неумолимая, не помня, что говорит и что делает. Она только доверяла тому большому, от чего содрогалось все ее существо. И они, эти тяжело дышавшие солдаты, покорно, как ей показалось, повернулись. Она шла с ними назад, туда, откуда свистели пули и летели снаряды.

Они достигли следующей группы. Она схватила за плечо маленького бойца со смешной юноше-

ской бородкой:

— Откуда ты? Где вы были?

— Там, — сказал он, показывая рукой направо.

— Иди обратно! И они с тобой. Все идите обратно. Живо вперед!

Они не прекословили. Они как-то не в лад повернулись, и теперь она вела их, улыбаясь. Она сама не знала, что улыбается, и никто этого не видел в темноте.

Она возвращала все новые и новые группы. Она доводила их до брошенных ими окопов, спрашивала:

— Здесь сидели? Здесь! Сидеть — назад ни шагу!

Она не прибавляла: шагнешь — убью! Но она знала твердо, что эти смятенные, тяжелые, мрачные люди не смеют ей сопротивляться, ее силе, ее воле — маленькой, тщедушной школьнице, которой трудно дышать от мокрой шинели, воротник которой трет ей шею, от быстрой ходьбы, от страшного возбуждения.

Может быть, вокруг было то, что в газетных корреспонденциях называют «адом». Да, так это и было. Один раз солдат, шедший с ней рядом, сильным толчком бросил ее на землю, и над их головой грохнуло так, что, казалось, голова раско-

лется от этого удара, но в следующее мгновение она уже была на ногах, и тот, толкнувший ее, сказал смущенно:

— Прости, крепко ударил, а то бы не уцелела. Не ушиблась?

Но она не ответила и пошла, пригнувшись, дальше. Она обходила траншеи, перевязывала раненых, следила, чтобы никто больше не смел отползать назад. Она спрашивала, сколько у них патронов, лежала в воронках, прижимаясь к земле, переползала по холодной траве, царапая руки о какие-то жестянки и камни. Ночь была бесконечной.

Снаряды не прекращали рваться. Мины лопались с квакающим хрипом, трассирующие пули разноцветными струями проносились перед ней.

Она спросила одного паренька, сильно сопевшего носом в полумраке окопа:

— Ты знаешь, где штаб батальона?

— Ни черта он не знает! — ответил за него другой голос. — А что, товарищ начальник?

Ее поразил этот ответ. Ее называют товарищем начальником. Наверное, эти люди будут днем очень смеяться, когда увидят ее при ясном солнечном свете. Но она ответила сразу:

— А вы знаете, где штаб?

— Знаю, только туда сейчас трудновато пройти будет…

— Вы пойдете туда и отнесете мою записку, слышите?

— Слышу, товарищ начальник! — сказал солдат. — Давайте, пишите.

Она вынула свой блокнот и написала кратко, что просит прислать командира, а вместо связного будет присланный с запиской.

Боец перевалил на бугор и растаял в темноте. Ночь продолжалась. Подул холодный, пронизывающий ветер. Глаза слипались. Руки и ноги стала сводить усталость. Опьяняющий восторг первых минут давно прошел, хотелось упасть и заснуть. Но она сидела и смотрела перед собой, оглушенная грохотом, и равнодушно слушала, как визжат пули, рикошетировавшие поблизости.

Потом она собрала всю волю и, зевнув в кулак, поползла проверять своп окопы. Бойцы лежали и сидели, согнувшись в три погибели, шептались и кашляли. Изредка вскрикивали раненые.

…Перед ней стоял командир, высокий, в ремнях, с наганом у пояса, с противогазом, широколицый, с прищуренными глазами, как будто сомневаю-

щимися в том, что видят.

— Кто здесь командует? — спросил он, строго глядя на маленькую фигурку, прижавшуюся в изгибе окопа. На него смотрели большие глаза, и ему показалось, что эта испуганная девочка сейчас скажет ему:

«Я хочу домой, к маме! Я боюсь!»

Но она сказала тихо и медленно:

— Здесь командую я!

И он, приложив руку к козырьку, сказал быстро и четко:

— Я прибыл принять участок по приказанию командира батальона. Это вы писали записку?

— Я, — ответила она еще тише. — Я вам сейчас все сдам. Идемте!

Федор Иванович Панферов

Рука отяжелела

Мой верблюд идет первым и всем кланяется. Как шаг, так плавный поклон. С ним вместе кланяюсь и я плодороднейшим полям, бурным потокам и вот этим величавым горам. Справа от нас тянется хребет Тянь-Шань. Вершины хребта, покрытые голубыми ледниками, величаво и гордо блестят на солнце. Нет, они не угрюмые, а какие-то мудро-задумчивые: они манят, зовут к себе, и поэтому на них смотришь неотрывно, как завороженный. Подножье гор покрыто темно-зелеными травами, выше цветут дикие яблони, еще выше тянутся сочные, серебристые ели и еще выше — буро-черные, оголенные пики.

— Зверь тут много, — поравнявшись со мной на своем верблюде, говорит мне сопровождающий Саке. — Зверь много. Орхар, козел, медведь, барс. О-о-о! А птица! Фазан, куропатка, дрофа, утка все виды, гусь, лебедь, все есть. Много! А вот смотри, вор идет. У-у!

— Вор? Какой может быть в горах вор?

Саке не успел мне ответить, как тот, кого он назвал вором, крупными машками, словно через что-то перепрыгивая, пошел к ущелью, и по

машкам я определил, что это волк. А из ущелья выскочило десятка полтора диких коз. Они на какой-то миг остановились, вскидывая белыми пушистыми хвостами, напоминая собой балерин, и тут же стремительно ринулись в горы. Волк тоже остановился и, как бы с обидой посмотрев в нашу сторону, вяло поплелся прочь.

— А-а, не удалось волку схватить козел! — обрадованно закричал Саке и, повернувшись ко мне, сердито добавил: — Не люблю вор. Все живут честно: орхар, козел, фазан, а волк — вор, барс — вор. Как и человек, есть честный, есть вор. Что, неверно говорю? Вора надо убивать. Нет? Скажешь, лечить? Э-ге! Волка можно лечить? А есть и человек такой, как волк.

Я пристально посмотрел на Саке, все еще не понимая, к чему он такое говорит. Ему лет под семьдесят, но на верблюде он держится, как юноша.

— К чему это ты говоришь, Саке?

— Зачем честному человеку война? Ответь мне. Зачем? Гляди, наш край богатый. Видишь, сколько яблонь-дички. Все горы — яблони. А там еще много-много малины, урюку, груши. О-о-о! А посмотри сюда, в низину. Твой глаз достанет края наших полей? В этих полях все растет. Яб-

локо растет, виноград растет, пшеница растет, овес растет, коров растет. Все растет. Зачем мне война? Мне надо работать, много работать, и я буду богатым, сосед мой будет богатый, все будет богатый. Да. Работай только. А-а-а, нет, вор хочет все мое добро карапчать! (воровать). Работать не хочет, карапчать хочет, значит, его надо убивать, как волк. — И Саке вдруг о чем-то быстро-быстро заговорил на своем родном языке, отплевываясь, выкрикивая одно и то же слово: «Собака! Собака!»

Я засмеялся:

— Саке, я не понимаю, о чем ты.

Саке спохватился:

— Я ругался. Крепко ругался. На фашист ругался. Фашист — волк. Да, нет?

С гор спускались гурты овец. Жирные, с тяжелыми курдюками, они спускались, пощипывая молодую травку, обгоняя друг друга, переваливаясь, как барашки на море.

— Саке! Саке! — заговорил я. — Я хочу видеть чабана. Да, да, пастуха.

— Мужчину трудно. Женщину можно.

— Разве чабан обязательно женщина?

— Нет. Обязательно мужчина. Но мужчина ушел туда, на фронт. Муж ушел, жена встала на

его место.

Я повернул верблюда и направился к гуртам овец. Впереди гурта шли две женщины в полушубках. Одна из них, прикрыв лицо рукой, сквозь трещину пальцев посмотрела на меня.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте, пожалуйста, спасибо, — обе враз ответили они и громко засмеялись.

Я, ничего не понимая, повернулся к Саке. Он тоже хохотал, выкрикивая:

— Они по-русски знают только три слова: здравствуй, пожалуйста, спасибо.

А женщины все смеялись, сверкая карими, чуть-чуть раскосыми глазами, и что-то часто-часто говорили на своем языке, все время показывая на меня.

— Что они говорят, Саке?

— Они говорят, приходи вечером, чай будет, крепкий чай, и ты будешь гостем. Они видят, ты военный, значит, брат родной, может, ты увидишь на фронте ее мужа, так скажи: жена его хорошо стережет овец от волка; пускай он, муж, крепче бьет волка-фашиста. Ого! Слыхал, что говорят наши женщины?

Я подъехал к женщинам. Мне показалось, что они примолкли потому, что застеснялись, но в

то же время я увидел, что они смотрят в другую сторону, а одна из них проговорила:

— Председатель.

По склону горы скакал всадник. Он скакал, держась в седле так, как будто был вылит. У коня по ветру развевалась грива. Всадник сидел чуть-чуть боком и, казалось, совсем не управлял конем. Но вот конь на всем скаку остановился, всадник соскочил с седла, и тут мы увидели, что это женщина лет сорока пяти, смуглая, загорелая. Подойдя ко мне почти вплотную, осмотрев меня с ног до головы, она сердито заговорила:

— Шалтай-балтай нет. Наш женщина чист. Зачем пришел?

Это было так неожиданно, что я растерялся.

— Муж на фронт. Женщина чист. Зачем пришел?

— Марьям Бузакарова, — сказал мне Саке. — Ты к ней в гости ехал, а она тебе навстречу.

— Марьям! — сказал я. — Я привез тебе поклон от твоего сына Ураза.

Строгое, суровое лицо Марьям дрогнуло, золотистые чуть-чуть раскосые, такие же, как и у ее сына, глаза увлажнились, и она протянула ко мне руки:

— Ураз! Сын мой Ураз! А ты прости меня за мои

нехорошие мысли! — И, подведя ко мне своего коня, сказала: — Садись на коня. Тебе надо на коне скакать. Садись! А я сяду на твоего верблюда.

Я повиновался ей.

Марьям привела нас к себе в хату. Хата саманная, покрытая камышом, внешне довольно мрачная, тем более что нас еще встретила огромная стая собак-волкодавов с острыми шинами на шеях. Но когда мы вошли внутрь, нас поразила не только особенность обстановки, но и чистота, опрятность. В передней комнате, куда нас ввела Марьям, на полу были разостланы ковры, посредине комнаты стоял круглый стол на низеньких ножках, в стороне — кровать и на кровати множество одеял и кошм. Мы сели на ковры. Марьям кинула нам две подушки. Саке сел на подушку и шепнул мне:

— Садись. Такой обычай: почетный гость должен сидеть на подушке.

Я сел. А Марьям вышла из хаты, и вскоре послышался во дворе ее звонкий голос. Перед окном вспыхнул костер. Около костра появились две девушки с длинными косами и стали хлопотливо что-то делать. Вскоре в комнату вошел древний старик. Он поклонился нам и сел около стола. Следом за ним вошла старуха, низенькая, полная,

с вытянутым лицом, и, тоже поздоровавшись с нами, села около стола. Она некоторое время смотрела на нас молча, затем старик заговорил:

— Когда Уразу было шесть лет, отец его Абильда посадил его на коня. Подхлестнул коня плеткой и пустил в степь. Такой обычай: мужчина должен с шести лет управлять конем. Конь помчался в степь, стараясь скинуть со своей спины неопытного седока: конь тоже не хочет подчиняться. Но молодой Ураз крепко держался за гриву, и, когда взмыленный конь прискакал к табуну, тут я Ураза снял с коня и сказал:

— Крепкий будешь, настоящий мужчина.

Ураз ответил:

— Я это знаю.

— Ого! Откуда он знал, что он будет настоящий мужчина? — И старик громко засмеялся, показывая крупный белый ряд зубов.

— Он еще спрашивает, — обратился ко мне Саке, — какой он там, на фронте, Ураз?

— Крепкий, настоящий мужчина.

— Ого! Я это знал, — авторитетно заметил старик и, кивнув головой старухе, сказал ей: — Он, Ураз, такой же крепкий мужчина, как и твой сын Абильда, отец Ураза. Абильда тоже пошел на фронт, к сыну. — Тут он обнял старуху и, сидя

рядом с ней, закачался, тихо напевая.

Он пел о том, что вот когда-то они — он, старый Сабит, и его, теперь старуха, молодая Аше — родили на свет Абильда, сына степей, сына гор. И пока рос Абильда, кости Сабита и Аше черствели… «Живость, струнность наших костей уходила к сыну нашему Абильда. Но мы не злились, не завидовали, мы радовались с тобой, мать, что у нас растет такой могучий сын и этот сын забирает наши молодые силы. Потом у Абильда появился Ураз… И мы с тобой, старуха моя, опять радовались тому, что наши силы переходят в Ураза. Нынче Абильда и Ураз защищают наши степи, горы наши, покой наш…»

Песню оборвали девушки. Они внесли и поставили на стол два блюда: в одном лежали куски вареной баранины, в другом — нечто похожее на огромные блины, только подсушенные. Затем вошла Марьям, раскрасневшаяся, помолодевшая, и положила около старика баранью голову, одновременно ставя на стол огромный кувшин с самым натуральным вином.

Марьям пододвинулась ближе ко мне и, глядя мне в глаза, тихо проговорила:

— Ты кушай, кушай, ты друг Ураза. Когда увидишь его, скажи — отец его тоже пошел туда. И

еще скажи — мать его работает в колхозе. Эта рука, — она показала маленькую, обветренную руку, — эта рука не может держать винтовку, но она может вести хозяйство. Скажи ему, когда народ нашего колхоза узнал, что с фронта приехал его друг, то есть ты, народ сказал мне: «Марьям, возьми дочек своих и иди встречай гостей. Скажи ему, мы бы пришли все, но нам некогда: весна, надо поля убирать». А ты кушай, кушай!

Уставшие с дороги, сытно поев, выпив порядочный кувшин натурального вина, самовар с чаем, мы уснули. Но я все время сквозь сон слышал, как неподалеку от меня что-то шептала Марьям, то и дело упоминая сына и мужа.

…Я открыл глаза. У моих ног стояла Марьям и, глядя куда-то в сторону, шептала:

— Дорогой гость, родной, как сын. Люди собрались в поле, они зашли, чтобы посмотреть на тебя.

Я быстро вскочил с постели, умылся и вышел во двор.

Вдалеке виднелись горы. Солнце играло на пиках, и казалось, оно сходит с гор на предгорье. А во дворе стояли люди, смуглые, загорелые, и все молча смотрели на меня, а я на них. Так длилась какая-то минута. Молчание нарушила женщина.

Она крикнула мне:

— Расскажи нам про Ураза.

Я рассказал о том, как однажды Уразу было предложено переправиться за линию фронта и достать «языка». Он ушел с вечера, утром явился очень пасмурный, грустный и сказал:

«Я подкрался к часовому ночью, ударил его прикладом по голове, схватил, понес, но вскоре увидел — часовой мертвый: такой сильный был удар, что каска вмялась в голову».

Командир ему заметил:

«Зачем же так сильно бил? Надо полегче».

Ураз ответил:

«Я не хотел так бить, сама рука ударила. Рука отяжелела, товарищ командир!»

«Ну, что ж, придется послать другого».

«Нет, нет, — запротестовал Ураз. — Я пойду. Только я приклад оберну мешком».

И пошел с вечера. Рано утром, видим, Ураз несет «языка». Принес, положил. Подошли, посмотрели — враг был мертв.

«Мертвый, Ураз, „язык“ опять мертвый!» — сказали мы.

Ураз растерялся:

«Нет, я его не сильно ударил. Он был живой, когда я его схватил и понес. Но я, наверно, так

крепко сжал его, что задушил. Рука отяжелела, товарищ командир!»

— Так же, как у Ураза Бузакарова, отяжелела на врага рука у всех наших бойцов. Я скоро снова буду на фронте — что передать от вас Уразу? — спросил я.

И в этот миг, сжав кулаки, вскинулись сотни рук, и люди в один голос крикнули:

— Передай Уразу, у нас также рука отяжелела на врага!

Всеволод Вячеславович Иванов

Счетовод Динулин

Город сопротивлялся с яростью необычайной.

Танки врага направлял известный полковник фон Паупель, и танки приближались к окраине города, где находился огромный завод сельскохозяйственных машин и Дворец культуры, увенчанный большой скульптурой Ленина.

Когда генерал Горбыч осматривал фортификационные сооружения возле завода, в одном из ходов сообщения он обратил внимание на худощавого и бледного артиллериста.

«Трусит? — подумал генерал. — Нет, кажется, болен».

— Вы недавно выписались из госпиталя? — спросил он.

Красноармеец уловил мысль генерала и ответил:

— Никак нет, товарищ генерал-лейтенант. Счетный работник Рязанской области, колхоза «Пятнадцать лег Октября». Бледность у нас, счетных работников, — черта природная.

Генерал улыбнулся и, отходя, сказал:

— Немецким солдатам сделать бы поприроднее эту бледность!

— Слушаюсь! — в тон генералу, и тоже улыбаясь, ответил красноармеец Динулин.

И он исполнил свое слово.

Вот как это произошло.

Динулин был уже опытным подавальщиком снарядов. И теперь, стоя возле снарядных ящиков, ощущая холод чуть покрытого утренней росой металла, он спокойно глядел поверх дула орудия на лесок, за рекой, откуда шли танки и то и дело раздавались взрывы. Такой обстрел он видывал не раз, и, зная, какие настроены укрепления, он презирал его. Он ждал, когда покажутся танки.

Взрывы приближались, вздымая глыбы земли, и, будто корни, торчали из нее металлические, согнутые балки, железные пруты и плиты. Все это падало обратно с невыносимым звоном, шумом и лязгом, и падало как бы прямо на Динулина! Мало-помалу страх начал заползать в его сердце. Он исподволь глядел в лица товарищей: чувствуют ли они то же самое? Они напряженно и ожидающе наблюдали за леском, и ничего, кроме боязни пропустить и не заметить врага, их лица не отражали.

Бойцы у орудий падали. Убили наводчика. Убили командира орудия. Из леска выполз танк и то зигзагами, вдоль ходов сообщения, то напрямик,

через пулеметные и орудийные гнезда, устремился вверх, прямо на Динулина. Красноармеец знал, что это самый плохой признак в бою, когда начинаешь думать, что весь противник идет на тебя. Но думать иначе Динулин не мог.

— Принимай! — сквозь грохот взрывов и толчки теплого воздуха услышал он рядом.

Он подал снаряд и оглянулся. Раненый, которому санитар перетягивал руку, протянул Динулину автомат. Стрелял Динулин неважно, но все-таки счел необходимым крикнуть вслед раненому.

— Не подкачаю!

Машины были ловки и сильны, они сваливали громадные железобетонные надолбы, глубоко заделанные в грунт, а попадая в широкий ров, где им было заказано утонуть или, во всяком случае, забуксовать, потому, что грунт там разрыхлен, вылезали только испачканные глиной.

— Подавай, подавай! — слышал он сквозь взрывы.

— Подаю, подаю! — отвечал он, отворачиваясь от двигавшихся на него машин.

Хватануло! Снаряд попал в танк. Ушатообразная машина закачалась и словно взвизгнула. Она вздыбилась, и вдруг пламя изверглось изо всех

ее отверстий.

Необычайная радость охватила Динулина. Он поглядел в довольные лица товарищей и улыбнулся своему страху и тому чувству неравного боя, которое звенело у него в горле совсем недавно, как предсмертный колокол.

«Миновало, слава богу, — подумал Динулин. — И бой есть жизнь, и жизнь есть бой!» — твердил он только что придуманную поговорку, и ему думалось, что поговорка эта защищает его лучше всякой брони и лучше всякого бетона. «Да, жизнь есть бой, и бой есть жизнь, ко всему привыкаешь».

А привыкать приходилось ко многому!

Огромная, облупившаяся машина, с пробоинами и поврежденной башней простерла над ним гусеницы как раз в то время, когда он поднял новый снаряд.

И откуда она появилась? Динулин только одно мгновение смотрел на гусеницы. Кровь, остатки одежды, истерзанное голенище, застрявшее между пластинами, тело, к которому пристали куски темной мокрой земли, — все это вызывало у Динулина тошноту. Надо бежать. Но куда? Танки носились вдоль окопов, расстреливая их в упор, увиливая от огня противотанковых орудий,

которые, казалось бы, подавленные, вдруг выныривали из груды щебня и обломков, извергая снаряды. Не попадешь под гусеницы, очутишься под своим огнем! Штук бы пять гранат сюда! Гранаты, конечно, остались по ту сторону танка, вместе с расчетом его орудия. При нем был только автомат. Выхода не было. Динулин вскочил на гусеницу. Он вовсе не хотел быть раздавленным. Он встал на ее широкие, как у крыльца, ступеньки: гусеница подбросила его вверх.

Он вспрыгнул на какой-то уступ, обрезав себе металлом руку, лег возле башни танка и заглянул вниз.

Разбитое орудие, остатки еще чего-то не давали возможности просунуть автомат. Вот положение, неучтенное никакими уставами и инструкциями!

Танк подскакивал. Динулин обернул грязным и пыльным носовым платком раненую руку и держался ею за ствол орудия, торчавшего из башни. В правой руке его вздрагивал автомат.

Башня, слегка поскрипывая, — танк, должно быть, много поработал на своем веку, — издавала запах масла и пороха. Динулину показалось, что он слышит снизу слова немецкой команды. Он привстал на колени и огляделся.

Танк, на котором находился бывший счетовод Динулин, вместе с другими танками врага подавлял узлы сопротивления. Прячась за возвышения или выскакивая, он искал пулеметы и орудия, обстреливающие немцев фланкирующим и фронтальным огнем.

Динулин стал определять положение: где же находилось его орудие и командир орудия Пащенко?

Наконец, Динулин узнал это место — небольшой холмик, замаскированный кустами смородины в виде буквы «у». Смородины, конечно, не оставалось, да и холмик сполз в сторону… Но неожиданно холмик зашевелился, мелькнуло острое и милое дуло, и какой-то танк лопнул, как пузырь. Динулин узнал наводчика Птицкина.

Динулин решил действовать. «Перед каждым действием — узнай, какую позицию ты занимаешь и какую твой противник». Динулин огляделся.

Одно ему показалось удивительным: где же находилась пехота противника, которая должна занять в таких случаях местность, захваченную танками?

Так как танк часто менял положение, то Динулин, несмотря на пламя, дым и пыль, вьющиеся

вокруг, мог определить почти безошибочно, что пехота противника оторвалась от танков и не успела подойти. Наши орудия продолжали вести заградительный огонь по тому берегу реки, где стояла нерешительно пехота гитлеровцев.

Но не может же быть, чтобы немецкая пехота не просочилась. Он стал приглядываться. В окопах, оставленных нашими войсками, Динулин разглядел чужие каски. На следующем развороте танка он увидел, что каски эти, видимо, получив приказание, стали ползти по направлению к Дворцу культуры.

Врагов не больше роты. «И это все...», — подумал Динулин и стал стрелять...

Между тем танк, на котором находился Динулин, приблизился к тому холмику, где находилось орудие, командиром которого был Пащенко, а наводчик Птицкин. Танк приближался осторожно, маскируясь за возвышенностями и горящими деревьями.

Танк приближался к своей гибели. По тысяче признаков, неуловимых для немца, Динулин понимал, что наводчик Птицкин уже «засек» этот танк. Так как Динулин находился на этой грязной и отвратительной машине, то, естественно, он решил помочь товарищам как мог. Вновь царапая

себе руку о разорванный металл, он, опершись на башню, привстал.

Динулин увидал Дворец культуры, мечущиеся над ним немецкие бомбардировщики, тщетно старавшиеся попасть в него, разрывы наших зенитных снарядов в небе. Он увидел простертую с непоколебимой твердостью руку Ленина. И ощущая огромное, переполнившее душу, волнение, Динулин поклялся Владимиру Ильичу: «Будьте покойны, Владимир Ильич, что надо сделать, то сделаем полностью».

Он встал в полный рост и во весь свой голос через рытвины, канавы, воронки от взрывов, трупы убитых, вопли раненых, через окопы, блиндажи и выстрелы орудий крикнул наводчику Птицкину:

— Огонь по живой цели, круши их, Птицкин!

Наводчик Птицкин действительно наводил орудие на этот танк, и то, что на танке показался во весь рост человек, очень помогло ему при наводке.

Птицкин пустил снаряд.

Снаряд как раз попал в середину танка. Танк взорвался.

Наводчик Птицкин вытер пот со лба и с век, опухших от усталости, взял карандаш и придвинул к себе ящик, на котором бывший счетовод

Динулин вел запись уничтоженных танков противника.

— Прямо рука не поднимается, — сказал уныло Птицкин. — Разве у меня почерк? Вот у Динулина почерк, так почерк. При таком почерке…

Он не успел добавить, что возможно сделать при таком почерке, — показался другой вражеский танк. Птицкин кинулся к прицелу и влепил снаряд в этот танк. Танки врага отступали.

…И тогда же полковник фон Паупель, ведший атаку на город, подсчитав свои потери, побледнел.

Это была как раз та самая бледность, о которой говорил генерал Горбыч и которой хотел добиться у врага покойный счетовод Динулин.

Ванда Львовна Василевская

Ты — красноармеец

Это была маленькая девочка, совсем маленькая девочка, товарищ в шинели! Быстро мелькали по лугу ее малые босые ножки, путаясь в долгом, до земли, платьице. Она энергично погоняла прутиком теленка, который ни за что не хотел возвращаться в сарай; она толкала его, тянула за хвост со всей серьезностью трехлетней хозяйки.

— Как звать?

— Нюрка.

Чудесные глаза, какие мне приходилось когда-либо видеть, огромные, голубые, окаймленные черными ресницами. И все личико было, как с картины.

Девочка сидела на завалинке, держа на коленях двух серых котят, пальчиком вытирала нос и внимательно смотрела в небо, откуда доносился шум мотора.

— Летит, гадюка, — шептала серьезно, безошибочно различая гудение немецкого самолета.

— А это, это наш, — говорила она и, пуская котят, махала ручонкой машине, едва заметной в далекой синеве.

— Понравилась вам наша Нюрка? — говорила

старушка, ее бабушка, поправляя платочек, спадающий с ясной головки ребенка.

Да, понравилась мне Нюрка, понравилась до слез, до боли в сердце. Она похожа, страшно похожа на другую маленькую девочку, на девочку, которая осталась далеко за гудящей выстрелами линией фронта, по ту сторону.

Мы отошли из деревни над речкой. Маленькая Нюрка тоже осталась там, по ту сторону линии фронта. Может быть, ее уже нет… Ее отец и дядя служили в Красной Армии, а на выбеленной стене хаты висели портреты Ленина и Сталина. Бабушка говорила с гордостью:

— Оба сына партийные.

Я думаю о них часто — о маленькой Нюрке и о другой девочке, которую она мне напоминала.

Та девочка слышала треск разваливающихся в Варшаве домов. Видела немцев, расхаживающих по улицам. Видела фашистов, избивающих людей, стреляющих в женщин и детей. Она пережила несколько страшных месяцев в оккупированной Варшаве. А потом, когда подъезжала к границе, к Советскому Союзу, в поезд вскочили враги. С мчащегося поезда выбрасывали евреев, били их палками, ударами сапога сталкивали евреек с платформы под колеса вагонов.

Все это видела маленькая девочка. И когда на границе встретили ее командиры Красной Армии, она с криком бросилась к матери:

— Мама, бежим, немцы!

Она еще не различала шинелей. И долго не могла понять, что уже не находится среди врагов. А когда поняла, на улице Львова останавливала проходивших красноармейцев:

— Ты — красноармеец, правда?

И обращалась к матери с блестящими глазами:

— Это не немец, это красноармеец.

Красноармейцы улыбались, не понимая, чего хочет эта маленькая польская девочка, которая по ночам во сне испуганно кричала:

— Мама, бежим, немцы!

А днем, встретив красноармейцев, останавливала их на улице и заглядывала счастливыми голубыми глазами в удивленное лицо, маленькими пальчиками гладила жесткое сукно шинели и повторяла:

— Ты — красноармеец.

Этой маленькой девочке, для которой слово «красноармеец» означало радость, счастье, свободу, пришлось вторично переживать кошмарные дни, пришлось второй раз встретить фашистов. Сколько раз звала она: «Мама, бежим, немцы!»

Сколько раз, идя по улице, растерянным взором искала она знакомую, любимую шинель красноармейца!

Не знаю, жива ли она. Не знаю, живы ли они, обе маленькие девочки, которые любили красноармейцев и боялись фашистов.

Я думаю о них часто. Мысль о них сгоняет сон с моих глаз.

Я хочу, чтобы и ты думал о них, товарищ в шинели, думал почаще.

Их не две. Их тысячи. Светловолосых и темноволосых, голубоглазых и черноглазых, наших детей, которые остались по ту сторону линии фронта.

Умирают там ежедневно — подумай, товарищ в шинели, — умирают там пробитые штыком, умирают в подожженных гумнах, разрывает их на куски вражеская граната. Сотнями умирают от голода. Протягивают прохожему маленькие ручонки, выпрашивая кусочек хлеба. Сироты замученных матерей и отцов, они умирают от голода, падают в пути, дрожа от холода, прикрывают тряпьем исхудавшее тельце.

Каждый день и каждая ночь приносят им смерть. Каждый час увеличивает этот никем не подсчитанный список детских имен, маленьких

мертвецов.

А они помнят о тебе. Плетясь нищенской дорогой, засыпая, как бездомные щенки, в развалинах хат, дрожа от холода, прячась от взоров врага, думают о тебе с отчаяньем, с тоской, не понимая, почему ты не приходишь, не освобождаешь, не спасаешь.

Товарищ в шинели, там, по ту сторону линии фронта, — тысячи наших детей. Но с каждым днем их становится меньше.

Не забывай о них! Они ни на минуту не забывают о тебе. Ожидают тебя с замирающим сердцем. Они маленькие, но понимают: ты один можешь спасти их.

Каждый день промедления — это смерть десятков и сотен. Товарищ, не медли: каждый день стоит жизни маленьких людей.

Посмотрят на тебя голубые и черные глаза, полные слез, и маленькие детские ручонки погладят жесткое сукно шинели. Скажут детские уста, не находящие многих слов, не умеющие благодарить, фразами краткими и простыми, в которых заложена вся любовь детского сердца:

— Ты — красноармеец.

И тогда, товарищ в шинели, завянет, развеется память об ураганном огне неприятеля, о днях в

блиндажах, о ползанье по снегу в морозную ночь, о ранах, о бомбах.

Тогда скажешь себе, что взоры детских глаз, что ласки несмелых детских ручонок отблагодарили тебя за все тяжелые, трудные дни.

Напряги слух, товарищ! Сквозь шум моторов, сквозь гул артиллерийской канонады, сквозь дробь пулеметов, сквозь дикий вой пьяных, идущих в атаку немцев, сквозь грохот танков — с той стороны линии фронта просит тебя, зовет детский голос, голос тысячи наших детей:

— Поспеши, товарищ, поспеши! Ты — красноармеец.

Перевод с польского Г. Кутыловского

Владимир Германович Лидин

По ту сторону

Холодным ноябрьским утром вернулись Макеев и Грибов в знакомый город.

На дороге у въезда в город стояли часовые. Но Грибов свернул с дороги на кукурузное поле. Мертвые почерневшие стебли цеплялись за ноги и шуршали, уже прихваченные морозцем. За кукурузным полем шли городские пустыри, гиблые места свалок и голодных собак, бродивших, как стаи волков, с поджатыми хвостами. Они пробрались сквозь давний пролом в кладбищенской стене и пошли по аллейке, по мокрым листьям, в тишине этого ноябрьского забвенья, обросшие бородами и потасканные, похожие, вероятно, на жителей этого исстрадавшегося города.

Они миновали городское кладбище, совершенно пустое, без единой души — даже кладбищенского сторожа не было у входа — и пошли по улицам города… Самое окаянное сиротство и разрушение представлял Грибов себе, по город был страшнее, чем мог он представить. Какие-то жалкие, согнутые, точно их сложила пополам болезнь, брели люди с земляными, озябшими лицами. Казалось, одна старость осталась в этом

городе, одни калеки, но потом они поняли, что это голод и несчастья состарили и сгорбили людей. Оторвавшееся железо вывесок зловеще громыхало на ноябрьском ветру. Ни один дым не был виден из труб, будто в городе никто не обогревал жилища и не готовил горячей пищи. Магазины, пустые и черные, зияли разбитыми стеклами, и только у бывшего гастрономического магазина с немецкой полотняной вывеской поверх старой стояло несколько немецких солдат, прикуривая друг у друга. Такой же пустынной была и главная улица. Только ветер просторнее и холоднее катился по ней со стороны лимана. Несколько подростков с синими лицами стояло возле кино, над которым желтым, пустым светом горели в утреннем холоде лампочки. Макеев покосился на плакат: немецкие танки двигались цепью. Еще одна полотняная вывеска на немецком языке перекрыла старую вывеску — кафе-столовой. За окнами сидели у столиков несколько скучающих немецких солдат. Пустой, гиблый город, согнутые люди с помертвевшими лицами, зима, уже катившаяся с зимним норд-остом… «Это пришли завоевывать?» — казалось, вопрошали они с тоской, глядя через окно на пустынную улицу.

У скверика, там, где цвел когда-то табак, сейчас

стоял столб с перекладиной, и на перекладине невысоко от земли висел человек. Казалось, очень спокойно и грустно, сложив перед собой связанные руки, он наблюдал жизнь с высоты. Ветер неспешно раскачивал его, и Макеев успел увидеть, что это парнишка, ничуть не попорченный, — вероятно, не первый день он висел, — а только как-то ссохшийся, точно кожа его обтянутого лица плотно пристала к костям… Холодный ветер пробрался под ватный пиджак и захолодил плечи. Но оба и на этот раз ничем не выразили своих чувств, точно привыкшие ко всякому жители. Словно чума прошла над городом — он вымер. В щелях, выкопанных на скверике, стояла стылая вода, — некогда копали их жители, уповая на это ненадежное прибежище. Вдруг в громкоговорителе на столбе зашуршало, голос сказал что-то на чужом языке, и хлынула музыка, страшная в мертвом безмолвии города. Но они шли, как будто согнутые временем, старостью и несчастьями, как все жители города…

На колхозном базаре возле забитых или растасканных на топливо ларьков и прилавков бродили люди. Макеев и Грибов перешли площадь — они должны были все увидеть в мрачном разрушении недавно налаженной и шумной жизни

большого южного города. Старики и старушки (или это были молодые женщины, ставшие старухами, — в неопределенности серых, земляных лиц нельзя было понять) продавали какую-то рухлядь, отрепья или жалкие остатки былой жизни. Ненужные подсвечники, пожелтевшие воротнички и кружева, мясорубку и большие плоские раковины, завезенные в портовый город каким-нибудь моряком… Несколько таких же неопределенных людей торговали семечками, отмеряя зелеными, бутылочного цвета стаканами, и странной желтой трухой, в которой Грибов распознал раздавленные жмыхи. Он спросил цену: — стакан тридцать рублей. Больше на этом торжище ничего не было. По другую сторону площади, где начинался бульвар, они увидели новое кладбище. Памятник Ленину, стоявший в начале широкой аллеи, был снесен, и вокруг постамента, заставленного досками с немецкими надписями, во всю ширину бульвара точно размеренно, на равном расстоянии друг от друга, словно на параде мертвецов, стояли кресты. Глубокие, тяжелые каски мутно-зеленого цвета были надеты на верхнюю часть креста. Могил было много, Макеев прикинул — не меньше двухсот.

На бульваре их остановил часовой. Мотоцикл

был прислонен к дерену. Они долго и обстоятельно доставали документы, как бы равнодушные к этой очередной проверке: печать о регистрации и явке к коменданту была — часовой их пропустил. Серый, низенький, штабной автомобиль быстро пронесся в пустынности улицы. На телеграфных столбах, ухватившись кошками, немецкие связисты тянули провода. Совсем синий, полумертвый или уже заживо умерший старик сидел на приступочке дома. Лысая его голова с ободком волос была непокрыта. В шапку, лежавшую рядом на ступеньке, точно для смеха, была брошена никелевая немецкая монетка. У бывшего здания городского музея стоял огромный желтый фургон, в каком перевозят мебель: фургон, очевидно, — был пригнан из Германии. Двери в музей с блистающими колоннами вестибюля были настежь открыты. Несколько солдат выносили стулья, аккуратно сплетенные соломой, чтобы не побились в дороге, такие же аккуратно сбитые деревянные рамы, в которых были картины и ящики с большими номерами. Фургон, вместительный, как дом, поглощал бывший музей. У входа на почту висел плакат с изображением зверского бородатого лица, не то в папахе, не то в кубанке.

«Всякому, кто окажет укрывательство партизану, смерть!» — было написано по-русски под изображением.

Скоро они свернули в сторону Приморской, некогда поселка рабочих судостроительного завода. Дома были пусты, часть без окон, часть заколочена. Некоторые, обгоревшие, давно растасканы по бревнышкам, и только кирпичный четырехугольник фундамента или невыломанные изразцы печи определяли место недавнего жилища. Но в один из этих домов Грибов все-таки зашел. Только прежде, чем толкнуть калитку забора, он долго закуривал на ветру, оглядывая пустынную улицу. Нет, немцам нечего было делать на этой пустой и обезлюдевшей окраине. В глубине двора, двумя ступеньками ниже земли, была дверка в бывшую бондарную мастерскую. Старые ржавые обручи от бочек валялись во дворе.

Они были у цели. Их ждали. Долго, пробираясь балочками и глухими степными дорогами, шел сюда криворожский шахтер Семичастный. Он был здесь уже третий день.

Хозяин дома, старик Павлюченков, пока вели они свой разговор, вышел чинить прогнившие ступеньки приступочки — отсюда далеко была

видна улица, если бы кто-нибудь появился на ней…

Семичастный сказал: «Надо бить по железнодорожным путям, по всем коммуникациям немцев».

— Это мы понимаем, — сказал Грибов, — не думайте. Волку сухожилья перерезать — он никуда не уйдет. Только и немцы стали сейчас осторожны… У них на путях чуть ли не на каждом километре посты. Собак привезли… мы одну такую взяли, чистый волк, но умна! — Он хохлился в ватном своем пиджачке, в серебряных очках, только изредка недобро поблескивали из-за них его глаза. — Всякому, кто окажет укрывательство партизану, смерть! — сказал он с усмешкой. — Вот как у них написано. А страшными они партизан рисуют, видно, сильно напуганы. — Он вспомнил плакат возле почты. — Всех людей не перебьешь… Это тоже время нужно. А мы не бараны, что убоя своего дожидаются. Ты — нашего одного, а мы твоих десять. Пять поездов сваливают в день партизаны — нужно сорок свалить.

Он на минуту стал прежним — лукавым и словоохотливым, если бы, только не старила и не меняла его уже с густой проседью борода.

— Передай, — обратился Макеев к Семичастно-

му, — дело мы свое понимаем. И ответственность понимаем… Мы себе радио раздобыли. Москву ловим. Родной голос слушаешь, легче на душе становится. А то немцы свою работу ведут… их послушать — так и Москвы уже нет, и в Ленинграде они хозяевами стали давно.

Они рассказали Семичастному, сколько людей в отрядах и что сделано за месяц.

— Скажи: крестов по немцам не ставим, как эти в городе… а вся степь для них кладбище, каждая балочка. Сот восемь, может, за это время прибрали, два эшелона с боеприпасами полетели, одни колеса остались… Ну и так повредили составов до дюжины. Только пути они быстро чинят, у них это дело поставлено хорошо.

Они долго и внимательно разбирали план предстоящей операции. Партизанские отряды становились как бы выдвинутыми глубоко вперед частями действующей армии. Немцы готовились в городе к пуску судостроительных мастерских, которые перед отступлением были плохо подорваны нашими: немцам нужно было море. На стапелях закладывались первые легкие морские суда. Привезенные лесоматериалы загружали половину заводской территории.

— Тут огонька пустить — пойдет. Материал

сухой, это сразу прихватит, — сказал Грибов. — А ветерок наш, морской…

Он прислушался: норд-ост громыхал железом крыши.

— А материалу у них свезено порядочно… все тес, каждая тесина с клеймом. Тут при хорошем ветре пойдет! Есть у меня человечек один, — сказал Грибов в раздумье, — ему только на свет божий нельзя показаться… нашлась сволочь какая-то, на него донесла. Он прежде на заводе в пожарной охране работал. Тут огонька пустить мало, — добавил он, — тут надо, чтобы море цельное бушевало…

Он щурился и воображал это море в зловещей черноте ночи.

В тот же день Семичастный и Макеев ушли из города. А Грибов задержался для выполнения задуманного.

Посты охраны мастерских были прежние: пост у проходной будки, вышка с часовым у восточной глухой части территории, где были сложены лесоматериалы, и два поста по обе стороны стапелей на берегу лимана. Подача воды в пожарные колодцы производилась через насосную станцию. Станцию эту надо было подорвать одновременно с поджогом.

Глухой, ветреной ночью Грибов пробрался на заводскую территорию. Тихий лиман гудел и бросался на берег. На этом заводе Грибов проработал два года. Но территория, заново заваленная лесными материалами, изменилась, и он долго в тумане не мог определить направления. Он пробрался между штабелями и заложил в двух местах тол. Подорвать насосную станцию должен был пожарник, который с великой охотой и озлоблением взялся за это дело: немцы погнали его младшую сестру рыть окопы, и она пропала без вести. Зажечь штабеля Грибов должен был сейчас же после подрыва станции. Думал ли он еще год назад, что придется ползти ему в ночной тишине по мерзлой земле родного завода, чтобы жечь то, что он строил и что привык беречь. Но сейчас только на пепелищах могла родиться новая жизнь, и человек именно во имя ее превращал в пепел, в развалины самое дорогое и близкое… Ненависть к немцам, сначала захватившая его, как всякая ненависть, теперь становилась планомерной, размеренной. Он вырабатывал график этого отмщения, как вырабатывал некогда график работы. Ему хотелось вложить в эти планы уничтоженные фашистские части, сбрасываемые с рельсов или подорванные

воинские составы: десять составов — это план на месяц, двенадцать — это перевыполнение плана. Он чувствовал себя почти прежним человеком, только служба была не завод, а война. Он ждал знакомого удара воздуха и перекатывающегося грохота, которые означают взрыв. Он ждал взрыва водонасосной станции. Но только лиман шумел и плескался внизу, и ледяная крупа шуршала временами по доскам. Время шло, а взрыва все не было. Удивительное томление вдруг овладело им, что-то случилось с пожарником: может быть, его захватили, и надо спешно выбираться отсюда. Давно уже непогода пробралась в рукава пиджака, и холодная дрожь, похожая на тоску, сотрясала по временам его тело. Но он все медлил и ждал. Только теперь почувствовал он, что устал за все эти месяцы напряжения, слишком много горя увидел он за это время… В ту же минуту произошло что-то страшное. Прогремел взрыв. Огненным заревом вспыхнула водонасосная станция. Грибов точно очнулся. Теперь очередь была за ним…

Тишина. И снова черную глухую ночь разорвали два чудовищных взрыва. Огромные багрово-красные огненные столбы встали над верфями.

Минуту спустя тревожные свистки хлестали

уже на территории завода.

...На рассвете Грибов был уже далеко. Позади него был город, встретивший его отчаяньем и разореньем, родной город, страшный, как смерть.

Алексей Силыч Новиков-Прибой

Волга

Из обширного полузыбкого болота струится едва заметный ручеек. Непроходимые трясины, одетые мягким моховым покровом, тянутся на километры. Опустите шестик в этот ручеек — он углубится только на один метр и остановится на мягком илистом грунте. Если вы увидите на другом берегу приятеля, то смело протягивайте ему руку: он сожмет ее в крепком рукопожатии.

Здесь рождается Волга — родная и любимая река русского народа, его «матушка», «кормилица» и его «красавица».

Из малого ручейка, стремясь по лесам и болотам, то погружаясь в озера, то сторонясь их, она пробивает себе верный путь. Кропотливо и бережно вбирает она каждый ручеек, каждую речку и хранит их и песет, как мать своих детей. Как дети, они тянутся к ней и доверчиво отдают ей свои волны. Все крепче и глубже становится ее русло, все шире и дальше раздвигаются ее плодородные берега… С высокого Урала несет ей свои воды Кама, из гущи старорусской земли вливает в нее свою силу Ока, и невообразимой великаншей, величественной красавицей, раз-

бившись на рукава, она течет навстречу седому и бурному Каспию…

Не так ли собиралась и росла русская земля? Не так ли из мелких племен и княжеств, враждовавших и истреблявших друг друга, она слилась в одно русло и, раскинувшись на шестой части земного шара, выросла в единое, крепко спаянное великое содружество народов?

Волга — любовь наша, наше раздолье, наше богатство, наша многовековая история, колыбель нашей свободы!..

Нет в русском языке ласкательных эпитетов, которые не приложил бы народ к своей любимой реке. Нет красивее легенд и ярче сказок, которые не рассказывал бы он о ней. Нет горячее и задушевнее песен, передающих нашу любовь к ней, веками распеваемых по всей необъятной нашей Родине…

Великая русская река! Она символ нашей вольности, нашего раздолья и нашего богатства. Для нас она не великое водное пространство от Валдая до Каспия, не простое географическое понятие и не только источник неисчерпаемого богатства. Мы очеловечили ее своей любовью, а ее имя вознесли, поставили рядом со священным именем матери и гордимся ею сыновьей гордостью…

Пароход идет плавно, рассекая широкую водную гладь. Я стою на палубе, не отрывая глаз от необозримых просторов великой реки, от ее простоты, от ее уютной теплоты, похожей на теплоту материнской груди. Солнце, рассыпаясь золотыми искрами, рябит в глазах, но глаза не устают, а еще пытливее, еще жаднее впитывают красоту ее течения, ее величия. Я стою часами, днями, но в душе моей нет скуки, нет тоски однообразия, как не бывает их дома, в кругу своей семьи… Здесь все родное: и небо, и луга, и леса, и звуки песен, и энергичные, здоровые лица людей.

Все, что я вижу на пути, близко мне и дорого. Каждый город — гамма народных преданий, страница нашей истории, памятник нашей культуры. Вот тысячелетний Ярославль. Я вспоминаю здесь первого законодателя Руси — Ярослава, основоположившего этот город. Я знаю, что тут зародился и наш русский театр, искусством которого мы теперь гордимся перед всем миром. Здесь созрела и создана знаменитая «Камаринская» — песня, в огне которой жег свое горе наш многострадальный «камаринский мужик». В Костроме мне светит величественный образ Ивана Сусанина, как бы перекликающийся с нами и зовущий не щадить жизни во имя Родины.

Город Горький!.. На высоком обрывистом берегу, обрамленном обомшелыми стенами, высится старый Нижегородский кремль. Оттуда, с паперти древнего собора, я слышу мужественный голос великого гражданина Минина, призывающего русский народ на спасение родной земли. Я слышу лязг мечей и твердый шаг сермяжной нижегородской дружины, идущей к осквернённым интервентами твердыням седого Московского Кремля... А там, напротив, в треугольнике между Волгой и Окой, я чувствую огненное дыхание гигантов нашей советской индустрии, дни и ночи неустанно выковывающих смерть для новых, ворвавшихся к нам поработителей.

Ульяновск, Казань, Куйбышев!.. Здесь родился Владимир Ульянов, здесь прошли его годы детства и юности, годы учебы и первого гонения от свирепого произвола царских охранников. Как молодой орел, оперялся он здесь. Гениальным умом и горячим сердцем юности он осознал и почувствовал на берегах родной Волги вековечное горе трудового народа, его правду и отдался этой правде до конца.

На реку, на Волгу на широкую,
Вылетал, слетал молодой орел...

В небеса он не глядел, властям не кланялся,

Зачерпнул он ладонью воду рудо-желтую

Под Саратовом, Царицыном, Свияжеском!

Взговорил он ко Волге вопрошаючи:

«Ой, пошто, Волга-мать,

Ты мутишь со дна пески да рудо-желтые?»

«Я пото верчу, пески кручу,

Поднимаю камни-горы подсамарские,

Чтобы вышла к тебе правда-матушка,

Чтобы взял ты ее в свои белы руки

И унес-отдал народу подъяремному»…

Так поется в народе о великом Ленине.

Краса и гордость Волги — Жигули!.. Горы, овеянные сказками, легендами и разудалыми песнями казацкой вольницы!..

Здесь колыбель русской вольности, уголок чудес, где народная фантазия создала таинственные подземелья, к которым стремился обездоленный люд искать запертую в них правду. Сюда стекался он со всех сторон, буйный и неукротимый, и кли-

кал клич, отзывавшийся грозным эхом по всей русской земле...

Гой ты, синелучистое небо над маткой-рекой!

На тебе ли пылают-горят угольки твоих звезд вековечные...

А к огням у реки мужики прибрели,

Русаки к русаку присуседились.

С головой на плече супротивных своих;

Не одна и не две, много, много боярских головушек

Принесли мужики к заповедным огням.

С головами боярскими — заступы,

Принесли топоры, вилы, косы с собой,

Пробудилась, знать, Русь беспартошная!

Эй, гори, полыхай злою кровью, холопское зарево!

На лихих воевод, что побором теснят

Да тюрьмой голодят, бьют ослопами досмерти...

Мы пришли вызволять свои вольности

С атаманом, со Стенькою Разиным,

От судей, от дьяков, от подьячих лихих,

Подавайте нам деньги и бархаты,

Нашим жонкам вертайте убрусы-шитье

Да тканье золотое со вираньем!..

И не раз и не два собиралась на груди Волги восставшая Русь, но каждый раз давила ее сила боярская, измена и хитрость людская. На московской площади сложил свою голову удалой атаман Степан Тимофеевич. Но не обезглавлена была правда народная: у крутых волжских яров, в подземелье заповеданном, ждала она часу заветного… И час этот наступил в октябре 1917 года.

Широка и необъятна великая река! Грудью сказочного богатыря кажется ее суровая, необозримая гладь. Несокрушимой силой веет от ее мощного течения, взламывающего лед, стремящегося навстречу солнцу… Сталкиваются, с шумом лезут друг на друга льдины. Затертые пароходы, тупоносые баржи, взламывая лед, с неимоверными усилиями и риском везут боеприпасы, танки, хлеб. Это сталинградская переправа. Она должна обеспечивать Сталинграду наступление. И «полярная» воинская переправа работает

день и ночь.

Мы подходим к Сталинграду.

Три месяца беспрерывно длился беспримерный в истории бой. С настойчивостью голодного зверя враг рвался к великой реке. Горел Сталинград — город, заслуживший бессмертие, горели многолюдные цветущие станицы, горели села и хутора. Черным дымом расстилалась кругом холодная вражеская злоба, отравляя и убивая все живое.

Но непоколебима доблесть наших воинов, ставших грудью за свою Родину, за свой дом, за свою свободу, за свою Волгу.

Сталинград! Сегодня миллионы людей в Советской стране и во всем цивилизованном мире на разных языках, но с одним и тем же чувством гордости и восхищения повторяют это слово.

Девяносто дней немцы штурмовали город. Они бомбили его заводы, театры, больницы и сады, они разбивали его дальнобойной артиллерией, растреливали из пулеметов и пушек.

Но город выдержал все. Настал грозный час, час наступления. Оно будет лучшим памятником тем, кто пал, обороняя Волгу и Сталинград. Оно будет памятью русскому мужеству, русскому народу.

От неприступной волжской твердыни воины

Красной Армии гонят врага, и он будет стерт с лица земли, как были стерты нашими предками все орды завоевателей, посягнувшие вступить на прекрасные берега великой русской реки. С незапамятных времен мы обручились с Волгой для жизни и теперь бьемся и будем биться за нее насмерть.

Евгений Захарович Воробьев

Снайпер

Снайпер Михаил Лысов вел в роте нехитрое делопроизводство. И хотя Лысов в общей сложности держал карандаш не больше пятнадцати минут в день, за ним, за бойцом, прочно утвердилась кличка писаря.

Он явно тяготился своими обязанностями, а кличка казалась снайперу даже оскорбительной.

— Разрешите податься «в отставку»? — упрашивал Лысов командира роты. — Увольте из писарей. Ну, не лежит у меня душа к канцелярским принадлежностям, никак не лежит.

Командир роты был непреклонен.

— Найдешь бойца с таким же четким почерком, как твой, — пожалуйста. А так беспорядок пойдет, нельзя.

Почерк у Лысова, как назло, был каллиграфически безупречен, просто на редкость. И он по-прежнему ходил в роте в писарском звании…

Ротный писарь сидел на пне, очищенном от снега, и составлял строевую записку, когда, откуда ни возьмись, вынырнул вражеский бомбардировщик — огромный самолет, клейменный свастикой. Зениток поблизости не было, а низ-

кая облачность служила врагу прикрытием от истребителей.

«Юнкерс» сделал заход и сбросил бомбу. Михаил Лысов, как и все бойцы, прыгнул в окоп. Но он не зажмурился, не вобрал голову в плечи, а спокойно наблюдал за бомбардировщиком.

Писарь вскинул полуавтомат и прицелился. Он сделал всего три выстрела, и самолет загорелся. Одна из бронебойно-зажигательных пуль попала в мотор.

Немецкий летчик пытался сбить пламя. Он проделывал сложные эволюции, но все было напрасно. Бомбардировщика тянуло к земле.

— Фигура низкого пилотажа, — удовлетворенно заметил, сидя на бруствере окопа, сержант Жарков. — Нечто среднее между штопором и глубоким виражом…

А снайпер Федор Карасюк, не искушенный в авиационных терминах, сказал, наблюдая за «юнкерсом»:

— Кувырком пошел… На заземление.

Бомбардировщик рухнул за лесом, взорвавшись на своих бомбах.

С того памятного дня за Лысовым утвердилась новая кличка: зенитчик.

И хотя «зенитчик» Лысов по-прежнему вел

нехитрое ротное делопроизводство, никто не называл его писарем. Новая кличка нравилась больше и роте и ему самому.

Мариэтта Сергеевна Шагинян

Простые рассказы
Звонок жизни

Тот, кто проделал длинный осенний путь с Запада на Восток вместе с заводским эшелоном, мог наблюдать в пути группы подростков. Они выскакивали из теплушек и бежали за кипятком всегда стайками, иногда в одиночку. Полудетские лица их были озабочены, насуплены, словно мысль работала и хотела освоить неожиданное, случившееся с ними, и еще не могла его схватить. Ноги их путались в длиннополых, необношенных мундирчиках. Это были ученики ремесленных училищ и фабзавучники, присоединенные к рабочим коллективам своих заводов.

Ребята, едва начавшие сознавать себя, уже проделали большую и романтическую историю, уже накопили опыт жизни. Остановите того, кто бежит медленнее всех, широколицего, веснушчатого паренька, почти безбрового, с носом-пуговичкой, переваливающегося в слишком длинной шинели. Это — Шурка. Он из смоленского колхоза, любимец матери. Дома, бывало, не уснет, пока мать не подтянет его к себе под

материнский бок, хоть старшие и засмеивали и дразнили его за это. Когда Шурку отсылали в город, в ремесленное училище, он ревел белугой и слезы не утирал. Мать напекла ему в дорогу жирных, рассыпчатых пшеничных лепешек и твердых ароматных ржаных коржиков. Москва совершенно подавила и ошеломила Шурку: три дня он, как зверек, ни на чьи вопросы не отвечал, опустив подбородок на грудь, и говорил таким шепотом, что его приходилось переспрашивать. А потом уже носился по училищу бойчее всех, и только к вечеру, после приготовления уроков, от усталости как начнут слипаться глаза, Шурка вспоминал мать, тихо подбирался к воспитательнице и ластился к ней стриженой головой: ему недоставало ласки.

А воспитательница, немолодая женщина, своих шестерых поставила на ноги и все это очень хорошо понимала. Она старалась дать мальчикам, сразу вырванным из больших крестьянских семой, из теплого избяного уюта, вместе с лаской то, чем сама увлекалась и что в те дни увлекало всю Москву: чувство высокой прекрасной гордости от подготовки нового поколения рабочего класса, класса-хозяина родной земли. Государство взяло на себя эту подготовку и щедро постави-

ло ее. Ничего не пожалело: светлые, большие, умно обставленные комнаты, теплые, хорошо проветриваемые спальни, мягкие кровати с простыней и пододеяльником, еженедельная смена белья, души, а какая еда! В первое время ребятам не хватало хлеба, по крестьянской привычке набивать им желудок. А потом они вошли во вкус мясных блюд, гарниров, компотов, стали все чаще оставлять хлебные корочки на столе. Гуляли они парами, и с каждой прогулкой им раскрывалась Москва, красота ее архитектурных групп, старинные камни Кремля, мшистый, потемневший, густой, но такой особенный, как «на картинке», цвет этих камней в зеркально-ясном осеннем небе Москвы. Они уже так привыкли к новой жизни, что дома, в колхозной избе, сразу заметили бы духоту и житейские неудобства. Но еще не осознали они того главного, чем одарила их новая жизнь. А заметили это в пути.

Враг подходил к Москве. Шла эвакуация заводов. По ночам, ища безопасного выхода для заводского эшелона, тихо маневрировал темный паровоз вокруг всего города, на платформах доканчивали погрузку. И ребята ремесленных училищ, испуганные, сжавшиеся, наблюдали, как покрывались брезентом машины, как из

пригородного лесочка рабочие несли охапку свеженаломанного порыжелого березняка и заботливо укрывали им сверху свои машины, маскируя от вражьего глаза.

Третий раз мальчики меняли семью. Теперь из уютных, светлых спален и классов, из размеренного учебного дня с хорошими учителями и ласковыми воспитательницами они попали в необычный, неопределенный мир с неизвестным завтрашним днем. Душная, тесно набитая теплушка, чужие взрослые люди, скудный котелок на железной печурке, чистка картошек, поиски старых бревен на остановках, рубка дров, забота о себе и своем корме, о том, чтобы не опоздать вскочить в вагон, а там — укутанные на платформах заводские цехи, в соседних вагонах — заводские рабочие, их новая семья, на первый взгляд такая неласковая, незнакомая, их неведомый трудный завтрашний день! Засыпая на досках теплушки, ребята вспоминали, как к ним, в ремесленное училище, приезжали писатели читать свои стихи и рассказы, приезжали ученые, профессора, певцы, актеры, музыканты: в те первые месяцы вся Москва хотела помочь государству готовить из них новый рабочий класс. Разница была слишком велика, скачок слишком чувствителен.

«Набаловали вас, но ничего, привыкайте», — сказал им как-то дежурный по эшелону без злобы, но дети обиделись. Они уже привыкли считать, что не баловство, а законное простое дело было их воспитание. От него сейчас остались следы — голос выработанных привычек. В определенные часы, трижды в день, громко заговаривал желудок, он требовал еды; утром рано, проснувшись, тянуло умыться и зубы почистить; в часы прежних занятий ребята искали книгу, тетради, испытывали голод мозга, потребность поучиться, а вечером было пусто — недоставало урока, который непременно требуется приготовить на завтра. Мальчики тогда не знали и окружающие тоже не знали, что в этих «позывах» образовавшихся привычек, в этой выработанной цепи рефлексов — самое важное, самое дорогое, что они успели получить в училище, великое чувство режима, устроенный на весь день распорядок времени, приучивший к себе организм человека. Не знали ребята и того, что чувством режима надо очень дорожить в себе и беречь его, стараясь при всех обстоятельствах как-то отвечать на него, то есть жить, не разбивая образовавшихся рефлексов.

Вот они в чужом городе, на огромном знамени-

том заводе, и сверкающем сталью и стружками, шумящем проводами механическом цехе. Шурка, в фартуке вместо мундира, с черными пятнами металлической пыли в носу и у переносицы — токарь третьего разряда. И рядом с ним — старый, седой рабочий, земляк мальчугана, тоже смоленский. Шурка стал молчалив. Вначале он пристрастился было курить, и как-то его поймали на том, что он потянулся было к плохо лежавшему чужому добру. Хотели судить Шурку, но вступился хозяин украденного Шуркой кисета, вот этот самый смоленский токарь. У него давно не было семьи, сына он потерял на фронте. А Шурка не знает, что сталось с его матерью и родными: в тех местах хозяйничали немцы. Рабочий разговорился с мальчиком, угостил его, как взрослого, табачком. Они сидели вечером на скамейке перед бараком, слово за слово выведал старик у мальчика всю подноготную, рассказал ему о своих делах, пригласил работать вместе. И день за днем взрослым, хорошим обращением и уважительным подходом старый токарь пробудил в своем товарище смутное рабочее самоуважение.

Стал Шурка чаще молчать, думать, курить бросил сам собой, захотел ближе узнать машину, начал следить за рабочим местом, за чистотой

своей койки. И тут как-то он поделился со старым токарем своим огорчением, что нет прежнего порядка в жизни, нет аккуратного, по звонку, чередования дела и отдыха, еды и спанья. Только было привык к нему, а вдруг — словно и не было.

— Порядок, — он хорош в самом человеке, — ответил токарь. — Велика честь жить по звонку. Ты вот сам будь звонком своей жизни, образовывай себя!

И Шурка принялся искать в себе тот великий внутренний звонок, каким управляет человек самым дорогим, что дано ему, — временем.

Девичий танец

В уральских лесах есть маленькая станция. Да и какая это станция! Вокруг ни жилья. Снег опушил деревья, сугробами лег у шлагбаума. Только одно здание вдалеке, длинное, каменное, с обыкновенным крылечком. Но из труб его валит густой дым. В окнах мерцает странное синевато-красное пламя. Дом кажется волшебным. Попробуем тихонько подойти и заглянуть в него.

Скрипнула дверь; пахнуло в нее жаром и запахом неведомого зелья. И вдруг перед вами

открылось необычайное, невероятное зрелище.

В длинном, освещенном пылающей печью зале танцуют девушки. Много девушек — около двух десятков. Странно они танцуют. На бледных молодых лицах серьезность и напряжение, брови сдвинулись, лбы в капельках пота. Танец нам неизвестен. Извиваясь с миловидной грацией, девушки покачиваются всем корпусом то в одну, то в другую сторону, и руки их плавными лебедиными взмахами, словно крылья, то вытягиваются, то нагибаются. Вот вышла одна с тоненькой палочкой в руке. Легкими, русалочьими шагами она подошла к печке, окунула в нее палочку и подняла. На палочке затрепетал яркий, малиново-синий шарик, словно похищенное из печи пламя. Наклонив голову, жестом музыканта, захотевшего поиграть на свирели, девушка приложила губы к концу трубки, и огненный шарик стал раздуваться и расти, сияя радужными оттенками, как мыльный пузырь, раздуваемый детьми из мыльной пены. А пока он рос и удлинялся, девушка, не отнимая губ от конца трубочки, тоже начала танцевать. Пузырь вытягивался все дальше и дальше, к другому концу зала, и девушка все помогала его скользящему, извилистому движению изгибами собственного

тела и низкими поклонами.

— Ну что, каковы наши русалочки? — спросил высокий старик с бледным, как мел, лицом. И правда! Если б не уральская снежная ночь за окном, а гоголевская майская ночь, да плыла бы в небе ясная луна, да стоял бы вдалеке заколоченный дом украинского сотника, а эти странные белые девушки танцевали бы так над затянутым ряской прудом, их и в самом деле можно было бы принять за русалок.

А девушки не танцевали. Они трудились тягчайшим и небывалым для себя трудом. Они выдували стекло.

— До войны ни на одном заводе не было девушек-стеклодувов, — сказал старик Павел Дмитриевич Титов, технический руководитель стеклозавода. — На производстве я пятьдесят один год, считаюсь мастером всех видов стекла, а такого, чтобы девушки стекло дули, признаюсь, не видывал. Тяжкое это дело, не женское! Как началась война, у нас многих работников взяли, ну девушки и пришли на их место. Молоденькие, а откуда сила берется! Вон эти у нас уже мастера — Верочка Судницина, Рая Якушева, Лена Шевякова и Валя Трифонова, — а возраст их: Вале девятнадцать лет, остальным — по восемнадца-

ти. Задание на двести процентов выполняют.

Танцующая девушка улыбнулась бледной скользящей улыбкой: ведь даже такое простое движение лица, как улыбка, трудно дается при выдувании стекла.

В директорском кабинете стоит простой деревянный шкаф. На полках его расставлены все изделия этого завода: бутылочки с герметически закрывающейся крышкой, колбочки, сосуды, шприцы с делениями и многое другое.

Когда советская девушка стоит в очереди перед дверью донорского пункта, чтобы дать для защитников Родины свою молодую кровь, то эту кровь вольют в особую бутылочку, выдутую другой девушкой-стеклодувом.

Когда сестрица в госпитале, склоняясь над раненым, подносит ему стаканчик с лекарством, по строго обозначенной на нем дозе, то этот врачебный стаканчик сделан из стекла уральской девушки-стеклодувки.

И врач войсковой части, поддержав сердце раненого впрыснутой ему вовремя камфарой, пользуется шприцем все той же девичьей изготовки.

Нет малых работ на нашей Родине! И в каждой работе — сердечная, полная самоотдачи любовь

к защитнику Родины, далекому бойцу.

Алексей Николаевич Толстой

Отважное сердце

Вот уж и правда, — знать бы где упасть — там соломки подстелить. Немцы меньше всего ожидали такого поворота войны на русском фронте, когда 19 месяцев назад, уверенные и наглые, двинулись тремя мощными колоннами на Киев, на Москву и на Ленинград.

Начало войны для нас всегда связано с обороной и, если нападающий противник очень силен, то и с некоторым отступлением, — причина этого в длительности нашей мобилизации из-за наших громадных пространств и сравнительно редкой сети железных дорог. Именно на этом построили немцы в 1941 году план разгрома Красной Армии — до конца нашей мобилизации. Они сосредоточили еще невиданные в истории войн силы и со всей яростью рвались вперед. Все преимущества были на их стороне, — их полная отмобилизованность, и количество вооружения, и преимущество инициативы нападающей стороны.

У нас было только одно преимущество над ними — то, что мы русские. Замечательно, что это, как раз, немцы и считали нашей слабостью, то, что мы русские, и то, что мы советские. Много

веков немцы презирали и ненавидели нас. Они презирали нас за все, — за наш певучий, богатый русский язык, на котором можно выражать такие оттенки чувств и мыслей, как ни на каком другом; презирали наши обычаи и повадки, непонятные немцам; и широту нашей души, и нашу, с виду неказистую жизнь, и в особенности люто и дико возненавидели они русский народ за его мировую дерзость, — когда он своими силами, без чьей-либо помощи, устроил у себя социальный порядок. Недавно английский писатель Уэллс сказал о нас: «В четырнадцатом году Россия отставала от европейской цивилизации на триста лет, сейчас она руководит мировой войной».

В самом деле, наш народ — русские, украинцы, белорусы и другие союзные народы — за четверть века прошел трехсотлетний путь отставания и со всей отвагой, без колебания, с твердой верой в конечную победу, встретил железные полчища фашистов.

К осени 1941 года наиболее опасный для нас период войны миновал, — большими жертвами, потерей территории, мы сдержали бешеный натиск гитлеровской армии; им не удалось разгромить нас в период нашей мобилизации и до конца воспользоваться всеми своими преиму-

ществами: и это обстоятельство обозначало не более и не менее как выигрыш нами всей войны. Нанеся под Москвой тяжелый удар по немцам и остановив до весны их наступление, мы получили возможность реорганизовать Красную Армию, обучить резервы, накопить вооружение и учесть весь опыт, приобретенный нами за время этой войны.

И, самое главное, во всем народе, и в тылу и в армии, стало крепнуть и расти национальное чувство, сознание своей гордости, боль за попранную проклятым врагом нашу Родину, стала расти и крепнуть долго раскачиваемая ненависть к врагу. Немцы сами наслали на себя нашу смертельную ненависть и теперь страшно расплачиваются за это.

Летом 1942 года немцам еще раз удалось наступать, правда, в масштабе, в пять раз меньшем, чем в 1941 году. Они воспользовались тем, что мы еще не были готовы для могучего встречного удара, и глубоким клином врезались в казачьи и кавказские земли. Но на этом и окончилось широковещательное торжество Гитлера. Надувшись из последних сил, он лопнул. Русская оборона оказалась немцам не под силу. Они не прошли под Сталинградом. Там не было линии Мажино;

там, в щелях, среди развалин домов, сидели советские люди, и дух упорства, ненависти и отваги Красной Армии оказался крепче всей чудовищной военной техники фашистов; там огненным котлом кипела земля; все разлеталось в прах: и железо, и камни, но красноармейское сердце оказалось крепче камня и железа. Ни одна другая армия не выдержала бы такого испытания. Немцы не прошли, Сталинград стал их могилой.

Через 17 месяцев от начала войны реорганизованная, хорошо обученная и хорошо вооруженная Красная Армия доказала на изумление всему миру и в первую голову самим немцам, что русское наступление сильнее немецкой обороны.

Немцы надеялись на железобетон, стальные плиты, минные поля, рвы, пристрелянные площади и так далее. Оборона их фронта от Владикавказа до Ленинграда, слов нет, была могуча и, казалось, непроходима. Но в ней не хватало главного: яростного, отважного сердца, готового на любой подвиг ради правого дела; за броневыми и бетонными плитами немецкой обороны бились черные сердца бандитов, обмирали в безнадежной тоске дряблые сердчишки их сообщников по мировому преступлению.

Красная Армия потрясла немецкий фронт и,

ломая и опрокидывая «неприступную оборону», погнала фашистские полчища прочь со святой русской земли.

С немцами случилась такая беда, какой еще не знает история войн. За два месяца нашего наступления они полностью, до последнего солдата, потеряли целую армию в 330 тысяч человек. Это уже не поражение, а катастрофа, от которой оправиться нельзя.

За 2 месяца Красная Армия, наступая, разбила сто две дивизии противника, — сто две из трехсот дивизий противника, находившихся на нашем фронте. От такого удара, очевидно, трудно и, по всей вероятности, нельзя оправиться. Наша задача теперь — усиливать нажим на содрогнувшийся и отступающий фашистский фронт, не ослабевать ни дня, ни часа в развитии успеха, бить еще страшнее, еще сокрушительнее проклятого врага. Таков закон борьбы, — удваивать и утраивать усилия, покуда противник не упадет навзничь, покуда черные сердца немцев не изнемогут…

На горе себе ввязались они в борьбу с великим русским народом… Со всей яростью это горе мы должны обрушить на их голову.

Владимир Петрович Ставский

Бронебойщик Рахманов

Сержант Рахманов со всех ног бежал по скату. Второй номер, Халилов, не отставал. Густой колючий терновник хватал их за ноги. Рахманову все казалось, что оттуда, с дальней высоты, немцы видят каждое его движение. Всем своим существом он ждал, что вот мина ударит прямо в него. Но дымно-черные с пламенем кусты разрывов вставали поодаль, злобно и отвратно выли осколки, в воздухе нарастал режущий свист. Высокие бодылья кукурузы с шорохом скрыли их. Бронебойщики бежали сейчас по балочке. Рахманов оглядывал балочку, бугры. Он понимал местность, словно читал книгу. По этой балочке наверняка пойдут танки. Отсюда до поворота за бугор — не больше четырехсот метров. И лучшей позиции, чем вот эта воронка от тяжелого снаряда, нечего искать.

Рахманов, раздвинув сошки, быстро установил противотанковое ружье. Одобрительно кивнул Халилову. Тот положил рядом с ним на земле открытые патронташи. Сам прилег поудобнее со своим автоматом.

Внизу, из глубокой долины, доносился нараста-

ющий грохот и лязг вражеских танков. Рахманов мельком глянул на Халилова. Губы того были стиснуты в синюю нитку. Рахманов сказал, ободряя товарища:

— Сейчас мы им покажем!

На дорожку, раскачиваясь на большой скорости, выскочил фашистский танк. Люки его были закрыты, Рахманов накрепко прижал приклад, прицелился, унимая взволнованные руки. И не услышал своего выстрела. Танк мчался. В груди Рахманова прошла колючая стужа. Не глядя, он схватил из руки Халилова патрон и перезарядил ружье. Немецкий танк, казалось, через мгновенье раздавит его. Рахманов выстрелил в гусеницы. Танк с ревом качнулся и круто развернулся вправо. На дорожке расстелилась, да так и осталась выстеленной гусеничная лента.

Башня танка поворачивалась к нему, выщупывая цель стволом пушки. Мелькнули белые края нарезов. Рахманов выстрелил в борт танка, в моторную группу. И другой раз выстрелил опять в башню. Из щелей, незаметных раньше, ударили копья огня, и тотчас Рахманов увидел второй танк на повороте.

— Береги экипаж! — крикнул он и повел ствол уже перезаряженного ружья под башню второго

танка.

В то же время Рахманов очень хорошо видел, как ревущее пламя охватило весь первый танк. Судорожно откинулся люк башни. Взметнулись черные руки. Мелькнуло искаженное лицо немецкого танкиста и нырнуло обратно в огонь.

— Молодец Халилов! Не выпустил! — обрадовался Рахманов.

Сейчас Рахманову было спокойно. Он выстрелил четыре раза, один за другим. Он чувствовал, нет, просто знал: его пули без промаха дырявят темно-серую, словно прыщавую, броню. Танк резко свернул, ткнулся в рытвину. Мгновенно и смешно выбросились из люков черные угловатые издали фигуры танкистов. Отчаянно побежали они по кукурузе назад.

Рахманов искоса поглядывал, как Халилов гнал пулю за пулей вслед удиравшим немцам.

И второй танк охватило буйное пламя. Рахманов засмеялся радостно. Вот они горят, два фашистских танка.

На повороте возникла еще башня. Рахманов открыл по ней огонь. Башня быстро ушла назад.

Рахманов поглядел на Халилова.

— Товарищ сержант, хорошо стреляете! С тобой ничего на свете не страшно. Я домой напишу

большой батыр Ахмет Рахманов, Изыл Батыр! — стремительно и жарко выпалил Халилов. Смуглое лицо, черные с синевой глаза сияли.

— Какой там батыр! — Рахманов вспыхнул от гордой радости, вдруг смутился и сказал: — Ты молодец: по-русски совсем хорошо говоришь!

— Ты же научил! Батыр, друг!

Халилов был очень похож на брата Исраила, и в сердце Рахманова сильно толкнула боль. Брат погиб. А вот Халилов — вылитый Исраил. И тот, видно, также вот улыбался и радовался в бою…

Рахманов, закусив губу, вытер совсем мокрое от пота лицо рукавом и спросил:

— Сколько патронов осталось?

— Четыре, товарищ сержант.

— Только? Ну-ка беги за патронами! По кустам быстрее пробеги. Пригибайся!

— Есть! — Халилов проворно скрылся в кукурузе.

— Хороший вышел боец! — одобрительно сказал Рахманов. — И по-русски говорит хорошо. Верно! Я его научил!

Чувство удовлетворения опахнуло его своим теплом. Он сам пришел в армию, совсем не умея говорить по-русски. Его научил секретарь парторганизации за три месяца. Теперь он сам уже

полтора месяца учит русскому языку восемь своих земляков-узбеков. Черные брови его нахмурились:

«Надо в тылу бойцов пополнения обучать русскому языку. Трудно воевать без русского языка. Конечно, лучше всего с детства, в школе выучиться говорить и писать по-русски. Жили, строили до войны везде вместе, а русский народ — старший. Теперь воюем вместе!»

Внезапный порыв ветра обдал его тяжелым жаром. Недалеко пылали танки, гудело пламя. Внутри трещали, разрываясь, патроны. Гулко лопнул снаряд; корпус танка вздрогнул, качнулся.

Хорошо, что он высмотрел эту балочку. Он отыскал ее на рассвете, когда батальон, сбив ночью врага, занял высокий гребень — отрог хребта. Сам командир батальона одобрил и послал его сюда. Рахманова словно подняла крылатая радость.

В полукилометре левее лежала плоская и широкая вершина хребта. По ней тянулось извилистое гулкое шоссе. От хребта в обе стороны спадали отроги, разделенные балками и долинами.

Линия фронта пролегала поперек хребта, скатывалась по отрогам к степной равнине. С гребня, который занял батальон, отлично просматрива-

лись и вершина хребта, и балка, и пологая высота за глубокой долиной. Там был густой лес в багряно-золотом убранстве осени.

Немцы на рассвете открыли по хребту сильный артиллерийский и минометный огонь. Гребень, захваченный батальоном, господствовал, и немцы хотели его вернуть.

Рахманов понимал, что не по вершине же хребта бросится враг в контратаку. Лучше было действовать в обход по этим вот балочкам.

Он зорко следил за округой, за всем. По всей вершине хребта и на гребне с грохотом рвались мины, тяжелые снаряды, из-за поворота слышался гул моторов. Танки готовились к новому рывку…

Куда же пропал Халилов? Ему там с товарищами хорошо, а он, Рахманов, остался один. Один! Четыре патрона! За поворотом гудят моторы. Скорее бы шли танки, что ли! Страшнее всего вот так ждать.

С высоты донеслось перемежающееся, злое, со свистом гудение «мессершмиттов». Рахманов поднял голову. Голубое сияние на миг ослепило его. Он глубоко вздохнул. Когда успело подняться солнце? Лес за долиной полыхал червонным багрянцем. Над лесом плыло упругое облачко.

Оно было изумительно белым. Сердце Рахманова сжалось по внезапной и острой тоске. На хребте, на гребнях гремели разрывы. В долине, за поворотом гудели моторы танков. А он сейчас видел родной кишлак у Шахризяба: аллеи тутовых деревьев вдоль говорливых арыков, кипенье спелых, полопавшихся коробочек пышного египетского хлопка — белоснежных, как вот это упругое облачко над лесом. Вот он, Ахмет Тахтамышевич Рахманов, двадцать одного года, возвратился домой из Шахризяба — под Старой Бухарой — с дипломом агронома. Сердце его переполнено радостью, гордостью. Родной дом. Высокие дувалы охраняют милый и чистый дворик. Вся семья в сборе. Визжит от радости сестренка. Мать украдкой смахивает счастливые слезы. Темно-бронзовое лицо отца сияет. Он сам привез сына из Шахризяба на колхозном грузовике. У реки, пока шофер доливал воды в кипевший радиатор, отец отвел его в сторонку. Сыну никогда не забыть торжественного и очень серьезного, почти грозного лица отца.

— Сын мой! Ахмет! В нашем роду ты первый агроном! Тебе далось это легко. Поехал, выучился, стал агрономом. Это не свалилось с неба, Ахмет! — голос отца неожиданно дрогнул: — Береги

Советскую власть, Ахмет.

Рахманов громко шмыгнул носом, прогоняя внезапную слезу. В эту осень умер от простуды старый Тахтамыш, отец. И оба брата погибли на фронте. Как же там живут мать и маленькая сестренка? И в их дом ворвались горе и беда.

Сейчас перед ним горькой чередой промчались асфальтированные дороги, бесконечные обозы, разбитые повозки, жаркий солнечный день, вой немецких самолетов, взрывы, трупы — такие маленькие на сухой, выжженной земле… Там, под Тарнополем, Рахманов был ранен в плечо. Он быстро поправился, вернулся на передовые позиции. Осень была солнечная, теплая. Украинские дороги были забиты войсками, населением. Опять было отступление, бомбежки, грохот и смрад взрывов, трупы. Зловещими тучами, клубясь, вздымалась пыль. На окраине села, у белой хатки, осколками немецкого снаряда разорвало старуху и белокурую девочку с синей лентой в косичке.

Рахманов, худой, обугленный от жары и ненависти, первым бежал в контратаке на немцев. Он снова был ранен пулей из немецкого автомата. Это было под Полтавой.

…Над кромкой земли у поворота вдруг возник-

ла башня с тупорылой пушкой.

— Опять идет! Опять! — уронили сухие губы Рахманова.

Эта новая угроза врага ему и всем его товарищам и все, что только что видел он памятью и пережил всем своим существом, — все это сошлось в душе его и вспыхнуло неукротимой, неистребимой ненавистью.

Рахманов мгновенно выстрелил в башню раз и другой. Танк остановился, весь выйдя на дорожку. На темно-серой броне вздрагивали косые огоньки — бил пулемет.

— Плохо попал! — со злобным отчаянием выкрикнул Рахманов, досылая предпоследний патрон.

Знобкие мурашки сыпанули по спине. Из-за поворота вышли и встали в линию с первым еще два танка. Над балочкой стремительно и визгливо поплыли зеленые и красные трассы пуль. Заклокотал глухой и злобный треск пулемета. Рахманов оглянулся. Халилова все не было. Все три танка вели огонь с места. Он выстрелил опять в первый танк. В лицо его больно ударила целая горсть земли. Вражеская очередь легла под ним, в самый край воронки.

Рахманов выскользнул из воронки и пополз, с

усилием выбрасывая впереди себя ружье. Каким оно стало тяжелым и огромным, это ружье! У самого лба, обжигая кожу, просвистели пули. Он полз, задыхаясь, тяжело дыша. Тут и там вспыхивали с треском сухие кукурузные бодылья. Чуть приподнимая голову, он видел струйки огня на стеблях, синие пряди дыма. И все полз и полз подальше от дорожки, в чащобу кукурузы. Сзади взревели моторы, заскрежетало железо. Длинная, жаркая очередь срезала стебли перед ним, с силой простучала в землю. Рахманов ткнулся лицом и сразу представил себе надвигающуюся прямо на него громаду танка. Сейчас гусеницы раздавят его.

— Но и я влеплю! Последним патроном влеплю!

Он рывком встал на колени, крутнулся, перекидывая ружье. Танки, уже миновав его, поднимались балочкой в гору.

— Они во фланг батальону зайдут! — выдохнул Рахманов в тревоге. Он выстрелил с руки, едва прицелившись. Вскочил, побежал с ружьем по кукурузе, потом по терновнику. Полы его шинели клочьями повисали на колючих кустах.

По самому гребню, где шли окопы батальона, кипели разрывы, стлался дым.

«Только бы успеть добежать до своих. Вот и терны кончаются. Только бы добежать до своего окопа. Вот он!»

Навстречу такой радостью блестели глаза товарищей, что его словно обожгло крылатое горячее счастье. Он спрыгнул в окоп, на руки товарищей, бережно принявших его.

— Вот и я! Жив, здоров! Патроны давайте! Заряди ружье! Где Халилов? — прокричал он весело, в изнеможении прислонившись к вздрагивающей от недалеких разрывов стенке окопа. — Воды дайте! Воды! — запрокинув голову, он жадно стал пить из фляжки, поданной бойцом. Оторвался с трудом: — Где же Халилов? — И только было прильнул к горлышку, как услышал:

— Ранен товарищ Халилов.

Вода сверкающей струйкой ударила в грудь, разлетелась серебряными брызгами.

— Он прибежал от вас, товарищ сержант, забрал патронташи, а тут два осколка в грудь.

— Отправили его в тыл, товарищ сержант!

— А патронташи здесь остались! Вот они!

Ноги Рахманова вдруг задрожали, он медленно опустился на дно окопа.

— Впереди танки! — тревожно и резко крикнул бронебойщик рядом.

Словно пружина подняла Рахманова.

— ПТР к бою! — скомандовал он и бросился к своему ружью.

Из-под горы в полтысячи метрах вырастали четыре танковых башни. Из стволов их пушек хлестало пламя. Над головой в сияющей синеве неба с воем и клекотом неслись снаряды, мины.

— Это уже наша бьет! Наша бьет! — азартно прокричал Рахманов.

Из соседнего окопа уже стрелял бронебойщик. Рахманов на ощупь проверил рядом с собой в бойнице патронташи. Он долго прицеливался: то вздрагивала сошка, он осаживал ее, то дымом застилало глаза.

Он положил пулю — знал это! — точно в башню. И тут вокруг него грохнули разрывы. Черной стеной встала земля. Комья ударили его в лицо, в грудь, в голову. Потом сквозь пыль и зловонную гарь не вдруг стала видна воронка. Рахманов приподнялся. Соседнего окопа не было совсем. Не было ни бронебойщика, ни ружья. Зияла одна зловещая воронка. Только что были в окопе товарищи, боевые, испытанные друзья. Воронка была огромная. На скате отливал синевой зубчатый осколок. Воронка была пуста. Спокойное бешенство обняло Рахманова. Шумела, кружи-

лась голова. Подламывались ноги. Он упирался локтями. И стрелял в башню, прицеливаясь мгновенно. Танк остановился, стреляя с места, подбитый. Рахманов стал стрелять по другому. Он не замечал ни пуль, ни близких разрывов. Второй танк загорелся — его сразу заслонило бушующим костром огня. Немцы-танкисты выскочили из люков и пропали в терновнике.

— Что же там смотрят? Выпустили! — с рыданием вырвалось у Рахманова.

Рахманов перенес свой огонь на третий танк. Но тот вместе с четвертым уходил за скат. Он выстрелил по скрывавшейся башне. Рука его пробежала по патронташу. Он был пуст. Рахманов яростно швырнул в окоп ружье. Уткнулся черным лицом в землю. Порывисто поднялся:

— А где же два танка?

На вершине далекого бугра резко виднелись два немецких танка. Но они уже прошли окопы и вели огонь по второму эшелону.

— Обходят. А у меня ни одного патрона нет! — яростно, словно ругательство, выкрикнул Рахманов.

Шатаясь, он встал. С усилием поднял на плечо ружье и пошел в гору на командный пункт батальона. Он шел не скоро, не сгибаясь, пока грохот

боя не прорезал голос комбата.

— Сержант Рахманов, бегом!

Рахманов быстро зигзагами добежал до хода сообщения. И по нему, сгибаясь, проворно добрался до командира.

— Молодец! Объявляю благодарность! — командир расцепил высохшие губы и широко улыбнулся.

— Служу Советскому Союзу!

— Досталось сегодня?

Рахманов ответил горячо, слова шли из самой глубины его души:

— Очень интересно было. Я сам желал такого боя!

— Ну, бой еще не кончился! — усмехнулся командир, и лицо его стало суровым. — Мне еще с полчаса надо.

— Два танка слева, товарищ комбат! — торопливо доложил боец-наблюдатель.

— Слыхал, сержант? — командир батальона поднялся над бруствером, поднял к глазам бинокль и опустил его враз.

— Сержант Рахманов! Выдвигайтесь на угол кустов, в окоп станкового пулемета. Остановите их! Мне нужно еще полчаса!

— Есть, товарищ комбат! А…

— Адъютант, возьмите патроны в моем расчете!

— Есть!

Через мгновенье Рахманов с ружьем и полным патронташем бежал по траншее. Потом он пробежал кустами и спрыгнул в одной траншее на опушке.

На площадке, отрытой очень старательно, стоял безмолвный станковый пулемет. Пулеметчиков не было. На земле валялись ленты, россыпи стреляных гильз. Два немецких танка были уже не дальше трехсот метров, когда Рахманов изготовился к стрельбе. Хорошо, что наблюдатель заметил их вдалеке. Да какое уж там вдалеке! По брустверу рядом брызнула, выбросив фонтанчиком землю, длинная очередь. Рахманов выстрелил. Вторая очередь прошла над головой.

«Сейчас расстреляют меня», — мелькнула у Рахманова мысль.

Он снова выстрелил. В калиновый куст позади окопа с резким воем шлепнул и не разорвался снаряд.

— Бронебойным бьет! Неужели в меня? — Рахманов увидел танк в огне, убегающих от него немцев. И выстрелил в третий раз. Но тут же обругал себя. Другой танк на всей скорости уходил

за гребень, стреляя бронебойными снарядами. Они резко выли. Оглянувшись, Рахманов увидел наши тяжелые танки. Грозно и неотвратимо шли они в атаку. Это их удара по врагу дожидался командир батальона. Рахманов счастливо улыбнулся, оглядываясь вокруг. Над высотой и лесом все еще маячило упругое белое облачко. Утро разгоралось.

Константин Александрович Федин

Мальчик из Семлева

Шел литературный вечер в Доме Красной Армии, в Москве. Из-за стола я вглядывался в ряды слушателей, затихших в торжественном и старомодном зале. Ряды уходили далеко, и лица, ясно различаемые на передних стульях, где-то на середине зала утрачивали подробности черт, а в конце сплывались в нераздельные легкие полосы, желтоватые от электричества и слегка туманные. Но повсюду общее выражение лиц объединяло их в однородную массу людей сосредоточенных, серьезных и уравновешенных тем спокойствием, какое приобретается после пройденных и выдержанных испытаний. Аудитория состояла из командиров, прибывших с фронта, и неподвижный огонь взглядов, казалось, отсвечивал опытом сражений, а сжатые рты как будто старались не выдать горечи, которой наполнен народ на войне.

Вдруг где-то во втором ряду среди суровых и взрослых людей я увидел детское лицо, выделявшееся нежностью красок и блеском чистых широких глаз.

Это был мальчик, одетый в военную форму,

с худенькой шейкой, вытянувшейся из слишком просторного воротника с сержантскими петличками. Он был совсем невелик ростом и тянулся, чтобы лучше все видеть, и каждая черточка выражала трепетное любопытство, и все происходившее с публикой происходило с ним настолько в увеличенном размере, что если, посмеявшись, зал становился опять серьезным, то его тонкий рот долго еще сверкал застывшей улыбкой детского удовольствия.

— Смотри, — сказал я своему другу, сидевшему за столом рядом со мной, — смотри во второй ряд, какой там воин.

И мы начали пристально глядеть на мальчика, дивясь его присутствию здесь, его мирному облику в воинском одеянии, всей его маленькой, необычайно жизненной фигурке.

Минут десять спустя мне передали из рядов аккуратно сложенную записочку:

> «Мальчик, на которого вы указали, участвовал во многих делах партизанских отрядов и регулярных частей, дважды представлен к правительственной награде, привел десять „языков“».

Мы перечитали несколько раз эти строки,

поворачивая в пальцах записку и так и этак, с сомнением косясь друг на друга.

— Надо с ним поговорить, — сказал я.

И как только кончился вечер, мы попросили разыскать в публике мальчика и привести к нам.

В смежной с залом комнате мы прождали недолго. Вскоре раздался громкий, отчетливый стук, и очень увесистая дверь неожиданно легко отворилась. Вошел плечистый, высокий, большерукий лейтенант и, громко сдвинув ноги, распрямляясь и делаясь еще выше, спросил:

— Разрешите ввести?

В первый момент мы не совсем поняли, кого собирались ввести. Но лейтенант обращался к нам, а мы не имели никаких оснований что-нибудь не разрешать, и мы сказали:

— Пожалуйста!

Уходя, лейтенант оставил дверь приоткрытой, и на смену ему в ее узкой щели тотчас появился мальчик в военной форме.

Так же, как лейтенант, он щелкнул каблуками громоздких сапог, вытянулся и взглянул нам по очереди в глаза.

Любопытство подавляло всякое иное выражение на его тонком заостренном к подбородку

лице. Мы представились ему достойными самого внимательного изучения, и он был похож на охотника, впервые ожидающего появления из-за кустов редчайшей дичины. Я думал — он непременно первый задаст нам вопрос: губы его вздрагивали, собираясь выпустить готовые слова. Но дисциплина поборола любопытство, и он стойко ждал, когда его спросят.

— Давно ли в армии? — спросил мой товарищ.

— Вот как сошел снег.

— А зимой?

— Был у партизан.

— В каких же местах?

Помолчав, он обернулся на высокого лейтенанта, и хотя у того был вполне доверительный и даже добродушный вид, ответил очень серьезно:

— Места лесные.

Мы засмеялись, и я сказал:

— Смоленские, что ли, леса-то?

Он опять посмотрел на лейтенанта и тоже засмеялся, опустив голову.

— Смоленские.

В смехе его было еще столько ребячьей прелести, что я почувствовал свежее, наивное волнение, какое испытываешь, войдя в детский сад.

— Сколько же тебе лет?

— Четырнадцать, пятнадцатый.

— Ого, а с виду ты года на два моложе.

Он пропустил это обидное замечание без всякого интереса, как будто решив терпеливо дожидаться более занятного разговора.

— А откуда ты родом?

— Из Семлева.

— Вон что! Знаю, знаю Семлево — по обе стороны железной дороги станция и село и совсем рядом — леса.

— Лес — так вот, подать рукой, — быстро подхватил он и весь раскрылся в своей сияющей детской улыбке, замигал часто-часто и вздернул острым носиком.

Тогда с яркостью, почти осязаемой, я увидел этого мальчика среди его родных лесов, каким он был там год или два назад, мог быть там в ту или другую минуту, на веселых тенистых холмах Смоленщины. Я увидел его, беловолосого, без шапки, с прозрачными, как осенний ручей, остановившимися на тихой думе глазами, с голубой жилкой на виске и с голубой тенью над прикрытой верхней губой. Стоит он неподвижно, чуть-чуть наклонив голову, точно прислушиваясь одним ухом, как закачался тяжелый лапник ели под перепрыгнувшей золотисто-луковичной

белкой, которая сорвала прошлогоднюю еловую шишку, пошелушила ее и сердито бросила, пустую, наземь. Стоит он, слушая свист лимонной иволги, спрятавшейся высоко на осиновой макушке и словно передразнивающей журчание струи, которая выбилась из болотца внизу, под холмом. Стоит он рядом с тонной беленькой березой, ниточкой тянущейся к высокой тихой синеве, и сам он тянется своею замершей думой высоко вверх, в молчании соединившись с вечной жизнью родной природы. В прошлом этот мальчик был бы, может быть, нестеровским отроком; в будущем он станет, может быть, поэтом, русским поэтом, какого дает нам смоленская земля иное счастливое десятилетие.

Мальчик стоял сейчас передо мной с отражением внезапного воспоминания на лице о родной своей земле, о Родине, которой наделяется человек раз в жизни отцом и матерью и которую он несет потом в сердце через всю жизнь, как отца и мать.

— Где же твой отец? — спросил я.

— В Красной Армии.

— А мать?

— Мать? Не знаю. Говорили, ушла в лес.

— А что про тебя рассказывают, будто ты от

немцев «языков» приводил?

— Приводил.

— Это когда партизаном был или в армии?

— И у партизан и в армии.

— Сколько же всего привел?

— В общем десять.

— Десять немцев? Ишь ты какой! Что же, по-одиночке доставлял или как?

Мальчик опять с улыбкой обернулся на лейтенанта, но теперь улыбка его была рассеянной: видно, его расспрашивали об этих случаях уже не в первый раз.

— Когда как, — ответил он в растяжечку, — то по одному, а то по двое.

— Как, и двоих приводил? Ну, расскажи, как это было.

Он принял наше изумление за неспособность взрослых понять самые простые вещи, которые для детей обыкновенны, и сказал, оживившись, искренно желая нам помочь:

— Да фашисты в разведку чаще пьяные ходят.

— Пьяные?

— Выпьют для храбрости и пошли. Я один раз притаился в ельнике, лежу. А они по дороге идут из разведки.

— Сколько же их?

— Двое. Я вижу, пьяные.

— Что же, они качаются?

— Ну да, они на лыжах, ноги катятся, они падают, хохочут, — деревня, где они стояли, уже близко. Я пропустил их, а потом из ельника как крикну! И выстрелил. Они — раз! — кувырком. И подняться не могут, лыжи разъехались. Я их и взял.

— Да как же взял? Ты один, а их двое.

— Подбежал, стрельнул одному в руку, а другого по башке револьвером — стук! — и разоружил. Связал им руки назад, а потом наша разведка подоспела. И повели…

Он подождал немного и добавил:

— Еще раз я тоже взял двоих, а один не захотел идти. Уперся — никак.

— Ну, и что же?

— Ничего. Пристрелил его, а другой пошел.

Развеселившееся лицо его говорило: видите, все очень просто, а вы изумляетесь! И выходило, действительно, так просто, что уж нечего было больше расспрашивать, и мы молча смотрели на мальчика.

Тогда с заново вспыхнувшим любопытством он быстро спросил:

— Вот вы сегодня читали рассказ: что это прав-

да, или вы это придумываете?

— Зачем придумывать? — ответил я. — Правда интереснее всякой придумки.

— Да-а, как бы не так! — протянул он с полным недоверием.

— Разрешите, — сказал высокий лейтенант, делая вежливый полушаг вперед, — нам пора.

— Вы что же, приставлены к нему? — спросил мой друг, кивнув на мальчика.

— По вечерам, — сказал лейтенант. — Он ведь в Москве первый раз, мало ли, заблудиться может, и движенье порядочное…

Они оба — большой и маленький — сделали шумный поворот по-военному и вышли.

Александр Александрович Фадеев

Встреча

Из ленинградского дневника

Утром меня разбудил поэт Николай Тихонов:

— Пришла девушка, называет себя твоей племянницей. У тебя есть здесь племянница?

Я быстро оделся и вошел в комнату к Тихоновым. Меня, действительно, ждала племянница, дочь моей двоюродной сестры, которую я никак не предполагал встретить в Ленинграде. Ее муж, штурман дальнего плавания, давно уже плавал в дальневосточных водах. Девушка была очень худа и бледна, очень просто одета, и, видно, ей стоило большого самообладания не показать, что она очень смущена.

— Как вы нашли меня?

— Мы услышали твое выступление по радио, и в Союзе писателей я узнала твой адрес.

В одно мгновение я представил себе, как тяжела могла быть жизнь в блокированном Ленинграде одинокой, неслужащей женщины с дочерью, ученицей школы. У меня еще оставались кое-какие продукты, я быстро собрал все, что мог, и мы отправились на квартиру к сестре.

Двоюродная сестра моя является последней представительницей семьи Сибирцевых, известных дальневосточных революционеров. Ее старший брат Всеволод был вместе с крупнейшим военным и политическим деятелем Дальнего Востока, вождем дальневосточных партизан Сергеем Лазо, сожжен японской военщиной в паровозной топке в 1920 году. Другой ее брат, Игорь, погиб в бою с японскими войсками в декабре 1922 года, погиб смертью героя: будучи ранен в бою в обе ноги, преследуемый кавалерией, он застрелился, не желая сдаваться в плен.

Двоюродная сестра моя не была революционеркой, как ее братья; она была обыкновенным, рядовым советским служащим: служила на телеграфе, работала корректором в газете, работала в качестве счетовода, а в последние годы перед войной была домашней хозяйкой — воспитывала дочь и несла обычную рядовую общественную работу.

Именно потому, что жизнь моей сестры и ее дочери типична для жизни любого рядового ленинградца, я позволю себе рассказать здесь, как прожили моя сестра и племянница зиму 1941/42 года в Ленинграде.

Поскольку ни сестра, ни ее дочь нигде не слу-

жили, они получали каждая обычный хлебный и продовольственный паек иждивенца, то есть самый минимальный паек в Ленинграде. В самые тяжелые времена они получали по 125 граммов хлеба. Когда я встретился с ними, они получали уже по 300 граммов хлеба (в это время служащие получали уже 400 граммов, а рабочие — 500 граммов хлеба). Для того чтобы вскипятить чай и сварить свою скудную пищу и немного обогреться, они вынуждены были из этого скудного хлебного пайка экономить некоторое количество для того, чтобы на хлеб выменять немного дров.

Человек, привыкший к обычным нормальным условиям жизни, может не поверить мне, что при этих условиях и сестра моя и ее дочь остались живы. Да, они остались живы, как сотый и сотни тысяч ленинградцев, находившихся в одинаковом с ними положении.

Они остались живы прежде всего и главным образом потому, что это были уже не обычные рядовые люди в обычных нормальных условиях жизни. Сестра моя жила в новом громадном ленинградском доме, население которого равно было населению иного города районного значения. С войной значительная часть этого населения была эвакуирована. Но все же это был

громадный дом, или «объект», как стали называть во время войны все здания, могущие быть подверженными бомбардировке, артиллерийскому обстрелу или пожару. Сестра моя всю зиму была начальником этого объекта, то есть начальником противовоздушной и противопожарной обороны всего этого здания. Иными словами, сестра моя была уже одним из сотен тысяч сознательных защитников родного города, человеком исключительной моральной стойкости, самодисциплины, человеком, знающим, что виновником ее тяжелого положения является бешеный враг, стоящий у ворот города, полным ненависти к этому врагу и неукротимого желания жить, работать и бороться наперекор и назло этому врагу.

Я свидетельствую, что дом, в котором жила моя сестра, когда я попал в него, находился в абсолютном порядке. Конечно, в нем, как и в большинстве ленинградских домов, не было электрического света, не действовала канализация и воду нужно было брать в ведра из кранов во дворе. Но дом и двор содержались в абсолютной чистоте. Сестра с гордостью показала мне газету, в которой был ее портрет, портрет домашней хозяйки, объект которой вышел на первое место в районе. Вокруг дома, по удобству местности, были густо распо-

ложены зенитки. Сестра знала их количество, знала в лицо большинство зенитчиков, как и они знали ее, они были уже товарищами в общем деле обороны города.

И выжили они, моя сестра и дочь ее, еще потому, что при всех мучениях голода они жили по строгому режиму питания. Как бы мал ни был паек, он делился на три части, и надо было приучить себя к тому, чтобы съесть утром, в обед и вечером не больше того, что положено.

Должен сказать, что при всем том я застал свою сестру в очень тяжелом положении. Я знал ее красивой, физически развитой женщиной, в расцвете зрелых сил. Передо мной была почти старуха. В ее черных, гладко причесанных волосах сильно пробрызнула седина. Красивые руки ее огрубели, стали тяжелыми, узловатыми руками чернорабочего.

Первое, что она мне сказала, это то, что она по слабости сил вынуждена была сама сложить с себя несколько дней назад звание начальника объекта. Мысль эта была, очевидно, ей так горька, что слезы выступили ей на глаза, но она тотчас же убрала их платком, и лицо ее приняло то каменное выражение, которое я видел на лицах многих и многих ленинградцев.

Сестра моя, как и большинство ленинградцев, была определена через несколько дней в столовую усиленного питания, где она питалась в течение шести недель. К концу этого срока она стала заметно поправляться. Прежде всего ожили ее глаза, в них снова появился молодой блеск. Спала опухлость век, улучшился цвет лица, она начала чуть-чуть прибавлять в весе, и голова ее перестала кружиться. Я понял, что она вышла из беды и внешне станет такой же, какой была до войны. И только в душе се останется незабываемый след от того времени. Иных людей такие лишения ломают. Но сотни тысяч ленинградцев, подобных моей сестре, стали от этих лишений несгибаемыми, стальными людьми. Горе врагу, когда эти люди потребуют от него расплаты за все содеянное им!

Племянница моя, как и большинство молодых людей, особенно девушек, легче перенесла эту блокадную зиму. Когда я увидел ее, она уже поправлялась, хотя была еще бледна и худа.

Когда мы с племянницей вошли в квартиру, сестра моя с подругой, такой же истощенной женщиной, обедали. Учитывая, что к Первому мая продукты были выданы по повышенным нормам, этот обед можно было бы назвать по

ленинградским условиям роскошным. В нем участвовали даже пиво и водка, настоянная на старых апельсиновых корках. В числе блюд был знаменитый блокадный ленинградский студень, студень, вываренный из столярного клея. Как известно, столярный клей варится на костях. Это процесс обратимый. Надо выварить клей, пока не останется один костяной навар, вернее, бывший костяной навар, потом добавить к нему желатина, а потом остудить.

Во время нашего обеда в дверь постучались, и вошла подруга моей племянницы, девушка се возраста, в сопровождении военного моряка. Они стали звать мою племянницу в театр.

— В какой же театр? — спросил я подругу моей племянницы.

— В музыкальную комедию.

— Где она подвизается?

— В Александринке.

— А что идет сегодня?

— «Сильва».

— Уж не Кедров ли поет? — спросил я.

— А вы его знаете? — вспыхнув, спросила девушка.

— Конечно.

— Можно вас на минуточку? — совсем уже

покраснев, сказала девушка, отзывая меня в соседнюю комнату.

Мы вышли с ней в другую комнату.

— Вы никому не скажете то, что я хочу попросить у вас? Только вы не смейтесь!

— Безусловно не скажу.

— Если вы знаете Кедрова, попросите у него автограф для меня. Вы знаете, если бы у меня был его автограф, что бы там ни случилось со мной и со всеми нами, — потому что мы ни за что, ни за что не расстанемся с Ленинградом, — что бы там ни случилось, мне тогда не страшно и умереть.

Пусть эта девушка не сердится на меня за то, что я обнародовал ее тайну. Пусть она знает, что ее просьба не только украшает ее молодость, но утверждает неистребимые силы жизни в блокированном Ленинграде. Немцам, зарывшимся в землю под Ленинградом, еще предстоит сгнить в этой земле, а Ленинград жил, живет и будет жить во веки веков бессмертной жизнью.

Я ночевал у своей сестры и ранним утром был разбужен невероятным грохотом зениток. Их было так много, и стреляли они так близко, что казалось, будто они бьют прямо из-под кровати. Сестра моя стояла у раскрытого окна и смотрела на улицу.

— Мои зенитки! Это мои зенитки! — сказала она, обернувшись ко мне с прекрасной улыбкой, сразу преобразившей ее изможденное лицо.

То, что она несколько дней назад передала руководство над объектом, было мгновенно забыто ею. Она была в платке, в теплом жакете, с противогазом через плечо. Какая-то сила преобразила ее, звуки стрельбы действовали на нее, как звуки трубы на боевого коня.

— Давай полезем на крышу, — сказала она мне.

Пользуясь тем, что у меня был уже пропуск на хождение во время воздушной тревоги, я пошел домой.

Несмотря на расклеенный по всему городу приказ, грозящий самыми свирепыми карами гражданам, нарушающим правила поведения во время воздушной тревоги, все ленинградские граждане спокойно по всем направлениям шли на работу.

У Троицкого моста через Неву милиционер стал все же усовещивать одну юную гражданку и убеждать ее идти в убежище, грозясь не пустить ее через мост.

— В убежище! Вот еще новость взяли! — с удивлением говорила юная гражданка.

Милиционер попробовал было удержать ее под руку.

— Отчепитесь! — сказала она, ловко хлопнув его по руке. — Вот еще новости взяли! — сказала она с еще большим удивлением и бодро застучала каблучками по мосту.

Милиционер был, несомненно, прав, а юная гражданка не права. И все же не было никаких сил сердиться на эту неисправимую ленинградку. Как видно, этих сил не было и у милиционера. В СССР нет другого такого города, где бы милиция и частные граждане так понимали друг друга, как в Ленинграде.

Боец

Мы возвращались на командный пункт части из селения, только что с боем занятого нашими войсками. В деревне, вернее, бывшей деревне, так как от нее осталась только одна обгорелая банька, мы нагнали группу раненых. Бойцы расположенного здесь подразделения, находящегося в резерве, расспрашивали раненых о ходе боя.

— Вы что здесь толпитесь? — спросил, вылезая из машины, мой спутник Белов, заместитель командира части.

— Санчасть ищут, да они ее прошли, она вон куда, влево… — пояснил сержант подразделения, находящегося в резерве.

Среди раненых бойцов были раненные тяжело, в голову, в ноги, так что они едва передвигались, и были раненные легко.

— Ты куда ранен? — спросил Белов, опытным взглядом выловив среди раненых наиболее здорового вида бойца, молча стоявшего позади своих товарищей.

На красном лице бойца мгновенно появилась гримаса боли.

— В спину ранен… Ай-я-яй! — сказал он жалоб-

ным голосом.

И только он так сказал, бойцы резервного подразделения и тяжело раненные кто презрительно, кто насмешливо посмотрели на него. А на лицах легко раненных появилось виноватое выражение.

Возле стоял боец с забинтованной головой, — одни сверкающие глаза да черные запекшиеся губы видны были на его лице, — обе руки его были тоже в бинтах. Нельзя было не удивляться силе воли этого человека, который с таким тяжелым ранением не просил машины или подводы, а передвигался сам. Он угрюмо посмотрел на бойца, пожаловавшегося Белову, и отвернулся.

— Отвези-ка его и еще кому там трудно идти, — сказал Белов шоферу.

Пока шофер усаживал тяжело раненных в машину, боец с оцарапанной осколком спиной перестал хныкать и робко, вопросительно смотрел на Белова.

— Чего же ты смотришь? Иди, лечись. Коли ранен, лечись, — насмешливо сказал Белов и, оглядев бойцов, подмигнул им.

Бойцы засмеялись. И снова на лицах других легко раненных появилось виноватое выражение.

— Увидишь, эти обратно в свою часть вернут-

ся, — посасывая в полутьме трубочку, смеясь, говорил Белов, когда мы пешком тронулись к командному пункту, — вернутся, не то товарищи засмеют.

Я не сомневался, что это так и будет. Не было и нет на свете армии, где бы мужество бойца в преодолении физических и душевных страданий, где бы презрение к ранению и скрытая гордость за кровь свою, пролитую в бою, были бы так широко распространены, как в Красной Армии.

Это только одно из проявлений той нравственной силы, которую социалистический строй воспитал в самых обыкновенных людях. Она, эта нравственная сила, подымает наших людей до таких вершин человеческого духа, когда сама смерть в бою за справедливое дело уже не страшна им.

В той же части, из которой ушел боец с оцарапанной осколком спиной, был красноармеец Падерин, посмертно получивший звание Героя Советского Союза. В 1941 году, в боях за Калинин, у вражеского дзота, не давшего продвинуться вперед и много унесшего жизней наших людей, Падерин был тяжело ранен и в порыве великого нравственного подъема закрыл амбразуру дзота своим телом.

Велика сила отваги и готовности к самопожертвованию. Но и она сама по себе еще не делает настоящего бойца, если он не учится владеть своим оружием и не накапливает навыков поведения бойца в современном бою.

Часть, которой командует тов. Кроник, действует в местности, которую враг превратил в так называемую «зону пустыни». Десятки деревень, обозначенных на карте, существуют только как названия, их нет на земле. Они сожжены, а жители их частью выселены глубже в тыл, частью угнаны в рабство в Германию. На территории, еще занятой немцами, сохранились, хотя и в сильно разрушенном виде, редкие населенные пункты, которые по своему расположению и устройству показались немцам удобными для расквартировки своих гарнизонов. Жителей таких селений под угрозой виселицы заставляют работать на постройке укреплений и по обслуживанию немецких гарнизонов. Сотни и тысячи людей буквально вымирают от голода,

Сложное чувство владеет советским человеком, одетым в красноармейскую шинель, перед сражением за освобождение такого населенного пункта Эн, освященного в памяти наших людей двумя с лишним десятилетиями свободной, трудовой,

счастливой жизни, которую сломал и загрязнил выродок — фашист. Чувство подъема от того, что мы освобождаем свое, кровное. Чувство жалости к жителям, к матерям и малым детишкам, попрятавшимся в холодные подвалы, мерзлые, мокрые щели. Чувство ожесточения против врага, который от сознания своих преступлений и предстоящей расплаты сопротивляется с удвоенной и утроенной силой.

Много и других невысказанных чувств, скрытых буднями войны под веселой улыбкой, под грубой шуткой, теснится в это время в сердце бойца Красной Армии.

И все дни перед штурмом идет невиданная работа сверху донизу, от высшего командования до рядового бойца, работа творческая и будничная, политическая и организационная, хозяйственная и педагогическая, и просто физическая. Перед самым штурмом, часа в четыре утра, командир части Кроник и его заместитель Белов обязательно выедут в подразделения — проверить их боевую готовность. А в это время бойцы, которым предстоит решить задачу, еще спят.

Часов в пять утра их разбудят дневальные Бойцы съедят по полкотелка мясного супа, засыпанного крупой, и по доброй порции пшенной

каши, которую они называют «блондинкой» в отличие от гречневой, которую, впрочем, называют не «брюнеткой», а «нашей строевой» или «кадровой». И под прикрытием тумана, ложбинами и кустарниками станут накапливаться на исходных для атаки рубежах.

Первый признак неопытного бойца в наступательном бою — он забывает о том, что винтовка дана ему затем, чтобы стрелять. Красноармейская винтовка, великое русское оружие! Какой грозной силой являешься ты в руках опытного воина! Широко известно имя снайпера Серафима Григорьевича Опарина, родом из республики Коми. Серафим Григорьевич бьет врага из винтовки с оптическим прицелом. Зимой 1942 года он сбил немецкий самолет. По последним, дошедшим до меня сведениям, он убил 432 гитлеровца, но, наверно, этот счет уже возрос.

Неопытный боец первое время все свои надежды возлагает на огонь автоматического оружия, огонь минометов и артиллерии. Он лежит, когда все лежат. Когда раздается команда «Вперед!», он передвигает свое тело вперед — бежит или ползет, как другие. Он честный боец. Он пойдет всюду, куда ему прикажут. Винтовка у него вычищена, он никогда не бросит ее, как не бросит

ничего из вверенного ему военного имущества. Он кричит «ура». Но он не использует как следует оружие, пока не приобретет опыт.

Умение обращаться с оружием, какое бы оно ни было, и любовь к своему оружию — первый признак настоящего бойца.

В бою за населенный пункт Эн станковый пулемет комсомольца Новикова поддерживал наступление стрелкового взвода. Немцы засекли пулемет. Осколками вражеской мины был выведен из строя весь расчет. Остался один Новиков. Сменив огневую позицию, он один продолжал вести огонь по врагу. Немцы вторично обнаружили пулемет Новикова и открыли по нему минометный огонь. Но верный военной присяге, Новиков продолжал бить по врагу. Вражеская мина разорвалась около пулемета, и Новикову оторвало пальцы на левой руке. Продолжать вести огонь он не мог. Тогда Новиков пополз и вытащил из-под обстрела свой пулемет. Комсомолец Новиков любит свое оружие, как боевого товарища.

Успех дела, в конечном счете, решает настоящий, опытный боец, изучивший навыки врага, умеющий его перехитрить, боец инициативный, могущий решать самостоятельные задачи и искусно взаимодействующий со своими товари-

щами. На таких бойцах зиждется мощь Красной Армии и ее великий наступательный дух.

Одним из таких бойцов был и красноармеец Ладно. Он понял, что замедление движения на его участке вызвано шквальным огнем трех немецких дзотов, искусно расположенных один возле другого, а обойти их с фланга мешает немецкая пулеметная точка. Ладно поставил целью прежде всего погасить эту вражескую точку огнем своего автомата. Он потратил немало времени, чтобы осуществить эту задачу, и осуществил ее. И тогда ему открылся путь к трем вражеским дзотам. Открылся путь! Конечно, вся эта местность была под огнем. Но одно дело, когда враг бьет прицельным огнем, и другое дело, когда он с дальних позиций бьет по местности на всякий случай. Искусно маскируясь, Ладно один подполз к дзотам и стал забрасывать их гранатами. Все три дзота были разрушены. Ладно убил свыше 20 врагов. Подразделение ворвалось в населенный пункт.

Отважный и опытный боец завтра уже сержант, младший командир, а подучившись, офицер Красной Армии.

В одной из частей было поручено взводу младшего лейтенанта Василия Позднякова блокировать дзот, обстреливающий подступы к деревне.

Во взводе находился боец Прудников, человек с боевым опытом, уже немолодой, коммунист.

Перебежками, группка за группкой, взвод лейтенанта Позднякова начал приближаться к вражескому дзоту. Как только достигли первого рубежа, Прудников опытным движением скользнул на бок, извлек из чехла лопатку и очень ловко и скоро заработал ею. Справа от него лежал боец Кезиков и не окапывался.

— Так, брат, ты скоро провоюешься, — спокойно сказал Прудников, продолжая окапываться.

Когда окопчик был готов, Прудников отер рукавом пот с бровей и черных своих усов, улыбнулся Кезикову и сказал:

— На войне больше поту, меньше крови.

Кезиков тут же начал зарываться — и вовремя: по ним открыли огонь. Прудников, тщательно прицеливаясь, методически вел огонь из винтовки, Кезиков во всем подражал ему.

Послышалась команда:

— Вперед!

Бойцы побежали к следующему рубежу. Неподалеку бежал красноармеец Визюков. Он то и дело поправлял съезжавшую на глаза каску, а потом, разозлившись, отбросил ее. Каска упала на землю. Прудников поднял ее.

— Лучше возьми, брат, пригодится, — сказал он Визюкову.

Огонь из вражеского дзота был так силен, что взвод не мог подняться. Лейтенант Поздняков приказал молодому бойцу Смородину подползти и забросать дзот гранатами. Смородин оробел.

— Страшно? — с улыбкой спросил Прудников. — Разрешите мне вместо него? — обратился он к командиру.

— Нет, я все сделаю, — сказал оправившийся Смородин.

— Тогда ползите вдвоем, крепче получится, — решил лейтенант.

Так у Прудникова появился первый боец Смородин, признавший его как своего командира. Они с честью выполнили свою задачу, и часть заняла деревню.

Боец Прудников — это будущий командир.

Такова роль опытного бойца в современном бою. Опытные командиры знают, что они только тогда сильны и могут выполнить любую задачу, когда они успевают воспитать таких бойцов, заботятся о них, берегут и вовремя выдвигают их из массы на командные должности.

Александр Серафимович Серафимович

Ребята

Курмаяров идет по большаку. Шаг в шаг поскрипывает снег. Сумерки тихонько садятся на придорожные кусты, на чернеющие деревья. Одна за одной зажигаются морозные звезды, робко моргая.

Большак круто перегибается в глубокий овраг, намост. Там тоже смутно белеют снега. Оттуда доносятся голоса, ребячий смех. Курмаяров подошел, присел на ствол срубленного дерева. Говор и смех стихли. Ребята стояли молча, искоса посматривая на него. Вокруг в беспорядке стояли пустые салазки. Ребятам — от одиннадцати до четырнадцати лет, мальчики и девочки.

После некоторой паузы один сказал:

— Думал, думал я и удумал: подстрелить фрица из пистолета нельзя — услышат, сбегутся, вот тебе и карачун, а…

— Да где ты пистолет возьмешь! — с азартом прокричал самый маленький, размахивая руками.

— Фу, да у дяди Вани скрыл бы! Да слыхать выстрел, и на морозе порохом воняет.

— Как же ты сделал?

— Я-то? Обманом взял. Сделал сагайдак, приготовил три стрелки, а в конец воткнул по гвоздю, конец востро заточил. Потом пошел искать место. В овраге у самого обрыва — старая верба, а в ней здоровое дупло, как ворота… Ну я…

— Знаем, знаем!.. — закричал маленький, оборачивая по очереди к товарищам разрумянившееся на морозе лицо.

— Знаем! Ну? — дружно откликнулись мальчишки и девочки.

Историю с сагайдаком они слышали раз двадцать, но каждый раз выслушивали, как новую.

— …а возле вербы тропочка — к колодезю, в овраг, фашисты за водой ходят. А вербу всю с дуплом, почитай, по самые сучья, здоровенным, с избу, сугробом завалило…

— Знаем, знаем! — опять радостно закричал маленький.

— Ты-то чего кричишь? Глухие, что ль?.. Ну, рассказывай!

— Ну, я гляжу: ежели полезу напрямик к вербе, разворочу сугроб, видать будет — кто-то лез. Зачнут стрелять по вербе. Я по тропочке прошел на другую сторону обрыва, да с обрыва и сиганул в овраг. А в овраге ветром намело снегу — лошадь утонет. А я по дну под снегом-то поперек оврага и

ползу до самой до вербы. В рот, в нос, за шиворот набилось снегу, за рубахой, аж дрожишь. Ну, руку просунешь в сугроб, дырку сделаешь в снегу и смотришь: тропочка-то, по которой ходят фашисты, вот она, под самым носом, а меня не видать, а снег-то сверху ровный, нетронутый, никто и не догадается. Просидел так часа два, глядь в дыру — фашист идет в маминой кацавейке да в соломенной обувке.

— Эрцац называется.

— …а на голове мамин платок…

— Ни мужик, ни баба!

Все захохотали.

— Ну?

— Ну, я тихонечко просунул конец сагайдака в дыру, навел ему в глаз да спустил тетиву…

Охнули все.

— Промахнулся?..

— Ды он, сатана, как раз повернул голову, высморкаться хотел, а стрела прямо ему в нос гвоздем. Он аж подскочил! Тронул нос, а на пальцах — кровь. Как заревет бугаем и пустился назад, ведро бросил, за нос держится.

Хотя и в двадцатый раз слышали все это ребята, но громко хохотали. Девчонки визжали в восторге.

— Прибежал фашист назад, а за ним пять фашистов с автоматами. Глянули, а на этой стороне — это где я из кустов сиганул в снег — весь снег взбудоражил кто-то, и начали стрелять из автоматов по кустам на краю оврага, и только я слышу: «Партизан!», «Партизан!» А у этого, в которого я стрелял, на носу пластырь наклеен.

Все опять радостно захохотали, захлопали в ладоши. Потом замолчали.

Стояла ночь, и звезды лучились, и снега неузнаваемо и слабо белели.

К Курмаярову подошел мальчик постарше и спросил юношески ломающимся голосом:

— Ты куда идешь, гражданин?

Ребята толпой обступили.

— А тебе что?

— А то, неизвестных надо ловить и доставлять.

— А тебя кто уполномочил?

— Документы у тебя есть?

— Есть.

— Покажи!

— Вот приду в деревню, кому следует — покажу.

— А ты в какую деревню идешь?

— В Овражную.

— Да это наша деревня!..

— Вот и хорошо.

— Ну, пойдем, гражданин.

Они взяли веревочки от салазок и пошли, тесно окружая Курмаярова, осторожно поглядывая на него, волоча за собой салазки.

«Вот странное положение, — радостно подумал Курмаяров, — ребятишки меня арестовали, никогда бы этого себе не представил», — и так же радостно прятал улыбку в усы.

— Вы что же, всех так арестовываете, кто идет по дороге?

— Зачем всех? — сказал старший. — По дороге ходят из нашей же деревни либо из соседских, и мы всех их знаем. А как незнакомый да чужой, да еще ночью, тут уж держи ухо востро.

Некоторое время лишь скрипели по снегу шаги и салазки повизгивали на раскатанных местах. Ребятишки все так же тесно шли кругом, поглядывая на Курмаярова.

— Ну, как же вы караулите? Чай, храпите ночью — ходи кто хочет!

— Ишь ты, на-кась выкуси! — протянул старший кукиш. — Караулы ставим. Ночью — возле нашей деревни, в овраге, на мосту, — его не обойдешь, а днем — в лесу, возле поляны.

— Почему такая разница ночью и днем?

— Как же? Ночью с парашютом не спустишься на поляну: не видать с самолета, одинаково черно и над лесом и над поляной. Сядешь в черноте и на сосну, а сосны у нас высоченные и снизу стоят без веток, по ним и не слезешь, убьешься. Вот они только днем…

Ребятишки возбужденно закричали всей толпой, размахивая руками:

— Они спустились, а мы их поймали.

— Да били дубинками, — звонким голосом закричал торопливо маленький, боясь, что его перебьют. — Одному голову разбили, а другому глаз.

— А он окривел! — закричали девочки.

— А они закопали в снег парашюты и автоматы, которые на шее были подвешены, чтоб не знали, что они спустились.

— Куда же вы их дели? — спросил Курмаяров.

Ребята опять дружно закричали:

— А мы их связали и в сельсовет представили. А у них пистолеты оказались и шашки для взрывов. Они бы нас застрелили.

— А они одеты по-нашенски и говорят по-русски.

Дети вдруг замолчали и шли, глядя в темноту. Поскрипывали шаги. Звезды слабо брезжили, и

оттого, что слабо, мрачно чернели остовы труб и разрушенных печей: домов не было. И почему-то особенно гнетуще было то, что и снег кругом мертво проступал, как уголь, и деревья чернели обугленно.

— Вот наша деревня, — тихо сказал самый маленький.

И Курмаяров спросил то, о чем не решался спросить раньше:

— Дом против школы уцелел?

Ребятишки дружно ответили:

— Это Марфы Петровны-то? Нет... и печей не осталось.

— Марфу Петровну повесили, а дочку ее в Германию угнали.

Курмаяров шагал, опустив голову. И ребята, глядя исподлобья, шли молча, будто среди могил чернеющего кругом кладбища.

Один из них показал на огонек:

— Вот наша школа.

На краю кладбищенского покоя сгоревших жилищ приветливо мигнул огонек. Курмаяров вздохнул.

— Пойдем туда, — сказал старший. — Ишь, поганцы, маскировку не соблюдают!

И помолчав, опять сказал:

— У нас на всю деревню один дом остался, в нем и школа, и сельсовет, остальное все сожгли. А этот, как наши бойцы ворвались, не дали.

— Как же вы живете? — спросил Курмаяров. — Холодно!

— Так строится народ, шибко строится — двенадцатый дом кончаем, — всем колхозом строим, коллективно, оттого и спорится. А из колхозов, которые за рекой, — их немцы не занимали, — трех коров пригнали и помогают строить... Ну, вот и пришли...

Девчата юрко взобрались по лестнице, а ребята строго оцепили вход внизу. Курмаяров подумал: «Молодцы, ребята, боятся, как бы их „гражданин“ не смылся за угол».

Вошли. Подслеповато курилась жестяная лампочка, а когда-то деревня освещалась электричеством. В холодном, застоявшемся воздухе плавал вонючий махорочный дым. Человек в ушанке, нагнув голову, с трудом писал на кухонном столе. Ребятишки привалились к столу, а двое остались у двери, притянув ее потуже.

— Ну, что? — сказал человек в ушанке, не поднимая головы.

Ребята гурьбой прокричали:

— Вот гражданина на мосту словили, по доро-

гам ночью блукает…

— Документы? — сказал человек, все так же не поднимая головы.

— Да то-то вот, не хочет показывать документов! — закричали ребята.

— Документы! — сказал тем же ровным голосом человек в ушанке, опять не поднимая головы.

В вонючем махорочном дыму — молчание. Ребятишки стояли плотно кругом, каждую минуту готовые схватить Курмаярова за руки. Человек в ушанке, наконец, поднял голову и… остолбенел. Запинаясь, сказал:

— Да… это… вы! А мы вас ждали на машине, все прислушивались, нам по телефону сказали со станции.

Ребятишки стояли с открытыми ртами. Человек в ушанке засуетился:

— Сейчас всех соберем, все ждут. Я вас сразу узнал по портретам в газете и в ваших сочинениях. А вы садитесь, пожалуйста.

Курмаяров сел и увидел, что у человека в ушанке одна нога, а вместо другой — деревяшка.

— Ребята, это наш земляк, известный писатель, которого мы ждали.

— Ой! — всплеснула руками девочка. — А я думала, известные писатели — молодые.

Ребята испуганно загалдели:

— А мы его арестовали! Смотрим, своими ногами идет ночью по дороге. А известные писатели разве ходят? Они ездят на машине! А мы хотели сзади потихоньку зайтить, повалить на салазки, прикрутить веревкой да привезть в сельсовет, а то, думаем, как начнет вместо документов палить в нас из пистолета!

— Вот еще растрепы-то! — сердито сказал в ушанке.

— Да ведь ночь, а на морде не написано, кто он такой, — конфузливо оправдывались ребята.

Курмаяров слегка улыбнулся.

— Известные писатели непременно должны на машине ездить. И я ехал со станции. А машина сломалась. Не хотелось мне ждать, я и пошел своими ногами. Родные места поглядеть захотел…

Ребятишки облегченно засмеялись и захлопали в ладоши.

— Ну, вот что, — сказал человек в ушанке, — гоните, всех собирайте, чтоб сейчас, минуты чтоб не упустили.

Ребят, как ветром, сдунуло.

— Ну, я в суматохе забыл вам представиться: я новый председатель сельсовета. У нас работают все раненые бойцы из нашей деревни. Председа-

тель колхоза — ему челюсть раздробило. Кушать может, а чтоб говорить, так на бумажке пишет.

Через двадцать минут большой школьный зал был до отказа забит колхозницами, школьниками и несколькими мужчинами: поправляющиеся раненые, старики, инвалиды, с азартом отдававшиеся работе.

Молоденькая комсомолка с милыми конопатинками открыла собрание:

— Товарищи, к нам приехал известный писатель, уроженец нашей деревни. Он приехал к нам…

— Пришел своими ногами, — дружно поправили ребята.

— Он еще мальчиком в царское время уехал из родной деревни учиться в Москву и с тех пор не был в родных местах, а теперь приехал… навестить родину…

— Пришел своими ногами… — опять упрямо зашумели ребятишки и девчата.

— Не хулиганить! — заревел председатель сельсовета.

— Слово нашему дорогому гостю, писателю Курмаярову.

Курмаяров оглядел всех потеплевшими глазами, собрал свою волю в кулак и обычным голосом

сказал:

— Читали вы, товарищи, Тургенева «Бежин луг»?

Все удивленно молчали, переглядываясь.

— Помните ребят в ночном, они стерегли лошадей, а Тургенев подошел, — на охоте был — подошел и слушал их. Чудесные ребята! Но разве их сравнить с теперешними? Те про антихриста рассказывали друг другу, а наши влились в громадную борьбу народов.

Ребятишки с загоревшимися глазами закричали:

— Да мы на все поля вывезли, на салазках навоз, золу, птичий помет, фекалии, устраивали снегозадержание. Урожай во какой будет!

Пожилая женщина подала голос:

— Да как им, ребятам, не быть нынешними! Замучили… звери. У ме… ня сы… сы-нок…

Она зарыдала.

Курмаяров опустил голову. У всех одно большое горе, — горя реченька бездонная! Глухо сказал:

— Спешил сюда… Матушку, сестренку обнять… — и чуть слышно добавил: — Обеих нет…

Из зала донесся голос:

— Матушку вашу Марфу Петровну замучили, а Нюшу увезли ироды…

И вдруг все вскочили, все ринулись, валя скамейки, к президиуму. И голоса всех слились в один потрясающий голос страстной, исступленной веры в победу.

— Будем работать, аж вытянем жилы! Будем работать, пока силы есть. Почитай, мы тут одни женщины и ребята — мужики на войну ушли, — но мы все сделаем!..

...Курмаяров ехал на починенной машине и в темноте разглядел то, чего не видел, когда шел сюда: двенадцать новых домов, и среди них один неоконченный сруб на почерневшем родном пепелище.

Леонид Сергеевич Соболев

Урок командира

Живой и общительный характер Решетникова быстро располагал к нему людей, и со стороны казалось, будто он всегда окружен друзьями. На самом деле все, с кем он до сих пор сходился — в училище, на крейсере и здесь, на катерах, — были ему только приятелями. Но ни перед кем из них не хотелось раскрыть то глубокое и значительное, что волновало самую душу и что приходилось поэтому обдумывать и переживать наедине с самим собой.

А то глубокое и значительное, что волновало Решетникова, очень трудно было выразить понятно.

Этого веселого, жизнерадостного, действительно молодого человека, как будто очень уверенного в себе, на самом деле беспокоило неясное, смутное чувство неудовлетворенности и непонимания чего-то самого главного в жизни. Чем дольше он жил (и чем быстрее, казалось ему, наступал конец его молодости), тем важнее было для него скорее увидеть в жизни главную, все подчиняющую цель, чтобы повернуть к ней, пока есть еще силы. Он все ждал какого-то переломно-

го момента, когда обязательно случится что-то, отчего вдруг все станет ясно и в темном сумраке будущего вспыхнет эта единственно важная цель. Она должна была определить собой все его поведение в жизни, отчего ему станет, наконец, понятно, «куда жить» (как сформулировал он сам для себя этот вопрос).

Однако, как только он стал командиром катера, он начал чувствовать, что в жизни он, вероятно, должен был делать что-то совсем другое. Море, корабли, залпы и походы, бои и штормы, дружный, мужественный коллектив флотских людей — все это было близко ему и дорого, и он знал, что если это у него будет отнято, он станет самым несчастным и неприткнутым человеком. Но в то же время он подозревал, что, случись с ним это несчастье, жизнь его не опустеет. Для него это было бы тяжело, но выносимо. А вот для других, кого он наблюдал вокруг себя, — для того же боцмана Хазова, например, или командира дивизиона Владыкина, — это означало бы потерю смысла жизни.

Короче говоря, Решетникова мучила та самая болезнь, которой заболевает всякий способный к размышлению молодой человек, вступающий в жизнь: сомнение, верно ли он нашел свой путь, и

неуверенность, что же такое для него то занятие, которому он себя посвящает, — только профессия или все же содержание жизни?

Война, которая для многих стала самоцелью и заслонила кровавым и дымным своим туманом все будущее, для него, наоборот, освещала это будущее ярким светом своих пожаров. Вообразить его сейчас было невозможно, и он видел впереди только нечто огромное, счастливое, ликующее и полное нетерпеливого ожиданья: жизнь! Она, скрытая еще от глаз войной и смертями, ожидала тех, кто переживет войну, и звала их к себе для радостного, самозабвенного и быстрого труда, который должен будет оживить истерзанную землю, восстановить разрушенные города, залечить израненные человеческие сердца. В этой гигантской созидательной работе какое место найдет себе он, кто научился только убивать и разрушать? Или опять он возьмется за то, чтобы охранять труд тех, кто будет строить возвращенную жизнь?

Обо всех этих смутных, но сложных и важных вопросах говорить можно было только с другом, то есть с тем, кому доверяешь свое самое тайное и дорогое, не боясь показаться ни смешным, ни глупым, и с кем говоришь не словами, а мыслями,

порой неоконченными, недодуманными, но все же понятными ему.

И случилось так, что именно на том катере, на котором Решетников учился быть командиром, он нашел человека, которого смог назвать в душе другом.

Это произошло не сразу. Наоборот, вначале отношения Решетникова и Хазова никак не походили на дружеские. Первую неделю командования катером Решетников видел в неразговорчивости боцмана и в постоянной его задумчивости молчаливый укор своим действиям, нежелание сближаться и терпеливое ожидание того счастливого для катера дня, когда на него придет, наконец, настоящий командир. Потом, когда из своей каюты он случайно услышал разговор боцмана с механиком Быковым и уловил его неохотную, как всегда, фразу: «Ну, и что ж, что суетится, дай ты человеку привыкнуть», — это ощущение сгладилось. Но самолюбие тотчас подсказало ему другую обидную мысль: выходило так, что катером командует не он, лейтенант Решетников, а боцман Хазов.

Катер стоял еще в ремонте после боя, в котором погиб прежний командир Парамонов, и нужно было думать о сотне мелочей: где находить недо-

стающие детали, воспользоваться ли ремонтом для смены правого вала или решиться ходить и дальше с трясучкой, как быть с компрессором, как вовремя кормить людей (катер стоял в углу бухты, вдали от общего камбуза). И все, что он как командир катера должен был сам предусмотреть и приказать, все было подсказано или уже сделано боцманом. Правда, вел он себя очень тактично и, щадя самолюбие Решетникова, советы и предложения спои облекал в форму вопросов, которые незаметно наталкивали командира на верное решение, но легче от этого не было: Решетников чувствовал себя на катере лишним.

Чувство это скоро стало унизительным и дополнительно вошло в ночные безнадёжные мысли Решетникова о том, что из него никогда не получится настоящего командира. Оно преследовало его все настойчивее и, наконец, воплотилось во сне кошмаром.

Лейтенанту приснился его первый поход на СК 0944 и первый бой. Боцман стоял рядом с ним на мостике и удивительным шепотом, который перекрывал и гул моторов и трескотню стрельбы, подсказывал ему: «Право на борт… все три мотора стоп… теперь одним левым, круче выворачивайтесь…» И бомбы, страшно свистя, действительно

шлепались поодаль от катера, и не успевал Решетников подумать, что пора скомандовать перенести огонь по второму пикирующему «юнкерсу», как боцман уже стоял у пулемета и сам, без приказания, строчил по нему, а голос его тем же шепотом (которого, видимо, никто, кроме Решетникова, не слышал) снова подсказывал: «Все три мотора полный вперед, руля право скомандуйте...» И Решетников чувствовал, что сделать иначе ничего нельзя. Но ему страшно хотелось сделать что-то по-своему, и он собрал в себе всю силу воли и рванул ручки телеграфа на «полный назад», но с ужасом увидел, что боцман улыбается, качая головой, и показывает на бомбу. Она не падала, а медленно спускалась с неба, как бы плыла, и Решетникову стало ясно, что она неотвратимо коснется кормы. Он понимал, что надо дать ход вперед, но стоял, как зачарованный, не в силах пошевелить рукой. Тогда боцман внимательно посмотрел на бомбу, сделал пальцами какой-то неторопливый таинственный знак, который был понятен всем, кроме Решетникова, потому что все на катере облегченно улыбнулись, и катер вдруг сделал огромный прыжок вперед (хотя винты работали задним ходом), и бомба разорвалась за кормой. От грохота ее лейтенант

проснулся с заколотившимся сердцем и решил, что дошел до ручки. Однако, услышав отдаленный лай зениток, он понял, что наверху что-то происходит. Полуодетый, он выскочил на палубу, и ему показалось, что идет крупный налет, когда по инструкции катеры должны были отходить от пирсов, чтобы не попасть всем под одну бомбу. У машинного люка он заметил темную фигуру, которую принял за механика, и тотчас крикнул:

— Товарищ Быков, какой мотор у нас заведется? Давайте хоть один, скорее…

— Это я, товарищ лейтенант, — ответил голос, и Решетников узнал боцмана Хазова.

Подойдя, он увидел, что тот стоит у своего пулемета, подняв к небу лицо.

— Еще мину спустил, — сказал боцман неторопливым, описательным тоном, как бы не замечая взволнованности Решетникова. — Глядите, товарищ лейтенант, ее тоже к берегу тянет. Дурак какой-то нынче прилетел. Ветра не рассчитал.

Решетников сообразил, что это не бомбежка, а обыкновенный визит одного-двух самолетов, как всегда пытающихся заградить минами выход из бухты. Он догадался также, что необычная общительность боцмана объясняется только одним: тот косвенным образом хотел показать

командиру совершенную ненужность заводить моторы, когда все вообще в порядке. Мина ударилась где-то на склоне горы, грохот разрыва потряс катер, и Решетников искусственно зевнул:

— Ну, чего тут смотреть, холодно… мины, как мины, — сказал он и повернулся, чтобы уйти, но боцман с той же подозрительной словоохотливостью сообщил прежним, описательным тоном стороннего наблюдателя:

— Второй гудит… Наверное, тоже мины спускает… А глядите, товарищ лейтенант, как от нас хорошо фарватер видно…

И опять Решетников понял, что уходить ему никак нельзя: отсюда, действительно, лучше, чем с базы, был виден фарватер, и можно было проследить, в каком его участке опустятся парашюты, а утром доложить об этом командиру дивизиона, чтобы облегчить траление после ночного визита. Все в нем восставало и кипело при мысли, что новый урок, как всегда, правилен. Боцман, продолжая не замечать его состояния, молча стоял рядом. Потом он повернулся к акустику, стоявшему у пулемета вторым номером, и негромко сказал:

— Реглан командиру приноси.

— Отставить! Мне тепло, — резко перебил Ре-

шетников.

Ему показалось, что боцман в темноте улыбнулся и покачал головой совсем так, как делал он только что в приснившемся кошмаре. И Решетников вдруг поймал себя на том, что он готов скомандовать огонь, бесполезный для гудящего высоко во тьме самолета, скомандовать только для того, чтобы показать, что командир он, а не боцман. Ночь была очень холодная, и его здорово прохватывало в кителе, но он упрямо оставался на палубе, пока самолеты не ушли.

Вернувшись в каюту, Решетников лег на койку, натянул на себя реглан и, согревшись, попытался спокойно обдумать, что же, собственно говоря, получается у него с боцманом и как выйти из этого положения, становящегося невыносимым.

Просить о переводе Хазова на другой катер было бы несправедливо по отношению к нему и, кроме того, просто вредно для катера и его экипажа: другого такого знающего и опытного боцмана не найти. Говорить о своем переводе на другой катер — значило углубиться в психологические дебри ночных кошмаров и, вероятно, вызвать во Владыкине, командире дивизиона, недоумение и насмешку. Сказать же ему откровенно и честно, что с командованием катером что-то не получа-

ется, означало прямую капитуляцию.

Оставался единственный выход — необычный, но совершенно справедливый: надо было просить о присвоении Хазову лейтенантского звания и о назначении его командиром СК 0944, который он знает вдоль и поперек. Ведь бывали же во флоте случаи, когда младшие командиры без всяких экзаменов получали лейтенантское звание в бою или после боя!

Мысль эта ему понравилась, и он долго обдумывал, как убедить Владыкина передать СК 0944 человеку, который действительно сможет заменить на нем старшего лейтенанта Парамонова, а его, Решетникова, перевести на другой катер. Повеселев, он заснул, решив сегодня же поговорить об этом с Владыкиным.

Владыкин слушал его внимательно и сочувственно и даже понимающе улыбнулся, когда Решетников привел для убедительности два-три случая, особо задевших его самолюбие.

— Мне в свое время такой дядька тоже жизнь отравлял, — сказал Владыкин, протягивая Решетникову портсигар (что на условном коде дивизиона означало переход с официального разговора на дружеский). — Только не боцман, а главный старшина рулевой Бродин. Я думал,

что я уже штурман и пуп земли, а он меня учил — боже мой, как учил!.. И теперь вспомнишь — краснеешь… И тоже, старый черт, все обиняком, вежливенько, ни к чему не придерешься! А как этот ваш на людях себя держит? — вдруг перебил он себя. — Тоже учит?

— Нет, — признался Решетников и вдруг неожиданно для себя чихнул. Справившись с платком, он гордо добавил: — Ну, тогда бы я его оборвал…

— Ну и молодец, — похвалил Владыкин, и Решетников скромно опустил глаза:

— Так я же понимаю, товарищ капитан третьего ранга…

— Да не вы молодец, — сердито усмехнулся Владыкин. — Вы, извините, просто мальчишка, притом бестолковый и неблагодарный. Вам на такого боцмана молиться надо, а вы ершитесь. Подумаешь — самолюбие заело!.. Самонадеянности море ох как не любит!

— Да я учиться не отказываюсь, товарищ капитан третьего ранга, — сказал Решетников, удивленный резкостью, с которой Владыкин его отчитал. — И самонадеянности во мне никакой нет, наоборот!

Но тут он чихнул и был этому рад: по крайней мере, он успел сообразить, что говорить о потере

им всякой надежды стать когда-либо настоящим командиром, пожалуй, не очень кстати, и повернул фразу на ходу:

— Наоборот, я очень ему благодарен, что он мне помогает… Только боюсь, он так меня приучит, что я потом и шагу без него не сделаю.

— Ну и грош вам цена! — спокойно сказал Владыкин. — По-моему, если человек имеет характер, он в лепешку расшибется, чтобы такую опеку поскорее с себя скинуть.

Решетников обрадовался, что разговор подходит именно к тому, что ему нужно, но Владыкин продолжал:

— Я, например, этого своего Бродина чем с себя скинул? Как бы это сказать, стрельбой по площади… Вот увижу — он стоит, и скажем, на лот Томсена смотрит, а у меня внутри все уже томится. Понимаю, что он, старый черт, что-то у него в самых кишках заметил и сейчас меня носом ткнет, а что заметил — не знаю. Ну, так с отчаяния возьмешь и прикажешь: «Товарищ главный старшина, надо лот разобрать, тросик смазать и барабан покрасить, смотрите, в каком он виде…» Действительно, вроде стрельбы по площади — куда-нибудь да попадешь… И точно, он, оказывается, и собирался предложить именно

тросик промазать, да уж поздно, инициатива-то за мной осталась… за штурманом. Вот так и привык к решительности. Да чего вы так чихаете? Ночью, что ли, простыли? Небось, выскочили голый?

— Да нет, — сказал Решетников, чихнув снова.

Признаваться в своем упрямстве с регланом, пожалуй, не стоило.

— Хватите на ночь сто граммов и горчицы в носки насыпьте, пройдет, — посоветовал Владыкин. — Так вот… Будьте вы смелее… инициативнее. В мелочах ошибаться не бойтесь, убыток небольшой, а мелочи вас приучат и в крупных вопросах смелее решать. Да он вас и поправит. Оно и лучше, чтоб он вас поправлял, а не подсказывал, понятно? Он для всех все то делает, что хороший коммунист должен делать для комсомольца и опытный моряк для такого… ну, скажем, молодого моряка, как вы. Чего же вам еще надо?

Решетников собрался сказать, что надо-то еще очень многое: чтобы он сам почувствовал в себе ту смелость, решительность и самостоятельность, которые Владыкин в нем предполагал. Но это опять упиралось в ночные мысли, сказать о которых Владыкину было нельзя, чтобы не

погибнуть в его глазах окончательно. Однако, представив себе, что разговор сейчас кончится ничем и что ему придется вернуться на катер, он поднял глаза:

— У меня есть предложение, товарищ капитан третьего ранга. Может быть, вы и согласитесь.

— Самостоятельное или тоже боцман подсказал? — весело улыбнулся Владыкин.

— Да нет… самостоятельное… — не в тон ему, серьезно ответил Решетников и начал излагать свой план; но по мере того, как он говорил, вся убедительность его проекта исчезала вместе со сползающей с лица Владыкина улыбкой.

— Так, — сказал Владыкин, когда он закончил, — значит, в кусты?

— Почему же в кусты? На любом другом катере…

— На другом катере вам механик будет жизнь заедать, на третьем — помощник. Так и будете катеры менять? Словно сапоги — искать, который не жмет?.. М-да… Решение, видно, самостоятельное…

Лейтенант почувствовал, что краснеет, и с отчаянием подумал, что остается одно: признаться и просить вернуть его на крейсер.

— Ну, ладно, — сказал Владыкин жестко. — Я

все карты открою, чтобы вам понятнее было.

Он посмотрел в сторону, как бы обдумывая, с чего начать, и Решетников насторожился.

— Меня что в вас заинтересовало? То, что я в вас любовь к катерам почувствовал. Помните, когда вы на катер просились, я вам сказал: «Хорошо, когда человек твердо знает, чего он хочет». А сейчас я этой твердости в вас не вижу. Ну, это пока мимо… Так вот. Вы о катерах мечтали и думали, что вам сразу катер на блюде поднесут. Так, конечно, не бывает. Я о вас с контр-адмиралом говорил. Дали вам время с катерами познакомиться — все-таки месяца четыре вы артиллеристом там были? Значит, вопросы техники, да и тактики катерной освоили, и я знаю — освоили неплохо… К тому времени этот случай вышел… с Парамоновым.

Он помолчал, и сердце Решетникова сжалось: в этой паузе он почувствовал многое, чего Владыкин не хотел говорить.

— Да… С Парамоновым… — повторил Владыкин и поднял голову, смотря Решетникову прямо в глаза. — Так вот. Я все это время о вас думал и выбирал, какой катер вам дать, и тут дал вам парамоновский катер. Поняли вы, что это за катер?

— Понял, — тихо ответил Решетников.

— Знаю, что поняли, — он невесело усмехнул-

ся. — Так вот… А почему именно этот катер? Потому еще, потому что на нем такой боцман, как Никита Петрович Хазов. Я вас в верные руки отдал — и в какие руки!.. А вы…

Он не договорил, заметив, что Решетников помрачнел и, видимо, принял упрек всем сердцем. Потом он открыл ящик стола и вынул папку, на которой была наклейка: «На доклад контр-адмиралу».

— А Хазова я из-за вас в продвижении задержал. Это вам тоже нужно знать, коли разговор всерьез пошел. Читайте.

Решетников взял листок. Это был приказ по базе о том, что за отличные боевые заслуги и проявленные знания старшина 1-й статьи Хазов И. П. назначается помощником командира СК 0944 с присвоением не в очередь звания мичмана. В заголовке приказа стоял прошлый месяц, а числа и подписи не было.

— Если бы Парамонов из боя вернулся, приказ был бы подписан, попятно? — сказал Владыкин, взяв обратно приказ. — Теперь же решено подождать. Одно дело — быть Хазову помощником у Парамонова, другое — у вас. Вы его ничему не научите и ничем на первых порах не поможете. Да и для вас лучше: боцманом он вам больше

даст, чем помощником. Ну, а дать ему только звание и оставить при вас боцманом — опять не выходит. Не тот эффект получается. Этот приказ должен был всем катерным боцманам перцу подбавить. Ну и гордости: вот, мол, как из боцманов в командиры прыгают, знай наших! И боцманы бы лучше служили, понятно?

— Понятно, — взволнованно сказал Решетников.

Владыкин, очевидно, заметил взволнованность Решетникова и дал ему время подумать над тем, что пришлось узнать. Он не торопясь уложил приказ обратно в папку и только потом продолжал:

— Хорошо, если понятно. Я вам всю эту механику для того рассказал, чтобы вы одну важную вещь поняли. Вот уперлись вы в свои отношения с боцманом и делаете две ошибки, преступных для командира. За этим своим самолюбием вы в боцмане живого человека не видите. А боцман для командира катера первейшим другом быть должен. Иначе катеру ни плавать, ни воевать! А что вы о Никите Хазове знаете, кроме того, что он вам на нервы действует? Вам ничего о нем неинтересно, вы собой заняты. Это первая ваша ошибка.

Он сунул папку в стол и щелкнул замком.

— Вторая. Боцман вам все на катере заслонил, всех людей. Как вы катером в бою командовать будете, если не знаете, кто — у вас — кто? Кто чем дышит — чем живет, как немца ненавидит, и ненавидит ли вообще? Кого вы можете на смерть послать, чтобы он жизнью своей катер спас, а за кем и в бою присматривать надо? Кому надо душевным разговором помочь, а на кого просто рявкнуть? Да, наконец, просто — кому водку можно перед походом дать, а кому после? Знаете вы все это? Ничего вы не знаете, а на катере уже две недели. Если бы контр-адмирал и командир дивизиона так же, как вы, людьми интересовались, торчал бы Хазов безвылазно в боцманах, а вы на крейсере бы мечтали. Вторая ваша ошибка.

Он встал и тотчас привычно одернул китель, который и так сидел на нем без единой складочки. Решетников тоже встал: этот жест Владыкина означал возвращение к официальному разговору.

— Так вот, товарищ лейтенант, — сказал Владыкин. — Вы остаетесь командиром СК 0944, и боцман Хазов остается боцманом там же. От вас зависит срок, когда он получит звание мичмана и станет помощником командира. На сорок чет-

вертом или на другом катере — это тоже зависит от вас. Понятно?

— Понятно, товарищ капитан третьего ранга, — ответил Решетников. — Разрешите идти?

— Если действительно понятно, идите, — сказал Владыкин.

И не видя в глазах Владыкина ни улыбки, ни тепла, Решетников понял, что с ним говорилось нынче без всяких скидок на молодость и неопытность. Все в нем было растревожено и болело. Впервые в жизни он почувствовал, что с его поведением и поступками тесно связана чужая судьба, и непривычное это чувство никак не могло в нем уложиться и давило на сердце тяжелым грузом. Он как будто повзрослел за этот разговор.

— Разрешите вопрос, товарищ капитан третьего ранга? — сказал он, подняв опять глаза на Владыкина, и, увидев его кивок, взволнованно спросил: — А Хазов об этом приказе знает?

— Знает — вряд ли, — по-прежнему холодно ответил Владыкин. — А догадывается — несомненно. Все к тому шло, он не маленький.

— Так как же мне теперь с ним, ведь это… — начал Решетников и вдруг опять глупо и смешно чихнул.

Владыкин не улыбнулся, но в глазах его проско-

чила искорка откровенного смеха, и Решетников понял, что не все еще потеряно.

— Вы в водку обязательно перцу подсыпьте, это лучше помогает, — сказал Владыкин. — Болеть вам теперь некогда, понятно?

Но Решетников, не ответив на этот раз, что понятно, пошел к двери, понимая одно: что боцман стал для него совсем другим человеком и что надо немедленно вызвать его на душевный разговор.

Борис Леонтьевич Горбатов

Орден Славы

Великое счастье быть воином в Отечественную войну, — нет счастья выше! Нет сейчас в нашей стране звания почетнее, чем звание воина. Нет сейчас на земле дела более нужного, чем дело воина. Нет одежды благороднее серой, солдатской шинели, нет дружбы крепче, чем фронтовое братство.

И нет и никогда еще в мире не было награды выше и достойнее, чем полученный в горячем бою орден за воинский подвиг, за солдатский труд, за верность священной присяге, — орден воина.

Скромная пятиконечная звездочка на шелковой ленточке с оранжевыми и черными полосками… Награда герою. Солдатский орден. Гордое слово на нем: слава.

Слава! Слава солдата.

Слава оружия нашего. Слава предков наших. Слава богатырей Александра Невского, бивших немцев на Чудском озере. Слава воителей Дмитрия Донского, Минина и Пожарского. Солдатская слава орлов Суворова. Матросская слава черноморцев Нахимова. Казацкая слава молодцов

Платова. Красноармейская слава героев гражданской войны, чапаевцев, таманцев, сивашцев, богатырей Перекопа, — всё в этом ордене.

Словно сгустилась в нем вся многовековая слава русского оружия. Воплотилось и расцвело новым, невиданным цветом мужество нашего народа.

Потому что не было еще на земле войны трудней и ожесточенней, чем нынешняя, а стало быть, не было и славы больше.

Не было еще в мире войны благороднее и справедливее, чем та, которую мы ведем против гитлеровских захватчиков, а стало быть, не было, и славы чище, прекраснее.

Потомки наши, навсегда избавленные от ужасов коричневой чумы, восхищенно и благодарно будут взирать на воинов Отечественной войны: они отстояли великую Советскую Родину в ее горький час.

И тот воин, чья грудь будет украшена золотым или серебряным знаком солдатской славы, будет любимым героем народа.

Потому что орден Славы дается только смелому солдату. Его может заслужить лишь тот, кто лично совершил в бою славный подвиг храбрости, мужества и бесстрашия.

За боевые дела дается этот орден.

Тому дается этот орден, кто первым ворвался в расположение противника и личной храбростью содействовал успеху общего дела.

Тому дается этот орден, кто лично, с находчивостью и смелостью пробравшись к позициям противника, уничтожил его пулемет или миномет.

За бесстрашие и презрение к опасности дается этот орден.

За то, что, стремительно врезавшись на своем танке в колонну противника, ты смял ее.

За то, что в жарком воздушном бою ты уничтожил самолеты противника.

За лихую разведку. За ночную вылазку в тыл врага. За захват неприятельского знамени.

За воинское мужество дается этот орден.

Им награждается тот стойкий воин, кто и в горящем танке продолжал выполнять боевую задачу.

Им награждается тот железный солдат, кто, будучи ранен, после перевязки снова вернулся в строй.

За благородство солдатской души награждает воина Родина.

Тот достоин награды, кто, рискуя жизнью,

спасает в бою командира от угрожающей ему смертельной опасности.

Тот достоин славы, кто, рискуя жизнью, под огнем неприятеля оказывает помощь раненым.

Тот достоин воинской чести, кто в минуту опасности спас Знамя своей части.

Орден Славы увенчивает всякий высокий подвиг солдата. Где бы ни был совершен он: на земле или в небе, в глубоком немецком окопе или в лесной чаще, в гранатном бою или в танковом сражении, в жестокой и короткой ночной схватке — штык в брюхо, нож — в горло, — или в многодневной битве. Командир всегда заметит и оценит подвиг солдата. Родина увенчает героя наградой.

Награда Родины! Награда народа! Какая награда может быть выше и почетнее? За это и умереть не много.

Орден Славы на груди солдата — всенародное признание его боевых заслуг перед Советской Родиной. Это — почет и уважение народа. Это — любовь народа. Это — его благодарность.

Не простое это дело — заслужить уважение такого народа, как наш великий народ. Народ работников и пахарей, народ мастеров и героев, творцов и строителей, он на протяжении всей

своей многовековой истории, в самые грозные часы народной судьбы изобильно рождал богатырей. Никогда не покорялся он иноземным захватчикам, и всех, кто шел на него с мечом, мечом же и побивал. Первый в мире построил наш народ новое и прекрасное социалистическое общество, преобразил лицо родной земли, и стало оно для нас еще краше, еще любимее.

Такой народ, как наш, непобедим!

Великое счастье быть сыном такого народа.

Великое счастье быть воином за счастье и независимость такого народа.

Великая честь и слава быть героем такого народа-героя.

Будь же достоин этой чести, товарищ.

Дерись за нее, не жалея жизни.

Пусть святая любовь к Родине поведет тебя на новые и новые подвиги. Пусть украсится твоя грудь золотым знаком доблести — орденом солдатской славы.

Братья Тур

Любовь

Вот история одной любви, рассказанная нам летчиками штурмового полка майора Саломатина, история, к которой мы не прибавили ни слова выдумки.

Штурмовики уходили на задание. Мощные горбатые машины с сильными широкими плоскостями взлетали одна за другой, груженные смертью во всех ее видах: противотанковыми бомбами, боекомплектом для пулеметов и пушек. Они уходили в воздух, запевая могучими моторами на высокой протяжной ноте, и, выстраиваясь в пеленг, шли на аэродром Лужки, откуда должны были подняться истребители сопровождения.

Над истребительным аэродромом штурмовики сделали широкий круг; снизу взвилась зеленая ракета, и через мгновение в воздух свечой взвинтилась шестерка «яков».

Накануне утром прилетевшая из разведки «пешка» (так летчики фамильярно называют пикирующий бомбардировщик «Петляков-2») донесла, что у ближнего леска сосредоточилась на исходном рубеже немецкая танковая колонна, изготовившаяся для контратаки. И вот эскад-

рилья «илов», ведомая капитаном Гончаренко, получила задание уничтожить колонну.

«Илы» застали танки уже на марше. Самолеты сделали над целью боевой разворот и атаковали колонну. Маленькие противотанковые бомбы посыпались, зажигая железо и сталь, а пулеметы расстреливали выскочивших из люков уцелевших танкистов.

Пока увлекшиеся жаром атаки штурмовики заходили на второй круг, прикрывавшие их истребители, ходившие с превышением в тысячу метров, завязали бой с девяткой «фоккеров», прилетевших для защиты своих танков. И бой шел в два этажа: внизу «илы» били по танкам, ощетинившимся зенитками; вверху «яки» сковывали немецких истребителей, не пуская их к штурмовикам.

Через несколько минут на землю свалился зажженный «фокке-вульф», за ним второй, и немцы отвалили. А вошедшие в азарт штурмовики заходили для четвертой атаки, звоня во все колокола, что означает на языке штурмовиков — вести огонь из всех пулеметов. Уже у истребителей в баках кончался бензин, ведущий Зворигин бранил в ларингофон увлекшихся штурмовиков, а «черная смерть» все кружила и кружила над гиб-

нущей танковой колонной, как бы оправдывая это свое название, данное немцами.

Наконец, когда «илы» расстреляли весь боекомплект и в заключение «для психики» прошлись в последний раз холостым заходом над тем, что осталось от колонны, капитан Гончаренко собрал своих хлопцев и, построив эскадрилью змейкой, скомандовал «топать» домой. Штурмовики полка майора Саломатина в первый раз летели с истребителями из Лужков, перебазировавшимися с другого фронта, и, возвращаясь, обменивались по радио оценками их работы.

— Молодцы «яки»! Прикрывали что надо! С такими ходить одно удовольствие!..

Над штурмовым аэродромом истребители попрощались с прикрываемыми «илами» и, покачав крыльями, полетели к себе в Лужки. Но внезапно, когда штурмовики садились на скошенную траву старта, они увидели заруливший в капонир «ястребок» — один из сопровождавших, На фюзеляже еще не остывшего после боя «яка» с хвостовым номером девять был изображен простодушной кистью какого-нибудь полкового любителя-моториста разъяренный лев с огромной гривой и ужасными клыками, торчащими из разинутой пасти. Несколько звездочек, ука-

зывающих на число сбитых самолетов, было нарисовано сбоку.

Зарулив в укрытие, летчик легким прыжком выскочил из кабины. Штурмовики из эскадрильи Гончаренко смотрели на него, ожидая, что он скажет. Резонно было предполагать, что из самолета со столь грозным изображением на фюзеляже появится дюжий детина саженного роста, сам несколько похожий на льва. Но, к удивлению летчиков, человек, вышедший из машины под номером девять, был похож более на мальчика, нежели на мужа. Чувствовалось, что громоздкий комбинезон несколько велик для его узких плеч и топкой талии. Голубые глаза юноши-истребителя смотрели сердито и дерзко, рассыпая гневные искры.

— Какого черта, я спрашиваю, — звонким ломающимся голосом кричал на бегу пилот, расстегивая шлем, — какого черта вы так долго крутились над целью? Из-за вас у меня горючка кончилась… Вот и пришлось сесть на вашем аэродроме…

Комэск капитан Гончаренко удивленно посмотрел на дерзкого гостя, осмеливающегося столь невежливо критиковать работу его эскадрильи, хотя в самой этой ругани заключался элемент

похвалы. Он готовился уже дать степенную командирскую отповедь не в меру самонадеянному истребителю со львом на фюзеляже, как вдруг увидел, что перед ним — девушка.

— Гвардии лейтенант Калмыкова! — отрапортовала девушка, глядя ему прямо в глаза светлыми своими глазами, в которых как бы еще колыхался голубой отсвет неба. — Ну и жадный вы народ, штурмовики!.. Никак не оторвать вас от фашистов. Я уже думала — упаду с пустыми баками… Где бы тут у вас нацедить бензину — долететь до Лужков?

И в какое-то мгновение капитан почувствовал далекими глубинами своего сердца, что он должен будет полюбить эту девушку. Он еще и в слабой мере не осознал мыслью это свое ощущение и, отшучиваясь от ее нападок, деловито объяснял, где найти бензозаправщика, и, вспоминая детали прошедшего боя, орудуя больше ладонями рук, чем словами, как это обычно делают летчики, рассказывал о воздушном бое. Но подводное течение этих слов было таково: «Какая ты прекрасная девушка, как я счастлив, что увидел тебя, как мне хорошо говорить с тобой и глядеть в твои глаза, мы никогда не расстанемся, дорогая, не правда ли?»

И девушка всем своим духовным существом ощутила вдруг прилив огромного счастья. Но если бы сказать ей, что она уже любит капитана Гончаренко и не может существовать без него, она бы от души расхохоталась над этим. Она бы, вероятно, сердито сказала, что в наше время солдатам не до любви, не понимая, что любовь существует всегда, всюду и даже наперекор смерти и что именно этим сильна и прекрасна жизнь.

Пока бензозаправщик заряжал «як» лейтенанта Калмыковой, летчики беседовали с ней. Они смотрели на ее юное лицо с неправильными чертами, исполненное вопреки этим неправильностям, а может, и благодаря им, очаровательной свежей прелести. Каштановые, по-мальчишески остриженные волосы были гладко зачесаны над чистым, в меру крутым лбом. А когда она улыбалась, из-за добрых свежих губ показывались крупные ровные зубы. Быть может, ее несколько тяжеловатый подбородок мешал ее лицу быть красивым, но именно он сообщал выражение силы и характера. Зато нежная кожа с белой, незагоревшей полоской на шее говорила о светлом девичестве и двадцатилетней нерастраченной весне…

Меж тем «ястребок» уже был заправлен. Гвар-

дии лейтенант Калмыкова, задвинув колпак фонаря, махнула на прощанье рукой штурмовикам, вырулила на старт и сквозь триплекс кабины — может быть, так только показалось капитану Гончаренко — в последний раз посмотрела на него. Через мгновение могучий мотор истребителя заревел на взлете, маленький «як» круто пошел в небо, потом сделал иммельман, горку, переворот, восходящий штопор… Вот серебряный на солнце истребитель полетел вниз с высоты пяти тысяч метров и, взревев, выровнялся над самой землей и снова свечой пошел на высоту… Вот он перевернулся кверху колесами и так понесся по горизонтали… Ошеломляющим фейерверком посыпались петли, бочки, головокружительные виражи… то была победная песня мастерства, настоящее пиршество полета.

— Ну, и дает жизни! — говорили штурмовики, любуясь кристальным совершенством этой работы. — Вот это пилот! Вот это девушка!

Правда, и до этой нечаянной встречи летчики майора Саломатина слышали о Лиле Калмыковой. Маленькая, хрупкая девушка слыла на этом участке фронта одним из отважных истребителей. Во время знаменитой многодневной воздушной битвы над Ростовом Лиля сбила

несколько «мессеров» и «юнкерсов». Ее техника пилотирования и качества воздушного бойца были безупречны, и прославленные асы фронта, ценящие людей прежде всего по их воинским делам, не колеблясь, приняли ее, эту двадцатилетнюю девушку, как равную, в свою взыскательную семью.

Штурмовики слышали, как Лиле с трудом пришлось завоевывать право стать военным летчиком, как девушку долго не хотели принимать в военную авиацию, как она много месяцев «чистила хвосты» У-2, прежде чем добилась права сесть за ручку… И все это, вместе взятое, особенно после личного знакомства, вызвало у штурмовиков чувство особого, профессионального расположения к Лиле.

А капитан Гончаренко лег в этот вечер спать с тем новым, необыкновенным чувством, которое сообщается молодому человеку, взволнованному встречей с дорогой для него женщиной. Такое чувство можно испытать только раз в жизни и до тридцатилетнего возраста. Капитан Гончаренко испытал его, хотя и не понимал, что он его испытывает. Как будто бы колокол звучал в его крови и сердце, а когда он проснулся, небо представилось ему более синим, чем зрению других

людей, солнце более ярким, а июньская земля более благоуханной.

Лиля тоже не понимала, что с ней происходит, и, ложась спать в шалаше прямо на аэродроме, чувствовала какое-то непонятное волнение, доселе не испытанное еще ею. Шалаш был из высушенных солнцем трав, набросанных на остов из ветвей; среди трав запуталось немало полевых цветов — кашек, колокольчиков, иван-да-марья — и, нагретые за день, они по ночам благоухали слишком сильно. Лиля вышла из шалаша, приписывая душному запаху умирающих цветов это странное чувство блаженной дурноты и непонятного волнения. Она легла прямо на землю, постелив на траву плащ-палатку. И лежа на спине, она увидела ночное небо. Обычно небо воспринималось ею как поле боя: оно было полно внезапных опасностей, оно было разделено на квадраты и полусферы, в каждом из которых можно было встретиться со смертью. Но сейчас вместо этого смертоносного неба войны она увидела крупные июньские звезды. Они сияли, обливая сердце теплым светом. Трава вокруг звенела жизнью каких-то незримых существ, и от этого ощущения вселенной, вливающейся в ее маленькое тело, Лилия почувствовала, как слезы

наворачиваются ей в глаза.

И так они лежали оба на сухой летней земле, разделенные огромной ночной степью. Вдали глухо громыхала артиллерия; не прекращаясь ни на секунду, шла война.

…Оба полка теперь летали всегда вместе. Шло великое летнее наступление, и работы было по горло. Каждый день, а иногда по нескольку раз в день штурмовики появлялись над аэродромом истребителей и вместе шли к линии фронта. И так уж повелось, что истребитель с рычащим львом на фюзеляже всегда прикрывал машину номер двенадцать, пилотируемую капитаном Гончаренко.

А когда самолеты возвращались домой, «ястребок» со львом особенно настойчиво и, мы бы сказали, нежно ходил вокруг «ила». Лиля и капитан Гончаренко ни разу не виделись со дня первой встречи.

Лишь изредка, на бешеных скоростях, мелькая друг мимо друга, им удавалось обменяться молниеносным взмахом руки сквозь триплекс кабины. Но эти встречи в воздухе связывали их сильнее обычных свиданий. И летчики обоих полков определенно знали, что если идет на задание «ил» номер двенадцать, то уж «ястребок» с

хвостовой девяткой будет идти за ним по пятам.

Однажды Лиля сбросила на аэродром штурмовиков письмо, адресованное капитану Гончаренко. В нем говорилось: «Дорогой товарищ Гончаренко! Как вы живете? Как деретесь — это я вижу. По-моему, неплохо. Ребята ваши воюют отлично! Желаю вам счастья и боевых успехов. Л. Калмыкова».

В этом письме для зрения всех остальных людей не было ничего особенного. Но капитал Гончаренко прочитал в нем именно то, что хотела написать Лиля. Он прочитал его так: «Дорогой мой! Я думаю о тебе дни и ночи. Мое сердце наполнено только тобой. Я горжусь твоей отвагой и твоим искусством в бою. Я очень боюсь за тебя, береги себя, милый. Но помни, если будет надо, я отдам за тебя жизнь. Твоя Лиля».

А как-то раз, когда погода была нелетная и оба «хозяйства» не работали, Лиля прилетела на У-2 в гости к штурмовикам. Летчики роскошно приняли девушку. Повар из БАО приготовил пирожки с яблоками, и летчики достали для дамы сладкого вина, присланного щедрыми виноградарями Грузии. А после, оставшись с гостьей наедине, капитан Гончаренко взял руку Лили в большие свои руки и сказал, заходя прямо в лоб событиям:

— Я люблю тебя, Лиля. Очень люблю!

Это было уже слишком много для Гончаренко, который славился своей молчаливостью во всей дивизии. Он был весь в холодном поту после того, как сказал эти слова: для комэска было легче четыре раза сходить на штурмовку, чем произнести подобную фразу. И совершенно обессилев после грандиозного монолога, он подошел к патефону и поставил какую-то дурацкую пластинку. Слава богу, что как раз в этот момент за окошком блиндажа взлетела ракета, и полк по тревоге поднялся в воздух и полетел сквозь туман и шторм атаковать переправу…

После этой встречи Лиля записала в своем дневнике:

«Сегодня я видела его. Это была наша вторая встреча. Он мне сказал, что любит меня, и я не удивилась. Может быть, это смешно, и я ни за что в жизни этого никому бы не сказала, но я хочу быть его женой.

Мне очень стало радостно драться после встречи с ним. День, когда я не летаю, утомляет меня. Мне кажется, я еще собью много самолетов».

А Гончаренко, придя с задания, снова поставил глупую пластинку и весь вечер слушал ее, ибо с того момента эта пластинка приобрела для него

новый, многозначительный смысл…

…После штормовой погоды утро пришло сияющее, будто омытое грозой. Словно кто-то прилежно протер влажной тряпкой каждый листик на деревьях, каждое облачко. Воздушная война, как бы замершая на одни сутки, снова загремела вдоль по горизонту — от края до края.

В этот день штурмовому полку майора Саломатина было приказано блокировать и атаковать важный немецкий аэродром. Ведомые самим командиром, штурмовики поднялись в воздух и, как обычно, встретившись с истребителями, пошли на цель. Над аэродромом немецкие зенитчики открыли шквальный огонь, ударили пушки «эрликоны». Но штурмовики искусным противозенитным маневром бесстрашно заходили над летным полем, где стояли желтобрюхие немецкие самолеты. Один огромный толстый «юнкерс» пришел на посадку в самый момент атаки. Он беспомощно и растерянно гудел, как толстый, ослепший от ярости шмель, попавший в сачок. Но Лиля длинной очередью по бакам зажгла его, «юнкерс» тяжело прогудел в агонии и огромным ревущим куском пламени пошел к земле. Над самой землей моторы его отломились в воздухе и, снеся несколько деревьев, с силой ударились

в грунт, далеко откатившись от дымящегося, догорающего остова…

Через несколько минут три десятка костров пылали на вражеском аэродроме. В огне скрючивался дюраль, ломались, рвались подвешенные на горящих самолетах бомбы… А опьяненные восторгом боя штурмовики все заходили и заходили над стартом и ангарами.

— Слева еще два самолета! — весело кричал в шлемофон стрелок капитану Гончаренко. И капитан поворачивал машину влево, нажимая на гашетки пушек и кнопки бомбосбрасывателей.

И вдруг капитан Гончаренко увидел, что истребитель со львом на фюзеляже, резко теряя высоту, идет на снижение. Видно, снаряд попал в машину Лили. Подойдя вплотную, Гончаренко заметил, что из радиатора лилиного «ястребка» брызжет вода и масло.

Лиля сделала попытку выровнять машину, чтобы уйти домой, но раненый мотор заклинился, и винт повис, как крыло подбитой птицы. Лиля, с трудом перетянув через вражеский аэродром, села на пахоту у самой его кромки.

Заметив происшедшее, немцы выбежали из укрытий и помчались к краю аэродрома, где сидел советский истребитель. Лиля видела бегущих

немцев, но машина ее уже была мертва, и девушка поняла, что обречена. Протянув руку к поясу, она расстегнула кобуру, чтобы разделить обойму на неравные части между собой и подбегающими немцами. Но в этот момент бегущий совсем неподалеку фашист на ходу выстрелил из автомата, и раненая рука Лили выронила пистолет.

Сильная боль затуманила ей глаза. И от этого ощущения своей беспомощности, от страха попасть живой в руки врагов лейтенант Калмыкова, сбившая сегодня восьмую вражескую машину, не боявшаяся ничего на свете, в первый раз за всю войну заплакала, совсем по-детски, и слезы полились по ее лицу. Но через какую-то частицу мгновения она испугалась этих своих слез больше, чем приближающихся гитлеровцев, и чудовищным усилием воли остановила их, не желая предстать плачущей перед презираемым ею врагом.

В последний раз вспомнила она капитана Гончаренко, прощаясь с любимым… И в этот момент совсем близкий рев мотора раздался над ее головой. Она подняла глаза и увидела «ил» с номером двенадцать, несущийся на пикировании к ее разбитой машине. Штурмовик летел со страшной скоростью, приближаясь, подобно обвалу.

Капитан Гончаренко видел, как приземлилась Лиля. Он видел, что гитлеровцы в нескольких шагах от ее машины — десятки их с автоматами в руках. Первой мыслью его было сесть рядом с ней, забрать Лилю к себе в кабину, но немцы уже были почти рядом с ее самолетом. Капитан хотел расстрелять их из пулеметов, чтобы все-таки сесть, но, взглянув вперед, увидел, что новые и новые гитлеровцы мчат к подбитому истребителю на машинах и мотоциклах. Во время штурмовки у капитана вышел боекомплект и осталось только на несколько пулеметных очередей да два-три пушечных снаряда. Горе сделало его мудрым и рассудительным.

В какую-то терцию секунды он оценил обстановку и понял, что садиться бессмысленно. За себя он не боялся, нет, на войне капитан Гончаренко привык к близости смерти. Но если бы он сел, — это не важно, что он бы погиб сам, — все равно он не спас бы Лилю. И он решил избавить свою любимую от последней муки — от надругательств немцев — единственно возможным способом — другого решения быть не могло. Гончаренко прицелился всем остовом самолета, чтобы сразу открыть огонь из всех пулеметов и пушек по кабине лилиного истребителя. Он ре-

шил бить наверняка по пилотской кабине с тем ледяным хладнокровием, которое сообщается только нечеловеческим горем. И Лиля, поняв его решение, в последний раз приподнялась в своей машине и, сделав невероятное усилие, благодарно махнула рукой.

Горячие слезы стояли в глазах капитана Гончаренко, мешая ему видеть цель. «Прощай, Лиля!» — сказал он внятно с невыразимой болью, готовясь нажать на гашетки пулемета…

И вдруг Гончаренко увидел частые, как сетка проливного дождя, трассы пуль перед носом своей машины. Немцы в панике шарахнулись назад, захлестнутые этим неожиданным ливнем. Гончаренко поднял голову кверху и увидел, что девятка подлетевших штурмовиков открыла шквальный огонь, отсекая бегущих вражеских солдат.

Капитан Гончаренко тотчас же убрал газ и сел невдалеке от лилиного самолета. Пока он подруливал к «ястребку», «илы», перестроившись в круг, ходили над местом падения Лили, образовав огневое кольцо обороны. Через минуту раненая девушка была уже в кабине капитана.

Гончаренко дал газ. Машина, сотрясаясь всем корпусом, понеслась по полю и взмыла в воздух. Развернувшись, Гончаренко увидел, как один из

«илов» проштурмовал подбитый лилин самолет, и «ястребок» запылал, охваченный пламенем.

Все время, пока «ил» капитана Гончаренко с Лилей на борту шел над вражеской территорией, штурмовики несокрушимым кольцом сопровождали его, ежесекундно готовые к бою.

Такова история одной любви, рассказанная нам летчиками штурмового полка майора Саломатина.

Евгений Иосифович Габрилович

В снегах

— Ну ладно, заводи свою музыку, играй! — сердито сказал Полосихин.

Но Петкин не стал заводить пластинку. Зачем? Чтобы Полосихин опять поднял его на смех? Вот еще!

Однако что же сказал по этому поводу Васильев? Васильев ничего не сказал. Он сидел, как обычно, в углу землянки, возле печки, что-то вырезал из дерева и молчал. Он всегда молчал, даже тогда, когда ребята очень просили его хоть что-нибудь сказать. Он никогда не снисходил к таким просьбам.

Тогда Полосихин поставил свою пластинку. Это была веселая, плясовая пластинка. Просто дух захватывало, какая это была пластинка! Полосихин, например, утверждал, что ничего лучшего он в жизни не слышал. Да и Петкину правилась эта пластинка. И все же они чуть не поссорились, так сказать, на почве музыки.

Впрочем, Петкин и Полосихин спорили всегда. Они были заядлыми спорщиками. Каждому из них было лет под тридцать, и профессия у них была одна и та же, да и по нраву они были похо-

жи. Но спорили. Такой уж характер!

На земле и на небе не существовало ничего такого, о чем бы они не спорили. Заговорят ли о том, какой лучший город в СССР, — спорят. Зайдет ли речь, как готовить борщ, — спорят. Как сподручнее колоть дрова — спорят. Как обуваться, чтобы ноги не промерзли, — спорят. Обо всем спорят: о старшине роты, о Пушкине, о Суворове, о том, красивы ли горы или некрасивы, о том, что лучше: легкий табак или махорка. Ссорились иногда так, что не разговаривали дня три-четыре. Поругались они, конечно, и по поводу патефона.

Совершенно очевидно, библиотекарь правильно сделал, что принес сюда патефон. Ведь Петкин, Васильев и Полосихин как линейные надсмотрщики-связисты живут одиноко, далеко от всякого культобслуживания. Живут среди крутых холмов, глубоких балок. Редко-редко к ним приходит кто-нибудь из батальона. Да и не так-то легко пробраться к ним, особенно после буранов. Иногда выпадает такой снег, что шесты с телефонными проводами едва торчат из-под снега, а иногда их не видно совсем. Вот тогда-то и найди место обрыва связи, если такой обрыв произошел. А ведь именно в этом и заключается обязанность линейных надсмотрщиков! Прибавьте, что дело

происходит в двух-трех километрах от передовой и что вся линия находится под обстрелом.

Нет, библиотекарь толково поступил, принеся ребятам патефон! Все-таки с музыкой легче, в такой одинокой жизни музыка развлекает. Музыку можно послушать. Тогда время идет быстрее.

Впрочем, никто и не говорит, что библиотекарь поступил опрометчиво. Разговор идет о другом. Библиотекарь доставил всего две пластинки. На одной из них были записаны пляски, а на другой — два вальса Шопена. И вот, в то время, как Полосихину полюбились пляски, Петкину нравился Шопен. Почему? Он и сам толком не мог объяснить. Было что-то трогательное и нежное в этих скользящих звуках, что-то горячее и широкое, отчего вспоминался дом, сад за домом и сын Мишка с его нехитрыми игрушками. Да, вспоминался Мишка!

Полосихин же был просто в восторге от плясок. Он заводил их беспрестанно, каждую свободную минуту, иногда даже ночью, вернувшись после обхода с линии. Шопена он невзлюбил.

— Шум, один шум! — говорил он. — Где тут мелодия? Скажи, что тут петь? Шум!

Петкин сначала спорил. Но спорил слабо. Обычно разговорчивый, легкий на язык, он на этот

раз бормотал что-то непонятное. Не удавался ему спор о Шопене. Он перестал заводить Шопена при Полосихине, но лишь только Полосихин отправлялся в обход, Петкин заводил патефон и слушал. И глаза у него становились светлые, отсутствующие. Он заслушивался иногда до того, что даже не замечал возвращения Полосихина. Полосихин же, войдя, отряхивал снег с валенок и говорил:

— Опять этот шум и головоломка!

А как же Васильев? Чью сторону держал третий линейный надсмотрщик — Васильев? Неясно. Он молчал, как всегда. Ему было уже лет тридцать пять, и он ничем не походил на Петкина и Полосихина. Он был медлителен в движениях, домовит, аккуратен, а Петкин с Полосихиным быстры, горячи, смешливы. Оба они были остряками, а Васильев совсем не умел говорить смешного, да и смеялся редко. Оба они были высокие, сильные, красивые, а Васильев был приземист и рябоват. Вечно он мастерил что-то, мыл, подштопывал. И молчал. Пойди добейся у такого человека мнения по вопросу о музыке!

В середине ноября начались сильные метели. Связь все время рвалась, и работы надсмотрщикам было по горло. День и ночь ходили они по

своему участку на лыжах, соединяя обрывы проводов. Хорошо ходил на лыжах только Васильев. Петкин и Полосихин управлялись неважно.

Однажды ночью особенно сильно мела метель. Ветер два раза сбивал с ног Петкина, производившего обход. Два километра пути он прошел в пять часов. Добравшись наконец к месту обрыва, он убедился, что потерял нож. Тогда он зубами содрал изоляцию на проволоке и зубами же очистил оборванные концы провода. Соединил их.

Обратно Петкин шел совсем плохо. Снег залеплял глаза, ветер перехватывал дыхание. Сначала он шел весело, напевал. Потом стал чувствовать тяжесть в ногах. Петь уже не хотелось. И спорить ни с кем не хотелось. Тошнило. Слабость все увеличивалась.

«Конец! — пронеслось у него в мозгу. — Мишка-то, Мишка как проживет», — подумал он о сыне.

Петкин потерял тропу и никак не мог снова выбраться на правильный путь. Безбрежный снег засасывал его. Он брел в каком-то полусне. «Влип! Замерзну! — подумал он и неожиданно для себя лег ничком в снег. — Конец, смерть!»

Он не испытывал страха при этой мысли. «Мишка-то, Мишка как? — думал он озабоченно. — Вырастет, а я не увижу. В школу пойдет

— не увижу. Кончит школу — опять не увижу. Вот бы письмо жене написать… Да разве теперь напишешь, — думал он в каком-то полубреду. — Как же с Мишкой-то?»

Словно ища ответа, он огляделся вокруг. Та же кромешная непроницаемая тьма. В лицо сильно бил ветер. Снега, снега! Не было им ни конца, ни края. Они лежали пушистые, мягкие, безбрежные, укрывая теплую землю, питавшую в тишине мертвого зимнего времени спящие зерна весенних ростков.

«Много снега! — засыпая, подумал Петкин. — Как много снега! Ох, сколько снега!»

И больше он уже ни о чем не думал и ничего не помнил.

Утром Васильев и Полосихин, встревоженные тем, что Петкин не вернулся, отправились на поиски. День был ясный, хороший. Сильно били немецкие минометы. Буран замел все следы, ровная снежная пелена лежала на холмах и в балках. Не найти человека под таким снегом!

Через три дня Полосихин написал жене Петкина:

«Настасья Андреевна! В первых строках извещаю, Вам пишет товарищ мужа. Настя, твой муж пропал без вести. Засыпало снегом.

Настя, умер ваш муж на посту, выполняя долг для победы. Настя, вы плачьте, но имейте понятие, что надо таким человеком гордиться.

Живем мы здесь трудно, иной раз от ветра не продохнешь. Идешь, а вокруг снег, ветер, даже в глазах темно.

Вот какие дела!

Настя, ниши мне, если что помочь тебе или сыну.

Иван Полосихин».

Полосихин уже запечатывал письмо, когда подошел Васильев и протянул листок.

— Печатай вместе, — сказал он.

Это было письмо Васильева жене Петкина:

«Пишет Васильев, с одной роты, где Петкин. Ты плачь да горюй, а сына воспитывай. Воспитай, чтобы был послушным, работящим, без баловства. Чтобы не было этого баловства, которого много. Пойди на завод, где Петкин работал, скажи, чтобы не забывали тебя и сына. И смотри за коровой: если подохнет, не скоро другую купишь. Пиши, если что.

Ефрейтор Васильев».

Полосихину письмо Васильева не понравилось. При чем тут корова?

Но сколько Полосихин не горячился, — а ведь

он был опытным спорщиком, — Васильев молчал. Наконец, Полосихин запечатал оба письма.

Вечером он завел пластинку с Шопеном. Пластинка играла, как всегда, не хуже и не лучше, и Полосихин еще раз поразился, почему она так нравилась Петкину.

— И чем тут нравиться? — сказал он Васильеву. — Шум и шум. Так просто игра на пианино. А?

Васильев молчал. Ну, разве с таким вот молчальником можно поспорить по-человечески!

Прошло полтора месяца. Многое пережили Полосихин и Васильев за это время. Армия стремительно двигалась вперед, работы связистам было по горло. Круглые сутки работали под обстрелом. Один раз на Полосихина, тянувшего связь, напали два немца-разведчика. Он убил одного выстрелом из винтовки, а второго тяжело ранил ножом и притащил на спине в роту. Он был представлен за это к ордену и получил его.

Но ни опасности, ни работа, ни радость по случаю ордена не могли заглушить в нем воспоминаний о Петкине.

Он не мог забыть Петкина. Что ни час, он вспоминал о нем.

И ведь не очень-то уж они мирно жили вместе.

Ссорились, пререкались. И раздражал его Петкин своим всезнайством. И тем, что обо всем спорил, даже о том, о чем не имел никакого понятия. И тем, что храпел по ночам. И тем, что быстро ел из общего котелка. И тем, что любил покурить на чужой счеток. И многим другим.

И все же Полосихин вспоминал да вспоминал Петкина. Не выходила память о Петкине из его головы.

Он вспоминал, как в Сталинграде жили они в каменном доме, сначала в третьем этаже, затем, когда этот этаж был разрушен снарядом, — во втором, потом в первом, потом в подвале. И о том, как затем воевали на Донце. И как брали Полтаву. И как жили вместе под Кременчугом у колхозницы Христи, которая отлично готовила вареники. И о том, как переправлялись через Днепр и Полосихин чуть не утонул, да Петкин его вытащил. И о том, как много километров прошли они вместе, он и Петкин. И как делились хлебом. И как спорили. И как много снарядов разорвалось возле них за это время, и как много пуль просвистало над их головами.

Всегда и во всем он спорил с Петкиным. Потому, что больше всего в жизни, после самого дорогого, любил спорить. А тут ему стало нравиться все, что

нравилось Петкину. Даже пластинка с Шопеном.

Однажды он завел ее. Прослушал. Еще раз завел.

— А хороша! — сказал он. — Пусть пианино, а хороша!

— Богатая музыка, — заметил молчаливый Васильев.

С тех пор Полосихин часто заводил эту пластинку. Под нее хорошо говорилось.

— Война все проверит, — сказал он как-то раз Васильеву. Шопен только что отгремел на пластинке, и какая-то большая, хорошая мысль рождалась в голове Полосихина, но он никак не мог поймать ее словами. — Война и тебя самого проверит, и мать, и отца, и жену. Кого хочешь проверит.

Васильев молчал, но было видно, что разговор ему по душе.

— Вот, Васильев, — сказал Полосихин, — когда я совсем молодой был, полюбил я одну. Крепко полюбил. А потом — то да се — потерял я ее из виду. Где она? Потерял! И много я, Васильев, с той поры девушек любил. А теперь, как повоевал, как посидел рядом со смертью, вижу: только ее-то и любил по-настоящему во всю жизнь, да и она меня по-настоящему любила. Вот тебе и пойми!

Васильев молчал. Разговор ему нравился.

— Недавно я связь в роту тянул и под минный налет попал, — сказал Полосихин. — Крепкий налет. Уткнулся в грязь, лежу: ну, сейчас хлопнут! И вдруг — веришь, нет ли — вся жизнь для меня объяснилась. И кто мне враг, а кто друг. И где моя правда и где, обратно, моя неправда. И как мне после войны надо жить... Про Петкина вспомнил.

— Про Петкина?

— Да. Как делились с ним всем, как шли, как тонули, как восемь месяцев под одним одеялом спали. Тут я и понял, что он мне друг, закадыка. Вот почти сто друзей у меня в жизни было, а такого не было. Лежу под минами да друзей проверяю. Нет, лучше не было! Никто меня из друзей так не любил, как он. А ведь все ссорился с ним, ругался!

— Ругался, — сказал Васильев.

Помолчали.

— А не закрутить ли нам еще раз это самое пианино? — сказал Полосихин, указывая на петкинскую пластинку.

Объявился Петкин. Он вошел как-то раз вечером в землянку. Полосихин и Васильев обомлели. Петкин был весел и самоуверен, как всегда.

Расцеловались. Сели ужинать. Петкин рассказал про свои дела. Его вытащили из-под снега бойцы соседней дивизии и отнесли в свой медсанбат. Оттуда он попал в полевой госпиталь, затем в тыл. У него были подморожены ноги. Вылечился и вот вернулся к себе в часть.

Втроем они просидели почти всю ночь. Васильев молчал, а Петкин и Полосихин спорили. Спорили о медсанбате, о дорогах, об изоляции, о том, есть ли на свете страны, где не бывает дождей, о том, когда надо сажать картошку, о сапогах и об обмундировании.

Полосихин спорил яростно, изо всех сил. Спорил и глядел на Петкина сияющими глазами. Снова рядом с ним был друг. Друг, проверенный войной, — самая верная проверка на свете. Друг, который единственный выдержал испытание в день великой оценки всей жизни, тогда, под минами.

— Да ну тебя! Ничего ты не смыслишь! — кричал Полосихин.

— А ты смыслишь?

Под утро Петкин нашел своего Шопена и завел патефон. Он слушал пластинку, как всегда, безмолвно, восторженно.

— Игра! — сказал он, когда патефон отыграл. —

За сердце хватает! Одной души сколько!

— Что тут хорошего? — сказал Полосихин. — Просто игра на струнах. Один шум.

— Это шум? — Петкин был сильно рассержен.

— Шум и гром, — ворчливо сказал Полосихин, глядя на Петкина радостными, счастливыми глазами.

Честное слово, он рад был бы не спорить. Но не мог. Это было сильнее его.

Федор Васильевич Гладков

Между жизнью и смертью

В госпитале навстречу мне вышла вся белая, высокая сестра, чернобровая, с усиками.

— Вам Шаронова? — переспросила она, осматривая меня с тревожным раздумьем. — Не знаю уж, как… Он недавно прибыл… Состояние у него не из важных… Без разрешения врача как-то… А впрочем…

Мы пошли по коридору и через вестибюль углубились в другой коридор. В конце его сестра отворила стеклянную дверь и первая вошла в палату. Комната была белая, светлая: в огромные окна било золотое солнце. Вдоль стен стояли кровати. Сестра подошла к одной кровати направо и, беспокойно оглянувшись, приложила палец ко рту. В палате была тишина и сдержанное покряхтыванье. Я стал рядом с сестрой и обомлел. На меня смотрели в упор, не моргая, глаза слепого. Лицо было незнакомо — багрово-красное, в рубцах и болячках. Что-то было общее с Игнашей, но это был не Игнаша. Он улыбнулся далекой улыбкой, а глаза были неживые.

— Сестрица, вы… привели кого-то?.. Кто это?.. Ну-ка, подождите, подождите…

И он протянул ко мне руку, сосредоточенно думая и прислушиваясь. Этот родной голос, который не угасал у меня в душе, потряс меня до того, что я не мог стоять на ногах. Я рванулся к его койке и упал на колени.

— Игнаша!.. Родной мой!.. Братишка мой! Я здесь, у тебя… Милый, что ж это с тобой?.. Ты не видишь меня?..

— Коля! Коленька!.. — крикнул он, как мальчик, и схватил мою шею. — Братишка, радость моя!..

Мы смеялись, всхлипывали и не могли оторваться друг от друга.

— Игнаша, милый, ты не знаешь, что я пережил!.. Ведь мне сообщили, что ты погиб… И вдруг — твоя телеграмма…

— Ох, все было, Коленька… Чего только не было!.. И горел, и камнем летел вниз, и от немца удирал, и слепой по лесам и полям рыскал… И вот живу…

— Ну, как же, Игнаша! С глазами-то как же? Неужели навсегда?

— Ничего, ничего, Коленька!.. Как-нибудь выберусь… Я от немцев удрал, от огня отбился, в лесу не замерз… а уж слепым-то не останусь… Нет, Коля, нет… Но… но пока… пока — тьма…

Сестра погладила по русым кудрям Игнашу и с

воркующей нежностью в голосе сказала:

— Нет, вы обязательно… непременно будете видеть… Доктор убежден, что зрение скоро восстановится… Это — временно…

Ее хорошие глаза, темные от слез, ободряюще улыбались. Губы у нее вспухли от волнения, как у девочки. Она опять погладила волосы Игнаши и той же ласковой рукой провела по моему плечу. Потом оставила нас и склонилась над соседней кроватью.

— Но как же это получилось, Игнаша? Может быть, тебе нельзя говорить? Тогда не надо…

— Нет, почему же? Я ведь сейчас здоров, Коля… Только вот еще немного кровоточат ноги… пальцы отморозил…

Ну, да ведь это пустяки… А случилось просто.

Штурмовали скопления войск, эшелоны, аэродром… Ну, и, конечно, схватка в воздухе… Это был очень горячий бой… Я сбил два самолета, но тут же и меня подсекли. Загорелся бензобак… Ну, а это, знаешь, дело дрянь: огнем охватило весь самолет. Я пошел в штопор. Ну, думаю, конец! Решил было ударить в густую мотоколонну… Уже поджаривать меня стало… Потом разъярился. Нет, думаю, еще поборюсь. Не знаю уж, каким чудом выправил машину и понесся к своим лини-

ям. Вижу — не дотяну. Уже одежда стала дымить. А тут, кстати, лесок. Сумерки. Грохнулся я на одну полянку и даже удивился, как у меня это здорово вышло. Врезался в кусты. Машина ревет и стонет от огня. Признаюсь: сгоряча и не почувствовал даже, как меня обожгло. Выскочил — и в кусты, в лес, во тьму. Слышу — позади выстрелы, крики… Я в сторону. Так, как загнанный зверь, и метался, запутывая следы. Порою силы оставляли меня, и я делал невероятные усилия, чтобы не упасть. Снег, дремучие заросли. Потом с разбегу кувыркнулся куда-то в пропасть: глубокий овраг. Он-то меня, пожалуй, и спас от немцев…

Игнаша умолк, задумался и потом рассказал мне историю своего спасения до конца.

По дну этого оврага он, по пояс в снегу, бежал с полверсты, скрываясь в мелколесье, и очутился в долине. Затея Игнаша вышел на санную дорогу и побежал по ней не вниз, а вверх: внизу, несомненно, была деревня, а там — враги. Вверху рос густой лес. Очень хорошо был слышен топот, голоса, выстрелы; немцы побежали куда-то вниз, и голоса их и скрип снега под ногами замирали с каждой секундой. Игнаша опять побежал вперед и углубился в самую непроходимую чащобу. И вдруг что-то тинькнуло у него в голове, и в глазах

почернело: его окутала тьма, такая тьма, какой он никогда еще в жизни не знал. Он сразу понял, что ослеп. Понял и весь похолодел. Такого ужаса и безнадежности он не испытывал даже в тот момент, когда штопором летел вниз на горящей машине. Он упал в снег и застыл в отчаянии. Черная тьма без измерений, и он один в этой мгле, и нет никаких путей — всюду бездонная пустота. Так пролежал он с ужасом в душе, должно быть, долго, потому что почувствовал, что стал замерзать. И тут он опять забунтовал: «Пока живой, пока голова на плечах, до последнего вздоха буду бороться за жизнь…»

Рассказывая, он держал мою руку и слегка пожимал пальцы. Рука его была исполосована красными рубцами, а кожа глянцевая, тонкая, судорожно дышала, как молочная пленка. Он улыбался, как улыбаются слепые, и самому себе и куда-то вдаль. Подчиняясь этой его молчаливой, мерцающей улыбке, я сам молчал и даже дышал сдержанно.

Не оборачиваясь ко мне и смотря в ничто, он спросил:

— Ну, а ты… Коля, как жил?.. Как работаешь?.. Ты расскажи. У тебя ведь сейчас богатая жизнь… Я тут слушал радио: у тебя на заводе какие-то

большие победы…

— Но как же ты спасся, Игната? Ведь был в ловушке и немцы кругом и эта страшная тьма… Я не могу этого представить…

Он сконфуженно засмеялся, и этот смех был новый, едва слышный, смех про себя.

— Понимаешь, Коля… я как-то сам удивляюсь… Знаю, что ползу куда-то вперед, и знаю, что ползу туда, куда тянет… Так насекомое, верно, ползет. При каждом подозрительном шорохе я мгновенно зарывался в снег и лежал без движения. Ползя, вероятно, целые сутки. На расстоянии чувствовал открытое поле и забирался глубже в лес. И вот однажды я услышал далекий лай собаки и призрачный такой запах дыма. Не знаю, был ли день или ночь, потому что звуки и тишина ночью немножко иные — этакие отдыхающие, робкие, шепотком… Полежу, притаюсь, послушаю, а потом опять немного поползу. Боль в ногах: сначала была нестерпимая, а потом потухла. Понял, что пальцы отморозил. Наконец, слышу — человек с собакой разговаривает. Не разберу: свой ли, враг ли. Вынул я револьвер — приготовился. Жду и готов и к жизни и к смерти…

Он опять примолк, улыбаясь странной улыбкой озарения.

— Бывают в жизни такие мгновения… Мгновения нечеловеческие… это ужас… в лесу, когда ты — зверь в облаве. А вообще, Коля, в жизни ничего нет страшного, ничего… когда ты — владыка самого себя, то есть когда перед тобой какая-то большая цель… хотя бы подо мною — бездна, а впереди, и вверху, назади — враги… Летчики — немного философы…

— Ну, так что же дальше, Игнаша? — спросил я, наклоняясь к его лицу. Ужас, который так просто передал Игнаша, схватил и меня за сердце.

— Честное слово, Коля, в жизни ужасное и смешное неразделимы. Говорят: от трагического до смешного — один шаг. Нет, и трагическое и смешное — это одно и то же: с какой стороны посмотреть. Слышу — подбегает собака, обнюхивает меня, мечется, тявкает, как-то по-щенячьи, не то от радости, что нашла добычу, не то от нетерпения, что хозяин опаздывает. Чую — бежит человек. Кричу ему: «Говори сразу — кто?» Человек остановился и спокойно, низким басом гудит: «Свой, свой, не бойся!» Собака уже не лает, а повизгивает. Я не двигаюсь с места и настороженно спрашиваю: «А чем вы докажете, что свой?» Он смеется и гудит: «А ничем, как и вы же. Однако я знаю, что вы — наш…» — «Да меня, — го-

ворю, — по обмундированию можно видеть, кто я». — «Ну, — говорит, — обмундирование — это липа, немцы тоже здорово умеют маскироваться под русских. А сейчас, кстати, густая ночь: ни черта не видно». — «Ну, так вот, — говорю, — товарищ, я слеп, горел вместе с самолетом, сбежал от немцев… полз, кажется, целую вечность. Обморозился да и страшные ожоги. У меня — револьвер, но пока я вам его не отдам… для всякого случая». Он опять смеется. «Что ж, — говорит, — пожалуйста, не отдавайте. У меня у самого — автомат и гранаты». — «А вы кто?» — спрашиваю. — «А тут, — говорит, — недалеко партизаны. Я — в разведке. Услышал, что собака забеспокоилась, ну и пошел за ней. Только собака-то у нас ученая, на немцев не лает, а ведет молчком, будь они как угодно наряжены. А ежели русского чует — кричит и танцует. А теперь давайте руку, я поведу вас к себе: и перевязочку сделаем, и накормим, и поухаживаем, а потом видно будет». Вот тебе, Коленька, и повесть о моих блужданиях между жизнью и смертью.

— Ну, а где ты узнал, Игнаша, что ты Герой Советского Союза?

— Да, да… Так это правда? Коленька!.. Мне вчера комиссар сказал, да я как-то не совсем поверил…

Сестрица Лида!.. Где же!.. Это слишком много для первого раза… Ты подарил мне… себя… И вот это… Я еще такого счастья не переживал… Коля, мой родной! Если бы я мог увидеть твое лицо!..

Я обнял его.

— Успокойся, родной! Конечно, ты будешь видеть… Врач сказал, что твоя слепота — результат нервного потрясения. Ты успокойся! Полежи, отдохни…

К нам подбежала сестра и вынула из кармана газету.

— Вот вам, Игнатий Прокофьич! И портрет ваш здесь!..

Игнатий схватил газету и пощупал ее пальцами.

— В каком месте? Положите мою руку… Вот здесь!.. Прочти, Коля!

Я прочел ему текст указа, а он, потрясенный, смотрел куда-то вдаль и смеялся.

— Это… это — счастье… Колька, понимаешь ли ты, какое счастье?.. Лида, сестра! Мне кажется, что в глазах у меня радужные вихри… Пусть это — воспоминание об угасшем свете… но это — свет!

Сестра склонилась над ним, поправила его волосы. Игнаша взял ее руку и положил к себе на грудь.

Сестра мигнула мне, что нужно оставить его одного. И, положив руку на его волосы, я сказал ему тихо, как ребенку, что я приду к нему завтра, а теперь мне надо похлопотать о пристанище.

— Иди, иди, дорогой, конечно! — встревожился он.

Я ушел от него в слезах и слез своих не стыдился.

Вячеслав Яковлевич Шишков

Буря

Разведчик сержант Пантюхин к сумеркам был уже на месте. Он залег в оголенных кустах на берегу неширокой, метров в полтораста, реки. Одет он был на славу: добротный полушубок, длинные сибирские пимы, рукавицы из собачины, по-сибирски — «мохнатки». А сверх всего — белый маскировочный халат. Мохнатки да жилетка из беличьих лапок — подарок с родины, от милой сердцу далекой Сибири.

Глаз сибиряка зорок. Через падающий снег и вечернюю муть Пантюхин все, что ему было надобно, подметил. Противоположный берег довольно высок: пожалуй, метров двадцать с гаком. На берегу — сарайчик, бани, амбарушки. А дальше — большое село, опорный пункт неприятеля. Двое немецких часовых: один сидит на чурке, другой, вдалеке от него, ходит взад-вперед с винтовкой за плечами. Пантюхин рассматривает их в бинокль. В нем вдруг заговорило чувство охотника. Он тихонько подтянул к себе винтовку и сладостно взял на прицел того и другого. Но… стрелять нельзя.

Как раз против Пантюхина за рекой каменная

церковь. Купол поврежден снарядом, стекла выбиты. Церковь на самом обрыве. Обрыв крут, почти отвесен и — что за чертовщина такая! — весь обледенел. Очевидно, немцы обильно поливали его водой и превратили весь обрыв, протяжением метров шестьдесят, в трудноодолимую преграду. Поэтому двойной ряд проволочных заграждений, идущий поверху, вдоль бровки берега, заканчивался возле ледяного обрыва, упираясь слева в колокольню, справа в каменную церковную ограду. Пространство с ледяным откосом немцами не окарауливалось, они считали это место неприступным.

— Вот тут-то ты, немец, и просчитался, — сказал себе Пантюхин. — Для тебя твердыня, а для нас дако-сь наплевать... Здесь залезать! Ногти обломаем, зубы об лед расшибем, а взберемся. Займем церковь, натворим долов...

Только за что бы зацепить петлю? Среди надмогильных крестов возле церкви чернеет большой каменный памятник. Нет, не выдержит, пожалуй, сковырнешь. А вот торчит невысокий ствол срезанной снарядом березы. И как раз против колокольни. Место заметное. На нее-то, на эту березу, Пантюхин и забросит среди ночи петлю.

Возвратившись в свою часть, Пантюхин сде-

лал обстоятельный доклад о произведенных им розысках.

— Одобряю, — сказал начальник. — Только смотри, трудновато будет по ледяной стенке-то лезть.

— Слов нет, трудно, товарищ начальник, — ответил Пантюхин. — Ну, да ведь мы, сибиряки, как никто, справимся, мы привычны. Ежели дозволите доложить, я сам родом-то с Алтаю, а почитай, все наше село зверя промышляет в белк*а*х. Ну, нам зимой доводится и по ледяным скалам лазить.

— Ну, хорошо, — перебил его начальник, — а чтобы тебе было все ясно, слушай. Наш фронт на днях переходит в наступление. Чтобы обезопасить себе правый фланг, нам надо в первую голову взять это село. Но силы нашей части, сам знаешь, невелики. Маловато… Однако погода нам как будто покровительствует, барометр стоит низко и идет на снижение. Надо ждать снежной бури… И, понимаешь ли, Пантюхин, этим обстоятельством необходимо воспользоваться. Ну, ладно… Займешь ты с отрядом церковь. А как дальше будешь действовать? Давай-ка смекнем.

— Да уж положитесь на нас, товарищ начальник, — проговорил Пантюхин. Он был рослый

парень с открытым добродушным лицом, обрамленным белокурыми волосами. — Заранее сказать трудно, товарищ начальник. Само дело покажет.

Сержант Пантюхин был человек испытанный, имел боевой орден и пользовался большим доверием. Получив ряд практических указаний от начальника, Пантюхин поспешил в кузню, собственноручно выковал два больших острых крюка на манер орлиных когтей.

И вот двадцать молодых сибиряков под началом сержанта Пантюхина двинулись в поход. Идти было до села верст пять, но это не расстояние, к полночи придут. А вот беда — сильный ветер начинается и снег густо повалил, того гляди буран хватит, как в Сибири.

— А что, буран — хорошо, — сказал, шагая рядом с Пантюхиным, самый молодой из отряда, скуластый черноглазый Смекалов Колька. — По крайности никто не приметит нас, подойдем, как миленькие.

— Подойти-то подойдем, — возразил ему Пантюхин, — а вот как петлю-то забросим, вот ты что толкуй…

— За-а-бросим, — самонадеянно протянул Смекалов, — лиха беда подойти!

— Нет, брат Коля, у тебя еще мысль-понятие плохое. Нешто не видишь, как ветром-то снег метет?

Где-то далеко-далеко прогудел едва слышный пушечный выстрел. А вот и река с селом. Снег валил все гуще и гуще. Ветер крепчал. Вьюга усиливалась.

Над низкими тучами блуждала луна. Хотя ее и не было видно, однако она давала кой-какой свет. Поэтому через крутящуюся сеть снега можно было различить темное очертание колокольни, значит, можно в точности знать, где наверху торчит ствол сломанной березы.

Расставив дозоры, Пантюхин подвел красноармейцев к ледяному откосу, снял с себя халат, сложил аркан кольцами и швырнул петлю наверх, по направлению к березе. Но ветер подхватил петлю на лету, как паутину, и сбросил на землю. Сержант подтянул аркан, опять сложил его кольцами и снова швырнул вверх, покруче. Однако и на этот раз ветер не дал петле взлететь на обрыв. Пантюхин, злясь на непогодь, привязал к петле камень. Уж теперь-то долетит аркан… Не тут-то было. Ветер издевался над привязанным к петле камнем, над опечаленным сержантом, ветер как бы играл в руку немцам. Сержант еще

несколько раз безрезультатно швырнул петлю и, упарившись, с неприязнью посмотрел в скуластое лицо стоявшего возле него низкорослого Смекалова.

— Дай-кось мне, — сказал Смекалов и трижды подряд тоже пробовал закинуть петлю.

Ветер проносился между берегами, как в трубе. Он крутился, завихоривал, вздымая буруны летучего снега. Ветер шел толчками: то на мгновение стихнет, то ударит и ринется вперед, как сорвавшийся с цепи неукротимый зверь. Деревья наверху, у церкви, качались и гудели. Был шум, сумятица, белая липкая кутерьма, светопреставление. Началась снеговая буря, по-сибирски — буран. Горе тому, кого застигнет буран в чистом поле.

Сквозь шум, вой и треск слышались справа и слева крикливые придушенные голоса. Это немцы проверяли в и очное время свои караульные дозоры.

Раздумывать некогда. Надо действовать. Надо по-иному брать в лоб эту неприступную ледяную стену. Пантюхин на высоте полутора метров от земли быстро прорубил во льду приступку, залез на нее и стал врубаться выше. При помощи острого крюка, этого орлиного когтя, он уцепился за

ледяную крутизну выше головы и, прорубив третью ступеньку, залез на нее. И когда с огромным трудом он добрался до половины высоты, упругий взмах ветра сбросил его вниз, как таракана. Он поднялся. В груди его кипела злоба.

— Видали мы такие бураны… Врешь, не поддамся! — бубнил он, стискивая зубы.

Пантюхин сорвал с себя полушубок, сбросил пимы, остался в меховой жилетке, в толстых шерстяных носках и снова устремился на борьбу.

Рядом с ним, тоже вооруженный киркой и крюком, взбирался по ледяному откосу маленький и подвижной Смекалов.

Едва долез Пантюхин до третьей своей зарубки и стал долбить четвертую, как его с прежней силой смахнуло наземь. Вслед за ним закувыркался и Смекалов.

— Ну, как, помогает буран? — с сердитой ухмылкой бросил Пантюхин своему товарищу.

— Язви его в печенку, в селезенку… — растерянно буркнул Смекалов, растирая ушибленную коленку. — Смотри, парень, замерзнешь… чего ты разделся-то?

— Так сподручней, — ответил Пантюхин.

И вот они, разгоряченные борьбой, с новым рвением устремились на ледяную твердыню.

Налетевший шквал ветра опять опрокинул Смекалова в глубокий сугроб. А Пантюхин, весь впившись в откос, кой-как удержался. Полуразутыми ногами он твердо стоял на зарубке, правой рукой крепко держался за крюк, вбитый над головой в глыбу льда, а левой — судорожно вцепился в торчавшую из откоса обледенелую чурку. Осторожно, чтобы не потерять равновесия, он поднял голову и, весь сотрясаясь под ударами бури, приметил, что до верха осталось всего метра четыре. Еще одно-другое усилие — и твердыня взята.

Тем временем бойцы внизу зашевелились, забегали, сгрудились. Смекалов, выпроставшись из сугроба, увидел, что кем-то брошенная наугад петля зацепилась вверху. Смекалов, позабыв все на свете, в дикой радости было заорал: «Ура!», но ему тотчас заткнули рот рукавицей. Опамятовавшись, он сказал:

— Я самый легкий, давай я полезу.

И вот он с большим проворством и ловкостью стал быстро забираться по аркану вверх.

Пантюхин, видя это через белую мглу бурана, затаился, ждал, что будет дальше. Вдруг аркан Смекалова стал сдавать-сдавать, и к ужасу всех, Смекалов с полдороги закувыркался. Следом за ним кувыркался вперевертб большой деревянный

крест, вывороченный с чьей-то могилы.

— Фу ты, черт! — озлобленно, сквозь стиснутые зубы забурчали разведчики.

Пантюхин, смачно выругавшись и ловя моменты между ударами бури, стал долбить киркой предпоследнюю ступеньку. Упорная надежда на скорый конец схватки и в то же время черный страх за неудачу боролись в нем. Ветер насквозь пронзал его тело, но он этого не замечал; он благополучно поднялся еще выше и теперь ясно почувствовал, что наконец-то он одолеет бурю. Оставалось последнее усилие. Ох, этот проклятый ветер! «Держись!» — мысленно сам себе скомандовал Пантюхин и весь влип в ледяной покров. Яростный порыв ветра, крутя буруны снега, с маху хлестнул его и с воем умчался дальше. Привычный глаз бойца приметил свисавший над головой жгут древесного корня. Вот оно, спасение! Он, боясь сделать неловкое движение, наспех прорубил еще последнюю ступеньку, кой-как укрепился на ней закоченевшими ногами, схватился за корень и, напрягая силы, потянулся железным крюком к небольшому пню над головой, чтобы зацепиться за него и выскочить на самый верх.

Но в этот миг налетел такой неимоверной силы

шквал ветра, что все на земле и в небесах загудело, промерзший сучок в руке Пантюхина треснул, как лучина, ноги соскользнули с зарубины, и он сам, оберегая голову, стремительно заскользил по откосу вниз.

Пантюхин упал в сугроб, уткнулся лицом в пригоршни и чуть не заплакал от злобного отчаяния, охватившего его душу. Но это были лишь недолгие мгновения. К нему подбежали товарищи. Он поднялся, бодрый и негнущийся. Прилив несокрушимой воли снова сверкал в его глазах. Ему подали пимы и полушубок. Он оделся и начал взад-вперед бегать, чтобы согреться. И тут только заметил, до какой степени ему было холодно. У каждого бойца стоял в мыслях один и тот же вопрос: так неужели же им не суждено выполнить задание? Лишь у Пантюхина была непреложная уверенность, что весь его отряд скоро будет в церкви. Он собрал бойцов в кучу и сказал им:

— Когда я лазил наверх, то заметил вправо от себя небольшую площадку на откосе, примерно в середине высоты. Мы ее сейчас возьмем.

Пантюхин подвел бойцов к намеченному месту и четверых, самых крупных и высоких, поставил вплотную спиной к откосу. Трое следующих встали им на плечи, двое — на плечи тем, потом

залез на плечи этих двух один. И, наконец, с шуткой, прибауткой покарабкался вверх по живой стене щупленький Смекалов. Когда, с риском обрушиться, он забрался на плечи последнего бойца лицом к откосу, действительно обнаружил на уровне своей груди площадку. Это был небольшой выступ каменистой скалы, покрытый толстым слоем льда. Желанное слово «площадка» стало передаваться негромко сверху вниз.

Смекалов суетливо вырубил киркой лед, залез на площадку, укрепил конец аркана за камень и сбросил аркан вниз. Один по одному, цепляясь за аркан, поднялись к Смекалову четверо, среди них Пантюхин.

Буран стал стихать, но все еще пошаливал. Серая снежная муть, крутясь, пролетала мимо разогревшихся движением бойцов. До верха оставалось значительно меньше половины. И снова тот же способ, как внизу, но с большей осмотрительностью, чтобы не сорваться: трое, двое, один — и на плечи ему еще один — Смекалов.

«Ура!» Сердце его часто забилось… Он протянул вперед крюк на длинном шесте, зацепил им за какую-то неровность и, проворно подтянувшись по шесту, выскочил на самый верх. Он выскочил наверх и стал в радости приплясывать, крутить-

ся, как алтайский кам-шаман.

Все поднялись с двумя ручными пулеметами, автоматами, запасом гранат и патронов. Кладбище возле церкви было тщательно осмотрено. Пантюхин пересчитал бойцов:

— Восемнадцать… Я девятнадцатый. А где же Бородатых Иван?

Снова где-то очень далеко едва слышно зевнула пушка. Ветер почти стих, но снег продолжал обильно падать. Из мутной сутемени вдруг выплыл Иван Бородатых. Широкоплечий, но небольшого роста, он тащил — спина на спине — долговязого немца, пятки которого волочились по земле. Иван Бородатых, сбросив немца на землю, разогнулся и сказал:

— Фу, упарился…

Бойцы залезли в церковь через окно. Связисты протянули телефонный провод. Работали с ручным фонариком. Пантюхин стал опрашивать пленника… Вскоре Пантюхин кричал в аппарат:

— Алло! Алло!..

Он дал командиру части нужные сведения. В конце переговора командир сообщил: «Через час выступаю».

Пантюхин собрал бойцов и сказал:

— Вот что, друзья… Через полтора часа наша

часть будет здесь, на месте. А немцев тут пятьсот штыков, да три танка, да две малокалиберных пушчонки. Значит, сами понимаете, товарищи, каждому из нас, разведчиков, надобно работать за десятерых. Помните, враг силен… А теперь, ребята, шпарь пулеметы на колокольню. Снайперы, выбери себе места!..

Еще не совсем рассвело, как возле села загрохотали пушки и минометы советской воинской части, подошедшей под прикрытием густого снегопада. Первые снаряды удачно ударили в дом, где находился штаб. Дом загорелся. Еще вспыхнули соломенные крыши на трех избах. Среди немцев, не ожидавших наступления, поднялась невиданная паника. С дикими лицами они выскакивали из жилищ, на бегу одевались и, ослепленные пожаром, как очумелые, бросались во все стороны. Бой был недолог. Бежать удалось немногим. Среди большого количества пленных был начальник штаба барон Муфель. Отряд Пантюхина потерь не имел.

Борис Андреевич Лавренев

Универсальная система

Лейтенант Седельников был сбит на рассвете над широкой таврической степью, покрытой дымкой утреннего тумана, у самого побережья сивашских озер, поверхность которых поблескивала сизым отблеском стали.

В самом происшествии не было ничего необычайного и позорного для лейтенанта.

Седельников летел в свой обычный рейс на южный берег Сиваша, где на крошечном плацдарме зацепилась советская пехота, чтобы использовать этот песчаный пустынный трамплин для следующего удара. Летел на своем залетанном и заплатанном, видавшем всякие виды самолете, неутомимом труженике — «огороднике». Эти старые, но неугомонные в работе и отваге самолеты «У-2» сами летчики вспомогательной эскадрильи любовно-иронически называли «системой едва-едва». Однако они летали на этой системе в любую погоду и при любых обстоятельствах и неохотно меняли свои заслуженные «бандуры» на другие марки.

Седельников летел на «едва-едва». Сбивший его немец разгуливал в небе на мощно вооруженном

скоростном «Фокке-Вульф-190». Соотношение противников можно было приравнять к схватке тигра с черепахой.

«Фокке-Вульф» чертом упал сверху на добродетельно тарахтевшего над самой землей Седельникова. Лейтенант изо всех сил прижимался к земле, цепляя колесами седые метелки ковыля, но это не помогло. Немец обдал самолет Седельникова вихрем зажигательных очередей. Перкалевые плоскости вспыхнули, как промасленная бумага. Отворачивая лицо от хлещущих языков пламени, Седельников выключил мотор и, даже не пытаясь войти в вираж, чтобы сесть против ветра, так как для виража не было уже ни времени, ни высоты, зажмурив глаза, посадил машину в нетронутую таврическую целину, недалеко от широкого, укатанного грейдера.

Ноги шасси с треском лопнули, как спички. Самолет проехал пузом по земле метров около ста и повалился на левое крыло. Из лопнувшего на днище фюзеляжа посыпался груз, и когда лейтенант обернулся, то увидел материальный след катастрофы в виде разбросанных консервных банок, пулеметных лент и прочего боевого имущества, которое Седельников должен был выгрузить на другом берегу Сиваша.

У Седельникова заныло сердце, но предаваться сожалениям было некогда. Он выскочил из кабины и несколько минут отплясывал в дыму и огне, хлопая рукавицами по пылающим плоскостям, чтобы погасить пожар. Наконец ему удалось сбить пламя. Сорвав тлеющие рукавицы, он беспокойно посмотрел на небо, ожидая второго захода врага, который, безусловно, должен покончить и с подбитым самолетом и с летчиком. Но немец даже не счел нужным возвращаться. Он видел, как вспыхнула старая машина, как она плюхнулась на землю, и, видимо, считал, что дело сделано до конца. Теперь он летел где-то далеко, может быть, весело насвистывая от такой легкой победы.

Убедясь, что новых неприятностей сверху не предвидится, Седельников снял шлем, вытер закопченное лицо, приложил платок к разбитому лбу, чтобы остановить кровь, и с тоской взглянул на серое небо, маячащее над его головой сквозь дырки в обгорелых плоскостях.

На душе у лейтенанта было мутно. Во-первых, он не выполнил задания. Конечно, за это никто не станет особенно обвинять его. Бой, если можно назвать боем пиратский налет хорошо вооруженного хищника на беззащитную транспортную

машину, не мог иметь другого исхода. Таврическая степь — не северная земля, где можно скрыться от преследования, пыряя в перелесках, между березами и соснами. В степи все видно, как на тарелке, и еще хорошо, что ему удалось благополучно посадить самолет и уцелеть самому.

Но все же будущее предстало перед лейтенантом в самом неутешительном свете.

Он вздохнул, обошел вокруг перекошенной «системы», вылез на плоскость, внимательно осмотрел мотор и убедился, что он цел. Но и это не утешало.

Чинить обгорелого ветерана не станут в такое горячее время. Значит, прощай полеты. Значит, придется сидеть у моря и ждать погоды, пока получишь новый самолет. В это время остальные летчики будут летать за Сиваш. А «собственный батальон» Седельникова напрасно будет ждать «своего» летчика, к которому привыкли бойцы и командиры, которого они так дружественно встречали на крохотной посадочной площадке, весело разгружая «систему» и насовывая Седельникову в карманы десятки писем родным и друзьям на Большую землю. Будет теперь летать к его батальону кто-нибудь другой, и он расскажет в ответ на любопытные вопросы о катастрофе

Седельникова, и батальонцы, пожалуй, станут посмеиваться над своим незадачливым воздушным извозчиком.

Лейтенант стиснул кулаки и пересохшими от жара и волнения губами послал в пустое небо, где скрылся враг, несколько энергичных напутствий. Отведя душу, он подумал, что нужно отправляться на аэродром и позаботиться о доставке туда же поврежденной «системы».

Нахлобучив шлем и скользя по размокшей от дождя глинистой земле, Седельников побрел к грейдеру. Там он сел на камень, свернул папироску и стал ждать. Спустя четверть часа с запада показался тяжелый «додж». Седельников встал и поднял руку. «Додж» затормозил, елозя колесами по грязи, съехал боком к канаве у края грейдера. Сидевшие в кузове красноармейцы столпились у одного борта. Шофер открыл дверку кабины и высунулся.

Седельников коротко объяснил суть дела, и красноармейцы дружной гурьбой вылезли из грузовика и пошли за лейтенантом к самолету. С шутками и смехом они подлезли под плоскости, подперли их плечами и потащили машину на костыле к дороге. Там они взгромоздили ее на платформу грузовика, притянули веревками, и

беспомощная «система» уныло поехала на грузовике к родному аэродрому. Седельников хмуро сидел в кабине рядом с шофером и не слушал утешений.

Как и ждал Седельников, командир эскадрильи капитан Токарчук, старый волк гражданского воздушного флота с тремя значками на груди, свидетельствующими о том, что он налетал за свою воздушную жизнь девятьсот тысяч километров под всеми небесами, выслушав обстоятельный доклад лейтенанта, закусил седеющие подстриженные усики и мрачно сказал:

— Понятно… Сходи к начхозу и выбери себе подушку помягче.

— Зачем? — растерянно спросил лейтенант.

— А что ж тебе теперь делать, как не спать? Отлетался! Я самолетов не рожаю. Пришлют другой — полетишь. Не пришлют — учись варежки вязать. Все-таки дело будет.

Лейтенант ушел в явно растрепанном душевном состоянии. Он лег в общежитии на койку, повернувшись спиной к окну и натянув на голову одеяло, чтобы не слышать гула моторов и не видеть садящихся и взлетающих «систем» эскадрильи, на которых продолжали работать его друзья. Злая обида грызла лейтенанта. Он

даже не пошел обедать и на шутливые обращения летчиков огрызался, как денной барбос из будки, что было совершенно не в его характере, всегда открытом и добродушном. Видя, что человек совершенно выскочил из колеи, товарищи оставили его в покое, и он пролежал неподвижно до ночи.

Ночью Седельников вышел из общежития на улицу. Деревня спала в ночном мраке. К вечеру ветер разогнал тучи, и темно-синюю высь вызвездило крупными и ясными золотыми огоньками. В тишине только слышался легкий шуршащий звук воды. Это за краем деревни мелкие волны Сиваша, шелестя, лизали наглаженный и плотный, как асфальт, песок. Седельников вышел за огороды к самой воде и присел на бугорок, поросший сухим молочаем и колючками. Перед ним простиралась темная поверхность воды, уходящая к горизонту. Над горизонтом изредка мигали острые розоватые вспышки артиллерийского огня, и ветер доносил глухой гул.

Там, в каких-нибудь сорока километрах, пехота, закрепившаяся на пятачке плацдарма, отбивала вражеские атаки. Там дрался «собственный батальон» лейтенанта Седельникова. Сегодня батальон не получил консервов и боеприпасов, и

Седельников представил себе, как огорчены его друзья отсутствием летчика и его «системы», к которым бойцы привыкли, как к чему-то родному и своему.

И только эта пустыня едко-соленой, насыщенной воды отделяла лейтенанта от батальона. Переплыть эту воду и…

Внезапно Седельников вскочил с бугра, пробормотал что-то несвязное и быстрыми шагами пошел, почти побежал, через огороды к домикам деревни. У хаты, в которой жил командир эскадрильи и которая одновременно служила помещением для штаба, он остановился на мгновение, словно в нерешительности, но потом упрямо мотнул головой и решительно нажал щеколду.

Капитан Токарчук доканчивал ужин и вопросительно поднял голову от тарелки с жареной камбалой.

— Разрешите обратиться, товарищ капитан? — быстро и нетерпеливо сказал Седельников.

— Что за спешка? — спросил Токарчук, прищуриваясь на возбужденное лицо лейтенанта. — Чего волнуешься? Нет у начхоза хорошей подушки? Возьми мою!

Но Седельников не заметил командирской

шутки. Он вертел в руках пилотку и смотрел на капитана упрямым и горячим взглядом.

— Товарищ капитан, разрешите доложить предложение… то есть план… соображение… — также быстро выговорил он, сбиваясь.

— Спокойнее, — сказал Токарчук, — и точнее. Что именно: предложение, план или соображение? Все-таки вещи разные. И, кроме того, сядь, — улыбнулся он, — не торчи мачтой.

Лейтенант послушно сел.

— Товарищ капитан, разрешите взять поплавки? — он просительно заглянул в глаза командиру эскадрильи.

Токарчук отодвинул тарелку и повернулся всей фигурой к летчику.

— А ты, видать, всерьез ушибся, — сказал он соболезнующе, — сходил бы к лекарю. Какие тебе поплавки? Рыбку после войны будем ловить, на отдыхе!

— Я, товарищ капитан, не про те поплавки, — тихо и серьезно произнес лейтенант, — я про самолетные.

— Самолетные? Еще того чище! Скажи на милость, что ты с ними делать будешь?

Седельников помолчал, собираясь с мыслями и стараясь успокоиться, чтобы толково объяснить

командиру то, что для него самого стало совсем ясным.

— Не могу, товарищ капитан, без дела сидеть. Я же с тоски издохну. И там ведь, — он ткнул рукой в направлении маленького окна хаты, — там, в батальоне, ждут, а меня нет… Я сейчас на берегу это сообразил… Плоскости у меня сгорели — это верно. Летать не могу… Но мотор цел? Цел… Рули есть? Есть! Я живой? Живой! — лейтенант выдержал паузу и решительно закончил: — Разрешите, товарищ капитан, поставить машину на поплавки. Я из нее пока глиссер сделаю. Буду ночью по Сивашу ходить. На воде меня ни один черт не увидит, А в темноте я вполне к батальону обернусь и обратно…

Он оборвал свою взволнованную речь и, внезапно побледнев, с раскрытыми и вздрагивающими губами, не отрываясь, смотрел в глаза Токарчуку. И капитан, прошедший большой жизненный путь, спокойный и опытный человек, понял, что перед ним раскрывается в жажде работы и подвига двадцатилетнее горячее сердце, в котором кипит лавой любовь к своему делу и к Родине, ненависть к врагу, желание вложить всю свою нерастраченную силу в боевой труд. И как ни фантастично показалось Токарчуку то, что го-

ворил лейтенант, он подумал, что этот юноша сломает все препятствия, чтобы фантазия стала реальностью.

Но по обязанности старшего и командира он счел нужным сказать:

— Где же это видано, лейтенант, чтоб на самолете по болоту плавать?

— А вы разрешите, товарищ капитан!

Токарчук задумался, подперев ладонью подбородок и любуясь исподтишка озаренным надеждой и волнением лицом Седельникова. Потом он встал и оправил снаряжение.

— Можете попробовать, товарищ лейтенант, — сказал он официально и строго. — Посмотрим, что выйдет.

— Разрешите идти? — спросил Седельников тоже официально и, отчетливо повернувшись, вышел из комнаты.

Весь следующий день Седельников не отходил от своей «системы», на которую техники, пожимая плечами и втихомолку пересмеиваясь, прилаживали поплавки. Ночью «едва-едва» вытащили на берег и спустили на воду. В неверном ночном свете самолет, покачивающийся на воде, с ободранными скелетами плоскостей, выглядел странно и нелепо. Но не обращая внимания на

шуточки, Седельников приказал грузить продовольствие и боеприпасы. По колени в воде красноармейцы таскали ящики. Когда было все погружено, подошел Токарчук.

Седельников взял под козырек:

— Разрешите отправление, товарищ капитан?

Глаза лейтенанта даже в темноте блестели упрямым и уверенным огоньком, и капитан почувствовал, как он сам заражается этим прекрасным упрямством.

— Разрешаю, — сказал он, и ему захотелось обнять Седельникова, но он удержался и только по-отечески тепло сказал: — Только смотрите в оба. Все-таки не в воздухе. Тоже мне… адмирал!

Седельников влез в самолет. «Система» затарахтела, от поплавков разбежались волны, и через минуту легкая тень растаяла в темноте.

Капитан постоял на берегу, покачал головой и пошел к себе.

Утром его разбудил стук. Он встал с постели, прошлепал босыми ногами к двери и откинул крючок. На пороге стоял лейтенант Седельников.

— Товарищ капитан! — голос лейтенанта был громким и напряженным. — Лейтенант Седельников боевое задание выполнил. Груз в батальон

доставлен.

— Так, — сказал капитан и вдруг, шагнув вперед, стиснул Седельникова могучим объятием. — Эх, и парень же! Мне бы такого сына… Ну, как слетал, то есть сплавал?

— Отлично, — ответил Седельников, немного смутясь от командирской ласки. — Как на салазках прокатился. Честное слово, товарищ капитан, такой машины, как наш «У-2», во всем мире больше нет… Это не машина, а универсальная система. Прямо вездеход.

— Ладно, — сказал Токарчук, — иди переодевайся и приходи. Я тебя чайком напою, вездеход.

Евгений Захарович Воробьев

Пехотная гордость

В злую распутицу после марша по грязи шинель пехотинца весит без малого пуд. Полы ее, как серая жесть: теперь уж ее не чистить, а разве что скоблить.

И вот Матвей Иванович Катаев сидел у костра и кинжалом брил шинельное сукно. Грязь, словно мыльная пена, густо скапливалась на лезвии. Катаев то и дело обтирал кинжал о ветку.

Плюхин принялся разжигать костер, но костер брался нехотя, и как ни жались к огню бойцы, грязь на шинелях не просыхала.

— У танкистов иначе, — невесело сказал Плюхин и прищурился, он всегда щурился, когда сердился, завидовал или когда слушал кого-нибудь и был с ним не согласен. — Танкист плеснет на щепки бензину самую малость — и будьте любезны! У них костры знаменитые… Вообще не чета нашей пехтуре. Мы все пешедралом, а танкист день-деньской повоюет и сапог не запачкает.

— Что и говорить! — поддержал Катаев; он вздохнул, провел пальцем по лезвию кинжала и вложил его в ножны. — У них от ходьбы ноги

не ломит.

Плюхин знал, что Матвей Иванович мечтал попасть в танкисты и даже просил об этом в военкомате у очкастого писаря. Но, как говорил сам Катаев, «не вышло по причине пожилого возраста». А при чем тут, спрашивается, пожилой возраст, когда ни седины, ни сутулости, плечи — дай бог каждому? Человек суровый, неразговорчивый, Катаев к своей пехотной жизни относился, как мастер к черной работе не по специальности, которую тем не менее нужно делать хорошо.

Сперва друзья съели всухомятку пшенный суп. Затем Плюхин полез в мешок и достал еще какой-то концентрат. Но бойцы не успели и обсушиться, как рота поднялась по боевой тревоге и развернулась цепью правее поселка и березовой рощи «Круглая». Бойцы знали, что за рощей находится деревня, что в ней немцы, а рота наступает на деревню с фланга.

Плюхин не любил оставаться в бою один. Еще стоя в строю, он решил держаться поближе к Матвею Ивановичу, так как воевал сегодня без второго номера. Но когда Плюхин переполз через дорогу, залез в кювет и осмотрелся, Катаева поблизости не было. «И когда успели разми-

нуться? — огорчился Плюхин. — Еще у мостика Матвей Иванович был слева. Может, он ушел с теми добровольцами заглушать пулемет?..»

Плюхин полз вперед. Он уже давно успел вспотеть, запыхаться и слышал учащенное биение сердца, но, как всегда, не отставал от других. Вот он выполз, наконец, на бугор и заметил, что очутился на деревенских огородах.

Немцы сбегались из огородов на деревенскую улицу. Фигуры солдат были хорошо видны в просвет между домами. Плюхин ловко прошмыгнул в баню, вышиб оконце и открыл огонь. Он расстрелял один диск, затем второй, осмотрелся и не поверил глазам: до чего эта ветхая банька была похожа на его собственную — дома, в колхозе.

Еще больше озлившись, Плюхин вновь занял свою позицию у окна. Враги заметили ручной пулемет и начали окружать баню, заходя сзади, где плетень подходил к строению. Плюхин увидел троих за плетнем. Ворваться в баню они не решались. Подбежал еще один с нашивками на рукаве, достал гранату, вставил в нее запал, но Плюхин опередил его. Он появился на пороге бани и шарахнул гранату точно за плетень, на грядки. Трое фашистов остались лежать за плетнем, а один, с автоматом на шее, прижимая окровавленную

руку к бедру, бросился вперед к бане.

Плюхин встретил его страшным ударом кулака «под вздох» и пристрелил…

Через минуту Плюхин лежал за плетнем и вел огонь из пулемета по задам деревни, по огородам. На деревенской улице шумел наш танк, и гитлеровцы бежали от него врассыпную; они перепрыгивали через плетни, скатывались кубарем с крутого склона в овраг.

Плюхин вскочил и побежал вперед. Он бежал с разряженным пулеметом на плече и орал что-то во все горло. Радостное нетерпение делало невесомым пулемет и легким дыхание. Это было великое ощущение победы, когда начинаешь дрожать от трепетного восторга, слышишь каждый толчок сердца, переполненного счастьем, чувствуешь, что слезы вот-вот выступят на глазах, и готов броситься на землю и целовать ее, целовать. А потом вскочить и бежать без устали вдогонку за убегающим врагом по этой вот рыхлой после дождя родной земле, которую ты сам только что отвоевал и на которой враг оставил отпечатки своих кованых сапог.

Нет большего счастья, чем собственноручно поражать врага, видеть, как враг падает на землю, чтобы никогда не встать, как бессильно разжима-

ются ненавистные пальцы, держащие оружие…

И Плюхин понял, что ради одного этого праздничного и гордого мгновения стоило пережить все невзгоды: выгребать котелком воду из окопа, тащить на своем горбу пехотное имущество и прошагать на запад сотни километров по дорогам и без дорог.

Командир батальона тотчас же после боя поблагодарил Плюхина от лица службы, сказал, что представляет его к награде, и Плюхин почему-то не особенно этому удивился.

Но все-таки ему не терпелось поделиться с кем-нибудь новостью, и он отправился искать Катаева. Он обошел немецкую траншею, выступ за выступом, исшагал вдоль и поперек деревню, заглянул даже зачем-то в колодец и в ту самую баньку, где воевал, но Катаев как в бездну канул.

Уже вечером Плюхин хотел навести справку у взводного младшего лейтенанта Старцева, но тот, оказывается, был ранен и отправлен в госпиталь, а новый командир взвода Косынкин только неопределенно развел руками.

После боя товарищи стали относиться к Плюхину предупредительно, и кое-кто уже величал его Степаном Степановичем. Но все это не радовало. Он чувствовал себя одиноким и только

теперь понял, как сильно успел, в сущности, за эти месяцы привязаться к молчаливому Матвею Ивановичу…

Катаев тоже не заметил, когда он разминулся с Плюхиным. После того как он вместе со Скуратовым заглушил дзот, они вели огонь из окопов, отбитых у немцев, а потом достигли мостика, скрытого крутым скатом бугра.

Через несколько минут сюда примчался наш танк, разгоряченный боем. Заправочная машина ждала танк за холмом. Танкисты в скорбном молчании подняли из люка и перенесли в машину безжизненное тело молодого танкиста: голова мертво откинулась назад. Затем танк залили горючим, снабдили припасами.

Командир, весь в копоти и саже, снял шлем, смахнул со лба черные капли пота и, подойдя к младшему лейтенанту Старцеву, стоявшему рядом, козырнув, сказал:

— Хочу попросить у пехоты помощи. В порядке взаимодействия. Иду вам шлях расчищать, а заряжающего нема. — И добавил тихо: — Потеряли мы Рублева.

— У нас специалистов нет, — сказал взводный Старцев.

— И не треба! Нам бы доброго человека. Чтобы

под огнем не тушевался.

— Ну, что же, — согласился Старцев, — дам вам от пехоты представителя. В порядке взаимодействия. — Он обвел взглядом своих бойцов.

— Пошлите меня! — попросил Катаев.

— Тебя? — взводный подумал. — Ну, что ж, иди. До окончания боя будешь под началом вот этого командира. Отделенному скажу сам. Потом явишься.

Танкист недоверчиво осмотрел Катаева с ног до головы, и по всему было видно, что он не очень-то доволен выбором пехотного лейтенанта. Молодой Скуратов, стоявший рядом, казался ему, на взгляд, более подходящим.

Катаев стал неумело карабкаться на машину.

— Винтовку куда же? — спросил танкист, мрачно наблюдая за всей этой сценой.

— Нам без винтовки никак нельзя, — виновато объяснил Катаев.

— А без штыка? — насмешливо спросил танкист.

Катаев снял штык; ему было стыдно своей недогадливости. Он залез в люк, позднее там же исчезла и винтовка.

Машина Ковша — так звали чумазого командира танка — оказалась в самом пекле боя.

Заряжающий стоял внизу, в тряской черной темноте, освещенной лишь лампочками приборов.

Ковш показывал большой палец, и Катаев доставал осколочный снаряд; Ковш показывал указательный палец — орудие било бронебойным.

Уже нечем было дышать, а когда в танке вместо воздуха только пары бензина да пороховые газы, человек сразу сдает, как намокшая бумага. Раза три-четыре Матвей Иванович пребольно ударился головой о стенки и острые выступы — танк проделывал какие-то цирковые номера. Машина на что-то карабкалась, оступалась, спотыкалась, куда-то проваливалась. «Вот черт! — раздраженно подумал Катаев. — А еще двойное название у него — механик-водитель. Совсем дороги не разбирает».

В ту же минуту командир орудия издал радостный возглас. Он перегнулся вниз и закричал на ухо Катаеву, силясь перекричать грохот:

— Как утюгом! Отстрелялись, голубчики! Скончалась вся их батарея.

Как уже потом узнал Матвей Иванович, танк проутюжил один за другим три немецких батальонных миномета, установленных на западной окраине деревни. Но в ту минуту заряжающий

ничего не понял. Он трясся в темноте, подавал снаряд за снарядом, и ему казалось, что каждый новый снаряд тяжелее предыдущего. А Ковш все показывал то большой, то указательный палец, и нужно было снова и снова доставать снаряды, а потом передавать диски в нетерпеливые, дрожащие руки пулеметчика.

— Гарно, дуже гарно! — кричал Ковш и, довольный, хлопал заряжающего по плечу…

Но потом, очевидно, в бою наступила какая-то пауза. Танк повернул обратно, долго торчал посреди улицы и не вел огня. Ковш открыл люк, и все вздохнули полной грудью. Однако внезапная заминка беспокоила танкистов.

— Кабы ваша пехота воевала пошвыдче, — начал укоризненно Ковш, глядя вниз на Катаева; голос его был хорошо слышен: танк стоял, а мотор работал на малых оборотах. — Без пехоты ничего не выйдет. Еще минут десяток — немцы очухаются… — Но вдруг лицо Ковша осветилось, и он закричал с радостной нежностью: — Бегут! Бегут, бисовы диты! Торопятся!

Катаев тоже высунул голову из люка и увидел вдали, на краю улицы, пехотинцев. Те быстро приближались.

— Наши! — закричал Катаев и замахал рукой.

Он издали узнал бронебойщика великана Шульгу, командира взвода Косынкина, Рублика и других. Катаев смотрел на своих товарищей с гордостью и счастливым волнением, каких никогда не знал раньше. Ему не терпелось спрыгнуть с танка и побежать вместе с товарищами, но Ковш приказал оставаться на месте. Механик уже включил полный газ.

— Да здравствует вторая рота! — закричал тогда Катаев, стремясь перекричать шум мотора. — За нами, товарищи пехота, вперед! Не жалейте боевого питания!

Услышав призыв танкиста, обращенный к их второй роте, пехотинцы закричали «ура» и устремились за танком.

Катаев полагал, что товарищи узнали его, и ошибся: никому и в голову не пришло, что этот танкист с черным лицом, кричавший из люка, — Катаев. Но призыв, обращенный ко второй роте, дошел до сердца людей.

Люк захлопнулся, танк пошел вперед. И опять заряжающий работал в тряской черной темноте, опять нечем было дышать…

Вечером после успешного боя генерал наградил всех членов экипажа, и Матвей Иванович получил медаль «За отвагу».

Прошло трое суток, а Катаева все не было. И вот, когда уже в роте решили, что он пропал без вести, Катаев явился целехонький, с винтовкой за плечом и доложил по всем правилам командиру роты Деревянкину.

— Какими судьбами? — спросил Деревянкин. От удивления он не сразу нашелся, что спросить. — Где пропадал? Где завоевал медаль?

— Воевал, согласно приказу, в танке. На должности заряжающего. Взводный меня для взаимодействия послал. Разве он не доложил? — удивился в свою очередь Катаев.

— Где ему, — вздохнул Деревянкин. — Его, беднягу, с поля боя санитары унесли.

— А что касается этого, — Катаев показал подбородком на медаль, — на то есть приказ генерала танковых войск.

— Ну, что ж, поздравляю, — сказал Деревянкин, растроганный. — А то как сквозь землю провалился.

Уже собираясь выходить из землянки, Матвей Иванович спросил:

— А Плюхин наш не пострадал за деревню? Я у ребят еще не был, к вам торопился.

— Куда такой молодец денется? Воюет. Не всем же с командиром роты в прятки играть, как

тебе…

— Да завезли меня в танке за тридевять земель, два дня добирался.

…Катаев уже успел устроиться в землянке и отдохнуть с дороги, а Плюхина все не было: он стоял на посту. Но сменившись и узнав о возвращении Катаева, он чуть не бегом направился к землянке.

— Ну, вот и я, — сказал Плюхин, переборов одышку, и радостно оглядел воскресшего друга.

Катаев сидел в тесном кружке товарищей. Здесь был Рублик, Скуратов и огромный Шульга, человек с непомерным аппетитом, получивший в роте прозвище «Три котелка».

— Ты где это столько сажи нашел? — спросил Плюхин. — Чистый трубочист! Вывалялся, словно…

Только сейчас Плюхин заметил медаль на закопченной гимнастерке.

— А я, чучело, и не поздравил. Где отличился-то?

— В танковых войсках воевал. Согласно приказу взводного.

Уже была выпита водочка, выданная Катаеву за все три дня, а настоящий разговор о бое как-то не завязывался.

Матвей Иванович молчал, потому что боялся показаться нескромным. «Зачем пускаться в подробности? — рассудил он. — Еще подумают — медалью хвастаюсь. Может, Плюхин лучше моего воевал».

Плюхин тоже молчал. «Зачем бахвалиться? — думал он. — Ну, отметил меня комбат. Начну расписывать — еще подумает: из зависти, чтобы медаль умалить».

Катаев повел речь о каком-то рве и назвал его по-мудреному, как не называл сроду, — эскарпом. Он старался выглядеть заправским танкистом и про то, как не умел лезть в танк, предусмотрительно промолчал.

Плюхин скупо упомянул о броске гранаты.

— Как жахнуло, одни каблуки от немцев остались, да воротники от рубах!

— А ведь я в рукопашную еще не сходился, — сказал Катаев в раздумье… — Страшно, наверное?

— Да так, ничего, — сказал Плюхин; он помолчал и потом добавил вполголоса: — Только потом, уже после всего, долго цигарку не мог скрутить…

В землянке стало совсем тихо, потому что все здесь знали, какая это штука рукопашный бой, и всем приходилось когда-то по этой причине

рассыпать табак дрожащими пальцами.

У Матвея Ивановича было такое ощущение, словно он вернулся домой.

— Конечно, нужна будет танкистам моя подмога — не откажусь, — сказал Матвей Иванович, не то важничая, не то подшучивая над собой. — Только и здесь, в пехоте, делов — дай бог, к новому году управиться!

— Но все-таки, — сказал Плюхин со вздохом, — воюем мы с тобой, Матвей Иванович, вместе с первого начатия. А вот повоевал ты один день в новых войсках — совсем другой разговор!..

В землянку вбежал ротный писарь и закричал так оглушительно, будто звал кого-то в лесу:

— Плюхин Степан — к комбату! На носках! Чтобы искры из-под ног летели... — Потом, пропуская Плюхина вперед, пояснил: — Начальства понаехало — страсть! Одних полковников трое.

Матвей Иванович еще не успел заснуть, когда Плюхин откинул полог плащ-палатки и вошел в землянку. Трудно сказать, что сияло больше: его глаза или орден Красной Звезды, привинченный к гимнастерке и поблескивавший при свете мигалки пятью рубиновыми лучами.

Анна Александровна Караваева

Родная земля

Знатный ростовский сталевар Александр Нечпорук только хотел было завернуть за угол и выйти на шоссе к заводу, как вдруг, пораженный, остановился: улица показалась ему совершенно неузнаваемой. Знакомый под облупившейся охрой заборчик домовладения знаменитого лесогорского лекальщика Степана Даниловича Невьянцева исчез под пышными облаками… яблоневого цвета!.. Белые, напоенные нежным, как первая дрожь зари, розовым пламенем, плыли, летели над землей и сладко дышали навстречу всему живому яблоневые цветы. От яблонь на сталевара пахнуло буйной волей детства, босоногой беготней, восторгами первых вешних дней, когда на родном его Дону каждая пядь земли благоухает и радует человека. Еще вчера эта улица жила своей небогатой весной, а сейчас Нечпорук смотрел и не мог насмотреться. И подумать только, где: на Урале, среди угрюмых лесов, на берегу дрянной, несудоходной речонки.

Рядом с Нечпоруком остановился приземистый подросток в черной шинельке. Нечпорук взглянул сверху вниз на подростка, забавно ши-

рокоплечего и большеголового, — в свое время и он, Александр Нечпорук, был такой же неловкий. И он, так же втихомолку сердясь и стесняясь своего маленького роста, вытягивал вверх короткую шею, как этот сероглазый паренек в черной фуражке с синим кантом.

— Эге, да тут знакомый человек! — усмехнулся Нечпорук. — Твоя фамилия ведь Игорь Чувилев?

Подросток с достоинством кивнул.

— Да, я Чувилев.

— То-то, бачу, знакомая личность. Ты ведь в бригаде Артема Сбоева?

— Да, я в его бригаде.

— Ловко! — почему-то восхитился Нечпорук.

— А чи ты тоже с наших мест, Дона, и в садах толк знаешь, хлопче?

— Нет, на Дону я не бывал, но город наш Кленовск от Дона недалеко, и садов у нас многое множество. А яблони здесь хорошие… цветут-то как!..

— Вот и я удивился! — восторженно воскликнул Нечпорук, кивнув на невьянцевский сад. — Никогда не думал такое здесь встретить… Этакий садочек милый!

— Ну, Степан Данилыч здесь был первый садовод…

До войны этот завод выполнял разного рода заказы, не гнушаясь и очень скромными, — недаром он считался средненьким заводом. О строительстве танков никто и помыслить бы не мог, само собой разумеется. В начале войны здесь на заводе стали вырабатываться части танков — башни и корпуса, — которые переправлялись за двести километров на место сборки танков. Осенью пришел приказ из Кремля: в кратчайший срок создать танковый конвейер, откуда готовые танки будут по ветке отправляться на фронт. Только слепой и глухой не мог бы заметить, как все на заводе подтягивались, «сжимали» время, открывали новые методы работы, соревновались все горячее, чтобы скорее проложить путь танковому конвейеру. Люди из разных мест, приверженцы разных производственных обычаев и сноровки, люди, доселе никогда не знавшие друг друга, становились рядом к печам, к молотам, к станкам. И надо было как можно скорее «прижиться» друг к другу, чтобы устранить с дороги неуклонно наступавшего труда все крупные и мелкие помехи.

Когда на этом заводе началось сверхскоростное, как шутил сменщик Нечпорука — Ланских, строительство нового мартеновского цеха, Нечпорук,

словно в свое время у себя, на юге, предложил свою помощь и консультацию по кладке мартенов по последнему слову техники.

— Каждым камешком они мне наши ростовские напоминают, — признавался он Ланских.

Действительно, Нечпоруку казалось, что временная гибель его мартенов возмещена здесь, на Урале. Когда он начал варить сталь в этих новых мартенах, он порой даже забывал, что они только что возведены, — так быстро он сроднился с ними!.. А когда каждое утро Нечпорук стал слышать по радио сводки, что немцев гонят все дальше и дальше, он с еще большим торжеством повторял приглянувшееся ему у Ланских словцо:

— Ну-ка шибанем покрепче! Ну-ка нажмем!..

Уже безвозвратно в прошлое ушел старый завод и «божья печурка» в старинном, демидовских времен, сводчатом цехе. Уже четвертый месяц Нечпорук и Ланских варили сталь в новом цехе под стеклянным куполом высокого потолка. И теперь, если Нечпорук выходил вперед, он радовался, как и прежде на родном заводе, а если обгонял его Ланских, он рассуждал так: «Ты вперед шаг сделал, мне тоже стоять на месте нельзя. Время седлать надо, чтобы для фронта все больше вооружения давать… В этом главная суть!»

Часто бывали дни, когда Нечпорук после богатой плавки испытывал гордость и за Ланских и за себя: оба не подвели, оба не роняют честь в больших делах!..

Подобным образом мелькали в памяти Нечпорука события и: чувства, пережитые им в последнее время.

Шумно дыша после жаркой плавки и расправляя широкие плечи, Нечпорук шагал по длинному коридору к раздевалкам и думал усмешливо: это все яблони на меня нагнали… Вот Дон свой вспомнил… размечтался…

Около шкафчика с табличкой «Ланских» Нечпорук увидел своего сменщика. Вспомнив, что лесогорский садовод Степан Данилович Невьянцев приходится Ланских дядей, он сказал:

— Ну, и хороши яблоньки у Невьянцева… Так вот стоят у меня перед очами!.. И дивлюсь я, как вырастил твой старик такой чудный садочек?

— Да ведь дядя старый любитель этого дела, — ответил Ланских. — Завтра воскресенье, так ты заходи к нему: старик всегда рад поговорить о садах и рассказывать умеет, послушаешь… заходи…

— Спасибо, — расцвел Нечпорук, — приду, приду!

Ланских сунул ключ от шкафчика в нагрудный карман и спросил другим тоном:

— Как шихта сегодня?

— Шихта что надо.

— Дело. — И Ланских, нахлобучив вислоухую сталеварскую шляпу на светло-русую голову, пошел в цех.

По дороге домой Нечпорук уже не спеша обдумывал, почему еще так расчувствовался он утром. После освобождения Красной Армией Ростова к тоске о родных местах прибавилось еще стремление: эх, скорей бы обратно к себе, в Ростов!..

Нечпорук решил обратиться к директору завода Михаилу Васильевичу Пермякову, не слыхал ли он что-нибудь насчет возвращения ростовчан на свои места. Директор, посмеиваясь в сивые усы, спросил сталевара, не намерен ли он «пока что» обосноваться здесь, тем более что «база для этого имеется»: почему бы ему не заинтересоваться новыми стандартными домиками на бывших пустошках у речки? Ведь завод уже числит его в своих коренных кадрах.

Нечпорук не ответил ни «да», ни «нет», даже, кажется, забыл поблагодарить директора за его заботу: предложение застало его врасплох. Зато

Марийка восторженно встретила эту новость. Часа не прошло, как привела она мужа на место уже заканчивающейся стройки. Блестя глазами, Марийка стояла перед рубленым сосновым домиком. Печь в кухне была хоть и «модная» — шведка, но Марийка, тут же прикинув, решила, что и эту кирпичную печь можно разрисовать украинскими мальвами и подсолнухами.

«Вот она уж ростовские родные садочки забыла и Дон наш милый! — недовольно подумал Нечпорук. — До чего эти женщины легко готовы осесть на новом месте…»

На другой день, в воскресенье, Нечпорук отправился к Невьянцеву. Едва широкоплечий, по-стариковски грузный сталевар распахнул желтую решетчатую калитку, как голову его сразу овеяло сухим ароматным дождем.

— Фу, ты… — смутился Нечпорук, — ветку задел… угораздило!

— Ничего, ничего, ей уже осыпаться пора, ветке-то… — приветливо пробасил Невьянцев.

— Ну, и сад же у вас, Степан Данилыч!.. Никак не думал я такую красоту на Урале встретить, прямо от всей души вам скажу!.. И как он народился на здешней земле?!

Степан Данилыч только улыбнулся в ответ и

вынул из кармана красивый рифленый портсигар из нержавеющей стали (собственной работы), закурил, пыхнул дымком и, наконец, пробасил:

— Сад плодовый… Это, брат, на человеческую жизнь похоже: ему тоже годы надобны, чтобы в рост войти, пользу и радость приносить. К тому же этот сад из-за тысячи верст на Урал приехал, — пояснил дополнительно Ланских.

— Да, так оно и было… — мечтательно улыбнулся Невьянцев.

Перед мировой войной Степан Данилыч перевелся из «Лесогорской глуши» на Мариупольский завод, прожил на юге восемь лет, но в конце концов затосковал об уральских соснах и березках, морозах и метелях. На юге Невьянцевы привыкли к фруктам и решили на риск взять с собой корзину с десятком яблоневых черенков вместе с их южной землей. Первое время Невьянцев боялся, сроднятся ли комья южной земли с уральским суглинком. Но южная и северная земля сродинилась, и яблони принялись на новом месте. За шестнадцать лет от яблонь-родоначальниц произошли двадцать восемь деревьев, раскидистых, пышных, богатых плодами. Незадолго до войны на задах одноэтажного домика Невьянцевых, на бугристой лужайке, где прежде шуршали лопухи

да крапива, вырос маленький питомничек. Там воспитывались потомки всех выведенных за эти годы сортов.

— Все яблоки у меня зимние, неторопливые, — рассказывал Степан Данилыч. — Я за них, голубчиков моих, с погодкой нашей боролся, землю для них готовил и приохотил-таки к нашему краю… И мне помогали в этом деле, понимали мою мечту, а в ней наше время себя показывает… И это учти, парень!.. Не будь советской власти, не запало бы мне в голову сады на Урале разводить, не заезжал бы я к Ивану Владимировичу Мичурину, потому что тридцать лет назад я ничегошеньки не знал о том, как можно над природой властвовать… Тридцать-то лет назад — это ведь и для нашего поколения лихая старина-старинушка!.. В те поры меня, рабочего человека, все — от управителя до последнего заводского вахтера — только и учили, только и долбили: «Всяк сверчок знай свой шесток!» Существуй, мол, а мечтать не моги, не для вашего это брата! А теперь я о чем возмечтал, парень? Возмечтал я яблочком моим всю нашу Лесогорскую округу обсеменить. Вот, давай-ка, пройдемся…

Плавным жестом поднимая руку вровень с пышущими молочным цветеньем ветками, Не-

вьянцев рассказывал историю каждого дерева — от появления побегов до первоцвета и плодов.

— Другие кое-кто ведь это гиблым считали. А теперь пройдись по слободке, на Кузнечную улицу загляни, увидишь и там яблоньки молоденькие… Хочешь, подарю и тебе на новоселье парочку-другую саженцев? Хочешь?

— Что ж, спасибо скажу… — немного растерялся от неожиданности Нечпорук.

— Вот, молодец!.. Я тебе все покажу, проинструктирую, как землю приготовить… Потерпи годика четыре… и увидишь, как деревца наши, голубчики, зацветут возле твоего домика! — воодушевился Невьянцев.

«Домик-то у меня здесь временный», — чуть не вырвалось у Нечпорука, но он прикусил язык: лицо Невьянцева выражало такое глубокое, торжественное удовлетворенно, что только совершенно бесчувственный человек мог нарушить его.

Под вечер Нечпорук со Степаном Данилычем отправились к домику в стахановском городке. Вскапывая землю, по указаниям Невьянцева, Нечпорук чувствовал угрызения совести: собираясь зачинать сад на этой скудной лесогорской земле, он словно изменял своему родному дон-

скому черноземе.

— Ну, как вы там? Начали? — крикнула Марийка. — А я уж, побачите, що сробила! — и она горделивым жестом указала в глубь ярко выбеленной кухни. Широкая печь с разверстым, темно-бурым еще не обжитым чревом пестрела, как клумба.

— Вон какая искусница жена-то у тебя! — сказал Степан Данилыч, и его тяжеловесное складчатое лицо вдруг ласково обмякло. — Смотри, перегнала она ведь нас с тобой… начнем-ка, благословись… Бери вон антоновку уральскую и станови ее в ямку смелее… да только легче, парень, легче, пусть корни вольготно разместятся… Та-ак… Теперь земелькой забрасывай…

Наконец Степан Данилыч разогнулся, присел на крылечко и посмотрел на реденький строй саженцев, обращенных к окнам домика, потом замысловато улыбчиво пожевал мягкими старческими тубами.

— А все-таки, парень, когда о смерти подумаешь, так и охота ей, подлой, надерзить: «Не сожрать меня тебе, курносая, вконец-то не изничтожить меня — труд мой на земле останется, людям на пользу и утешение».

…Ночью Нечпорука сильно толкнуло в бок.

— Сашко, вставай!.. Да ну ж, Сашко!.. Открой очи, дурна дытына! — услышал он сквозь сон встревоженный голос жены.

— Что? Что тебе? — испугался Нечпорук.

— Да слухай же: ливень, льет же страшно! Гроза!..

— Ливень! — фыркнул Нечпорук.

— Ото, дурень! — вспылила Марийка и так крепко толкнула мужа, что Нечпоруку пришлось подняться с постели.

— Что ты спать не даешь, бисова баба?

— Да гроза, ветер же… вот как поломает наши яблони!.. Чуешь, как они скрыпят, бедные… ну? Иди, побачь, как они…

Нечпорук ворча оделся и вышел на крылечко.

…Гроза уже шла стороной. Вода еще журчала в трубе, но ливень отшумел, и только крупный редкий дождь, разбрасываемый ветром, шальными горстями хлестал Нечпоруку в лицо.

— От придумала докуку, бисова баба, — ворчал Нечпорук, нащупывал в темноте тонкие стволы саженцев.

И деревца и шесты около них стояли невредимо, лишь кое-где ослабли перевязи. Нечпорук поправил их, сердясь и на свою неловкость и на Марийку, поднявшую его среди ночи.

Ветер вдруг широкой волной дохнул на него, и в грудь Нечпорука ворвался пронзительный и в то же время нежный запах: ночь пахла листом, распустившимся листом.

Словно светящаяся палица, обливая небо голубоватым сиянием, серебристая полоса света прощупывала высоту, то вонзаясь в небо, то качаясь, то совсем припадая к земле, то поднимаясь вновь. Это прожекторы освещали пробное поле, куда, словно разъяренные стальные кони, вышли с конвейера ночной смены новые средние танки серии «Л-С» конструкции Юрия Костромина. Нечпоруку вдруг вспомнилось, что ведь эта серия родилась на этом заводе «в невиданно короткие в истории техники сроки», как писали в центральных газетах. Вот танки вынеслись в очередной свой пробег, грозные, быстроходные боевые машины, которые создает здесь, на Урале, и он, Александр Нечпорук.

Он подумал, что эта простая мысль еще никогда не волновала его так сильно, как сейчас, и понял, почему. Он всегда как бы отделял себя от всех лесогорских; как пришелец из лучших мест, как человек «временный»: здешняя земля, мол, не родная мне, а случайная. А оказалось, что родная эта земля раскинулась куда богаче

и шире, чем он привык воображать ее. Вот она дышит ему навстречу своей влажной прелью и запахом листа, который здесь так же сладок, как и под Ростовом.

Вдруг раскатистый рык мотора прокатился совсем близко, и Нечпорук услышал, как по мосту через реку заскрежетали гусеницы танка. Голубоватая тропа на небе, которую Нечпорук опять принял было за луч прожектора, все ширилась, раздвигая темно-сизые тучи, и сталевар увидел первую дрожь рассвета.

— Ну, что ты там, хлопче? — крикнула Марийка и, не услышав ответа, вышла на крылечко. — Ведь спать же надо… — начала было она, но, увидев лицо мужа, умолкла.

— Постоим немножко… — тихо сказал он и кивнул на тонконогую шеренгу юных яблонь. — Видишь… целы?

— Вот и хорошо, — проронила Марийка и прижалась плечом к груди мужа. Так стояли они еще несколько минут, озирая светлеющие дали и огромное распахнутое в ожидании солнца небо.

Николай Асанов

Сто двадцать секунд

Новицкий вел свой истребитель к аэродрому. Только что кончившийся бой был неудачным. В гигантской карусели, закружившейся в темно-синем небе, он расстрелял почти весь боезапас, долго гнался за вражеским истребителем и в конце концов потерял его среди облаков. Опомнившись после горячки боя и сориентировавшись, Новицкий увидел, что оторвался от своей эскадрильи, забрался далеко в немецкий тыл, а горючее на исходе. Между тем земля охотилась за ним сплошными залпами зенитных батарей. Новицкий бросил машину в облака; ранее они спрятали от него врага, а теперь помогали ему.

В баках остался только небольшой запас горючего, который полагалось иметь по уставу сверх полетной нормы на такой именно случай, какой приключился сегодня с Новицким. Поэтому летчик торопился на аэродром, заранее представляя себе разнос, которым его встретит полковник. Добро бы потерял своих какой-нибудь молодой летчик, но ведь Новицкий был известен как опытный истребитель, на фюзеляже его самолета были нарисованы восемь звездочек, по числу

сбитых вражеских машин, на груди Новицкого было три ордена.

Он летел в облаках на высоте две тысячи триста метров, тщательно следя за тем, чтобы не высовываться из белого пушистого покрова, который окутывал машину, словно вата. Одиночный самолет, израсходовавший боеприпасы и горючее, — он был сейчас очень легкой добычей для врага, а Новицкий считал, что умирать ему рано.

Внезапно машина выскользнула из облаков, и Новицкий увидел под собой исполосованную грейдерными и шоссейными дорогами землю, села с невысокими церквами, черные тени улиц, идущих с запада на восток, и белые полосы тех улиц, что пересекали городок с севера на юг. Был полдень, далеко на юго-западе виднелся сквозь бледно-голубую дымку город. Летчик подумал, что сейчас этот пейзаж похож на исчерканную руками ребенка картинку. Вдруг Новицкий увидел чуть правее словно выпавшие из отвесной белой стены облаков немецкие самолеты. Они находились со стороны Новицкого под солнцем и потому не могли сразу увидеть одинокий советский истребитель. Новицкий насчитал восемь вражеских машин: пять бомбардировщиков и три истребителя.

Первым его движением было заложить глубокий вираж влево и снова скрыться в облаках. А между тем им уже овладела тревожная мысль, что немцы идут бомбить ту переправу, на защиту которой наши летчики и вылетели сегодня утром. Должно быть, это была вторая группа, которая должна прорваться к переправе, пока первая будет связывать истребителей. И в тот же момент, все еще держа руку на штурвале для ухода, как ему хотелось сделать вначале, Новицкий отрывисто сообщил по радио:

— Земля, земля! Самолеты в районе 11, квадрат А, пять — три, иду в атаку. Комар.

Машинально он взглянул на часы, было двенадцать ноль четыре, затем он бросил свою машину со стороны солнца прямо — в центр клинообразного построения немецких бомбардировщиков, не обращая внимания на истребителей, которые шли чуть выше и впереди охраняемого ими отряда.

Столь стремителен и дерзок был удар этого одиночного самолета, что немцы ничего не успели сообразить, как строй бомбардировщиков оказался нарушенным; атакованный Новицким флагманский корабль вильнул вниз, правый мотор его, пробитый последним снарядом из

пушки Новицкого, отказал, самолет никак не мог выправить крена. А Новицкий уже выскочил из строя и круто развернул машину вверх; скорость нападения помогла ему взмыть на мертвой петле, и он снова оказался позади немецкого отряда.

Он не помнил, когда отодвинул закрывавший его фонарь, хотя это и противоречило уставу. Он хотел сейчас как можно больше видимости; и, вращая головой во все стороны, так, что болела шея, он заметил, как истребители противника, оправившись от изумления, мчались теперь за ним. Резким броском он загнал снова свою машину в центр немецкого строя: так истребители не могли стрелять по нему, боясь попасть в свои бомбардировщики, а Новицкий атаковал вторую машину. И когда он ясно увидел испуганное лицо стрелка-радиста, увидел широкую струю трассирующих снарядов из его пушки, прошедшую прямо под ним, Новицкий с яростью почувствовал, что его вооружение молчит, хотя он нажал гашетку до боли в пальцах. Он прошел так близко над немецкой машиной, что чуть не задел ее. Немец отвернул от сумасшедшего истребителя и уводил машину назад. В наушниках Новицкого пищали тревожные сигналы немецких раций, строй самолетов окончательно разрушился, да-

леко внизу рвались сбрасываемые немцами для облегчения бегства бомбы, и только истребители продолжали атаку на одинокого летчика. Град ударов простучал по заднему броневому щитку, по правой плоскости. На мгновение вспыхнуло пламя от зажигательной пули, но летчик пошел в штопор, отрываясь от немцев, и пламя сдуло сильным ударом воздуха.

На одну секунду Новицкий потерял немцев. Когда он снова пошел в горку, он увидел, что две машины беспорядочно бежали на запад, истребители догоняли его, а три бомбардировщика, прячась в солнечных лучах, летят дальше, стремясь к переправе. Новицкий прикусил губы, он почувствовал соленый вкус крови, выругался и бросился за этими машинами, вихляя в воздухе, чтобы укрыться от плотного огня истребителей. В яростном напряжении он повернул голову назад и увидел на своем следу два истребителя, третий летел сбоку, стремясь перехватить его. Новицкий взмыл еще выше и вдруг услышал, как захлебнулся мотор. При подъеме бензин не подавался с той равномерностью, которая нужна мотору: его было совсем мало.

И внезапно вся ярость схлынула. Летчик вдруг почувствовал себя совершенно спокойно. В то

же время ясно и отчетливо представил он себе последнюю атаку. И, не обращая больше внимания на истребителей, как будто их не было там, позади, он ринулся сверху на тройку бомбардировщиков, стремясь только к одному — настичь их, ворваться в их строй. Мелькнул один из истребителей, тот, что был сбоку, полил его зеленой струей пуль, заблестели стекла разбитых приборов. Новицкий машинально стер кровь с лица. Немец исчез, заходя для новой атаки. В этот момент Новицкий достиг строя бомбардировщиков, прошел сквозь кинжальные струи огня хвостового вооружения их, удивился тому, что самолет еще управляется, хотя его трясло, словно в лихорадке, от попадания пушечного снаряда, тщательно прицелился всем телом самолета в головную машину, сощурил глаза до того, что они превратились в щелки. Теперь он видел из всего мира, земли и неба только маленький кусочек левой плоскости вражеского самолета, еще раз форсировал мотор, выжимая из него последние силы, и вдруг ударил пропеллером по этой ненавистной плоскости с изображением хвостатой свастики, как будто бил кулаком в лицо врага.

Он почувствовал удар только по сотрясению своего самолета да еще по тому, как резко взвыл

мотор. В тот же миг немецкий истребитель настиг его. Серия пушечных снарядов прошла по самолету, вспыхнул мотор; пламя, багровое и огромное, с большим черным языком дыма, оторвалось на мгновение, потом плотно присосалось к машине, обжигая лицо летчика.

Александр Александрович Новицкий, летчик-истребитель, прожил двадцать пять лет. Все в своей жизни он делал хорошо. Всегда он хотел быть первым во всем. Так он стал первым токарем на заводе, первым из сверстников поступил в рабочий аэроклуб, первым пошел в истребители, как только была объявлена война. В родном городе Саратове вспомнят о нем с сожалением девушки, которым он говорил ласковые слова, — жаль, что не успел выбрать из них одну, жениться, завести себе сына. Вспомнят ребята с завода, многие из них сейчас сражаются на фронте, может быть, и до них дойдет весть о нем. Вспомнят коммунисты, которых он вовлек в партию, когда стал парторгом отряда, молодые летчики, которых он учил жить для борьбы, — он был веселым человеком, добрым другом, его уход из жизни будет заметен.

Он висел на ремнях среди огня и дыма, пытаясь еще раз выровнять свой самолет. Он хотел чуда.

Не просто жизни, но чтобы жила и его машина. И чудо произошло. Горящий самолет, превратившийся в факел с длинным хвостом из дыма, вдруг еще раз послушался его рук. Новицкий увидел небо и землю, увидел далеко внизу спасающиеся машины, увидел кружащиеся над ним истребители врага, они ожидали его смерти.

Что ж, теперь он согласен умереть! Среди поломанного сада догорает сбитый им враг, в воздухе висит только один парашют, остальные немцы не успели выскочить из самолета. Бегут чуть заметные фигурки солдат. Рядом река и переправа, которая будет работать, как и раньше. Бьют советские зенитки, пытаясь отрезать горящий самолет Новицкого от преследователей. Он согласен умереть, но не так дешево, как хочется немцам. Истребители ждут, что он выбросится с парашютом, они хотят расстрелять его в воздухе. Не выйдет! Он привык все делать хорошо, так же он и умрет!

Немцы не поняли, что произошло с горящим самолетом: он вдруг вышел из беспорядочного падения, перешел в крутое пике и ринулся вниз, подобно страшной комете. Летчик бомбардировщика, уходившего от зенитного огня, не услышал радиосигналов с истребителей, а может быть, не

успел отвернуть тяжелую машину. Новицкий увидел на одно мгновение сквозь хлещущее пламя громоздкие очертания немецкого бомбардировщика. Новицкий, полный гнева и мести, будто слился со своим умирающим самолетом. Гигантская комета как бы промелькнула в небе и вдруг ударила в тяжелую немецкую машину. Все перемешалось, посыпались обломки, как будто чья-то рука опрокинула с неба мусорную корзину. Истребитель, разваливаясь на куски, падал быстрее изломанного бомбардировщика.

Новицкий, оглушенный последним ударом, очнулся еще раз. Он ничего не видел в вихре пламени. Но он все делал хорошо и помнил об этом. Прижатый к сиденью силой инерции, он еще сумел расстегнуть ремни. Трудно было понять, где верх, где низ самолета. И все-таки он ощупью подтянулся к разломанному борту. Обожженные руки не слушались, но сила воли была сильнее ощущения боли. Он перевалился за борт, вдруг окунулся в тишину падения, ощутил холодный ветер на обожженном лице, с трудом приоткрыл глаза. Пальцы его судорожно вцепились в кольцо парашюта, но он заставил себя лететь свободным падением. Немцы были все еще рядом, теперь он услышал угрожающий рев их моторов, рядом

летели обломки двух самолетов, со свистом рассекая воздух. Когда он восстановил способность видеть, пламя было сбито с него, земля находилась где-то сбоку, он падал штопором, немцы стреляли в его беззащитное тело, но пули прошли где-то в стороне. И когда он увидел близкие земные предметы, телеграфные столбы, отдельных людей, животных, он открыл парашют…

Новицкий очнулся в санитарной машине. Машинально поднял руку и взглянул на часы. Они остановились, разбившись при ударе о землю. Было на них двенадцать ноль шесть. Бой продолжался сто двадцать секунд.

Семен Петрович Бабаевский

Лилико

Долго смотрел Василий Чубенко из окна госпиталя на зубчатую кромку заснеженных перевалов, на маленький городок, выросший в речной долине, на дымящийся от пыли серый тракт, убегавший в глубь гор. Почему-то ярко вспоминались днепровские пороги и родное село на обрывистом берегу, беленькая хатка, сад, идущий к Днепру, и палисадник… Жена стояла тогда у плетня с затуманенными от слез глазами и держала на руках полуторагодовалую дочку Ганночку… Так он оставил их, уходя на фронт три с лишним года назад. Где теперь они?

— О чем задумались, товарищ Чубенко? — услышал Василий знакомый женский голос.

К нему подошла доктор Нина Григорьевна Габрелидзе, молодая смуглолицая женщина.

— Любуюсь вашей страной, — ответил Чубенко. — Еду снова на фронт. И, как видите, бодр и здоров вполне.

— А счастливы?

— Как вам сказать? — усмехнулся Чубенко. — Счастье для меня сейчас там, где гремят орудия.

— А я хочу, чтобы вы были счастливы и у нас, в

Грузии. Приходите сегодня к нам на ужин.

— Я бы рад, но уже собрался в путь... И знаете: издавна говорится, что дорога приносит путнику счастье.

— А вы все-таки останьтесь на один вечерок.

И Чубенко остался.

Когда он отыскал в темноте увитое виноградными лозами крылечко, гостей в доме еще не было. Нина Григорьевна радушно встретила его, усадила за стол, на котором уже горками возвышались в вазах свежие фрукты. Говорили о фронте, о семьях, о тех, кого унесла война. Нина Григорьевна показала фотографию мужа. Пожилой майор с красивым и мужественным лицом смотрел из-под заснеженных сосен по-военному строго.

— И у меня горе, — сказала она. — В прошлом году я узнала, что Иван Тариелович погиб под Ленинградом.

Потом Нина Григорьевна повела гостя в детскую комнату. В полумраке стояли три кроватки, и бледные очертания детских ручонок белели на темных стеганых одеяльцах.

Две девочки даже во сне были так похожи на мать, что Чубенко невольно улыбнулся и посмотрел на Нину Григорьевну. Третья девочка,

лет четырех-пяти, была удивительно беленькая, и косички ее, разметанные по подушке, точно серебрились при свете лампы. У нее был чуть вздернутый кверху носик, розовое личико, и припухшие от сна губки образовали обиженную гримаску. Чубенко вспомнил свою дочку и загрустил…

Собрались гости, уже произнесено было немало здравиц, когда Чубенко, сидевший рядом с хозяйкой, воспользовался застольным шумом и спросил:

— А белокурая девочка тоже ваша?

— Нет, что вы! Это сиротка войны, — ответила Нина Григорьевна. — Но теперь она тоже моя.

— А как ее зовут?

— Лилико.

До утра не мог заснуть в этот вечер Василий Чубенко, и девочка Лилико стояла перед его глазами.

А собираясь в дорогу, он вдруг так страстно захотел увидеть Лилико, что, нарушив госпитальные порядки, не дождавшись завтрака, побежал к Нине Григорьевне.

— Извините меня, — сказал он, волнуясь. — Я пришел еще раз поглядеть на ваших детей.

— Я очень рада, что вы заглянули к нам. Но

только не расспрашивайте ни о чем Лилико, — попросила женщина. — Она уже привыкла к нашей семье и вряд ли помнит сейчас, как она к нам попала… Если хотите, я расскажу вам сама… Это было в ту осень, когда наши войска отступали к Кавказу. По дороге ехали раненые бойцы. Я увидела ребенка возле лежавшего на возу раненого лейтенанта и взяла эту девочку к себе. Лейтенант не мог говорить, он написал записку… Вот и вся история.

Нина Григорьевна вышла в другую комнату и, вернувшись, подала Чубенко полустертый листок. Чубенко прочел: «Любите и берегите эту крошку. У нее нет матери, а отец ее Василий Чубенко сражается за нашу Родину. Лейтенант Стародубцев».

— Стародубцев! Ваня! Друг! — вскрикнул побледневший Чубенко. — Раненый… А Анюта? Значит, Анюта моя погибла?.. А это? Что ж это? — моя Ганночка?.. Где же она? Дайте мне на нее посмотреть!

Он бросился в детскую,

В детской девочек не было. Он увидел их в палисаднике. Белокурая девочка сидела на клумбе и сосредоточенно насыпала в ведро песок. Ничего не помня, опрокинув на ходу два стула, Чубенко

выбежал в палисадник и схватил на руки испуганно глядевшего на него ребенка.

— Я боялась сказать вам об этом раньше, — смущенно и радостно говорила Нина Григорьевна. — Я боялась, что имя и фамилия ваши — случайное совпадение. Но дочку я вам сейчас не отдам. Пусть ее маленькое детское счастье будет освещать вам дорогу к победе…

А Василий Чубенко сильными, загрубелыми на войне руками неловко прижимал к себе хрупкое родное тельце ребенка и пересохшими губами шептал:

— Ганнуля… дочка моя… я твой отец… скажи: папа, папа…

Это были затаенные в глубине его сердца, но никогда не забываемые слова.

Вера Михайловна Инбер

Из ленинградских дневников

В Ленинграде, во время блокады, я изо дня в день вела дневник. Здесь даны отрывки из этого дневника: поездка с делегацией на фронт, прорыв блокады и полное уничтожение блокадного кольца. Все это чисто «военные», фронтовые записи. Но, впрочем, разве весь Ленинград не был в то время фронтом? Город был крепостью, а ленинградцы — его гарнизоном.

23 февраля 1942 года,
День Красной Армии.
ГОРОХОВЕЦ (Ленинградский фронт).

Снега, снега. Пишу в Гороховце, в политотделе армии генерала Федюнинского.

Над домиком, в бездонном морозном небе — слабый гул мотора и блестящая точка самолета. Мне объяснили, что это «Адольф летает». Звук зениток здесь иной, чем у нас, в Ленинграде, среди высоких домов.

Уже отъезжая, мы узнали, куда именно мы едем. Оказалось — через Ладогу, за блокадное кольцо, за 200 километров от Ленинграда.

Мы везли на фронт подарки: пять автоматов,

изготовленных вручную (тока нет), с надписью на ложе: «Лучшему истребителю немецких оккупантов», маскировочные халаты, бритвенные приборы, табак, кожаные и меховые перчатки, сумки для командного состава, носовые платки, гитары и мандолины.

Лично Федюнинскому везли кожаную шкатулку для табака. От разных районов города подарки были разные. Но наказ от всех был один — прорвать кольцо блокады.

Труд ладожских шоферов — святой труд.

Достаточно взглянуть на дорогу. На эту избитую, истерзанную, ни днем ни ночью не ведающую покоя дорогу. Ее снег превращен в песок. И всюду, в ухабах, выбоинах, колеях, ямах, канавах, колдобинах и воронках, лежат мертвые машины и части машин.

А ведь эту дорогу под снарядами и бомбами ладожские шоферы ежедневно пересекают четыре раза. Ведь это для них повсюду алые надписи на щитах: «Водитель, сделал ли ты сегодня два рейса?» И водитель делает эти два рейса.

Сейчас едем к артиллеристам. Увозим с собою только что вышедший номер дивизионной газеты «В решающий бой», где напечатан приказ Верховного Главнокомандующего.

На каждой из укрытых в лесу батарей у нас происходили краткие, очень краткие митинги. Тема выступления была одна: прорыв блокады.

Один из артиллеристов сказал: «Передайте Ленинграду привет от первого орудия. Передайте: мы делаем все, чтобы город Ленина отдохнул от своей усталости».

Другой сказал: «Отодвинуть немца — можно, но не в этом задача. Надо его уничтожить…» Этот же человек произнес запомнившееся выражение: «Боец, пропитанный ненавистью».

В штабе дивизии комиссар сказал нам: «Жить или не жить — так не стоит вопрос. Наша жизнь принадлежит Ленинграду».

16 января 1943 года. Утром.

Необыкновенный день. Весь город ждет: вот-вот. Мы взяли Шлиссельбург, это точно. Но еще говорят, что оба наши фронта, Ленинградский и Волховский, соединились. И что, таким образом, блокада прорвана. Официально еще ничего неизвестно. Но город ждет.

Бьет где-то артиллерия, недавно только кончилась тревога. Все работают. Руки движутся, губы произносят обычные слова. Но каждый точно заряжен электричеством ожидания.

12 часов 30 минут ночи.

«Последний час» такой, что нельзя слушать спокойно. Идет, идет освобождение.

18 января 1943 года. Ночью.

Блокада прорвана, Ленинград свободен.

19 января 1943 года.

Прошлой ночью, тотчас же после сообщения о прорыве блокады, началась радиопередача, которая длилась до утра. Выступали бойцы обоих фронтов, летчики, моряки, инженеры и рабочие оборонных заводов, ученые, писатели.

В одной семье семилетняя девочка Ляля, бледное ленинградское дитя, выскочила из кроватки и, стоя на стуле, прочла стихи, в этот день выученные ею в детском саду: «Не уйти от возмездия Гитлеру…»

Но окончательное снятие блокады, разгром немцев под Ленинградом произошел не в эти дни, а через год, в незабываемые январские дни 1944 года.

28 января 1944 года.

Вчера в восемь часов вечера по приказу генерала Говорова был у нас большой салют, такой, который дается только в дни самых крупных побед: 24 залпа из 324 орудий. Город Ленина салю-

товал войскам Ленинградского фронта. Взлетали в небо ракеты. То это были потоки малиновых огней, то золотые звезды струились вниз, как колосья из невидимой корзины. Все это падало и догорало на льду Невы.

По природе своей это были боевые ракеты, мы видели их и раньше. Их предназначением было указывать начало атак, обозначать посадочные площадки самолетов, сигнализировать артиллеристам, направлять пехотинцев, предупреждать танкистов. Но тогда это были одиночные ракеты. А теперь тысячи атак, сотни схваток, вылазок, морских сражений сразу ринулись в небо. Необыкновенны были морские прожектора. Особенно один из них, направленный откуда-то снизу на шпиль Петропавловской башни, был так силен, что приобрел уже плотность. Он стал похож на наклонную белую башню или на цепной мост.

Все небо было расчерчено прожекторами.

Пушки стояли на кораблях и вдоль набережных, справа и слева. Прежде чем раздаться залпу, вспыхивали язычки пушечного пламени.

Кировский мост и Марсово поле были сплошь залиты людьми. У памятника Суворову стоял киногрузовик, и шла съемка. Автомобили, ве-

лосипеды и пешеходы — все было перемешано. Среди машин кое-где медленно двигались танкетки, а иногда и танки.

Поражало море света. Все лица были запрокинуты к небу и освещены до мельчайшей черточки.

Залпы были громадной силы: подлинный «гром победы».

Аркадий Алексеевич Первенцев

Девятый вал

Первая основная задача, поставленная перед десантом, — вцепиться в крымский берег, отвлечь внимание от главных сил и удержаться на этой огненной земле, пока не развернутся активные наступательные действия за освобождение Крыма, — была выполнена, но десант оказался отрезанным от своих сил.

Прошло около трех недель. Немцы сжали десант своими войсками: пулеметами, артиллерией и блокировали его с моря. Немцы держали против плацдарма воздушные силы и зачастую по двенадцать часов подряд бомбили пять квадратных километров земли.

В горячей поспешности, с какой немцы старались стереть защитников плацдарма, в их огромных и бесполезных усилиях угадывались страх и обреченность. Можно наверняка сказать, что врагу было страшнее.

Теперь перед нашей южной группой стояла вторая и последняя задача — выйти на соединение с основными войсками.

В «двадцать ноль-ноль» на командном пункте собрались офицеры десанта.

— Кто будет у вас командовать штурмовой группой прорыва? — спросил полковник, командир десанта, командира батальона Букреева после того, как была объяснена вся задача.

— Во главе штурмовой группы пойдет мастер таранных ударов Герой Советского Союза старший лейтенант Рыбалко, товарищ полковник, — сказал Букреев.

Рыбалко стыдливо опустил веки, но следом же встрепенулся и, тряхнув плечами, поправил на коленях автомат. Полный его титул пришелся ему по вкусу. Ему давно хотелось получить звание Героя, и теперь он с внутренним удовлетворением слушал ясно и громко произнесенное: «Герой Советского Союза Рыбалко».

— Прорвете, товарищ старший лейтенант? — спросил полковник, с удовольствием наблюдая этого прославленного офицера.

— Прорву, товарищ полковник, — четко отрубил он.

Рыбалковское «прорву», о котором ходили анекдоты, и самый тон, каким было произнесено это слово, развеселили присутствующих.

— Погляжу я, погляжу на всех вас, — сказал полковник, и на его умном лице заиграла улыбка, — какие мы все страшные, небритые, худые.

Ну, ничего. Сделаем свое, вырвемся и побреемся. Ведь так, Рыбалко?

— Спервоначалу фашиста побреем, товарищ полковник.

— Предложение, не лишенное некоторого смысла, — поддержал его полковник. — Ну, вот, друзья. А теперь прежде всего маршрут. Мы с Букреевым пришли к одному выводу. Прорываться здесь, — он разложил карту и указал квадрат, найденный всеми на своих планшетах. — Через это вот болотце…

В девять часов вечера десантники снялись с занимаемых рубежей и сосредоточились в траншеях, обращенных к болотистой низине, ответвленной от озера к морю. Вместе с началом нашей атаки все должны будут тронуться в путь, а заслон останется на месте и, прикрывая уходящих, будет вести огонь.

Топь, покрытая мочажинами и осокой, считалась труднопроходимым естественным препятствием и поэтому прикрывалась немцами только сетью крупнокалиберных пулеметов, сосредоточенных впереди дамбы.

Чтобы атаковать пулеметные гнезда, надо было бесшумно пробрести около двух километров по колено и по пояс в грязи.

Обессиленные тридцатишестидневным голодным сидением, десантники должны были снова пойти в ночной бой, форсировать болото, пробить первую линию вражеского кольца, артиллерийские позиции и пройти двадцать километров по тылам противника, по прибрежному укрепленному району.

Покинув КП, Букреев увидел пехоту, подтягиваемую к месту прорыва. Темнота препятствовала ему всмотреться в лица, но по походке, по ссутулившимся спинам и ритму движения Букрееву стало ясно: люди, вымотанные последними трехдневными боями, вступали в полосу безразличия.

Пехотинцы, дойдя до исходного пункта, повалились. Взбугренная земля, казалось, тяжело дышала. Недвижимо торчали стволы винтовок и автоматов. Дул сильный ветер от Керчи. Немцы молчали.

Изредка взлетали ракеты. Букреев и его заместитель Батраков шли по рву мимо людей, прильнувших к стенкам. Разыскивая Рыбалко, они приостановились невдалеке от группы бойцов, вооруженных ручными пулеметами. Пулеметчики продолжали свой тихий разговор. Букреев узнал Воронкова, его друга Василенко и

пулеметчика Павлия.

— Навдак прорвемся, — сказал Павлий, пристукивая от холода сапогами.

— Раз пойдем, значит, прорвемся, — степенно заявил Воронков.

— Не прорвемся, — повторил Павлий.

— Рыбалко всегда прорвет. А там уж в поле две воли.

— Болото, разгона нет, Воронков.

— С такими думками и мыша не раздавишь…

— Что ты с ним байки точишь, Воронков, — вмешался Василенко. — Пущай свое крякает. Все одно слушать не кому.

Воронков отвернулся, и все трое замолчали.

Рыбалко прикорнул у бруса, крепившего пулеметное гнездо. На первый вопрос Букреева он не ответил, но после дружеского толчка в бок встрепенулся. Блеснули его белки.

— Це вы, товарищ капитан? Чи не заспал я?

— Еще восемь минут, — сказал Букреев.

— Добро, — Рыбалко поежился. — Ну, и ветер. В затишке можно терпеть, но наверху насквозь прорезает. Я вот шо хочу спытать, товарищ капитан. Пулемет брать с «полундрой», а?

— А как твое мнение, Рыбалко?

— Мое мнение? — Рыбалко тяжело вздохнул. —

Мое мнение? На подходе треба тихо, а брать с «полундрой». Семь точек. Надо спужать их.

— Нацельте группы на все пулеметные точки. Гранаты… А после гранат «полундру». Я думаю так, Николай Васильевич?

— Так, — согласился Батраков.

Минуты за две до условного времени Букреева и Батракова разыскали их ординарцы — Манжула и Горбань. Манжула доложил, что заслон на месте.

Восемь человек добровольцев, готовых умереть для выручки товарищей, должны сейчас ввести в заблуждение дивизию немцев, сотни орудийных расчетов, танковых экипажей… Два пулеметных расчета и четыре автоматчика — вот что называлось теперь громким словом заслон. Они лежали — эти восемь героев — под свистящим декабрьским ветром на растерзанном клочке русской земли, готовые отдать во имя своего солдатского долга лучшее, что есть у них, — жизнь.

Стрелка прыгнула к последней минуте.

И тогда те, оставшиеся в заслоне, открыли пулеметный огонь короткими, злыми очередями. Немцы сразу зажгли подкову артиллерийских позиций. Все понеслось на клочок земли, отбиваемой восемью русскими бойцами…

В то же мгновение солдаты перекатились через бруствер. Букреев пробежал по твердой земле очень недолго, а затем его ноги потеряли опору и провалились. Ломая топкую корочку льда и с трудом вытаскивая ноги из донного ила, Букреев медленно зашагал вперед. Позади он видел знакомую феерическую картину артиллерийской обработки плацдарма. Вместе с Букреевым шли Манжула, Кулибаба и Надя Котлярова, единственная медицинская сестра, оставшаяся в их батальоне.

Рыбалко только первую секунду находился рядом, а потом он пропал в темноте вместе со своей ударной группой. Батраков присоединился к Рыбалко. Присутствие этого пылкого и решительного человека в первой волне было необходимо.

«Только бы не подвело сердце», — тревожно думал Букреев, то окунаясь в грязь повыше колена, то выскакивая на мочажинные островки. Хроническое недоедание и постоянное напряжение словно вывинтили из его сердца какие-то нужные шурупы. Манжула, предупрежденный еще Надей Котляровой, неотступно шагал за командиром.

Если вначале Букреев следил, как выбирались из траншей пехотинцы и моряки, направлял

первую и вторую группы, перебрасывался своими соображениями с офицерами, то теперь, вплоть до непосредственного сближения с противником, у него была одна задача — пройти две тысячи метров болота и не свалиться. Теперь все было направлено, все двигалось. Команды пока были излишни, так как задача была чрезвычайно проста — форсировать болото. Отставать нельзя.

Для изнуренной пехоты первый бросок, продиктованный чувством страха («Скорей со всеми! Только бы не отстать!»), сменился чувством надежды. Ведь их пока не открыли. Не разгадав хитрости, противник обстреливает пустое, оставленное ими место. Болото, пугавшее их, стало другом. Нервный подъем — спутник всякой опасности — и разгорающиеся надежды на спасение дали добавочные силы, помогающие выполнению боевого приказа.

Позади по-прежнему горела оставленная земля, и сверху, зонтом, оставляя метеоритные трассы, с еле уловимым посвистом неслись снаряды.

Вторая волна начала сближаться с группой Рыбалко. Точно определить пройденное расстояние было трудно, но примерно дело подходило к атаке.

— Надо догнать Рыбалко, — сказал Букреев,

ускоряя шаги.

Наконец они достигли головы колонны. Различить самого Рыбалко было трудно среди круглых спин, катящихся по болоту, словно стая дельфинов. Тяжелое дыхание, бульканье и чавканье сопровождали эту стаю. Тут были люди дела, и за ними, кроме преодоления болота, значилась основная задача — штурм всех препятствий, встречающихся на пути. В ожидании первой атаки они, поднабирая сил, несколько замедлили движение.

Букреев сблизился с Рыбалко. Старший лейтенант блеснул в его сторону двумя светлыми точками на лице — белками глаз и зубами. Они пошли рядом.

Ракеты, полетевшие вверх, сопровождались треском автоматов. Немцы забеспокоились. Яркий свет сигнальных цветных дымов открыл группу Рыбалко, но также открыл и немецкие насыпные холмы, ответвленные от дамбы, — позиции, которые десантникам необходимо было отыскать.

Свет погас. Не успели глаза снова освоиться с темнотой, как послышались знакомые рокочущие звуки крупнокалиберных пулеметов, и над холмиками, то вытягиваясь, то заматываясь,

появились искрасна-голубоватые жальца.

Группа Рыбалко, куда влились и бойцы морской пехоты, ответила автоматной стрельбой и криками «полундра». Казалось, что слово это должно было разбудить сразу всех немцев, занявших эти прибрежья Тавриды. Вслед за криком, подхваченным в глубине колонны, вслед за усиленным чавканьем ног и пронесшимися вперед людьми десятки гранатных разрывов поднялись карминными букетами.

По тому, как стремительно-весело прокувыркались вперед еще несколько дельфиньих стаек, Букреев понял: атака удалась.

Автоматы продолжали трещать. Кое-кто палил из немецких трофейных, и разрывные пули вспыхивали яркими, моментально гаснущими звездами.

— Прорвали! — закричал наклонившийся к Букрееву полковник. — Теперь остались артиллеристы!

Полковник отдал приказание поторапливать пехоту. Букреев спустился с холмика, оставив там полковника. Отрывистые слова команды — и Рыбалко потерялся в свистящем ветре и сразу упавшей, как бархатный экран, ночи.

Пехота прорвалась. Впереди была степь. Пер-

вый успех будто окрылил этих измученных до крайности людей. Стремясь вперед, они могли увидеть теперь солнце, могли выйти из ночи. Тревожные сомнения сменились слишком радужными мечтами.

Букреев трезво отдавал себе отчет: впереди, до рассвета, еще восемнадцать километров, впереди враг, штурм Митридата и все неизбежно тяжелое, что принесет заветное слово — завтра.

Десант шел к жизни. Разламывая вражескую оборону, не ожидавшую атаки в глубину, с фанатичным упорством двигался Рыбалко.

Степь, изрытая глубокими ямами, сморщенная балками, вела к своим. Немцы шарили прожекторами, освещали ракетами.

Рыбалко подмял под себя артиллерийскую батарею. Прислуга была вырезана с такой ожесточенной точностью, что артиллеристы не могли сообщить штабу о продвижении группы прорыва.

От Рыбалко появлялись вестовые. Он присылал их после того, как разрывал очередную цепь, обвязавшую их. Вестовые появлялись, как маяки на вершинах курганов, докладывали Букрееву и снова исчезали в темноте.

Немцы не могли представить, что весь десант

ушел из их рук. Они не могли поверить, чтобы люди, обреченные ими на медленное вымирание, могли выскользнуть и укатиться куда-то в ночь. Они высылали в степь патрульные автомобили и мотоциклистов. Вспыхивающие фары неслись по дорогам, изредка нервно стреляли пулеметы. Патрульных пропускали, если они не мешали и могли донести командованию выгодные нашим сведения. Все было подчинено единственной цели — прорваться к своим. Там брезжил день, там была жизнь, там были встречи с друзьями, там снова можно было припасть к соленой воде моря.

Все было собрано в кулак, зажато и брошено вперед; Букреев поторапливал. Он сбросил ватник и шел в одной гимнастерке, с расстегнутым воротом. Он вместе со всеми был одним из атомов этой концентрированной человеческой воли.

Попались ямы. Здесь было до войны строительство. На огромной площади были вырыты котлованы. Люди падали в ямы и выбирались при помощи поданных винтовок, связанных поясов. В ямах скопилась ледяная вода, прикрытая тонким льдом. Иногда люди окунались с головой, но, отфыркиваясь, выбрасывались на поверхность и попадали в руки товарищей. Какая-то магнети-

ческая сила сцепила всех и двигала вперед.

Огненная земля пламенела далеко позади. Противник не переставал ее разрушать. Но десант должен пробиться. Он должен донести до живых людей славу Огненной земли, славу русского народа, славу русской армии.

— Митридат! — закричал кто-то.

Темные высоты поднимались над ними. Они нависли, как какая-то сказочная гряда, преградившая им доступ к жизни.

— Вперед!

Букреев сбросил автомат с ремня и, ухватившись за него, как за что-то животворящее, пошел вперед на штурм горы Митридата. Возле него очутился полковник. Солдаты окружили их и шли с ними. Второй, следующий за рыбалковским таран был подготовлен.

Букреев откинул на затылок фуражку и пошел на штурм как рядовой, как и полагалось в такой момент.

В груди Букреева стучали слова памятной песни. Ее пел его батальон еще в Геленджике:

Девятый вал дойдет до Митридата!
Пускай гора над Керчью высока,
Полундра, враг, схарчит тебя граната!

Земля родная, крымская, близка!

Песня стучала в его сердце. И когда десантники торжествующе и грозно проорали слово, которому когда-то по справедливости нужно будет воздвигнуть золотые монументы, Букреев впервые, не стесняясь, что он комбат, что он имеет уже все тридцать шесть лет, а не какой-нибудь мальчишка, закричал вместе со всеми:

— Полундра!

Рокочущие, как боевые барабаны, звуки этого слова бросили всех вперед. Букреев ворвался в первую траншею. Он стрелял и шел вперед. За ними очищала траншеи вторая волна, Букреев шел на вершину горы, как на вершину господства своего духа.

— Первый выступ взяли! — крикнул подскочивший к нему Манжула и схватил его руку липкими пальцами.

— У вас мокрые руки, Манжула!

— Я был в рукопашной. Тридцать пять, — бормотал он, поблескивая зубами, — тридцать пять.

Букреев понял, что это страшный счет мести, и двигался под бормотанье своего телохранителя, бормотанье, похожее на заклинанье:

«…Девятый вал дойдет до Митридата,

Пускай гора над Керчью высока…»

Рыбалко теперь невозможно было догнать. Он получил приказ Букреева во что бы то ни стало выйти на вершину к рассвету и зажечь там условные сигналы для кораблей поддержки.

Второй выступ, как горб верблюда. Букреев побежал наверх. В это время оттуда открыли огонь. Снова проклятые пулеметы, снова враг, вкопавшийся везде, влезший во все поры земли.

Почему здесь он, Букреев? Почему все эти люди были отняты от своих мирных дел и брошены выковыривать, выдавливать наглую и цепкую нечисть?

Почему эти люди обагряли руки, теряли золотые дни своей юности и все, чем так коротко богат человеческий век?

Потому что немцы, напав на русскую землю, оторвали наших людей от крестьянских хат, от пажитей и нив, от бледных березовых рощ... Немцы окружали советских людей на их же земле, убивали их голодом, металлом, огнеметами. Враги натащили сюда своей техники убийства, сделанной в крупных городах Германии для уничтожения русских людей.

Какие чудовищные корни во всем этом! Какая ядовитая плесень взбродила на нашей земле, захваченной гитлеровцами.

…Букреев бросился на вторую укрепленную линию как на зло, которое он должен уничтожить, несмотря ни на что. Несмотря на то, что он еще хочет жить, несмотря на то, что у него семья и дети…

Яркие короны гранат. Оружие, присланное им детьми, ремесленниками Сибири и Урала.

Кинжалы! Откованные, может быть, в Златоусте, где ковались шпага Суворова, сабли Фрунзе и Чапая!

Букреев проскочил колючую проволоку, забросанную ватными куртками, и услышал шумы последней атаки. Рыбалко таранил вершину.

Букреев пошел вперед, заглатывая воздух, который не мог уже напитать его. В ушах стучало. Он не мог разобрать, что кричал ему Манжула. Букреев ступил еще несколько шагов, закачался и упал.

— Тридцать восемь! Тридцать восемь! — Манжула вел счет мести.

Надо подняться. Букреев царапал стеклянную землю, прелые травы вылетали из-под его пальцев. Надо туда…

Ветер доносил к нему шумы атаки. Рыбалко, Батраков, Горбань… Сражайтесь! Тех, кто не может идти, оставлять.

— Товарищ капитан! — Манжула теребил его. — Товарищ капитан! Митридат наш!

Манжула поднял его на руки и пошел шагом все вверх и вверх.

* * *

Букреевцы ворвались на Митридат. Многие — ползком, на четвереньках, сцепивши судорожными пальцами свое оружие, чуть ли не в зубах держа последние запалы для гранат.

С гранатами и этим оружием они бросились на последних врагов, захвативших вершину, и молча выбили, вырезали тех, кто сидел здесь, как в кратере готового подняться огнем и пеплом вулкана.

Заросшие бородами, израненные, ворвались на Митридат наши солдаты, принеся сюда ярость мщения и тоску по загубленным германцами жизням. Бойцы батальона Огненной земли взлетали сюда, как грозные орлы. Они поднялись выше огромного штормового вала и обрушились на врага.

Многих русских молодых людей сожгла Огненная земля! Но пламя сгоревших жизней осветило грядущее.

Манжула вносил на плечах командира. Ман-

жула ступал, тяжелый и коричневый, как корень горного дуба. Два автомата висели на его плече, два кинжала, колени были разбиты до костей. Он опустил командира на землю и строго сказал обступившим его бойцам: «Жив!»

Букреев очнулся. Страдальческая гримаса пробежала по его лицу. Прижавшись локтями к камням, он хотел самостоятельно приподняться, но, подхваченный десятками рук, взлетел на воздух, а потом был осторожно поставлен на ноги.

На него смотрели с благодарностью. Они вышли сюда, несмотря ни на что, и сюда к ним идет помощь Великой земли. Букреев был с ними все сорок героических дней, освещенных познанным смыслом их страданий.

— Ребята, мы будем жить! — прокричал Букреев и погрозил туда, откуда, казалось, еще летела на них смерть.

На горе быстро сложили в кучи обломки патронных ящиков, обрывки обмундирования, винтовочный лом. Батраков спускал вниз бойцов, чтобы скорее захватить причалы. Букреев видел, как скользнул со скалы неутомимый Рыбалко, пошедший на свой очередной таран.

Немецкие пикировщики с ревом бросились на группу Рыбалко. Гору заволокло дымом. Но

снизу уже взлетали ракеты: «Причалы были в руках своих».

— Скажите кораблям, что мы живы, ребята! — крикнул Букреев.

Костры загорелись под рев прилетевших сюда советских истребителей.

В небе повисла воздушная охрана могучей Родины.

Кузьма Горбунов

Вестник добрый

В то время, когда наши части освобождали последние советские земли, в прифронтовую деревеньку Лаваришки, расположенную близ железнодорожной линии и всего лишь километрах в восьми от передовой, зашел русский снайпер старший сержант Анкудин Суеверин.

Домов десять обошел старший сержант, и всюду — одно и то же: крылечки пошатнулись, окна и двери намертво заколочены почерневшими досками. Заглянет Анкудин сквозь щель в простенке, а внутри — темная, нежилая пустота, по углам шуршит мусором одичалый ветерок. Наконец, в переулке снайпер увидел сизые завитки дыма над соломенной крышей.

Суеверин чуть приоткрыл дверь избы, спросил:

— Можно?

— Если с добром, всегда можно, — послышался в ответ певучий, чистейший русский говорок.

Маленькая, сгорбленная, словно игрушечная, старуха подошла мелкими шажками к порогу и, задрав голову с узелком жиденьких седых волос на затылке, принялась разглядывать рослого

гостя черными, пытливыми, еще сохранившими остроту и живой блеск глазами.

Старший сержант, разрумяненный морозцем, поправил самозарядку на плече и удивленно сказал:

— Никак русская!

— Природная, — горделиво ответила старуха, — Пензенской области, с узловой станции Инза, Ольга Тарасовна Смирнова.

Одета была Тарасовна в литовскую женскую жилетку со шнуровкой; на ногах — деревянные ступанцы.

— Как это вас, бабушка, занесло в такую далищу?

— На поезде… В сороковом году внучка моего Сашеньку перевели сюда слесарем на железную дорогу. Он и меня, одинокую, захватил… Садись, молодчик. Угощать тебя нечем. Разве кипяточку согреть?

— Мне, бабуся, рассиживаться некогда, начальство заругает. Я к вам по делу.

— Какое же это такое срочное дело к старухе?

— Курочки у вас имеются? — спросил Анкудин.

— Курочки?.. — Глаза у старухи сделались колючими, недоверчивыми. — Какие могут быть курочки, если фашист у нас три года царствовал?

Люди — и те в разные стороны разлетелись. А кто не успел, Гитлер к себе уволок или истребил. Во всей деревне только я да семиребрый дед Парамон и остались. Он тоже сюда с холостым сыном приехал. Ребер у деда в левом боку всего-навсего семь доктор насчитал, а ума в голове, без доктора видно, меньше, чем у меня. Война грянула, местные жители в Расею бросились спасаться, а Парамон говорит мне: «Успеем. Нам особый вагон подадут». Вот те — подали… А ты — курочки!.. Нет! И перышка куриного нигде не найдешь.

Суеверин переступил с ноги на ногу, усмехнулся.

— Как же нет, если сам видел — под сараем ходят.

— А ты уже подглядел! — воскликнула старуха и забегала по избе, обдергивая пожелтевшие шторки на окнах, старенькую скатерть на столе.

— Да чего тут подглядывать? Шел к вам через двор, вижу — ковыряются в навозе.

— Так это не курицы, а ранние цыплята, — кипятилась бабка. — Петушок да три молодки. Их в подполье наседка выводила украдкой от супостата.

— Может, бабуся, уступите одну штучку? — ласково попросил снайпер. — Мне ведь не даром.

Желаете — на деньги, желаете — на гороховый концентрат поменяем. Не обязательно молодочку, можно и петушка.

— Понятно, — ядовито заметила старуха, — горшок не разбирает, что варит: курицу или петуха.

— Да мне не в горшок…

— На племя, значит? — еще язвительнее спросила Тарасовна.

— И не на племя, а вроде как — убивать…

Старуха рассердилась.

— Что ты мне, парень, огород до самых небес городишь?

— Право, не вру, — смиренно уверял Анкудин. — Если так случится, я вам курочку и обратно могу доставить.

— Живую?

— Нет, скорее всего, пожалуй, мертвую. Вы не беспокойтесь, она не задушенная будет… Но и не зарезанная… — Суеверин запутался, поспешил кончить: — Одним словом, кушать ее вполне будет возможно, за это ручаюсь.

Бабка совсем оторопела, беспомощно опустилась на табурет.

— Не задушенная и не зарезанная… Не на племя, а в горшок можно… Ты не из госпиталя, случайно? Может, тебе голову миной сконфузило,

и ты умом еще не поправился?

— Головой я вполне здоров, — без всякой обиды сказал Суеверин. — И контузии у меня не было. Ранение, правда, испытал.

— Куда? — сразу смягчилась Тарасовна.

— В правую ногу. Если долго на одном месте стоишь, в ней колотье начинается.

— Так чего ты у порога, как гусь, топчешься? Я тебя в часовые не ставила. Садись и расскажи толком.

Старший сержант закрыл плотнее дверь, присел к столу, поставив между колен самозарядку. Поглядывая то на дверь, то на занавешенные окна. Суеверин торопливым шепотом рассказывал. Тарасовна, спрятав руки под фартук, слушала, понимающе кивала.

— Хорошее дело задумал. Только гляди, побережайся.

Уходил Суеверин не с пустыми руками. Через локоть у него висела корзинка, затянутая тряпицей. Из корзинки слышалось сонное бормотание курицы.

Три дня к Смирновой никто не показывал глаз, а в конце четвертого явился военный, тоже с винтовкой через плечо и с сержантскими нашивками на погонах, только ростом гораздо

ниже Суеверина, черный, как жук, остролицый, речистый.

— Здравия желаем, хозяйка! — зычно выкрикнул он от порога, словно находился в чистом поле.

— Здоров будь, — чинно ответила Тарасовна. — Отдохни с дороги.

— Нам отдыхать некогда! — рапортовал чернявый. — Приказано передать вам привет от гвардии старшего сержанта Анкудина Никифоровича Суеверина и, кроме того, вручить вот эту историю…

Громко стуча сапогами, он подошел к столу, выдернул из сумки за желтые лапки пестренькую курочку и положил перед бабкой на скатерть. Курочка смерзлась, стала еще меньше, не крупнее галки.

Старуха погладила слежавшиеся перья, тронула безжизненно раскрытый клюв.

— Зашибло ее или как?..

— Навылет прострелена, — доложил чернявый и сделал сокрушенное лицо, словно речь шла о хорошем артиллерийском коне, державшем на себе весь орудийный унос,

— А сам ты кто такой?

— Сержант Игнат Пряхин, напарник Анкудина

Никифоровича, одной парой на врага ходим.

— А сам Анкудин почему не явился?

— Подранило его.

— Да как это он?! — горестно воскликнула старуха. — Наказывала ведь: поберегайся! Что вы там, не видите, куда пули летят?

— Не видим, — согласился сержант. — Разрешите присесть? — Он начал чертить ногтем на скатерти, объяснять: — Вот тут, обратите внимание, мой окопчик, тут — Анкудина. А напротив немецкий стрелок засел, — у них тоже снайперы есть. Невозможно нам голову приподнять. Ну, Суеверин и выдумал эту приманку. Привязал он вашего курчонка длинной тонкой бечевкой за лапку, выпустил на бугорок. Другой конец бечевки у себя в окопчике держит. Фашист разве утерпит перед курицей? Слышим — бац! У цыпленка — моментальная смерть. Немец высунулся. Старший сержант в эту минуту — хлоп! Порядок. Только забыли мы, что у немца тоже напарник есть. Тянет Анкудин к себе мертвую курочку и выставился немного плечом… Тут его и пригадало…

— Где же теперь Анкудин находится?

— В госпитале.

— Это в палатках, за лесочком?

— В точности. Вчера благополучно операцию

проделали.

— Напиши-ка ты мне подробно его фамилию, — требовательно сказала Тарасовна и, что-то соображая, добавила: — Я его за здравье в поминанье внесу.

— Можно, — согласился сержант. — Хотя уход за ним приличный, и вряд ли он нуждается в каких дополнительных молитвах.

— Ну, это уже мне лучше знать, нуждается или не нуждается, — сухо ответила старуха.

А на следующий день утром по нетронутому снежку Ольга Тарасовна в больших мужских валенках шла к лесу. Первая зимняя тропинка, точно стежок по холсту, вилась вслед за ней вдоль заброшенных огородов, через выгон.

На лесной просеке грозно окрикнул часовой — боец из команды выздоравливающих, одетый в тулуп с косматым звериным воротником.

— Стой! Кто идет?

Старуха раскутала с головы верхнюю шаль.

— Русские идут. Не видишь?

— Стой, говорю, на месте, мамаша! Что ты там под шалью прячешь?

— Об этом главному командиру знать.

— Главному, — обидчиво сказал часовой. — Тогда жди тут караульного начальника! — Он

надул сизо-багровые щеки и так пронзительно засвистел, что у старухи искры брызнули из глаз.

Караульный начальник выбежал из елового шалашика, с одного взгляда прочитал бумажку, которую показала Смирнова.

— К Суеверину Анкудину… Это, кажется, в третьей палатке. Как он вам доводится?

— Внук, — коротко ответила старуха и посмотрела вверх, где неуловимой тенью промелькнула серенькая белка, перемахнувшая с вершины на вершину.

— Идите за мной, бабушка, — сказал начальник.

Палатка была из толстого, одеревенелого на морозе брезента. Внутри — сухие, свежевыструганные дощатые полы. От железных печурок лилось тепло, пахнущее зеленой хвоей.

Суеверин, похудевший и до того бледный, что лицо стало одного цвета с белой подушкой, лежал в дальнем углу. Он сразу узнал Тарасовну, приподнялся на локте.

— Зачем вы сюда, бабуся? Здесь место военное.

Она опустилась на низенькую скамейку.

— Я сама стала — хоть шинель надевай. Куда тебя?..

— В левую руку.

— То в правую ногу, то в левую руку… Издырявят всего насквозь. Неужто уберечься нельзя?

У старухи затряслось лицо, плечи. Крупные слезы стали падать на концы шали, серебрясь на темном ворсе. Она развязала дрожащими пальцами узелок. Жареный куренок выпал у нее из рук, едва успела подхватить. Тарасовна потянулась к дверце тумбочки.

— Сюда, что ли, положить?..

Суеверин быстро захлопнул дверцу.

— Оставьте эти глупости, бабуся, я вам приказываю. Самой, поди, кушать нечего.

Но Тарасовна уже чувствовала себя хозяйкой, говорила строго и властно:

— Ешь, поправляться надо!

— Еще раз прошу, — сердился Анкудин, — не конфузьте меня перед остальными ранеными.

Тогда Тарасовна улыбнулась мягкой и покорной старушечьей улыбкой, сказала словно маленькому:

— Ну, пополам давай. Вот я на свою долю крылышко отломаю, для тебя — ножку…

Она с усилием жевала остатками зубов.

— Гляди-ко, как хорошо. Бери!

И Суеверин тоже улыбнулся, протянул здоровую руку. Но вдруг нижняя губа у него мелко

задрожала, руки запрыгали.

— Или рана болит? — участливо спросила старуха. — Может, еда несоленой кажется? А я привыкла, давно без соли ем.

На ближней койке поднялся раненый, горбоносый, с желтоватыми выпуклыми белками глаз, и молча передал щепоть соли на бумажке.

— Вот и соль нашлась, — обрадовалась бабка, отломила вторую ножку, передала горбоносому. — Из татар что ли будешь?

— Нет, кавказец, — с гортанным придыханием ответил раненый.

— Ох, все мы дети одной матери — и кавказцы и не кавказцы. Который палец не порежь — все больно.

Ели они чинно и неторопливо. Суеверин вытер полотенцем губы, начал свертывать папироску.

— Закончим, бабушка, войну, как домой вертаться буду, обязательно к тебе загляну, сарайчик укомплектую,

— И долго тебя ждать прикажешь?

— Теперь уж, думаю, скоро. Победой в воздухе пахнет.

Дежурная сестра принесла Суеверину лекарство, напомнила Тарасовне, что пора уходить. Подчинилась старуха очень неохотно.

В конце недели она наведалась еще раз. Развернула из тряпицы два яичка, маленькие, будто голубиные, радостно сообщила:

— Небывалое дело: молодка в зиму занеслась. Видно, правильные твои слова, Анкудин, победой пахнет. Птица — и та начала в разум приходить. Хорошую ты, Анкудин, весть сказал.

Потом облокотилась о тумбочку, пригорюнилась.

— Все-то вы по домам разъедетесь, только я своего Сашеньку не дождусь. Третий год вестей от него нет… Занесла я внучка в поминанье за упокой. Встану в передний угол, разверну поминанье. Воина Александра Егоровича Смирнова во царствии твоем…

— Стойте, бабушка! — вдруг закричал Суеверин. — Подождите! Смирнов Александр Егорович? Гвардейский минометчик? Ясно! Переносите его из графы «за упокой» в графу «за здравие». Вместе мы в сорок первом из Литвы уходили, вместе в этом году до границы дошли.

Старуха с печальной укоризной покачала головой.

— Эх, молодчик, не всякая ложь во спасение!

Но Суеверин нашарил под изголовьем полевую сумку, раскрыл, перелистал какие-то бумаги,

выхватил фотографическую карточку.

— Или он, бабка, или голову мне с плеч долой!

Из группы снявшихся бойцов глянуло на Тарасовну единственное и неповторимое в своих ясных чертах лицо. Старуха обеими руками прижала карточку к щеке и замерла без единого слова. Оторвалась, перевела дыхание, спросила:

— Так чего же письма мои к нему не доходили?

— А какой у вас адрес?

— Двенадцать и четырнадцать, — заученно ответила Тарасовна.

— Устарело, бабуся. Мы с тех пор десять адресов успели переменить. Теперь пишите ему: шестьдесят девять плюс ноль восемьдесят четыре.

Тарасовна тихо сказала:

— Вестник ты мой добрый!

Но сейчас же опять забеспокоилась:

— Да он-то почему не сообщает мне ничего?

Пришла очередь Суеверину растеряться.

— Это — действительно…

Вдруг он вспомнил что-то, в замешательстве начал разглядывать Смирнову.

— Подождите, бабушка… А вы-то откуда взялись? Ведь вы вроде как в живых не состоите?

— Ну, батюшка, — обиделась старуха, — шесть-

десят четвертый год живу, и паспорт всегда при мне.

— Это, бабуся, не я выдумал. Это мне Александр из открытки вычитал. На вторую, кажется, неделю войны получает он открытку, какой-то старичок прислал. Сообщает старичок, будто прямо в вас угодила ужасной силы немецкая бомба.

— Верно, — подтвердила Тарасовна, — упала бомба. Только не в меня, а в избу. И я теперь в чужой хате живу. Когда немец начал над деревней кружиться, я на огороде ковырялась. Опомнилась после взрыва и со страха в соседнее село за девять верст на четвереньках уползла. Неделю там жила. Меня в Лаваришках за погибшую считали… Ах, ты! — вдруг вскочила она. — Ведь это семиребрый Парамон мог про мою гибель Сашеньке написать, больше некому. Только он и адрес знал!

— Именно! — подхватил Суеверин. — И я хорошо вспомнил: Семиребрый! Александр тогда сильно огорчился. «Я, слышь, на фронте живой, а бабушку в тылу убило».

— То-то он, седой бес, стороной меня обходит! — воскликнула Тарасовна. — Так я пойду сейчас пересчитаю, сколько у него там ребер осталось.

Парамон оказался дома. Услыхав скрип двери, он свесил было с печки лохматую голову, но,

узнав Смирнову, мгновенно нырнул куда-то в потемки.

Старуха схватила подвернувшийся ухват, стукнула об пол:

— Ты что же это, бобыль нечесаный, живую меня в землю закопал?!

Откуда-то из мрака, из-за печной трубы, послышался загробный, дрожащий голос:

— Был грех, соседка. Был… Поторопился написать. А после совести не хватило сознаться.

Недолго сердилась и бушевала старуха. Поставила ухват на прежнее место. Радость теснилась у нее в груди, била, как птица, крыльями, просилась вылететь на волю, под синее высокое небо.

— А ведь он живой, Сашенька-то! — вскричала Тарасовна. — Слышь, Парамон, живой! Да!

Старик выглянул наружу, лохматый, заросший до самых глаз.

— Жив? Вот благодать, вот счастье!..

Жалость к заброшенному, одичавшему деду охватила Тарасовну.

— Приходи морковного чайку испить.

— Не откажусь.

— Может, баньку перед чаем истопить?

Старик свесился до самого пояса, затряс головой и бородищей, прогудел:

— Ох, матушка, Тарасовна! Как тело-то по венику исплакалось. Топи жарче! А я к чайку горшочек меду захвачу.

...По свежей тропинке, мимо огородов и через пастбище, в мужских стоптанных валенках шла Тарасовна к лесу. В руках несла маленький глиняный горшочек. Многое ей надо было рассказать Суеверину. И о том, что от Сашеньки получено письмо, что помирилась с Парамоном, что занеслась теперь уже не одна молодка, а все три. Но на просеке ее не окликнул и не остановил сердитый часовой в тулупе. А на месте брезентовых палаток чернели ровные, еще не запорошенные снегом, большие квадраты голой и мерзлой земли. Еще не знала Тарасовна, что этой ночью фронт хлынул вперед. А вслед за наступающими частями снялись и двинулись госпитали с легко ранеными, продовольственные склады, походные мастерские, бесчисленные обозы.

Опустив голову, закутанная до бровей шалью, молчаливо постояла старуха в беззвучном, охваченном морозной дремотой лесу, постояла одна-одинешенька, маленькая среди огромных, будто белые шатры, елей и сосен, сгорбленная и задумчивая, словно добрая колдунья из сказки. Потом, глядя себе под ноги, прошептала еле

слышно:

— Скорого вам пути. Самого лучшего вам здоровья!

Можно было бы сказать, что она не осмелилась покрестить мелким крестом и эти глубокие рубчатые автомобильные колеи, и этот узкий быстрый росчерк санных полозьев… Можно было бы… Да ведь кто этому поверит?

Она вышла из леса на широкую наезженную дорогу.

По дороге, чуть согнувшись под тяжестью туго набитого мешка, прихватив на груди зеленые лямки, размеренным шагом шел солдат. Старуха подождала его, спросила с легким поклоном:

— Далеко ли, служивый, путь держишь?

Служивый шаркнул варежкой по лицу и озарился широкой улыбкой. Да так, должно быть, нагрел эту улыбку радостью, что сердитый иней моментально растаял на небритых щеках.

— И не говори, мать! Из отпуска шагаю. Целых два месяца дома от ранения поправлялся. А теперь своих догоняю. Вперед пошли, к Пруссии.

— У деток, значит, был?

— И у деток и у родителей.

— Сколько деток?

— Трое. Такие галчата!

— И жену, значит, повидал?

— Ох!.. — захлебнулся боец шумным и глубоким вздохом, будто глотнул крепкого вина. — Да еще как повидал!

Оглядела Тарасовна солдата от малахая до валенок и подумала: далеко еще осталось шагать солдатским ногам. Передала ему старуха свой горшочек:

— Тут немного медку. Пока добираешься, подслащивай скорую встречу с товарищами. А доберешься — и других угости.

— Обязательно угощу, — ответил солдат, распутывая лямки.

Казалось, что в этот набитый доверху мешок некуда больше и грецкий орех втолкнуть. Нашлось горшочку место.

— Только помни, — предупредила Тарасовна, — первую ложку — за Александра, вторую — за Анкудина.

— Да я их, милая душа, как по святцам прочту: Анкудин, Александр.

— Нет уж, ты Александра первым поставь.

Тряхнул солдат плечами, крякнул и подбросил мешок.

— На мою удачу, мать, счастливым ветерком тебя из леса вынесло.

— И ты мне на счастье встретился.

— Чего только ты загадаешь, мать, — пусть все исполнится.

— И тебе то же самое.

Солдат зашагал своей дорогой. Его фигура мерно покачивалась, уменьшалась, плыла в морозной синеве, потом растаяла.

Не страшно было Тарасовне возвращаться в безлюдную и заброшенную деревеньку Лаваришки. Чуяла она сердцем, что скоро, как птицы по весне, начнут слетаться люди на свои прежние гнезда. Примутся стучать топорами, чинить хаты. Возьмется и старуха за свое хозяйство, поджидая встречи с внуком Сашенькой. И не скучно будет ей среди хлопотливо работающих соседей, не тоскливо. А как же иначе?.. На этой земле, истерзанной воронками, глубоко пропитанной запахом крови, пороха и железа, все мы на этой большой и жаждущей обновления русской земле — дети одной матери.

Василий Иванович Ардаматский

Комендант немецкого города

Батальону капитана Рузаева нужно было двигаться дальше, но грузовики задержались где-то на заправке, и бойцы в ожидании машин расположились у окраинного домика немецкого города Н.

Батальон этот город не брал, но все здесь было так же, как и в соседнем городке, откуда после боя вышел сюда батальон; высокие пирамидальные крыши домов с проломами в стенах, кирха со сбитым верхом, улица, на которой грязный снег перемешан с бумажками и цветастыми страницами из немецких журналов. Несколько пожаров озаряло все вокруг шатким багряным светом. Где-то на другом краю города еще хлопали редкие выстрелы.

Капитан Рузаев прохаживался перед домиком, поглядывая на пехотинцев. Рузаев видел и узнавал своих бойцов, но все же дольше, чем на других, он останавливался взглядом на тех, с которыми воевал на Украине, держал проходную будку на Сталинградском тракторном. К ним Рузаев испытывал какое-то особое чувство. В минуты раздумья, когда начинал он перебирать в памяти

близких людей, лица этих бойцов возникали рядом с дорогими лицами далекой мирной жизни… Рузаев остановился перед сталинградцем Приходько. Бойцы звали его «дважды сталинградец» за то, что он был уроженцем и защитником этого города. Сейчас Приходько стоял, опершись на винтовку, и задумчиво смотрел в темень.

— О чем думаешь, Приходько? — спросил у него Рузаев.

— Думаю, что за кривые люди машины задерживают, — неожиданно ответил сержант. — Такие дела кругом, а мы стоим, точно в мирное время у нас в Сталинграде на остановке автобуса…

— Нелегко сейчас подвозить горючее, — спокойно сказал Рузаев и протянул Приходько папиросу. В это время он услышал крик из темноты:

— Где здесь капитан Рузаев?

— Я капитан Рузаев, — громко ответил капитан и пошел навстречу голосу.

Из темноты появился высокий офицер.

— Старший лейтенант Колесов. По приказу полковника Березанского прислан в батальон. Вам приказано немедленно явиться к полковнику.

…В доме, занятом полковником, света не было, но весело пылавший камин освещал мягким багрянцем лица нескольких офицеров, сидевших

возле камина.

Рузаев узнал полковника и направился было к нему, но, заметив рядом с ним генерала, остановился.

— Давай сюда, Рузаев, к огоньку, — просто сказал полковник Березанский и, повернувшись к генералу, добавил: — Вот он и есть, наш Рузаев.

— Вы имеете три ранения? — спросил генерал.

— Точно… три… одно легкое, — ответил Рузаев.

— Мы назначили вас комендантом этого города, — вставая, сказал генерал.

Рузаев сразу полностью не осмыслил, что означают для него эти слова, и по выработавшейся привычке отвечать на приказы начальника четко сказал:

— Есть!.. Комендантом… — и, замявшись, прибавил: — Остаться!

И в эту секундную заминку, пока в его мозгу рождалось это слово «остаться», Рузаев понял, что должно произойти, понял самое главное: бойцы его батальона, гремя сапогами и котелками, заберутся сейчас в кузовы машин и помчатся к новым боям, а он останется здесь, в пустом, мертвом городе.

— Почему меня? — сдавленно вырвалось у Рузаева.

— Почему? Город надо держать в порядке, — медленно и раздельно сказал генерал, — здесь узел трех важных шоссейных магистралей. Вашему батальону поданы машины?

— Нет.

— Вот такого безобразия в вашем городе не должно быть, — сказал генерал. — И еще: под особое наблюдение возьмите эвакуацию раненых... Наконец, помните, что в двадцати километрах отсюда в лесах осталась немецкая группировка. Пока ее не добьют, могут быть любые неожиданности. Даем вам людей, — закончил генерал, — много не дадим, будет при вас отделение. Все ясно?..

Во время войны Рузаев не раз читал в газетах о работе военных комендантов освобожденных городов и отчетливо представлял себе, как к этому человеку приходят счастливые, жадные на работу освобожденные люди, какие волнующие встречи, разговоры происходят в кабинете военного коменданта. Но все это бывало в освобожденных советских городах. А этот город был немецким, и ни на кого, кроме десятка прикомандированных к нему красноармейцев, комендант опереться не мог.

В ту же ночь рузаевский батальон уехал дальше

на запад. Присланные генералом красноармейцы расположились в маленьком домике на окраине, ставшем теперь военной комендатурой. Утром Рузаев пошел по городу. Первое дело возникло само собой, пока он шел по улице. Чуть ли не каждая машина, поравнявшись с Рузаевым, останавливалась, и шоферы спрашивали дорогу к различным пунктам.

Рузаев приказал написать и развесить на перекрестках таблички, указывающие дорогу к прифронтовым пунктам. Эту работу взялся выполнить красноармеец, назвавшийся художником.

А под вечер в комендатуру ворвался командир самоходного орудия, казах. Он показывал Рузаеву табличку и, мешая русские и казахские слова, кричал:

— Что делаешь, куда смотришь, куда дорогу показываешь? Окопались здесь на тихом месте!

Рузаев взял табличку и все понял: название пункта было написано так мелко, что прочитать его можно было только держа табличку в руках, зато две трети таблички занимал старательно исполненный художником указательный палец.

Когда расшумевшийся командир самоходки ушел, Рузаев отдал приказ переделать таблички.

Поздно ночью, сидя перед коптилкой, окруженный страшной тишиной пустого города, Рузаев думал о прошедшем дне. Память назойливо воскрешала фразу казаха-лейтенанта: «Окопались здесь на тихом месте!». Рузаев с горечью думал о том, что еще не раз он услышит или прочтет эту фразу во взглядах проезжающих к фронту людей.

На другой день в город прибыла колонна цистерн с горючим. Начальник колонны тоже начал с басового крика, что он выбился из графика, что его шоферы три дня без горячей пищи, что на дороге беспорядок. Рузаев осадил его, потребовал говорить спокойно и отдал приказ двум бойцам приготовить горячую пищу для шоферов колонны. Отдав этот приказ, Рузаев подумал: «Хорошо, что еще вчера я подготовился к этому. Надо все готовить заранее...» А что все?.. Рузаев вспоминал беды и трудности, пережитые им и его батальоном на путях войны, и это помогало ему угадывать свои главные задачи и заблаговременно подготовиться к их решению.

Через час колонна цистерн отправлялась дальше. К Рузаеву зашел начальник колонны. Он посмотрел на усталого Рузаева и неожиданно тихим голосом сказал:

— Спасибо, капитан. Не поминай лихом. Мои орлы-шоферы решили про тебя написать благодарственное письмо в газету.

— Это ни к чему, — устало сказал Рузаев. — Каша была ничего?

— Первый сорт, — ответил начальник колонны.

— Я боялся, что сварят черт знает что… У меня тут один боец художником назвался, — улыбаясь, сказал Рузаев, — так я потом имел горе от его живописи…

Когда начало смеркаться, на грузовике приехало семеро связистов. Они сказали, что тянут телефонную линию к комендатуре, но дотемна не успели — осталось с полкилометра.

Ночью, вернувшись с проверки регулировочного поста, Рузаев сел к столу и начал писать письмо в свой батальон. Хотелось написать и расспросить о многом. Письмо получилось длинным, и Рузаев начал засыпать, склонившись над столом.

Комендант немецкого города проснулся с ощущением неосознанной тревоги. В соседней комнате слышались возбужденные голоса бойцов. Рузаев крикнул дежурного.

— Товарищ комендант, в городе стрельба! — не

ожидая вопросов, взволнованно сказал дежурный.

Рузаев вышел на крыльцо. Стрельба слышалась в восточной части города, и какая стрельба! Пулеметные очереди, рокот автоматов, взрывы гранат… Там, на поле боя, Рузаев знал все, а здесь он вдруг почувствовал себя беспомощным.

— Разбудить связистов! — приказал он. — И все сюда. Приготовить оружие!

А оружие — по автомату на бойца да один ручной пулемет. Вдруг вдали улицы сверкнул огонь, и грохот взорвавшейся гранаты хлестнул гулким раскатом по пустым домам города.

— Все в дом! — крикнул Рузаев. — Занимай круговую! — И, вспомнив, что новые бойцы не понимают еще слова «круговая», Рузаев быстро указал места своим бойцам.

Когда все устроились у окон, дверей, близ фундамента дома, капитан сразу успокоился. Теперь все было, как бывало не раз там, в Сталинграде, и он знал уже, что надо делать.

Звуки в конце улицы затихли.

— Внимательно смотреть на улицу! — тихо приказал капитан и сейчас же услышал нервный вскрик кого-то из бойцов, находившихся на дворе.

— Стой! Кто идет?! Стой! Хальт!

Хлопнул выстрел. Снова послышались крики. Капитан выбежал во двор.

— Дурной, — услышал капитан незнакомый спокойный голос, — чуть не застрелил. Хорошо еще, что со страха целить разучился.

— Кто здесь? — строго спросил Рузаев.

— Связист, старший сержант Хубов!

— В чем дело?

— Товарищ капитан, с восточной окраины сюда движутся немцы. Я предупредить пришел.

— Много их?

— Думаю, с батальон. У них два бронетранспортера, пулеметы, гранаты…

Близко фыркнула и с сухим треском разорвалась мина, разворотив угол дома.

— …и вот еще и минометы имеются, — спокойно закончил фразу связист, сразу понравившийся Рузаеву своим хладнокровием.

— Будете командовать здесь! — приказал ему Рузаев. — А я перейду в соседний дом.

Вскоре в конце улицы послышался нарастающий дикий вой и стрельба. Немцы, не зная, какие силы стоят в городе, решили прорваться к центру излюбленным приемом — психической атакой. И вот Рузаев увидел их: рядом шли два броне-

транспортера, а позади, стреляя по сторонам и вперед, бежало человек двести. Они подходили все ближе и ближе, вот транспортеры прошли уже мимо Рузаева… Он быстро перебежал за каменное крыльцо, лег, и тотчас его пулемет ударил в спину… Начали стрелять и бойцы из соседнего дома. Немцы сразу рассыпались и скрылись в ближайших домах. Один бронетранспортер ушел дальше, а другой остался стоять посреди улицы. Начался обычный уличный бой, в котором для Рузаева уже не могло быть никаких неожиданностей.

Рузаев выполз из-за крыльца и быстро перебежал к своим. Немцы вели огонь именно по этому дому: пули глухо стукали в его добротные каменные стены. Рузаев приказал на огонь не отвечать и следить за противником. Он знал законы уличного боя, знал, что немцы полезут в атаку и что именно тогда наступит решающий момент боя. Идти в атаку самому было не с чем. Рузаев ждал, опасаясь, как бы немцы не решили отложить атаку до утра. Но немцам было некогда. Вырвавшись из окружения, они торопились дальше на запад. Где им было знать, что фронт уже ушел отсюда на десятки километров? И они пошли в атаку. Бой шел минут десять. Немцы откатились

обратно в дома, стоявшие напротив. Только один залег за бензиновой колонкой у самой комендатуры и бросал оттуда гранаты. Одна из гранат, брошенная на крышу, вызвала пожар на чердаке. Рузаев послал одного бойца тушить пожар, а сам с пулеметом улегся у проломанного угла. Из-за колонки вылетела еще одна граната. Рузаев слишком поздно сообразил, что глухо стукнулось о землю у самого пролома. Взрыв отшвырнул его в глубь комнаты. Капитан почувствовал уже знакомое ему ощущение теплой мокроты на боку — ранен!

— Хубов, ко мне! — крикнул Рузаев и, когда тот вполз в комнату, спросил: — Перевязывать умеешь?

— Наверно, умею, — спокойно ответил Хубов и вынул из планшета санитарный пакет.

Перевязка была закончена, Рузаев натянул с помощью Хубова гимнастерку. В это время немцы снова пошли в атаку. Рузаев бросился к пролому.

Был в этом бою рискованный момент, когда пятеро врагов прорвались во двор комендатуры, где находились бойцы-связисты, но те оказались опытными солдатами и в рукопашной схватке перебили гитлеровцев. Рузаев слышал, как во время драки старший группы связистов, со смеш-

ной фамилией Дыхни, кричал сильным голосом:

— А ну, дай им!..

После третьей атаки фашисты поумнели. Поскольку в их планы совершенно не входило завоевание этого города и тем более одного дома, они решили с боем вырваться с этой улицы и бежать дальше к своим.

Атаковавшая дом группа немцев сначала укрылась за бронетранспортером, а затем по одному начала перебегать вслед основной группе. И тогда Рузаев крикнул:

— Взвод, за мной! Ура!

Горстка бойцов выбежала вслед за ним на улицу. Жиденькое разноголосое «ура» раздалось на улице, и бойцы вслед за Рузаевым, стреляя по убегающим, побежали к окраине города. И вдруг, наперерез им, из переулка, грохоча и высекая гусеницами искры, вылетел танк КВ и за ним три машины с пехотой. Боясь ошибки танкистов, Рузаев крикнул своим бойцам «ложись». Но танкисты, видимо, хорошо знали, что им делать: танк развернулся на окраинную улицу и умчался дальше. Вскоре там послышались пулеметные очереди, короткие удары танковой пушки. Пехота, соскочив с грузовиков, побежала туда же.

На рассвете все было кончено… Перед коменда-

турой стоял танк и три грузовика. Бойцы Рузаева, окруженные толпой пехотинцев, рассказывали, как было дело. В сторонке жались в кучу пленные. В комендатуре двое танкистов и пехотный лейтенант разговаривали с Рузаевым. У капитана от потери крови кружилась голова, но он держался изо всех сил и вел разговор, будто ничего не случилось.

— Кто дал вам знать о немцах? — спросил Рузаев у танкиста.

— Командование знало, что их группа выскочила из котла. А мы оказавшись под рукой, как раз только из ремонта вышли, вот нас и послали опробовать машину. Пехота дала своих ребят… Без нас бы вы хлебнули лиха…

— Да нет, ничего, держались бы, — ответил Рузаев, — не впервой…

— Серьезная рана?

— Нет, мелочь. Осколком поцарапало…

…Сон вернул Рузаеву силы, и утром, после перевязки, убедившись, что рана нормально затягивается, он приступил к своей обычной работе.

В этот же день к вечеру в комнате капитана связист Дыхни весело кричал в телефонную трубку:

— Полный порядок! Закрепляй!.. Товарищ комендант, — доложил он Рузаеву, — связь обес-

печена!

— Спасибо, — ответил Рузаев и, вспомнив ночь, еще раз сказал: — Большое спасибо!

Вошел дежурный и доложил, что коменданта желает видеть один раненый, которого везут в тыл. Рузаев, выйдя на улицу, увидел сидящего в санитарной машине сталинградца из своего батальона, сержанта Приходько. Сержант с трудом выбрался из машины, и они обнялись. Приходько заметил, что левая рука Рузаева не вдета в рукав.

— Что это, товарищ капитан, — спросил он, — никак авария?

— Так, пустяк, — уклончиво ответил Рузаев и, показав на перевязанную руку Приходько, сказал: — А тебя тоже малость подранили.

— Месяца на три батальон оставил, — вздохнув, сказал сержант.

Рузаев расспрашивал Приходько о батальоне и не мог скрыть волнения, слушая смешливый рассказ его о боевых делах бойцов батальона.

— Немец нас, рузаевцев, ох не любит, — говорил Приходько, — от самого Сталинграда запомнил он нас. Ну, а сейчас не Сталинград, а почище будет…

Они стояли рядом, капитан и сержант, одинаково меченные белым бинтом, будто и теперь оба

они ранены были в одном и том же бою, как уже было один раз под Киевом.

Санитарная машина уехала, и Рузаев вернулся в свою комнату. Раздался писк телефона. Рузаев снял трубку.

— Комендант города слушает!

— Рузаев?

— Я, Рузаев.

— Говорит генерал Строевский!

— Слушаю вас, товарищ генерал!.. — Машинально Рузаев встал и продолжал разговор стоя.

— Что у вас там ночью произошло? — спросил генерал.

— Да ничего особенного, товарищ генерал. Как вы предупреждали, так и вышло… В общем, немцы малость хотели побаловать…

— Малость, говорите? А рана как?

— Заживет, товарищ генерал!

— Спасибо за службу, капитан! И поздравляю вас с Красной Звездой.

Рузаев молчал, не зная, что сказать.

— Алло! — услышал он. — Алло! Рузаев! Куда вы пропали?

— Благодарю, товарищ генерал. Я не пропал, я здесь, — сказал Рузаев, и генерал рассмеялся:

— Ну, вот и хорошо, и впредь не пропадайте

и оставайтесь на своем месте. В День Красной Армии привезу вам орден, приготовьте ужин получше!..

— Есть, товарищ генерал!..

Рузаев положил трубку и подошел к окну. По улице двигалась колонна танков, направлявшаяся на запад, туда, где воевал его батальон.

Шли дни, с утра до поздней ночи заполненные работой, как будто бы маленькими делами и заботами. Та ночная схватка давно стала воспоминанием, одним из обычных воспоминаний войны. Однажды кто-то спросил у Рузаева, почему угол комендатуры обвален и забит досками. Рузаев посмотрел на это место, может быть, несколько дольше посмотрел, чем посмотрел бы другой, и сказал:

— Как это почему? Очень просто — война!..

Елена Кононенко

Муфта

Сержант Городков извлек из ящика серый пушистый комок и воскликнул с изумлением:

— Братцы! Ведь это зверюшка какая-то… Ей-ей!

— Никак котенок? Котенок и есть… Чучело кошачье. Вот чудеса!

— Мать честная, да не кот это, а целый медведь… Топтыгин… Ушастый какой. Ах ты, дурашка!

Разведчики сгрудились вокруг странного подарка, шутили, спорили и радовались. Пушистый комок переходил из рук в руки.

— Солдаты! Да это муфта! — со смехом сказал один из бойцов. — Поверьте мне — это детская муфта… я видел такую… Ну, ясно — глядите-ка: вон тут и отверстие…

— Документ, братцы, прошу внимания! — торжественно объявил сержант Городков. Он распечатал конверт и вслух прочитал записку:

«Дорогие дяди фронтовики! Посылаем вам своего мишку, чтобы вы грели ручки. Люся, Маша, Женя, Ваня, Фима, Додик, Танечка…» И еще много, много детских имен.

В землянке дружно расхохотались. Потом стало тихо. Медвежонок снова обошел круг. Было в

нем что-то притягательное. На него смотрели с нежностью, его гладили, прижимали к небритым жестким щекам. Кто-то шумно вздохнул. Кто-то пробормотал:

— Поди ж ты… что придумали: ручки!

Городков посмотрел на свою огромную ладонь, на пальцы с обломанными, желтыми от махорки ногтями, покачал головой и рассмеялся:

— Мизинец разве обогреть, солдаты, а?

У всех посветлело на душе. Вспомнили малых сыновей, дочек, сестренок. Этот необычайный подарок принес чистое детское дыхание, веселый лепет, серебряный смех. И на секунду сержанту Городкову показалось, что в землянку, переваливаясь с бочка на бочок, вошел тихонько Гришутка, взобрался на колени, трется круглой щечкой о его щетинистую щеку, посапывает и что-то журчит так, как умеют журчать только малые дети и ручьи.

— Эх, братцы, у меня парень — герой. Ну крепенький, что твой белый гриб! — мечтательно сказал сержант Городков. — А сердитый какой, ты, брат, с ним не шути… Три года его не видел, сейчас уж буквы понимает. Родинка у него на правом височке…

И каждый вспомнил вслух что-то о своем ма-

лыше: и взгляд, и повадки, и ямочку на щеке. И оттого, что вспомнили это, у всех прояснились лица, а потрескавшиеся губы расползлись в широкие добрые улыбки.

Только Иван Рыбалка сидел в углу, по-прежнему молчаливый и скучный: некого ему было вспоминать, потому что был он холост, отец и мать его давно померли, младших сестер и братьев не было. Была у Ивана Рыбалки любимая девушка Груня, но давно перестала писать письма. И получилось, что некому ждать возвращения Ивана Рыбалки с войны, и жил он, как зло шутил сержант Городков, без аппетита.

— Братцы! А ведь тут еще документ! — вскричал сержант, извлекая из конверта вторую записку. Он прочел ее вслух, и разведчики узнали историю смешной муфты.

Каждое утро малые питомцы детсада отправлялись с тетей Полей на прогулку. Они прихватывали с собой муфту. Муфта была одна на весь детский сад, и малыши поочередно грели руки в меховом мишкином пузе, подшитом голубым шелком. Они очень дорожили своим медвежонком. Они дрались из-за него и плакали горючими слезами. Но вот пришла тетя Поля и сказала: «Давайте, ребятки, пошлем к празднику бойцам

письмо». И тогда они сами решили послать на фронт не только письмо, а самое хорошее, что у них было, — медвежонка.

Медвежонок лежал на столе, хитро щуря единственный янтарный глаз. Он словно поглядывал на бойцов, словно спрашивал их:

— Ну, что же будет дальше, солдаты?

— Братцы! Как те мы решим насчет Топтыгина?

— А так, по-моему, и решим: кому нынче в разведку идти, с тем и Топтыгин пойдет…

Долго еще шумела землянка, растроганная детской лаской.

Муфта досталась Ивану Рыбалке. Он молча спрятал пушистый комок за пазуху, обрядился в белый маскировочный халат и в сумерки ушел…

Иван Рыбалка лежал в снегу, выслеживал врага. Лежать было холодно и скучно. Немец не подавал признаков жизни. Ноги, руки, живот замерзли. Иван Рыбалка подумал о том, как давно он на войне, и как труден еще путь впереди, и как далеко он сейчас от родного села, представил себе празднично одетую Груню в жарко натопленной избе: вот она рассказывает что-то гостям и хохочет, а сережки звенят в ее маленьких розовых ушах. И ей, может быть, все равно, замерзнет он

или не замерзнет в этих холодных снегах, убьют его или не убьют. Она, пожалуй, даже свободней вздохнет, если его не будет в живых.

И на секунду обиженному Ивану Рыбалке даже захотелось замерзнуть: уж очень тошно у него было на сердце, пусть бы оно, это чертово сердце, застыло так же, как застыли ноги и руки.

Но сердце не замерзло, и за пазухой было тепло, как в печке. Чем это там такое припекает? Ах, это дитячий подарок, «мухта» или как ее там назвали хлопцы. Иван Рыбалка вытащил меховой комок и невольно усмехнулся краешком ледяных губ. Медвежонок смотрел на него единственным стеклянным глазом. Ухо его примялось, он был смешон.

— Ну, что, косолапый? — спросил Иван Рыбалка, разглаживая смятое медвежье ухо, и вдруг мысленно увидел гурьбу карапузов, которые дуют на свои маленькие озябшие пальцы.

«Миляги», — подумал Иван Рыбалка растроганно и просунул два пальца в муфту. Он согрел все пальцы по очереди и стал думать о детях. Вот кому он нужен, вот за кого драться до конца, вот за кого терпеть и стужу, и боль в теле, и сердечные муки.

«Жизнь наша! — шептал Иван Рыбалка на ухо

серому пушистому комку. — Не дадим вас в обиду… а ужо вернусь — всем по муфте куплю, еще лучше куплю… Цыц, Топтыгин!»

Иван Рыбалка снова спрятал медвежонка за пазуху. Исчезли вялость, досада, теплее стало телу. Глаза напряженно всматривались в белую мглу.

Леонид Сергеевич Ленч

Метель в Москве

Лейтенант Бурыгин Василий Николаевич, летчик, Герой Советского Союза, приехавший в Москву с фронта на три дня, позвонил рано утром из автомата девушке по имени Сима, в которую был давно безнадежно влюблен, и вдруг услышал, что, мол, теперь ей, Симе, все стало, наконец, ясно и что она, Сима, сегодня вечером скажет лейтенанту, согласна она быть его женой или нет.

— Утро вечера мудренее! — простонал лейтенант в трубку.

— Хорошо, ждите до утра! — засмеялась далекая Сима.

— Сегодняшнее утро мудренее сегодняшнего вечера. Говорите сейчас, Симочка!..

— По телефону такие вещи не говорят. Вдруг провод не выдержит?!.

— Черт с ним, пусть лопается! Живой человек важнее…

— Живой человек может потерпеть до вечера!..

— А если живой человек… сам лопнет до вечера от нетерпения?..

— Не лопнет!.. Я его знаю!..

— И я его знаю: лопнет!..

Они бы, наверное, еще минут десять взволнованно, смеясь от предвкушения близкого счастья, болтали всякую милую для них чепуху, если бы в кабину к влюбленному не забарабанили сразу три нетерпеливых кулака из очереди. Пришлось «закругляться». Молодые люди условились пойти вечером в театр, а до спектакля Сима обещала «на одну секундочку» забежать к лейтенанту и сказать то, что не могла сказать по телефону.

Весь день лейтенант провел как бы в розовом тумане. Куда-то ездил, что-то делал, но мысли его были заняты предстоящим вечерним свиданием.

Наконец, настал вечер. Лейтенант сидел у себя в номере выбритый, причесанный, отутюженный; поминутно поглядывая на часы, он подходил к окну, за которым бушевала незлая городская метель, бросался одним прыжком от окна к двери, когда слышал приближающиеся шаги в коридоре, и медленно возвращался назад к окну, когда шаги стихали вдали, — словом, делал все, что делают молодые люди его возраста, испытывая сладкие муки любовного ожидания. И вот раздался тихий, осторожный стук. Бурыгин, стоявший у окна, сделал тигровый прыжок и со счастливей-

шей улыбкой на лице распахнул дверь… Перед ним стоял пожилой мужчина в черном пиджаке, седоусый и толстощекий, как тюлень.

— Что вам угодно? — спросил разочарованный лейтенант.

— Вас! — сказал тюлень, входя в номер.

— Простите… Я вас не знаю…

— Зато я вас… тебя хорошо знаю. Моя фамилия Репин. Есть Репин, который висит в Третьяковке, там Иван Грозный убивает своего сына. И есть Репин, который сорок лет сидит сиднем в городе Леснянске, потому что это прекрасный город, дай бог каждой области на пасху такой город… Так я Репин, который сидит.

— Очень приятно!.. Но я здесь не при чем?!.

— Как это не при чем?! — загремел Репин, «который сидит». — Ты же вырос в Леснянске, комар тебя забодай!.. Я тебя вот таким помню… Ты у меня в саду воровал!.. Забыл?!.

Улыбаясь всеми своими морщинками на толстом добродушном лице, седоусый тюлень вспомнил солнечный тихий белоствольный сад, себя, светлоголового Ваську Бурыгина, сидящего верхом на высоком заборе, и страшного черноусого Репина, бегущего к забору с криком: «Вот я тебе сейчас голову оторву, постреленку!..»

— Много я вам в свое время убытку причинил… — улыбаясь, сказал лейтенант, — если по коммерческой цене считать, пожалуй, тысячи на две.

— Я тебе скидку сделаю лимитную как военному герою, — сказал Репин…

Они засмеялись и крепко обнялись. Потом Репин уселся на диван и заговорил, неторопливо сворачивая толстенькую папиросу.

— Я, понимаешь, недавно подумал, чего не хватает Леснянску? Город цветет!.. Война его не задела. Промышленность развивается — в этом году построили новый кожевенный завод. Работаем на вас, на фронтовиков, хорошо, идем в первых рядах… А все же чего-то не хватало!.. Знаешь, чего?.. Тебя, героя!.. Понимаешь?!

— Нет, не понимаю!..

— Среди наших леснянских парней не было ни одного героя. Понимаешь?! Вообще-то говоря, леснянские — хорошие вояки, орденоносцы, гвардейцы, у меня, в горисполкоме, они все на учете. Но героя не было! И мне это казалось обидным. Чтобы у такого города не было героя!.. И вот я приезжаю в Москву, раскрываю газету и читаю про тебя!.. «Васька Бурыгин, думаю, это же наш леснянский!.. Ура!» И вдруг случайно у дежурного

по этажу узнаю, что ты живешь рядом… Дай я тебя обниму от имени всего Леснянска.

Он встал и с такой силой прижал лейтенанта к своей широченной груди, что у Бурыгина затрещали кости.

— Но ведь я жил в Леснянске только до шестнадцати лет… — сказал полузадушенный Бурыгин, — а потом мы переехали в Синеозерск.

— Важно, что родился в Леснянске! — ответил Репин, снова садясь на диван. — А потом… тоже мне город — Синеозерск!

— Культурный городок!..

— А Леснянск некультурный?! Да что ты все на дверь косишься?..

— Жду… Одного товарища. В театр мне с ней… с ним надо идти!..

— Так бы и сказал давно!..

Деликатный Репин поднялся с дивана, но тут в дверь постучали. Лейтенант, просияв, распахнул дверь, и… в номер вошел маленький сухонький старичок в очках, с острой седой бородкой, одетый в длинную суконную толстовку.

— Вам… кого? — мрачно сказал лейтенант,

— Вас! — строго ответил старичок в очках.

— Простите, я вас не знаю…

— Зато я вас хорошо знаю! — сказал старичок в

очках. — Моя фамилия Чаликов, я заведую городским музеем в Синеозерске. Приехал в Москву в командировку и вдруг узнаю, что мы соседи по номерам… Товарищ Бурыгин, я должен внести вас в свою летопись!..

— В какую летопись?!..

— В нашу, синеозерскую летопись, которую я веду уже пятьдесят лет!.. Помилуйте, такое событие!.. Ведь вы первый синеозерец, ставший Героем Советского Союза!..

— Какой же он синеозерец?! — басом сказал Репин. — Он леснянский!..

Чаликов посмотрел на Репина поверх очков и в одно мгновение понял, что его опередили.

— Василий Николаевич Бурыгин, — сухо сказал Чаликов, — родился, правда, в Леснянске, но восемь лучших, сознательных лет своей жизни провел в Синеозерске, откуда и уехал на войну…

— Это не имеет значения, — возразил Репин, — важно, что он родился в Леснянске… И потом, не станет Василий Николаевич цепляться за ваш Синеозерск… Неважный городишко!..

— Как вы смеете так говорить про Синеозерск! Про город, о котором написано в летописях?!

— Так ведь вы же эту летопись сами и пишете! Своя рука владыка!

— В летописях двенадцатого века, невежда!..

— Мало ли что можно в двенадцатом веке намолоть! Поди проверь!..

Они воинственно стояли друг против друга, большой, грузный Ренин и маленький, почти невесомый Чаликов.

— Лучшие годы Бурыгина прошли в Синеозерске, — грозно шептал Чаликов, — здесь он окончил школу, здесь поступил в техникум, здесь первый раз влюбился.

— Влюбился я, положим, в Сочи, — робко заметил лейтенант.

— Вот видите! — обрадовался Репин. — Даже девушку подходящую Бурыгин не мог для себя выбрать в Синеозерске. Пришлось в Сочи тащиться!..

Чаликов задохнулся от негодования и стал кричать, что о красоте синеозерских девушек упоминалось еще в летописях пятнадцатого века, но тут в дверь снова постучали, и Сима в пушистой шапочке, запорошенной снегом, розовая, с сияющими глазами, свежая, как сама метель, вошла в номер. Спорщики смущенно замолкли. Лейтенант представил Симе стариков.

— Мы сейчас уйдем, — сказал Репин, обращаясь к Симе, — но пускай сам Бурыгин скажет, куда он

хочет приехать: в Леснянск или в Синеозерск?.. Вот, пускай скажет!..

— Видите ли, товарищи, — сказал Бурыгин, — сейчас мне хочется побывать совсем в другом городе.

— В каком? — нервно спросил Чаликов.

— В Берлине! — ответил Бурыгин.

— А потом мы с ним, — заявила Сима, сияя глазами, — обязательно побываем и у вас в Леснянске, и у вас в Синеозерске.

Это «мы» прозвучало в ушах лейтенанта великолепной музыкой.

— Милые вы мои земляки, — нежно сказал лейтенант, кладя одну руку на плечо Чаликову, а другую на плечо Репина, — не спорьте. Свои люди — сочтемся!.. После Берлина разберемся, кто чей!.. Я думаю, что и в Синеозерске и в Леснянске новые герои появятся. А сейчас, извините.

— Мы вас проводим, — сказал Репин. — Пойдешь, летописец?

По дороге в театр старики продолжали спорить, но теперь Репин все-таки признавал за Синеозерском некоторые достоинства, а Чаликов заявил, что Леснянск тоже упоминается в летописях, правда, не двенадцатого, а четырнадцатого века. А Бурыгин и Сима шли сзади, смотрели, как

неутомимые снежинки кружатся в неверном свете московских военных фонарей, и в сердцах у них кружилась и пела такая же веселая свежая метель. На углах у репродукторов стояли люди и ждали важного сообщения по радио, и мальчики бились об заклад, сколько сегодня будет салютов: три или четыре.

Лев Абрамович Кассиль

Солнце светит

Солнце зашло. Быстро слиняли блеклые краски мартовского заката. Снега за окном вагона набирались вечерней синевы. Ранняя звезда зажглась над далекими, уже плохо различимыми холмами. В вагоне густел сумрак. Света в поезде еще не давали, и дремотное оцепенение овладевало пассажирами. Обо всем уже успели поговорить днем, все было известно, каждый знал, куда и зачем едет сосед, и уже были выяснены цены на картошку, сало-шпиг во всех ближних и дальних районах, и перечислены были все случаи вагонных краж. В пошатывающемся сонном сумраке вагона бесконечно стучали колеса. От нечего делать люди смотрели в оттаявшее окно, за которым уже ничего и видно-то не было, и только где-то в дальнем углу все слышался монотонный говорок какой-то старушки, еще с утра начавшей рассказывать о своем внуке Порфишке, от которого с первого года и весточки не слышалось, а потом, вдруг, он и сам объявился…

Поезд недолго постоял у какой-то маленькой станции и пошел дальше. И тут проводница подвела к одной из полок вагона нового пассажира

и сказала:

— А ну, граждане, потеснитесь маленько, дайте место человеку.

Новый пассажир уверенно и легко прошел за ней к указанному месту. В темноте трудно было разглядеть его лицо. Но видно было, что человек этот сильный, молодой. Был он плечист и ловок в движениях. Кубанка и короткий, ладно сшитый тулупчик ловко сидели на нем.

— Виноват, как бы не потревожить вас, — сказал он приятным тенорком. — Разрешите, я, вот, свой багажик сюда положу.

В вагоне к этому времени уже совсем стемнело, но вошедший пассажир с удивительной свободой двигался среди мешков, сумок, баулов. Он даже никого не задел, когда в темноте рукой проверял, есть ли свободное местечко на багажной полке; для этого он одним рывком легко подтянул свое ладное большое тело, взявшись за железные скобки, упруго вспрыгнул, без натуги подхватил объемистый чемодан, забросил наверх его и свой вещевой мешок.

— Вы бы у себя поближе вещички-то придержали, — сказал кто-то из темноты, — озорства нынче много по дороге, и глянуть не успеешь, чуть моргнешь — и поминай как звали.

— А зачем нам моргать? — весело отозвался новый пассажир. — Я и так услышу, ежели кто подберется.

— В такой-то темноте не углядишь, — сказала со второй полки ехавшая там пожилая колхозница, — хоть бы уж свет скорее дали.

— Ничего, в темноте, да не в обиде, — отшутился новый пассажир.

Он снял тулупчик, вывернул его, аккуратно свернул, нащупал крючок на стенке и ловким, точным движением издали набросил на него тулупчик и свою кубанку. Слышно было, как легонько потрескивали под расческой его волосы: пассажир причесывался.

— Ну, вот, — сказал он, — все нормально, порядок и красоту навел. Правильно, граждане?

— В такой темнотище красоты от нас уж не спрашивают, — ворчливо отозвался с противоположной верхней полки один из пассажиров.

— Красоту человек сам с себя спрашивает, — возразил новый пассажир, — красота у человека, я считаю, больше не для посторонней видимости, а для собственного уважения, чтобы соблюдал себя в порядке по полной форме… А вот вы, извините, лежите в верхней одежде да еще воротник подняли, и от этого вам на душе тесно…

— А тебе на душе просторно? — обиделся верхний пассажир. — И каким же это тебе манером известно при такой темнотище, в чем я одетый лежу и насчет воротника… Ты что мне пуговицы проверял, что ли?

— Зачем мне ваши пуговицы считать, — негромким приветливым голосом отвечал парень, — а я и так по голосу чую, какой у вас вид: до горла на застежке…

Все в вагоне засмеялись, дивясь догадливости парня, потому что верхний пассажир, действительно, весь день лежал в наглухо застегнутой шубе с поднятым воротником, хотя в вагоне было довольно тепло. Новый пассажир тем временем загремел в темноте кружкой.

— Пойти, что ли, у проводницы кипяточку нацедить, — проговорил он.

— Погоди, сейчас свет дадут, а то кругом вещи наложены, и ноги переломаешь и людей ошпаришь.

— Без паники, мамаша, все будет в порядке, — откликнулся парень. — Проводница в том конце вагона? Вам, мамаша, прихватить кипяточку? Давайте чайничек ваш.

— Ишь ты, — удивилась колхозница, — гляди, пожалуйста, уже и про чайник вызнал все. Да ты

кошка, что ли? В темноте все видишь… и ведь чайник у меня в мешке спрятан. Как же это ты прознал?

— К темноте я привык, мамаша, — спокойно отвечал парень, — а чайник ваш мне свой секрет из вашего мешка брякнул; он у вас, поди, под головой.

— Ну и ловкай, — восхитилась колхозница и зазвенела в темноте чайником.

Взяв чайник, парень, уверенно пробираясь среди вещей в узком коридоре, между полками, отправился к проводнице.

— Что-то уж больно расторопный, — опасливо проговорил себе в воротник человек, занимавший верхнюю полку. — За такими ловкачами глаз да глаз нужен, а то раз — и будь здоров.

Парень быстро вернулся. Он легко прошел через весь вагон, приговаривая:

— Виноват, маленечко, как бы не сварить вас. Стоп, машина. Кажется, тут я на временное жительство прописан? Так… с прибытием! Подставляйте, мамаша, кружечку.

Он в темноте налил кипяточку в подставленные кружки, не пролив при этом ни капли, не брызнув.

— Спасибо, сынок, — поблагодарила его кол-

хозница. — Ишь какой ты управистый, с тобой и свечки не нужно.

Но тут как раз проводница вставила свечу в вагонный фонарь; робкий, качающийся свет и глубокие вздрагивающие тени заходили по стенам вагона. И все пассажиры, даже тот наглухо застегнутый, что недвижно лежал на своей полке, с любопытством и вниманием оглядели парня. И всем понравился он, красивый, приветливый, с чистым и каким-то очень светлым лицом, с большими светло-серыми глазами и ровными, приятно выгнутыми бровями, между которыми залегла неожиданная глубокая морщина, несколько омрачавшая это открытое, ясное лицо. Парень вынул кисет, ловкими пальцами быстро свернул самокрутку и предложил закурить верхнему пассажиру. И все в нем привлекало: и неназойливая словоохотливость, и веселый казачий говорок, и то, как он делал все быстро, аккуратно, точно — ни крошки табаку не просыпал он, закуривая…

Поезд тем временем остановился у какой-то станции, погудел, громыхнул буферами и сцепками, двинулся дальше.

— Кормильцы родимые, не откажите в милостыньке вашей… за кровь нашу, за муки,

посодействуйте кто сколько может несчастному горькому инвалиду, — раздался сиплый, нарочито гнусавый голос в вагоне.

По проходу двигался грязный, согнутый человек в лохмотьях. Он боком пробирался между пассажирами, кланялся налево и направо.

— Подайте сколько можете, прошу вашей милости, не обидьте пострадавшего, войдите в мое горькое положение, дорогие граждане, кормильцы наши…

Добрые люди протягивали ему скомканные рублевки и трешки, куски хлеба, которые он быстро совал в замусоленную котомку, дрожащей, скрюченной рукой. Все со скорбным сочувствием глядели на это страшное, оборванное и смрадное существо, и женщины вздыхали, а нищий ковылял по проходу, кланяясь, припадая на одну ногу и бубня себе под нос свою унылую заученную мольбу. И вдруг веселый парень, внезапно изменившись лицом, громко сказал:

— И не совестно вам, гражданин, этак по вагонам попрошайничать, толкаться, жалким своим словом людей проводить. Слушать вас — так с души воротит. Некрасивое это дело.

— А тебе что? — визгливо закричал нищий. — Шут окаянный. У тебя никто не просит. Что ты к

больному человеку привязываешься? Я с фронту инвалид. За тебя толсторожего кровь на фронте оставил. Ты что, не видишь что ли, выслепило тебя?

Все неприязненно посмотрели на парня.

И тогда очень просто и негромко он сказал:

— Выслепить-то меня давно выслепило… Только ходить по миру да у людей клянчить я вовек не пойду. Дело себе найду.

И тут все увидели, как неподвижны и безучастны на этом молодом, ясном, полном жизни лице блекло-серые, остановившиеся навсегда глаза.

Наступила тишина. Замолчал и нищий, смешавшись, и, не глядя на парня, махнул скрюченной рукой и стал пробираться через вагон. Тишину нарушила колхозница.

— Стало быть, сынок, не видишь ты? То-то в темноте-то управлялся так… А ведь так глядеть — незаметно совсем. Это что же у тебя с рождения?

— Нет, мамаша, родился — на свет глядел. Двадцать пять годков прожил, наглядеться не мог, все казалось, ничего еще в жизни не видал, все вперед заглядывал. А вон вышло как…

— С чего же это?

— Ранение… Я до войны трактористом в Куберлеевской МТС Петровского района работал,

слышали, чай? Нашего же Ставропольского края. Глаза у меня были жадные, все хорошее примечал. Нашлась тут по соседству дочка одна, тоже глазки ясные, люди говорят, здорово на меня схожая. Поженились мы с ней. Ну, тут война. За Одессу, за Севастополь воевал. Конечно, картина была трудная. Мы до последней минуты там стояли. В каменоломнях скрываться пришлось, потому что уж уходить было невозможно. Мы последний заслон держали, когда наши части из Севастополя уходили. А потом в горы пробился я, чтобы через Крым уйти. А я уже был осколком раненный в плечо, вот сюда, да в левый глаз. Это сейчас незаметно, а внутри самый смотрительный нерв мне порвало. А слепнуть я стал на другой глаз. Чувствую, пропали мои очи, с каждым днем все темнее и темнее мне… Выбрался я с гор, иду, от немцев хоронюсь. Днем еще кое-чего разгляжу, а чуть смеркаться станет — нету уже у меня никакой видимости. Забрел я в одно селение, слышу, у крайней хаты разговор вроде как по-нашему, по-казачьему, говорочком… А уже дело к ночи было, я исхолодал весь, голодный сам, последние галеты вышли… Щупаю я перед собой дорогу посошком кизиловым — завел себе такой, а то никакой возможности ходить не было.

Подхожу я к тому дядьке, говорю тихонько так: «Слушай, браток, добрый человек, я из Севастополя через горы ушел. Дай ты мне у тебя хоть ночку переночевать, да, может, водички теплой дашь, глаза я свои промою, слепну я от ранения. Кровью мне глаза забросало. А ежели корочка найдется, то уж совсем тебе вовек благодарен буду…» А он, паразит, меня рукой отпихивает, шипит: «Иди, иди отсель. Шатаются всякие. А потом через вас в комендатуру попадешь. Куда тебя черт занес? Иди лучше сам, а то я тебя к патрулю отведу… Я из-за тебя в петлю лезть желания не имею. Знаешь, немцы не шутят. Вздернут, и прощай…» — «Ты хоть водички мне дай теплой, глаза у меня закоростели… Ничего тебе плохого не будет, уйду я…» — «Пошел, пошел», — говорит и толкает меня рукой. Я за него руками хватаюсь, все-таки ведь живой русский человек, может, думаю, посочувствует. Нет, отпихивается. «Ну, — говорю, — смотри, хозяин. Мы еще с тобой повстречаемся. Припомню я тебе, как ты меня оттолкнул, как ты мне в водице для глаз отказал». А он говорит: «Ну, может, на том свете и свидимся, а на этом ты уж меня вряд ли своими глазами разглядишь. И кончай разговор. Вали отсюда. А то патруль кликну…»

— Неужто так и сделал? — шепотом спросила колхозница.

— Гнусный человек, — проговорил пассажир с верхней полки.

— Так и прогнал, — продолжал парень. Боль при этом страшном воспоминании ожила во всех чертах его подвижного лица, гневно сдвинулись брови, еще глубже пролегла морщина между ними, дрогнули углы рта, и только глаза, блекло-серые, безучастные, оставались по-прежнему мертвенно-неподвижными, как стоят холодные стоячие камни среди волн и пены горной реки.

— Да, — продолжал рассказчик. — Но гадов на свете все-таки не столь много. Нашлись люди подобрее: и приют дали, и накормили, и очи мне промыли, только свет обратно вернуть уже не смогли. Попал я потом к партизанам, переправили меня через фронт. Положили в госпиталь. И так и сяк над моими очами врачи трудились, даже профессора специальные, но поздно, говорят, уже… Словом, слепота на сто процентов. Написал я домой братене, чтобы приехал. Повез меня брат домой. Всюду нам дорогу уступают, жалеют, как на несчастненького смотрят. А я здоровый, во мне жизни на целый вагон людей хватит, руки — во! Сами видите, привык других

жалеть, а к себе снисхождения никогда не просил. Еду, аж зубами скриплю от тоски. Сколько во мне силы пропадает! И еще скажу, одного очень сильно опасался: как жинка примет. Очень она у меня собой красивая, видная такая. «Неужели, не выйдет встречать?» — думаю. Приехали, мы, значит, выходим, брат за руку ведет, а у самого тоже рука трясется… Иду я за ним и ухом каждый шаг вокруг ловлю: не подойдет ли, не встретит ли? Нет, никто не встретил. Вдруг, заслышал я частые шаги, затопотали каблучки по лестнице, где через пути переход. Подбежала она, бросается на шею. Пришла, значит, все-таки. Приехали домой, а я в хату не захожу, стал на пороге и сказал то, что давно задумал: «Вот, Ольга, давай без паники решать вопрос — или в семейный дом мне войти, или бобылем по моему теперешнему положению быть. Остаешься со мной — не возражаю, сама чувствуешь. Не захочешь дальше жить — уходи. Только сейчас же собирай вещи и уходи, пока я в хату не зашел». А она: «Никуда я от тебя, Петя, не пойду…» Ну и, конечно, еще многое сказала. Только это я, извиняюсь, пересказывать не стану. Это слова дорогие. Такие слова про себя держишь. Ну, и остались мы вместе. Все думал я, за какое дело взяться. Силы много, здоровье есть. Слух у меня к

музыке очень хороший. А тут брат старший, как на фронт провожали, баян свой оставил. В ту пору в Ессентуках школа военно-ослепших открылась, и как раз объявление, что по баяну в класс принимают. Поступил, учиться стал. А вот теперь и зачеты сдал, еду на побывку, к жинке. И читать научился по-слепому, пальцами. Недавно Льва Толстого сочинение прочел про войну и мир…

— А баян-то при себе? — спросила колхозница. — Сынок, ты б сыграл, показал бы нам, чему научился, а?

— Очень даже просим, — откликнулся молчаливый пассажир с верхней полки.

— Что ж, если просьба такая, могу с удовольствием, я и по радио в Ессентуках выступал, а теперь в клуб работать зовут, — сказал парень, поднялся и достал с багажной полки тяжелый футляр с баяном. Он вынул инструмент, бережно обтер его чистым платком, вдел плечо в ремень, еле слышно прошел по ладам, пригнув голову, прислушался, широко развел меха баяна, и вдруг нетерпеливые пальцы его частым и звучным перебором промчались по всей клавиатуре до самих басов… Он рванул меха, глубокий и властный аккорд пронесся по вагону и замер…

— По лестнице у перехода каблучками топ-

топ-топ вниз… На вокзале тогда… жинка… Да так и кинулась, — застенчиво пояснил он, сам прислушиваясь к бегучим звукам баяна, и лицо его засветилось. Откинувшись чуточку назад, он вздохнул во всю грудь, отвел немного правую руку назад и вдруг рывком, с удалью и во весь замах грянул лихую казацкую плясовую… потом военную песню…

Хорошо играл парень. Баян его то тихо плакался о чем-то бесконечно дорогом и безвозвратно утраченном, то гордо и страстно трубил на весь белый свет о том, как светла, как непобедима душа человека, если верит он в силы свои, если знает он, что и другим людям от него есть толк. На звуки баяна собрались не только все пассажиры этого вагона, — подошли люди и из других вагонов, много народа сгрудилось в проходе, заняты были все скамьи внизу, с верхних полок свешивались головы слушавших. Л парень все играл и играл, неутомимые пальцы его стремглав проносились по ладам. Все жило, все пело и играло в парне, только глаза молчали…

— До чего чисто выговаривает, — сказала колхозница.

— Да, богатая игра! — согласился застегнутый пассажир.

И даже давешний попрошайка, протискавшись вперед, примостился на уголке нижней скамьи и тоже слушал баяниста. Был он, видимо, знаток этого дела, так как, прищурившись и дудочкой вытянув лиловатые губы с белесым налетом, в лад игре тонко крутил нечесаной головой. В эту минуту кто-то из слушателей, заслонивших баяниста, отодвинулся немножко вбок, и свет от вагонного фонаря упал на лицо игравшего. Нищий невольно отшатнулся, всмотрелся еще раз и стал осторожненько, незаметно выбираться в проход. Что-то вороватое и слишком поспешное было в его движениях, и это не ускользнуло от обостренного слуха слепца. Он разом прекратил играть.

— Ну, куда… куда? Тихо ты! Человек играет, а ты… — зашикали на нищего.

— Пусти говорю, ну! — с внезапной злобой крикнул бродяга, опять оглянувшись на слепого.

— Стой, жаба! — прокричал вдруг тот.

Он вскочил и ринулся к нищему. Сильной рукой сгреб слепец нищего за плечо… Страшны были в своей яростной неподвижности его глаза на бушующем лице.

— Что?! Вот и на этом свете сошлись, — уже тихо и с омерзением повторил баянист. — Что

молчишь? Мне спервоначалу твой голос знакомым показался, а теперь наверняка узнал. Думал, в темноте очей моих скроешься?.. Нет, не у всех людей сердце такое жабье, как у тебя, помогли мне люди, живой я и еще солнышку радуюсь, хоть и не вижу его. А по тебе, так пускай и солнца не будет, только чтоб твою пакость народ не рассмотрел… На жалости у людей спекуляничаешь? Милостыни просишь, подлый!

Со жгучей силой гремели слова слепца, и нищий, оробев, тяжело дыша, весь пригнулся, стараясь не смотреть в гневное лицо с омертвевшими глазами, с теми глазами, на которые он из страха перед немцем пожалел воды… Все же он попытался вывернуться.

— Граждане! — пролепетал он, воровато снуя прыгающими, точно горошины, глазками. — Что же это? Да я сроду не знал его! Приснилось ему, что ли!.. Да я сам инвалид с фронту…

— Врешь, трехпалый! Никогда ты на фронте и не был, — уверенно и жестко сказал слепой. — А ну, покажи людям руку свою правую. Я помню, как ты тогда меня в плечо толкал, а я тебя за руку ловил. У него, товарищи, на правой двух пальцев нет. Видно, из самострелов. От фронту отлынивал… Ну, предъяви руку людям, если я вру!

Нищий поспешно спрятал правую руку за спину. Но человек в наглухо застегнутом пальто, спрыгнув с верхней полки, вывернул ему руку вперед. И все увидели, что на руке у нищего не хватает двух пальцев.

Наступило молчание. А потом, чуточку успокоившись, баянист сказал:

— Хоть я очи потерял, но дело у меня нашлось, а таким, как ты, и в глаза людям поглядеть нельзя. Совесть у тебя слепая. Темно тебе на свете, и просвета не жди…

Наутро пассажиры в вагоне проснулись поздно, потому что долго накануне не могли заснуть, взволнованные встречей и возмездием, совершившимися на их глазах. А когда пассажиры проснулись, то увидели, что слепой уже встал. Он сидел у окна, незрячие глаза его упрямо и мечтательно уставились в уже высоко поднявшееся солнце.

— Солнышко-то сегодня какое ласковое, — проговорил он, — уже по-весеннему светит. Я щекой чую, как солнышко греет. На тепло повернуло. Весна скоро.

Николай Евгеньевич Вирта

Серый денек

Я вышел из вагона на маленькой станции — поезд стоит тут всего одну минуту.

Паровоз заревел, и состав покатился вниз по глубокой выемке, на дне которой были положены рельсы. Извиваясь, ложбина шла мимо полей и леса, а внизу, у окончания выемки, располагалась уже другая станция — зеленая крыша вокзала была видна с пригорка, на котором я стоял, провожая поезд.

Медленно пошел я по дороге мимо громадных прямых сосен, осенявших ее, и прекрасен был край, видимый мною в этот тихий мирный час.

Передо мной лежала холмистая долина, окруженная лесом; солнце, заволоченное легкими облаками, мягко согревало землю: стоял такой обычный для этих мест и всегда такой прелестный серый денек, когда нет резких переходов от света к тени, когда краски чуть-чуть приглушены, когда все вокруг погружено в чарующее спокойствие, когда душа растворяется в этом покое и просторности, и хочется думать о простых и ясных вещах, вспоминать о милых и добрых людях, и самому хочется быть хорошим и добрым,

как природа вокруг…

Долго стоял я на вершине холма, прислонившись к стволу могучего дуба; вокруг него росли молодые, тихо лепечущие березки… Я смотрел вниз, в долину, на поля пшеницы, на яблоневый сад невдалеке, прислушивался к неясным звукам, доносившимся из селения, что раскинулось вдали… Я никуда не спешил… Да если бы я и спешил, я не смог бы оторваться от созерцания этих спокойных красок, от невинного шелеста тонких грациозных березок и…

Я лег на траву около дуба, утонул в ней, и, ощущая теплую землю под собой, задумался и, зачарованный шорохом трав, трепетанием листвы, птичьим неугомонным хором, заснул.

Не знаю, долго ли я спал, — часов со мной не было, — но день все так же кротко ласкал мир; облака, затянувшие небеса от края до края, по-прежнему смягчали и рассеивали солнечные лучи; так же многоголос был птичий говор… Однако что-то изменилось в окружающем, что-то нарушило мое уединение. Я прислушался.

Внизу послышался шорох раздвигаемых трав — кто-то взбирался на вершину холма, где, скрытый густой зеленью, лежал я.

— Сядем здесь, не стоит забираться наверх, —

сказал женский голос.

— Хорошо, — отозвался мужской. — Подождите, не садитесь на траву, земля влажная. Я постелю плащ.

— Не надо, — сказала женщина, — У нас уже давно не было дождей.

Чиркнула спичка; голубоватый дымок папиросы спиралью проплыл передо мной и растаял.

Я тихонько развернул стену травы, посмотрел вниз и увидел офицерские погоны: два скрещенных ствола на золотом поле и звездочку посредине. Я мог бы, протянув руку, коснуться этих могучих плеч, над которыми возвышалась круглая, покрытая густыми белокурыми волосами голова. Офицер, услышав шорох над собой, обернулся, но я успел скрыться — он не увидел меня.

— Что там? — спросила женщина.

— Мне показалось, будто кто-то есть наверху…

— Это кузнечики… Или птицы вернулись в свое гнездо.

Голос ее был молод и звучен, он волновал воображение. Мне хотелось увидеть спутницу офицера, но я не мог пошевельнуться в своем укрытии. Вообще-то надо бы было уйти, но раз уж я не смог этого сделать в первую минуту, то

теперь мое появление выглядело бы совсем нелепо. Я остался на своем месте, решив покинуть его, как только представится возможность.

— Птицы возвращаются в свои гнезда, — повторил офицер. — И у птиц и у людей закон один: стремиться в свои гнезда, где бы они ни были.

— У вас есть свое гнездо? — спросила женщина.

Снова синяя густая спираль дыма проплыла передо мной.

— Нет, — отвечал офицер. — У меня сейчас нет гнезда.

— Сейчас? Значит, оно было?

— Как у всех.

— Почему же нет сейчас?

— Его разорил ястреб,

— А!

Они помолчали несколько минут.

— Там были дети? — спросила она тихо.

— Да, трое.

— Не надо говорить об этом…

— Я никогда и не говорю… Так, пришлось к слову.

— Это давно случилось?

— В сорок первом году. В самом начале. Может быть, я сам виноват в этом.

— Вы?

— Да, я.

— Господи!

— Около той ложной батареи, где мы с вами встретились, в сорок первом стояла батарея, и это уже были настоящие орудия. Ими тогда командовал я. А вот на этом холме, на дубу, между ветвей, мне устроили наблюдательный пункт. Там еще должна быть площадка, если ребятишки не растащили ее. Потом мы посмотрим. Я ведь приехал-то сюда, чтобы повидать эти места…

Я взглянул на дуб, и точно, среди его ветвей, почти на самом верху, нашел полуразрушенную площадку из толстых досок, окруженную перильцами…

— Тут мы провели много ночей, — сказал офицер. — Памятен мне этот холм, и старый дуб, и эта площадка…

— Странно, — сказала женщина. — Я тоже приехала сюда, чтобы… Мы тут рыли противотанковый ров и ходили на батарею за водой… Помните, около нее бил родник.

— Он бьет и сейчас. Я уже был там. Вода в нем чистая и очень холодная. Ломит зубы, когда пьешь.

— Вы и сейчас пили из него?

— Да.

— И я тоже. Мы много раз бывали у родника, но вас я не видела ни разу. Мы отдыхали около ложных пушек… Они очень похожи на настоящие. Около них стоял часовой и не подпускал к ним. Смешно, они до сих пор уцелели…

— Их делали прочно.

— И около них мы встретились.

— Да.

— Люди встречаются в самых неожиданных местах. Жизнь водит-водит человека из края в край, пока не приведет туда, откуда начинается новая дорога. — Женщина вздохнула. — Это — случай или судьба?

— Не все ли равно, как это назвать?

— Да, конечно.

— Я хотел вам рассказать, как это случилось… С моим домом…

— Может быть, не стоит?

— Почему? Заживают даже самые страшные раны.

— Но все же их не разрешают бередить.

— Вы жалеете меня?

— Да.

Голубая струя дыма проплыла около меня.

— Это так странно, что всего два часа назад я

не знала вас, — сказала женщина. — А вам не странно это?

— Нет. Когда-нибудь я должен был найти вас.

— Почему именно меня? Сюда могла бы прийти другая.

— Да, но я прошел бы мимо нее.

— А почему вы не прошли мимо меня?

— Вы же первая заговорили со мной.

— Значит, если бы с вами заговорила любая другая…

— Но ведь заговорили именно вы, а не любая другая…

— А если бы она заговорила?

— Я, может быть, не ответил бы ей.

— Может быть.

— Я бы просто не ответил ей.

— Ну да! Почему же вы ответили мне?

— Потому что… Я не знаю, почему.

— Но все-таки!

— А почему вы заговорили со мной?

— Я… У вас был такой сумрачный вид… Глаза печальные-печальные, и волосы растрепались на ветру…

— При чем же здесь волосы?

— Не знаю. Вы показались таким утомленным, и мне захотелось, чтобы вы немного отошли от

своих нехороших мыслей. Ведь у вас в ту минуту мысли были не из веселых, правда?

— Да. Я вспомнил тот день.

— Вот я и заговорила с вами.

— А я ответил.

— Почему?

Он засмеялся.

— Очевидно, вы мне понравились.

— А что именно понравилось?

— Все.

Теперь засмеялась женщина, и смех ее был счастлив,

— Но ведь вы даже не подозревали о моем существовании.

— Зато теперь это для меня непреложный факт.

— Так уж непреложный?

— Да. Вот ваша рука. Вот ваши глаза — они очень ласковые. Они всегда так ласково смотрят на людей?

— Не знаю, как они смотрят на людей.

— А губы ваши тоже всегда улыбаются, как сейчас?

— Разве они сейчас улыбаются?

— Они все время улыбаются.

— Больше они не будут улыбаться.

— Попробуйте.

Они рассмеялись вместе.

— Нет, не выходит, — сказала женщина. — С вами у меня не выходит. А почему вы тоже улыбаетесь все время?

— Разве?

— Да.

— Вам хочется, чтобы я не улыбался, глядя на вас?

— Нет, нет! У вас чудесная улыбка.

— Что вы говорите!

— И рот у вас красивый, и волосы, и вообще все.

— Одним словом, писаный красавец.

— Впрочем, вам это, вероятно, не раз говорили, — сказала она сухо.

Помолчав, он ответил серьезно:

— Видите ли, если бы кто-нибудь подумал до этого дня сказать мне это, он на всю жизнь запомнил бы, что я грубиян и бревно.

— Почему же сегодня это разрешается говорить?

— Потому, что такой сегодня день…

— Самый обыкновенный день… Серый денек.

— Нет, необыкновенный, — сказал он. — Необыкновенный сегодня день, — повторил

он. — Первый мой день за четыре года, вот так — первый.

— Вы все время были там?

— Да. Я воевал тысяча четыреста семнадцать дней.

— Вы даже сосчитали.

— Да, и каждый помню.

— Это страшно.

— Ничего, человек все забывает. Постараемся забыть. Не забудем только тех, кого мы потеряли, кто не дожил… Мы научились ценить людей. Человек очень дорого стоит, терять людей трудно…

— Как и находить их.

— Да. Вот я узнал вас. Всего два часа я вас знаю, а если бы мне сказали, что я потеряю вас, я бы вцепился в вас обеими руками…

Она ответила со смехом:

— Как же можете вы потерять меня? — В ее голосе я услышал искреннее недоумение.

— Как? Очень просто. Может быть, вот эти наши минуты здесь ничего больше, как влияние воспоминаний, всего, что вокруг этих ложных пушек, следы батареи, родник… Приедем в Москву — и все растает, и вы исчезнете в потоке людей… Все может быть, — закончил он с глубокой грустью.

— Но этого может и не быть. Разве не от нас

самих зависит не потерять друг друга?

— Не всегда это зависит от воли человека.

— Нет, это зависит только от воли и желания человека. От его чувств. Только от него зависит сохранить то, что он нашел, чем живет и должен жить.

— Я стольких потерял за эти годы, и моя воля была часто бессильна помешать этим потерям.

— Но ведь то другое дело, — сказала женщина. — Там действительно не все зависит от человеческой воли.

— Если бы это зависело от моей воли, я бы ни на одну минуту не отпустил вас от себя!

— Я слишком мало вас знаю, чтобы дать волю вашей воле, — сказала она ласково.

Они долго молчали. Первым заговорил он.

— Вы можете меня узнать, если захотите.

— Я хочу, — сказала она просто.

Снова наступило молчание, нарушаемое какими-то смутными шорохами в траве и птицами. Воздух казался неподвижным, замолкли березы, восхитительная минута тихой задумчивости во всем! Я тихонько выглянул из своего зеленого убежища: офицер лежал на спине, устремив взор в небо. Я рассмотрел его лицо: оно было так свежо и молодо, и если бы не седые виски, я мог бы поду-

мать, что передо мной юноша. Женщина сидела в отдалении от него, спиной ко мне, я видел лишь тяжелый пучок каштановых волос на затылке, прекрасную шею и красивый овал плеч.

Сильный порыв ветра налетел внезапно, и дуб могуче загудел, и березы снова разговорились, и в этом шуме потонули неясные шорохи, и шелест, и голоса птиц… Потом так же неожиданно ветер смолк.

— Как-то, в сентябре сорок первого года, — сказал он, — появились немецкие самолеты… Мы, бывало, только соберемся в лагерь, а они уже летят…

— Они часто бывали здесь… — отозвалась она.

— Я стоял на площадке на этом дубе и следил, как мои орудия били по ним. Самолеты летали над лагерем строителей противотанкового рва. Там было, очень много людей в ту ночь…

— Больше четырех тысяч, — сказала она. — В том числе весь наш курс.

— Немцы стреляли по лагерю. Мы стреляли по ним. Два самолета упали далеко, третий — подстрели мы его — упал бы как раз в лагерь… Я был в нерешительности всего несколько секунд. Этого было достаточно. Самолет ушел, в ту ночь в город пробилось несколько самолетов. Одна бомба

упала на мой дом. Может быть, ее сбросили с того самолета, который не был сбит мною. Вот чего стоили мне несколько секунд нерешительности!

Она повернула к нему лицо — милое, доброе лицо с лучистыми ясными глазами ребенка, с губами, которых еще никто, вероятно, не целовал, что-то необыкновенно кроткое было в этих чертах, в округлом розовом подбородке, кроткое и нежное, как весь ее облик.

— Когда утром я узнал, что потерял все, я подумал: «Мне остается только одно — воевать до конца, бить их без всякой пощады, без колебаний…»

— Вы уж сделали все, что могли, — сказала она и доверчивым жестом расправила складку на его гимнастерке. — Теперь надо просто жить. Просто жить и стремиться к чему-нибудь иному. Ведь все кончилось. И вы сказали, что заживают самые страшные раны. Заживет и эта, если постараться не бередить ее.

— Да, — сказал он покорно, — не стоит.

— И потом… — она нерешительно замолкла. — Ведь в этом лагере была и я.

Я увидел, как порозовели ее щеки.

Дым от папиросы медленно таял в неподвижном воздухе.

— Когда все кончилось, — сказал он, — когда прочел закон о возвращении людей домой, горько мне было! Каждого ждет дом, дети, работа, а меня никто не ждал. Мне даже некуда было ехать, я был один в этом большом мире, который радовался, торжествовал, веселился… Куда мне деваться, я не знал. Я хотел отдохнуть… Это неверно, будто солдату скучно без стрельбы и атак. Нам всем досмерти хочется отдохнуть, хочется, чтобы кто-нибудь позаботился о нас… хочется, чтобы ничто не напоминало о том, что было, как бы велико оно ни было… После этого смрада, после пожаров, после развалин, взорванных дорог, выжженных полей хочется скорее увидеть мир, обновленный заново… Чтобы скорее заросли травой окопы и траншеи, чтобы даже дети не знали, где были рвы, батареи, доты… Чтобы поскорее дожди разрушили деревянные пушки, а ветер снес мою площадку с этого дуба… и чтобы не осталось на коре следов гвоздей, которые мы вгоняли в него… Чтобы опять все поля были засеяны и зеленели, как вон те, что перед нами, чтобы были залиты асфальтом, забиты камнем воронки на дорогах и посажены деревья на месте тех, которые мы рубили, когда строили свои блиндажи. Чтобы после смертельных схваток с врагом в часы атак

объятья наших любимых и дорогих были еще жарче и нежнее, чем когда-нибудь…

— Это придет, — сказала она.

— И чтобы человек ни в чем не нуждался. Он заслужил того, чтобы ни в чем не нуждаться, чтобы жить без нужды, совсем без нужды, если, конечно, он заработал себе право на это…

— Все это будет.

— И чтобы жизнь была красивой и широкой, чтобы можно было всюду ездить, узнавать людей и их обычаи, чтобы было много веселья…

— И это будет.

— Тогда не зря мы дрались.

— А разве вы сомневаетесь в том, что все будет?

— Нет, никогда. Если бы я сомневался, разве я был бы здесь?

— Знаете, ведь я буду астрономом, — заявила вдруг она. — Я кончаю университет.

— Вот как, — сказал он и, как бы впервые видя ее, внимательно и серьезно поглядел в глаза. — Астрономом?

— Почему вы так удивились?

— Нет, я не удивился… Мне очень нравится, что вы будете астрономом. Я сам когда-то мечтал об этом… Да вот так сложилось, что жизнь пошла по

другой дороге.

— А я еще девочкой начала мечтать об астрономии. Я прочитала как-то у Фламмариона, что вся наша вселенная, все планеты и спутники вместе с самим солнцем и все мы несемся к созвездию Геркулеса. А до него так далеко, что ум человека совершенно не может постичь бездны пространства. Этот бег беспрерывен, скорость его бешеная, сила, которая влечет вселенную к едва видимой звезде, невероятна… Знаете, это так подействовало на меня, что с тех пор я читала одну книгу по астрономии за другой, а когда кончила школу, пошла в университет, и никто не мог меня отговорить.

— Зачем же отговаривать? — удивился он.

— Были такие, — она смешно наморщила чистый лоб. — Впрочем, это в сторону. Я ведь не биографию вам свою хотела рассказать… Я ведь это вот к чему: мне кажется, что и наша жизнь мчится к своему Геркулесу… Что с того дня, как вы окончили ваше дело, бег нашей жизни к Геркулесу стал еще более стремительным… Мы не доживем до той поры, когда вселенная достигнет своей цели… Но мы доживем с вами, когда наша жизнь будет блинка к цели своей, не правда ли?

Офицер сел и с нескрываемым любопытством

воззрился на свою спутницу.

— Вот вы какая! — только и мог сказать он, но в этих немногих словах было так много восхищения, что она снова порозовела и отвела от него глаза.

— Можно поцеловать вашу руку? — спросил он, уже успев завладеть ею.

Она отняла руку, поправила прическу — узел на затылке распался, и каштановые волосы закрыли всю спину. Она поспешно собрала их.

— Вы торопитесь? — с печалью спросил он.

— Вы же сами сказали, что у вас свободное время только до семи. А вы еще должны показать мне дуб и ваш блиндаж.

— Не буду я вам показывать ни дуба, ни блиндажа. Это все позади. Зачем оглядываться назад, если знаешь, что дорога тебе только вперед? Мы просто погуляем до поезда.

— Хорошо, — согласилась она. — Мы приедем еще сюда, мне тут понравилось.

— Мы не скоро приедем сюда.

— Почему?

— Мы приедем сюда стариками, чтобы вспомнить, где началась наша жизнь.

Я не слышал, что она сказала ему в ответ.

Они ушли. Я встал и подошел к дубу. Еще со-

хранилась лестница, ведущая на площадку наблюдателя, — железные колья, вогнанные в ствол дерева, — но она уже обросла древесиной. И площадка была почти целой. Осенние бури лишь выломали несколько досок из поручней.

Отсюда этот офицер командовал орудиями в те дни, что ушли в вечность, вечной славой покрыв каждый миг своего течения. С площадки я видел, как шли к дороге офицер и его спутница. Мне вдруг захотелось догнать его и рассказать то, что я вспомнил: в сентябре сорок первого года я слышал от кого-то из зенитчиков, что после бомбежки на обратном пути был сбит самолет, на борту которого был нарисован ястреб. Может быть, этот ястреб и разорил гнездо человека, которого я встретил на холме. Я уже сошел с дуба, чтобы догнать их, рассказать это и расспросить… и раздумал. Зачем рассказывать? Зачем ворошить прошлое, если он уже весь в будущем, зачем ему оглядываться назад, если у него путь только вперед, путь вместе с той, которую он нашел здесь…

Серый денек угасал. Легкий пар обозначил берег речушки, замолкли шорохи и шелест в траве, тишина и мир царили вокруг, повеяло прохладой и пала роса, предвещая жару.

Михаил Михайлович Пришвин

Кладовая солнца

I.

В одном селе возле Блудова болота, в районе города Переславль-Залесского, осиротели двое детей. Их мать умерла от болезни, отец погиб в Великой Отечественной войне.

Мы жили в том селе всего только через один дом от детей. И, конечно, мы тоже вместе с другими соседями старались помочь им чем только могли. Они были очень милые. Настя была, как золотая курочка на высоких ногах. Волосы у нее, ни темные, ни светлые, отливали золотом, веснушки по всему лицу были крупные, как золотые монетки, и частые, и тесно им было, и лезли они во все стороны. Только носик один был чистенький и глядел вверх попугайчиком.

Митроша был моложе сестры на два года. Ему было всего только десять лет с хвостиком. Он был коротенький, но очень плотный, лобастый, затылок широкий. Это был мальчик упрямый и сильный. «Мужичок в мешочке», улыбаясь, называли его между собой учителя в школе.

«Мужичок в мешочке», как и Настя, был весь

в золотых веснушках, а носик его, чистенький тоже, как у сестры, глядел вверх попугайчиком.

После родителей все их крестьянское хозяйство досталось детям: изба пятистенная, корова Зорька, телушка Дочка, коза Дереза, безымянные овцы, куры, золотой петух Петя и поросенок Храп.

Вместе с этим богатством досталась, однако, детишкам бедным и большая забота о всех этих живых существах. Но с такой ли бедой справлялись наши дети в тяжкие годы Отечественной войны! Вначале, как мы уже говорили, к детям приходили их дальние родственники и все мы, соседи. Но очень что-то скоро умненькие и дружные ребята сами всему научились и стали жить хорошо.

— Буржуйчики! — смеясь, кричали им взрослые, отправляясь на колхозные поля.

И какие это были умные детишки. Хотя и в шутку сказанное, слово «буржуйчики» их все-таки задевало. Они всегда присоединялись к общественным работам. Их носики можно было видеть и на колхозных полях, лугах, на скотном дворе, на собраниях: носики, такие задорные.

В этом селе мы, хотя и приезжие люди, знали хорошо жизнь каждого дома. И теперь можем

сказать: не было ни одного дома, где бы жили и работали так дружно, как жили наши любимцы.

Точно так же, как и покойная мать, Настя вставала далеко до солнца, в предрассветный час, по трубе пастуха. С хворостинкой в руке выгоняла она свое любимое стадо и катилась обратно в избу. Не ложась уже больше спать, она растопляла печь, чистила картошку, заправляла обед и так хлопотала по хозяйству до ночи.

Митроша выучился у отца делать деревянную посуду, бочонки, шайки. При корове двум детям не было такой уж нужды, чтобы продавать на рынке деревянную посуду, но добрые люди просят:

— Сделай, Митроша!

— Уделаю, — отвечает он.

Так у нас все говорят.

Сделает, и потом ему тоже оплатят добром. Но, кроме бондарства, на нем лежит и все мужское хозяйство и общественное дело. Он бывает на всех собраниях, старается понять общественные заботы и, наверно, что-то смекает.

Очень хорошо, что Настя постарше брата на два года, а то бы он непременно зазнался, и в дружбе у них не было бы, как теперь, прекрасного равенства. Бывает, что и теперь Митроша вспом-

нит, как отец наставлял его мать, и вздумает, подражая отцу, тоже учить свою сестру Настю. Но сестренка стоит и улыбается… Тогда «мужичок в мешочке» начинает злиться и хорохориться и всегда говорит, задрав нос:

— Вот еще!

— Да чего ты хорохоришься? — возражает сестра.

— Вот еще! — сердится брат. — Ты, Настя, сама хорохоришься.

— Нет, это ты!

— Вот еще!

Так, помучив строптивого брата, Настя оглаживает его по затылку, и как только маленькая ручка сестры коснется широкого затылка брата, отцовский задор покидает хозяина.

— Давай-ка вместе полоть, — скажет сестра.

И брат начинает полоть огурцы, или свеклу мотыжить, или картошку сажать.

Да, очень трудно было всем во время Великой Отечественной войны, так трудно, что, наверно, и на всем свете так никогда не бывало. Вот и детям пришлось хлебнуть много всяких забот, неудач, огорчений. Но их дружба перемогала все, и они жили хорошо. И думаем, наверное, это горе о родителях так тесно соединило сирот.

II.

Кислая и очень полезная для здоровья ягода клюква растет в болотах летом, а собирают ее поздней осенью. Но не все знают, что самая-самая хорошая клюква, ***сладкая***, как у нас говорят, бывает, когда она перележит зиму под снегом.

Этой весной снег в густых ельниках еще держался и в конце апреля, но в болотах всегда бывает много теплее: там в это время снега уже не было вовсе. Узнав об этом от людей, Митроша и Настя стали собираться за клюквой. Еще до свету Настя задала корм всем своим животным. Митроша взял отцовское двухствольное ружье «Тулку», манки на рябчиков и не забыл тоже и компас. Никогда, бывало, отец его, отправляясь в лес, не забудет этого компаса.

III.

Блудово болото, где и мы сами не раз тоже блуждали, начиналось, как почти всегда начинается большое болото, непроходимой зарослью ивы, ольхи и других кустарников. Первый человек прошел эту ***приболотицу*** с топором в руке и вырубил проход для других людей. Под ногами

человеческими после осели кочки, и тропа стала канавкой, по которой струилась вода.

Дети без особого труда перешли эту приболотицу в предрассветной темноте. И когда кустарники перестали заслонять вид впереди, при первом утреннем свете им открылось болото, как море. А впрочем, оно же и было, это Блудово болото, дном древнего моря. И как там, в настоящем море, бывают острова, как в пустынях оазисы, так и в болотах бывают холмы. У нас в Блудовом болоте эти холмы, песчаные, покрытые высоким бором, называются ***боринами***. Пройдя немного болотом, дети поднялись на первую борину, известную под названием Высокая Грива. Отсюда с высокой пролысинки в серой дымке первого рассвета чуть виднелась борина Звонкая.

Скоро возле самой тропы стали показываться кроваво-красные ягоды. Охотники за клюквой поначалу клали эти ягоды в рот. Кто не пробовал в жизни своей осеннюю клюкву и сразу бы хватил весенней, у него бы дух захватило от кислоты. Но деревенские сироты знали хорошо, что такое осенняя клюква, и оттого, когда теперь ели весеннюю, то повторяли:

— Какая сладкая!

Борина Звонкая охотно открыла детям свою

широкую просеку, покрытую и теперь, в апреле, темно-зеленой брусничной травой. Среди этой зелени прошлого года кое-где виднелись новые цветочки белого подснежника и лиловые мелкие, и частые, и ароматные цветочки волчьего лыка.

— Они хорошо пахнут, попробуй, сорви цветочек волчьего лыка, — сказал Митроша.

— А почему это лыко называется волчьим? — спросила Настя.

— Отец говорил, — ответил брат, — волки из него себе корзинки плетут. — И засмеялся.

— А разве тут есть еще волки?

— Ну, как же! Отец говорил, тут есть страшный волк. Серый помещик.

— Помню, тот самый, что порезал перед войной наше стадо.

— Отец говорил, он живет теперь на Сухой речке в завалах.

— Нас с тобой он не тронет?

— Пусть попробует!

Пока дети так говорили, и утро подвигалось все больше к рассвету, борина Звонкая наполнялась птичьими песнями, воем, стоном и криком зверьков. Не все они были тут, на борине, но с болота сырого, глухого все звуки собирались сюда. Борина с лесом сосновым и звонким на суходоле

отзывалась всему.

Но бедные птички и зверушки, — как мучились все они, стараясь выговорить какое-то общее всем, единое прекрасное слово! И даже дети, такие простые, как Настя с Митрошей, понимали их усилие. Им всем хотелось сказать одно только какое-то слово прекрасное.

Видно, как птица поет на сучке, и каждое перышко дрожит у нее от усилия. Но все-таки слова, как мы, они сказать не могут, и им приходится выпевать, выкрикивать, выстукивать.

— Тэк-тэк! — чуть слышно постукивает огромная птица глухарь в темном лесу.

— Шварк-шварк! — дикий селезень в воздухе пролетел над речкой.

— Кряк-кряк! — дикая утка кряква на озерке.

— Гу-гу-гу, — красная птичка снегирь на березе.

Бекас, небольшая серая птичка с носом длинным, как сплющенная шпилька, раскатывается в воздухе диким барашком. Вроде как бы «жив, жив» кричит болотный кулик кроншнеп. Тетерев там где-то бормочет и чуфыкает; белая куропатка, как будто ведьма, хохочет.

Мы, охотники, давно, с детства своего, слышим эти звуки, и знаем их, и различаем, и радуемся,

и хорошо понимаем, над каким словом все они трудятся и не могут сказать. Вот почему, когда придем в лес на рассвете и услышим, так и скажем им, как людям, это слово:

— Здравствуйте!

И закрякают в ответ, и зачуфыкают, и затэтэкают, и зашваркают, и закрякают, стараясь всеми голосами этими ответить нам:

— Здравствуйте, здравствуйте!

Но вот среди всех этих звуков вырвался один, ни на что не похожий.

— Ты слышишь? — спросил Митроша.

— Как же не слышать, — ответила Настя, — слышу и как-то страшно.

— Ничего нет страшного, мне отец говорил и показывал: это так весной заяц кричит.

— А зачем так?

— Отец говорил, он кричит: «Здравствуй, зайчиха».

— А это что ухает?

— Отец говорил: это ухает выпь, бык водяной.

— И чего он ухает?

— Отец говорил: у него есть тоже своя подруга, и он ей по-своему тоже так говорит, как и все: «Здравствуй, выпиха».

И вдруг стало свежо и бодро, как будто вся земля

сразу умылась, и небо засветилось, и все деревья запахли корой своей и почками. Вот тогда как будто над всеми звуками вырвался, вылетел и все покрыл собою торжествующий крик, похожий, как если бы все люди радостно в стройном согласии могли закричать:

— Победа! Победа!

— Что это? — спросила обрадованная Настя.

— Отец говорил: это так журавли солнце встречают. Это значит, что скоро солнце взойдет.

Андрей Платонович Платонов

Сержант Шадрин

История русского молодого человека нашего времени

Каждое поколение, каждая эпоха создает свой образ и свой тип молодого человека. В свое время по почину Максима Горького и под его редакцией была издана большая серия романов «История молодого человека 19-го столетия». Герои этих романов — молодые люди разных национальностей, представители различных общественных классов, люди всех поколений века, носители почти всех идей своего времени, люди разной судьбы, но сердце каждого из них было искренним, ум их искал истины, а воля, если она не была уже сломлена, была устремлена к делу или подвигу — в той степени, в какой им дано было это понимать.

Мы не судьи им, молодым людям девятнадцатого столетия, но мы можем сравнить жизнь или судьбу молодого человека прошлого века, даже самого лучшего из них, с жизнью советского молодого человека эпохи Великой Отечественной войны. Сравнить, правда, трудно — столь велика

разница и обстоятельств времени, и характеров людей, а главное — результатов жизненного труда и подвига. В самом деле, о каком молодом поколении и какого народа можно достоверно сказать, что его жертвами и героизмом, его усилиями, соединенными с трудом и подвигом старших поколений, были спасены Родина и человечество от рабства и гибели и открыты дороги свободы в даль истории?..

Здесь мы кратко изложим историю лишь одного нашего молодого человека, нашего воина, — не одного из самых лучших, но среднего из сотен тысяч таких же прекрасных молодых наших воинов.

Он родился в селе Елани, Енисейского района, Красноярского края. Родители его крестьяне, и сам он до войны работал в колхозе, помогая родителям. С малолетства он был приучен к труду, к заботе о семье, к дисциплине общественного труда и ответственности. Такая жизнь и воспитание и сделали из него, Александра Максимовича Шадрина, хорошего солдата. Он и до войны уже был тружеником и принял войну как высший и самый необходимый труд, превратив его в непрерывный, почти четырехлетний подвиг. Русский советский воин не образовался вдруг,

когда он взял в руки автомат; он возник прежде, когда еще не знал боевого огня; характер и дух человека образуются постепенно из любви к нему родителей, из отношения к нему окружающих людей, из воспитания в нем сознания общности жизни народа.

Свою службу, в 1941 году, рядовой Шадрин начал под Старой Руссой, в первом учебно-лыжном батальоне. Там же он испытал первый бой с врагом. Когда огонь противника стал плотен и трудно было в первый раз переживать бой, так что иной молодой боец забывал, что ему нужно делать, командир взвода приказал по цепи:

— Работать надо, ребята! Работай огнем! Это лодырю страшно в бою, а кто работает — тому ничего.

Шадрин опомнился и стал тщательно и усердно вести огонь по заданной цели — по опушке леса, где накапливалась немецкая пехота. Работая огнем, он успокоился и понял, что командир был прав. Так он узнал первую простую солдатскую науку о войне: в бою надо быть неутомимо занятым своим делом — истреблением противника; тогда робость не войдет в твое сердце, а смерть будет идти от тебя к врагу, но не к тебе.

В начале 1942 года Шадрин был ранен, но не

тяжко. Весною того же года он опять вернулся в строй и воевал на Ильмень-озере, на Сонецком заливе, что против реки Ловать. Потом, осенью 1942 года, его часть отошла в тыл на переформирование и, усиленная, направлена была на Центральный фронт, на Курскую дугу. Время было тяжелое, но солдаты понимали, что без труда ничего не дается. Для того они и шагали тогда тысячи верст по русской земле, чтобы снова выходить Родину и переменить ей судьбу — от смерти к жизни.

Сейчас уже не может вспомнить Шадрин, сколько тысяч верст прошли его молодые ноги, и как в сновидении встают в его воображении сотни деревень, поселков и городов, малых, больших и великих, за каждый из которых был бой, за каждый из которых пали, уснув вечным сном, близкие товарищи. И сколько горя пришлось пережить Шадрину, навсегда расставаясь с погибшими друзьями, сколько раз дрожало его сердце, когда он всматривался в последнюю минуту в дорогое утихшее лицо друга перед вечной разлукой с ним! Он не знал, как могло вместиться столь много чувства и памяти в одно солдатское сердце.

Он помнит одно придорожное кладбище. В

стороне от дороги стояло несколько самодельных деревянных памятников, в форме пирамидок, с красноармейской звездой наверху. На памятниках написаны имена тех, кто погребен под ними; в некоторые памятники были вделаны фотографии погибших, но солнце, ветер и дожди быстро уничтожили изображения людей, чей образ должен быть вечен в памяти живых. Шадрин в сумерки проходил мимо этого кладбища. Он увидел там тогда одинокую пожилую женщину. Женщина опустилась на колени возле одной могилы. Сначала женщина была безмолвной, а потом она стала петь колыбельную песнь своему сыну, спящему здесь, на грядущую вечную ночь.

Шадрин не знал, как нужно было утешить эту женщину-мать и можно ли было ее утешить в тот час. Но он знал, как можно утешить нашу общую мать-Родину. Он знал и чувствовал, что ненависть к противнику питается любовью к своему народу, а образ народа явился перед ним и в лице этой женщины, склонившейся над прахом своего сына.

Война нарастала в жестокости и беспощадности, в мощности оружия и длительности боев.

На Центральном фронте часть, где служил Шадрин, вошла в состав одной из армий. Первый

бой на этом фронте, где дрался Шадрин, был под Муравчиком.

Немцы снова захотели здесь, на Курской дуге, повернуть войну в свою пользу и обрушили на нас мощный удар техники и живой силы. Несколько суток непрерывно шел бой. Разрывы снарядов временами были так часты на местности, что гарь, газ, земная пыль вытесняли чистый воздух, нечем было дышать, и бойцы чувствовали угар. Но они стояли на месте, чтобы не оставлять товарищей и довести врага до изнеможения в этой битве грудь в грудь, а затем пойти вперед, на сокрушение его.

Шадрин узнал здесь, в чем есть сила подвига. Красноармеец понимает значение своего дела, и дело это питает его сердце терпением и радостью, превозмогающими страх. Долг и честь, когда они действуют, как живые чувства, подобны ветру, а человек подобен лепестку, увлекаемому этим ветром, потому что долг и честь есть любовь к своему народу, и она сильнее жалости к самому себе.

Шадрин и его товарищи стояли здесь на свою смерть и на жизнь России. Они дрались с воодушевлением и яростью, и враг был истощен на месте, не двинувшись в глубину нашей земли.

Здесь Шадрин снова был ранен. Но он видел и понимал, что если бы его взвод, рота, вся часть дрались плохо, если бы командование было неумелым, то он и его товарищи вовсе погибли бы.

Из госпиталя Шадрин опять вернулся в свою часть и снова пошел в бой. Это было под селом Красавка. Бой здесь был еще более ожесточенным, битва гремела одновременно почти по всей Курской дуге. Поело нескольких суток боев наши бойцы пошли вперед, противник был уже надломлен в духе и истощен в своей силе.

Снова Шадрин прошел мимо Муравчика, и далее солдат пошел далеко вперед — до самой победы в Берлине.

Он брал с боем Семеновку и Новозыбков, Орловской области, вышел к Гомелю и на реку Десну. Он вошел в край многочисленных рек, и каждую нужно было форсировать под огнем врага, через каждую плыть на плотах или знаменитых подручных средствах, из них самым простым иногда оказывалось — вплавь на собственном животе.

Через реку Сож рота, где служил Шадрин, переправлялась под сплошным навесом огня противника, и Шадрин до сих пор помнит волны на Соже, гонимые разрезами снарядов против

течения.

В районе Речицы Шадрин переправлялся через Днепр, а в промежутках меж больших рек переходил с боем через десятки других водных потоков, и из них ни один не забыт в его памяти.

Путь солдата продолжался — сквозь огонь — на запад, по земле и через реки. Шадрин вышел на Ковельское направление, затем на Брест-Литовск и Владову на реке Буг. Это было уже очень далеко от Муравчика и Красавки. Шадрин уже сносил не одну пару сапог, но ноги его шли вперед хорошо.

Изменилась природа вокруг него, изменился вид городов и сел, и сам Шадрин изменился — он дрался теперь спокойнее, точнее и лучше, чем когда-то под Старой Руссой.

После боев за Люблин, за Прагу Варшавскую, затем за всю Варшаву Шадрин прошел пешим маршем с боями пятьсот семьдесят километров за четырнадцать суток — от Варшавы до Дойч-Крона, что на правом берегу Одера.

Перед этим походом Шадрин находился на высоте «119» под Рушполье. Немцы контратаковали эту высоту много рая и большими силами. Пали смертью храбрых многие товарищи Шадрина, пали все офицеры; тогда сержант Шадрин принял на себя командование ротой, и высота осталась

за нами. Высота после боя изменилась от огня, она стала как бы меньше; Шадрин устал, но не изменился.

После Рушполья Шадрин шел четырнадцать суток, в среднем по сорок километров в сутки, сбивая по дороге противника, нагруженный, кроме личных вещей и снаряжения, минометом. Одежда снашивалась на нем, истирался от огневой работы металл оружия, но Шадрин, когда приходилось, как следует, поесть и выспаться, не чувствовал, чтобы тело его оплошало или душа стала равнодушной.

Здесь было идти веселее, чем ходить по России в сорок первом или сорок втором году.

Из Дойч-Крона часть, где служил Шадрин, переправилась на левобережный плацдарм Одера, а оттуда — на восточную окраину Берлина.

Здесь Шадрин сел на броню танка, обошел Берлин с запада и после двухсуточного боя ворвался в Потсдам. Здесь бой был особый, он проходил и на земле, и под землей, в тоннелях, в подвалах, в подземных галлереях, во мраке глубоких казематов и в бункерах.

День и ночь работал Шадрин у минометов; душевное удовлетворение успешным боем поглощало без остатка утомление советского воина.

На его глазах зло мира обращалось в руины, и его миномет превращал в трупы живую силу зла — гитлеровских солдат.

После завоевания Берлина Шадрин пошел далее на запад, к реке Эльбе. Здесь снова был бой. Сутки непрерывно дрался Шадрин на Эльбе, но это был уже последний бой войны. После боя Шадрин умылся в Эльбе, лег на землю и посмотрел на небо. Ясность неба и его бесконечность были родственны его душе. «Все! — сказал вслух Шадрин. — Свети теперь, солнце, а ночью — звезды!» — и уснул.

На чужой земле лежал худощавый молодой человек со светлыми волосами, с потемневшим от ветра и солнца лицом, пришедший сюда из Сибири. Он спал сейчас счастливым, с выражением кротости на изможденном лице. Он совершил то, чего никто еще не совершал; велика его душа, благотворно его дело и прекрасна его молодость, вся исполненная подвига.

Николай Александрович Тихонов

В те дни…

Вступление

Восьмого июля 1945 года через Ленинград проездом возвращались гвардейцы славного корпуса. Они сражались под Ленинградом, разбили, прогнали немцев от стен города, прошли множество дорог, дошли до Берлина и теперь, после полной победы, возвращались к месту дислокации.

Родные узнавали своих и шли рядом с бойцами и командирами. Цветов было так много, что, казалось, целые клумбы сами движутся по улицам. Бойцам подносили огромные торты, хлеб-соль. Каждый старался им что-нибудь подарить. Ни один боец не чувствовал себя одиноким на этом всенародном празднике.

И вдруг к командиру, шедшему впереди своего батальона, протиснулся маленький мальчик. Он протягивал ему мороженое, детское лакомство, эскимо. Он очень просил бабушку купить ему мороженое, а сейчас отдавал его усатому офицеру, который сказал, улыбаясь: «Что ты, что ты! Сам ешь, дорогой!» Но мальчик упорно тянул ему

мороженое. И бабушка сказала, утирая слезы от волнения: «Возьмите, возьмите, товарищ командир! Он хочет, чтобы вы взяли. Это его подарок. У него отец погиб под Ленинградом. В ТЕ дни погиб… Возьмите, товарищ командир!»

Командир подхватил мальчика на руки и поцеловал его крепко, взял мороженое, и бабушке показалось, что его глаза влажно заблестели. Но это, конечно, ей показалось. Не могут же плакать такие суровые герои, которые хорошо знают, что значат слова: «в ТЕ дни!»

Враг у ворот

В те дни немецко-фашистские орды так близко подошли к Ленинграду, что с крыш высоких домов можно было видеть их позиции, Трамвай шел до проходной Кировского завода, и тут кондукторша говорила: «Вагон дальше не идет. Дальше — фронт!»

Поездам уже некуда было ходить, и все это казалось страшной сказкой: как это нельзя поехать ни в Петергоф, ни в Детское Село, ни в Гатчину, погулять в парках, посидеть на берегу моря, посмотреть знаменитые дворцы!

Пароходы по Неве уже не могли подняться к Шлиссельбургу: там сидели немцы.

Поднялись ленинградцы на великую борьбу за родной город. Непрерывно по улицам шли войска, новые и новые батальоны шли в бой. А идти было недалеко. Это было самое страшное и необыкновенное.

Там, где стояла мирная Пулковская обсерватория, стреляли батареи, и там, где всегда царила огромная тишина, был непрерывный грохот.

Уходящих воинов провожали их родные. Шли матери и жены, неся на руках детей. Они шли до того куска дороги, за которым дальше уже рвались снаряды.

Одна девушка-санитарка вышла из дому, попрощавшись с матерью и сестрами. Она проехала на трамвае по городу, смотря вокруг большими глазами, и город казался ей красивее, чем раньше. А враги — где-то очень далеко. Через несколько часов она уже ползла по траве на зов раненого, расстегивая свою санитарную сумку. Тут она услышала хриплые крики и увидела людей не в нашей форме. Это бежали в атаку немцы — прямо на нее. Она сползла в воронку от снаряда, и наши заметили, что она оказалась между ними и немцами. Они начали стрелять, и немцы залегли.

Они видели, что в воронке девушка, и кричали и издевались. Она тоже стреляла, взяв винтовку у

тяжело раненного, которого перевязала. Тогда командир сказал: «Надо выручить нашу девушку». Он поднял солдат в контратаку, и немцы были опрокинуты. В этой атаке девушку ранили. Ее отправили в Ленинград, в госпиталь, но к вечеру ей стало лучше, и она пошла домой, чтобы отдохнуть и утром снова вернуться в бой.

Опять она увидела родной Васильевский остров, Неву и улицы с тенистыми деревьями, дом, где она родилась, и свою мать и сестер. Ей казалось, что она прожила целую жизнь, а с той минуты, когда вышла утром из дому, прошло всего десять часов.

Вот что значило — враг у ворот!

...А по улицам все шли и шли ленинградцы на фронт. Казалось, что город рождает все новые полки и что такую силу не сломить никакому врагу.

Бойцы прощались со своими близкими, и не было у них уныния и отчаяния. Они были уверены в победе. И если бы спросили тогда любого ленинградца, никто бы не мог объяснить, почему немцы не войдут в город, хотя уже подошли так близко, что ближе нельзя, но каждый ленинградец ответил бы, что немцы не войдут, что Ленинград непобедим!

Ночи Ленинграда

В мирные времена никому из ленинградцев не могло бы прийти в голову разгуливать ночью по крышам или просиживать целые часы у трубы, разглядывая небо и город.

Теперь все крыши были обжиты. Тысячи ленинградцев всех возрастов проводили все ночи на крышах. Они приготовили щипцы для того, чтобы хватать ими зажигательные бомбы, багры, чтобы сталкивать их с крыши на улицу или во двор, асбестовые рукавицы, чтобы не обжечь при этом руки, маски, чтобы искры не попали в глаза. Но тушили и без масок, так как масок не хватало.

Город лежал в такой тишине, что слышно было, как далеко внизу, как в ущелье, едут военные машины. Ни одного огонька не блестело ни в одном окне. Ночь сначала была очень мирной. Атласные облака плыли над городом; находили тучи, по краям которых бегали прожекторные лучи, перекрещивались и клонились к земле. Ветер шумел листвой в парках и садах. Люди на крышах говорили шепотом, как будто их могли услышать летящие на город немецкие налетчики.

Потом эту тишину разрезал унылый, тоскли-

вый, тревожный вой сирен. Выли дома, корабли, дворцы, музеи. Казалось, им вторят деревья, и ветер присоединяется к сигналу тревоги. Все бежали, скрипя по железу крыш, на свои посты. Приближался рокочущий, со злобными перерывами, звук немецких самолетов.

Немцы бросали светящиеся лампы. Они висели в пространстве, и от них шел мертвенный белый свет, освещавший, как днем, лица людей на крышах. Долго воя, визжа и захлебываясь, шли вниз фугасные бомбы. Потом раздавался глухой удар. Это значит — куда-то попала фугаска.

Комсомолка Варя стояла на крыше и видела, как бомба упала на здание ее завода. Она сейчас же по телефону сказала об этом в штаб. Бомба, вероятно, замедленного действия, взрыва не произошло. Прошло два часа. Тревога продолжалась. Бомбу не нашли. После тревоги в штабе ей сделали выговор за то, что она плохо смотрит и видит что-то совсем другое, потому что бомбу на заводе не нашли, как ни искали.

Из бомбоубежища вышли рабочие и работницы и пошли по своим квартирам. Дома были рядом с заводом. Две подруги открыли ключом дверь и, не зажигая света, вошли в свою комнату. На диване кто-то спал и как-то глухо дышал. Они

зажгли спичку и увидели, что на диване, качаясь слегка от собственной тяжести, лежит огромная стальная туша и в ней что-то позвякивает с хрипом. Это и лежала та бомба замедленного действия, которую видела в полете Варя. Бомба проломила крышу и улеглась прямо на диван. Пришли саперы и разрядили ее. А с Вари сняли выговор.

Проходили дни, недели, месяцы, годы, а бомбы все падали и падали на Ленинград. Сирены выли и в метельные ночи и в белые, когда не нужны прожекторы, и только высоко видны серебряные киты-дирижабли.

Зажигалки падали тысячами и горели своим мерзким брызжущим огнем, освещая бледные и решительные лица тушивших их подростков. Подбитые немецкие самолеты падали и в город и за городом, и к концу осады их было подбито столько, что из них можно было сложить целую гору. Но они падали в лес или в болото и долго горели бледным, неживым огнем.

А ленинградцы не уступили немцам ночного неба и очень гордились этим!

После налета

Я ехал на машине по улице, в конце которой падали бомбы. Я сказал шоферу, чтобы он свернул вдоль Таврического сада. Он свернул, и тут все в машине осветилось так, что я увидел отдельные пушинки и пылинки на синей материи, которой была обита внутри машина.

Машина остановилась. Мы выскочили из нее. Перед нами феерическими огнями горел Таврический сад. На деревьях висели какие-то желтые, красные, зеленые, синие фонари; они рассыпались на куски, стекали шипящими струями по веткам, шипели внизу на траве. На крыше гаража лились потоки какой-то слепящей жидкости. Все это походило на фейерверк и детский праздник, и можно было залюбоваться этим сказочным освещением. Но шофер схватил меня за руку и закричал: «Сейчас будет бомба!»

И бомба упала через дорогу от нас. Но она упала прямо в пруд и захлебнулась в тяжелом вековом иле. Воздушной волной нас бросило на землю. Кругом в ближних кварталах падали зажигалки и гремели взрывы, за которыми было слышно, как падают стены и какие-то звоны долго стоят в воздухе.

После каждого налета грустно было смотреть, как развеваются занавесочки на окнах в комнате, от которой осталась одна стена, как печи стоят прямо на улице, окруженные грудами битого кирпича, как высоко в небе, на высоте шестого этажа, стоит шкап, дверцей болтается в пустоте. На одной улице два года, как на скале, стоял такой шкап, и в нем висела детская ванночка, старое пальто и полотенце. Снег засыпал развалины, майское солнце светило весело в разноцветную пропасть, где когда-то были комнаты, осенний косой дождь хлестал внутрь шкапа, — и все так же недостижимо висели ванночка, полотенце и старое пальто.

Деревья с оторванными ветвями протягивали прохожим свои израненные руки, как бы прося защиты. Ноги ступали по разбитым стеклам, как будто мостовая была уложена алмазами. Кровати висели между искривленными балками, напоминая о том, что здесь было когда-то человеческое жилье.

Много таких разбитых стен в Ленинграде. После налета приходили спасшиеся жильцы и отыскивали в этих бесформенных кучах вещи. Как ни странно, но иные вещи сохранялись в целости по капризу случая. Так, столы расплющивались,

как картонки, а фарфоровые вазы оставались целыми. Очень грустное зрелище представляли книги, превращенные в труху, осыпанную красной кирпичной пылью.

Особенно мрачно выглядели развалины после налета ночью, когда выходила луна и под луной там, где стоял дом, была гора черного мусора, и в нем бегали огоньки тлевшего тряпья, и сверкали осколки посуды.

Картины висели на стенах, не имевших ни дверей, ни окон. На улице раз я видел куклу с оторванной рукой. Кукла смотрела удивленными фарфоровыми глазами. Девочка схватила ее и сказала: «Мама, мама, мою Вальку убили». Потом покачала ее на руке, глаза куклы закрылись, и девочка радостно закричала: «Мама, мама, она только ранена, она заснула!»

Люди, приходившие с работы утром, находили пепел там, где было их жилище. Они садились у печей, которые уцелели, и начинали готовить пищу под открытым небом, топя печи разбитыми стульями и столами. Так было в маленьких разрушенных домах. В больших уже нельзя было топить печек, и ленинградцы уходили жить в другое место. Иные за время осады сменили несколько раз свои жилища.

Дзот на Кировском

Священна земля ленинградских площадей и парков! Кто из жителей великого города думал, что ему придется разрыхлять ее киркой, бить в нее ломом, вонзать в нее лопату, чтобы рыть ходы сообщения к дзотам, стоящим прямо на газоне.

Дзот уже был сделан. Толстые бревна выглядели как-то мирно на траве, засыпанной первым снегом. Он был похож на недостроенную избушку, диковинную рядом с выгнутой чугунными узорами решеткой набережной. На него смотрели бастионы Петропавловской крепости, как смотрит дед, видавший виды, на внука-суворовца.

Громадный Кировский мост виднелся на фоне ещё бурой зелени далекого сада Инженерного замка, высились величавые стены Мраморного дворца, виднелась Нева, покрытая салом.

И девушки рыли ход сообщения. Рядом шумел Кировский проспект, проходили трамваи. Пешеходы останавливались и смотрели молча, не делая никаких замечаний, не отпуская никаких шуток. Пожилой человек в ушанке медленно наступал ногой на лопату. Он смотрел вниз на холодные каменистые комья, как будто хотел прочесть какие-то тайные знаки, которые были

написаны маленькими, искривленными, как буквы, корешками и жилками. Или он просто задумался о том страшном, что подступило к городу. Были ли дочерями его эти три девушки, что работали ломом, киркой и лопатой вместе с ним? Были ли они люди из одного дома, вовсе чужие друг другу?

Они углубляли ход сообщения, останавливались по временам, чтобы вытереть пот и распрямить плечи. Что мог значить их маленький труд — этот узкий и глубокий ров, над которым они трудились с таким старанием?

Мог ли явиться крошечный дзот чем-то серьезным в битве, в которой участвовали огромные орудия и огромные танки? Но таких дзотов были тысячи, и когда девушки отдыхали, они видели, как по улицам идут такие же, похожие на них, ленинградки с лопатами на плечах. Они знали, что город превращается в крепость, и если враг ворвется в центр города, то каждый дом, каждый перекресток, каждый угол будет сражаться до конца.

Ни одной из них не представлялось до конца ясным, как это немцы пройдут по Кировскому мосту и станут стрелять по крепости, которая сама стреляла только раз в день в прошлые времена,

когда пушка отмечала полдень одиноким выстрелом и над бастионом секунду висел похожий на летящую по ветру кисею легкий синеватый дымок.

Они знали, что они маленькие солдаты, маленькие винтики войны, но что им выпала почетная и трудная задача — стоять в обороне города, работать для победы, и ничего другого, кроме желания скорее выполнить свою задачу, у них не было в голове. Они не жаловались, что им непривычна эта мужская саперная работа, что лом и кирка слишком тяжелы для их юных рук.

Нет, в их лицах, с которых еще не совсем сошел летний загар, было упорство, и строгие глаза не улыбались. Слишком печально было думать, что такая красота, что простирается вокруг, будет подвергнута всем случайностям битвы, что вражеские снаряды будут разрушать эти ветхие кирпичные стены, которые видел своими глазами сам Петр, что по этой мирной набережной нельзя будет проходить, а надо будет нырять в этот ход, который укроет бойцов, подносящих в дзот боеприпасы, идущих сменять уставших товарищей.

Они не просили смены. Холодный ветер трепал их вязанки, качал оголенные кусты, нес острую

снежную пыль. Так работали всюду в городе.

В лучах прожекторов

Когда вы шли ночью после только что кончившегося налета, вы видели темные бесформенные горы развалин, вы останавливались, еще не привыкнув к невиданному зрелищу.

По всему разрезу разбитого бомбой дома сверху вниз и из стороны в стороны мелькали красные огоньки. Как будто дело происходило вовсе не в городе, улицы которого затихли в темноте ночи, а где-то в глуши гор, и эти огоньки принадлежат таинственным гномам, снующим со своими фонариками, отыскивая спрятанные сокровища.

Подойдите ближе, и вы увидите, что это работают упорные люди, среди которых много молоденьких девушек. Это спасательные команды, отыскивающие заваленных обломками. Да, они ищут сокровища — человеческие жизни. Где-то внизу стонет человек, до которого нельзя добраться просто.

Каждый шаг в этих развалинах таит опасность. Каждое неверное движение может погубить и спасающего и спасаемого. Вся эта темная махина полна тихими перекличками невидимых работников, полна вздохами, стонами, тяжелым

дыханием усталых людей.

Как вход в мрачный грот, открывается расщелина, образованная навалившимися друг на друга перекрытиями, и туда, в этот холод и темноту, надо спускаться, обвязавшись веревкой, имея нож для того, чтобы перерезать всякие мешающие по дороге клочья материй, какую-то проволоку, которой всегда много, топор, чтобы прорубиться сквозь нагромождение деревянных обломков, фонарь, чтобы при его слабом свете видеть хоть немного.

Сандружинницы превращаются в альпинистов. Они, как по скалам, подымаются на повиснувшие над бездной уступы, бывшие когда-то угловыми комнатами. Там лежит на остатках пола раненая, потерявшая сознание, девочка. Она жива! Ее берут осторожно, умело, крепко и находят куски лестницы: по ней можно спуститься, как по каменной тропе, разбитой, неровной, качающейся.

Тут надо быть еще осторожнее, потому что ступеньки висят над черным провалом. А вот их и нет совсем. Тропа кончилась. Как в горах, надо переходить на карниз. Где-то в проломах стен вспыхивают прожекторы — началась новая тревога. Но освещенные меловым светом, которому

благодарны, потому что он освещает дорогу вниз, девушки идут, тяжело дыша, со своей ношей. А там вокруг опять свищут осколки на все лады, завывают и повизгивают, там падают новые бомбы, рушатся новые дома… Там снова жертвы.

На лицо сыплется белая и красная пыль, она залепляет глаза, ноги ушибаются о крупные осколки кирпича, режутся о порванные и согнутые железные перила, которые, как змеи, свисают по сторонам.

Девушки переходят из мрака снова в свет прожекторов. Где-то, как в ущелье, гремит обвал. Стена внутри дома провалилась куда-то, увлекая за собой груду кирпичей, железного и деревянного лома. Эхо передает грохот этого обвала по всему мрачному разрушенному дому. Подымается стена пыли; над головой открывается небо — там, где еще недавно был кусок крыши. Она свалилась во двор, и звезды видны в небе; они холодные и пыльные, точно и туда залетела пыль уничтоженного человеческого жилья.

Но девушки упорно несут спасенную все ниже и ниже. Вот уже встречают их товарищи, принимают от них бесчувственную девочку, кладут на носилки, а сандружинницы идут опять в темноту и холод, прислушиваясь, не раздастся ли стон. Да!

Он раздался откуда-то снизу. Вперед, туда! Так они будут работать до утра, пока изнеможенные, не сядут тут же отдохнуть после бессонной ночи. А начавшийся день снова застанет их за работой.

Так жили в те дни…

О, эти солнечные, яркие, полные морозного хруста, морозного ветра дни первой блокадной зимы! Почти безумная прелесть садов, с ветвями, заваленными снегом, осыпанными сверкающим инеем, как будто природа хотела нарочно подчеркнуть, как великолепна ее зимняя жизнь и как мрачна жизнь осажденного города.

Закат на Неве. Огненный шар солнца уже потух за туманом, на всем лежат мертвые синие тени. Корабли, зимующие на реке, как будто брошены людьми; палубы пустынны. Сугробы снега лежат на набережной, на ней нет ни души. Редкая цепочка людей идет через реку, медленно, медленно, как будто они боятся сделать быстрый шаг. Они не могут его сделать. Они бредут, как призраки, закутавшись до глаз. Вьюга заметает их следы.

В городе нет хлеба, нет топлива, нет света, нет воды. Сюда, к Неве, к полынье у каменного спуска, идут за водой женщины и дети. Они похожи

на эскимосов, так тяжелы их одежды. Они надели на себя все теплые вещи, и им все-таки холодно, нестерпимо холодно, потому что они ослабли от голода.

Но они идут за водой, чтобы принести ее домой, в свои темные квартиры, где на стенах атласный иной и сквозь разбитые окна в комнаты наметен снег. Ледок хрустит на пустых кухнях.

Женщины и дети ставят на санки ведра, бидоны, чайники, детские ванночки, жестяные большие коробки, котелки, кастрюли — все годится, во все можно налить воду, такую ледяную, что страшно к ней притронуться.

Сил нет спуститься сразу к реке по скользким ступеням, на которые непрерывно выплескивается вода из рук усталых и слабых водонош. Вода эта сразу замерзает слоями, один на другом, неровными, толстыми, скользкими. Мученье только спуститься по такой лестнице. А надо еще поднять наверх тяжелое ведро, которое оттягивает руки; надо поставить его на сани и сани притащить домой, а дом у Исакиевского собора, а то и еще дальше.

Девочки, жалея матерей, спускаются с чайниками, цепляясь за промерзшие каменные стенки, набирают воды, поднимают и льют из чайников

воду в ведра. Сколько раз надо спуститься с чайником, таща его обеими руками, останавливаясь, потому что он очень тяжел, этот неуклюжий чайник!

Снежные наросты от пролитой воды появляются на одежде. Ветер превращает их в лед. Пар идет изо рта. Люди дышат широко раскрытыми ртами. То, что было веселой забавой в иные времена, теперь стало адски трудным делом.

Вода! Вы открываете кран, и льется белая струя, льется без конца. Вы открываете краны горячий и холодный, и ванна наполняется голубоватым сумраком, который пьянит вас теплотой, и так приятен после ванны крепкий горячий чай с вареньем.

Это так просто: если замусорился кран, вы звоните, и к вам приходит водопроводчик, молодец, шутливый, высокий, ловкий, он в миг исправит ваши краны и трубы.

И вот ничего этого нет. Умерли все краны, все трубы мертвы. Враг окружил город блокадой, враг хочет уморить ленинградцев голодом, заставить их роптать. Но каждый день целые процессии шли по городу за водой — жуткие, длинные, и все-таки это шли непобедимые ленинградцы, которых ничто не могло сломить.

Путь в стационар

Я видел людей с красными кругами на белых щеках. Я видел людей, у которых по лицу шли зеленоватые полоски, как в тетради для арифметики. Я видел людей, у которых сквозили кости черепа сквозь тонкую кожу.

Однажды на набережной я увидел лошадь, которая кланялась Петропавловской крепости. Она так аккуратно кланялась, что я пошел к ней, чтобы посмотреть, в чем дело.

Лошадь была такая тощая, что кожа на ней была почти прозрачная, и такая громадная, что походила на нарисованную плотничьим толстым карандашом. Она была запряжена в сани. Возница куда-то ушел. Там, где он ее оставил, было набросано на снег немного сена, совсем немного. Лежали клочья и лежали такими маленькими травинками, что было грустно смотреть на это.

Лошадь видела эти клочья пожелтевшего холодного сена. Она не могла нагнуться и взять их. Она набиралась сил, становилась на колени, одним резким движением хватала травинки и, встав, жевала их долго, долго. Потом она набиралась снова силы, снова становилась на колени и снова хватала большими дрожащими губами,

сморщив морду. Потом она стояла, отдыхая, тяжело вздыхала, качаясь на несуразно длинных и тонких ногах.

Люди от голода слабели и умирали, и тогда в городе появилось новое слово: стационар. Так называлось место, куда привозили и приводили самых истощенных людей. Там их клали на чистые постели, в теплых комнатах, кормили под наблюдением врачей и давали им разные укрепляющие витамины.

Человек, который чувствовал, что он слабеет, не должен был терять душевной силы. Если он терял эту душевную силу, его было труднее вернуть к жизни.

Тогда, в те дни, на улицах уже нельзя было увидеть никакого транспорта. Редко, редко проходили военные грузовики, нагруженные снарядами, или автобусы, перевозившие раненых. Трамвайные вагоны, автобусы и троллейбусы, занесенные до крыш снегом, стояли со стеклами, на которых был толстый налет, и не могли никуда уйти, потому что в городе не было горючего.

Поэтому больных возили в стационар на санках их родные или друзья. Есть в Ленинграде такая Кленовая улица. Она летом утопает в зелени, и на ней почти нет домов. В одном конце

возвышается большой дом военного ведомства, в другом — красный Инженерный замок, похожий на крепость.

По этой улице маленькая, закутанная в три платка женщина, спотыкаясь в глубоком снегу, везла на детских саночках изможденного мужчину. Трудно было сказать, сколько ему лет, потому что он давно не брился и весь зарос колючей, острой, мертвенно-синей щетиной. Он сидел на саночках, закрыв глаза, и через каждые три шага падал навзничь. Женщина освобождалась от веревок, за которые она тащила сани, подходила к нему, приподнимала его, и он снова сидел, страшный, как кащей, с закрытыми глазами. И снова он падал, когда женщина успевала сделать вперед всего несколько шагов. Прохожие молча смотрели на эту сцену и шли дальше.

Наконец, когда он упал в десятый раз, женщина остановилась и впервые беспомощно посмотрела вокруг. Тогда с тротуара сошла высокая костистая женщина, с упрямым выражением глубоких синих глаз, подошла к упавшему, подняла его резко, посадила и громко три раза прокричала ему в ухо: «Гражданин, сидеть, или смерть! Сидеть, или смерть! Сидеть, или смерть!»

Он открыл глаза, заморгал и уселся. Больше он

не падал. Так скрылись сани, увозившие его в стационар, и он все сидел — прямой, как палка.

Федор Иванович Панферов

Здравствуй, мой победитель!

Аэродром расположился у самого города, рядом с авиазаводом, и напоминал колхозное поле: на окраине виднелся дубовый лес, кое-где еще остались следы пашни, а из-под прошлогодней примятой травы выбивалась буйная зелень. Сейчас аэродром гудел, сотрясался, как будто по нему ползли тысячи тракторов.

Как только директор авиазавода Федор Григорьевич Сланцев переступил порог проходной будки, так сразу на него и кинулся вихревой ветер. Ветер рвал с него кепи, крутил полы пальто, отбрасывая директора к воротам.

— Ух, ух! — выкрикнул он радостно, уже понимая, что такой ветер поднят пропеллерами, а это значит — самолеты готовятся к вылету.

По боковинам аэродрома, крыло к крылу, уходя вдаль, как гигантские осы, стояли штурмовики.

Летчики расхаживали около самолетов медленно, сдержанно, сберегая силы, как это делают первоклассные наездники. Каждому из них сегодня предстояло в воздухе испытать пять-шесть самолетов. А как он поведет себя в воздухе, тот или иной самолет, вот сейчас так мирно располо-

женный в ряду других таких же? Вдруг откажет мотор, вдруг «забарахлит» управление, вдруг… и тогда нужны буквально секунды, чтобы «сообразить», «не растеряться», «найтись». Правда, это «вдруг» случалось редко… Но летчики ходили около самолетов, не разговаривая, равномерным шагом, сберегая силы. Увидев директора, они тем же неторопливым, экономным шагом направились к нему, не смахивая с лиц той сосредоточенности, какая характерна только летчикам-испытателям.

— Значит, летим? А как же облачность? — спросил Федор Григорьевич.

— Пробьем. Дымка тонкая, а руки чешутся… Да и фронт требует… Так решили сегодня утром, — ответил за всех майор, начальник аэродрома.

Со стороны летного поля подошел летчик-фронтовик. Росточком он небольшой, но ловкий, сбитый, юркий. Он весь сиял, идя на директора. Подойдя, щелкнул каблуками, вытянулся, вскрикнул:

— Приветствую, товарищ директор!

— Гриша, Григорий Васильевич, — поправился директор, протягивая руку, и нарочно нахмурился. — Опять за самолетом? Да ты что же это? Мы строим, а ты там гробишь…

Гриша было стушевался, но тут же, словно невзначай, расстегнул кожаную куртку-коротушку, распахнул полы: на груди выше орденов поблескивала Золотая Звездочка.

Заводской двор блестел на солнце асфальтом и чистотой. Казалось, что это вовсе и не завод, а санаторий. Корпуса цехов, с замаскированными окнами, голубели стенами; по обе стороны дорожки тянулись уже разделанные клумбы с только что высаженными цветами, и липы таращились ветками с крупными набухающими почками. Почки зеленели, рвались маленькими узенькими листочками. Влево, на повороте к цехам, вокруг огромной круглой клумбы на зеленых столбиках красовались овальные портреты передовых рабочих. Среди них Гриша увидел и Надю. Да, да, это она. Это ее глаза. Вот она смеется, и как смеется в этот солнечный весенний день… Гриша подошел ближе и под портретом прочел: «Надежда Константиновна Рюмина». И тут же увидел другое: на груди Нади орден Трудового Красного Знамени.

«Не сказала… мне не сказала, — с глубокой обидой подумал он. — Впрочем, она такая же была и в школе: когда получала „отлично“, то молчала, но уж если получала „удочку“, то носилась и всем

надоедала с этим. „Зачем ты об этом шумишь?“, — спросил ее однажды Гриша. — „А чтобы мне было больше стыдно“, — ответила она, глядя куда-то в сторону грустными глазами. — Вот и теперь такая же», — успокаивающе подумал Гриша, и его глаза остановились на соседнем портрете.

Рядом с Надей висел портрет Петра Крашенникова, занявшего на заводе Гришино место. Петя — в костюме, при галстуке. Большие, почти девичьи глаза его, как нарочно, скосились на Надю… и на его груди орден Красной Звезды.

— Да-а, — протянул Гриша, и вдруг сердце у него сжалось. — А может быть… — пробормотал он.

Таким он и вошел в первый цех. Тут на него сразу хлынула оглушающая волна треска, визга: по обе стороны коридора, длинного, темноватого, люди сверлили пневматическими сверлами, клепали, и все стонало, гудело, оглушая.

«Самолет и когда строится, так же гремит», — подумал Гриша, шагая по коридору, мельком взглядывая на работающих людей.

Все это были люди его возраста и еще моложе, то есть такие же, каким и он когда-то пришел сюда, на завод… Тогда, года четыре тому назад, они вместе с Надей окончили школу и намеревались было после окончания десятилетки поступить в

высшее учебное заведение: Гриша в авиаинститут, Надя — на исторический. Но оба очутились на заводе, первыми откликнулись на призыв заводоуправления, вполне сознавая, что учебу можно будет закончить и потом, а сейчас фронт требует самолеты.

Вскоре они уже работали в сборочном на штыковке, на одной из самых сложных деталей — прикрепляли крыло к самолету, — руководя каждый группой ребят и девчат, соревнуясь друг с другом. А Гриша еще пристрастился к летному делу. И вот, он уже летчик. Теперь на заводе его место занял Петя Крашенников.

Гриша, охваченный воспоминаниями, шел, не замечая, как люди, главным образом молодежь — ребята и девчата, — на секунды приостанавливали работы, глядя на него сияющими горделивыми глазами, произнося:

— Гриша приехал!

— Молодец-то какой! Героя получил!

— На нашем самолете.

Вот и сборочный — огромный застекленный зал, напоминающий зал приема высокопоставленных гостей. Через боковые просветы со всех сторон рвалось буйное солнце, освещая самолеты, медленно и беспрестанно двигающиеся по

конвейеру.

В начале конвейера самолет совсем не походил сам на себя. Здесь стояло что-то такое из толстой брони, похожее на лодочку, потом к этой лодочке пристраивался мотор, тяжелый, огромный, поднимаемый краном. И именно здесь казалось невероятным, что такая броня и такой мотор скоро взовьются в воздух и превратятся в «черную смерть» для врага… Дальше самолет как бы одевался: у него появлялась передняя часть, затем хвост… а вот и крылья… И всюду по самолетам ползают люди, девушки, юноши, и каждый что-то привинчивает, что-то прилаживает, одухотворяя это тяжелое мертвое тело.

Под стеклянным потолком висит огромный циферблат, а на самом верху циферблата огненно горит «осталось 10 минут». Вдруг огонек мигнул, и снова — «осталось 5 минут»… и сильнее загудели, завизжали пневматические сверла, застучали молотки, заползали люди — по крыльям, по носовой части, на хвостах самолетов.

— Полетит. Обязательно полетит и будет громить врага! — проговорил про себя Гриша, переполненный радостью и тем, что вот сейчас увидит Надю; он шагнул ближе к конвейеру. И тут, среди всех, он увидел только ее — ее волосы,

черные, густые, круто подвязанные на затылке, сизую, уже в легком загаре шею, ее локти, так быстро двигающиеся. Ее! Ее! Да, это было все ее — родное Грише. И он в двух-трех шагах от нее остановился, невольно загадывая: «Если любит, то повернется ко мне…»

Через какую-то секунду ее плечи дрогнули, и она повернулась к нему лицом, не приостанавливая работы. Скорее, она повернулась к нему глазами, потому что он видел только эти глаза. И глаза ее сначала посмотрели на него удивленно, испуганно, но тут же вспыхнули радостными искорками. И он шагнул к ней, произнося в грохоте:

— Надя. Надюша… только на пять минут. Давай отойдем вот туда, — ему хотелось в сторонке положить ей руки на плечи… и сказать… Что сказать? Да просто положить руки на плечи, глянуть в глубину ее глаз… И она все поймет.

Она улыбнулась и показала глазами на циферблат. Там, на циферблате, предупреждающе горело «осталось 5 минут». И глаза Нади вдруг отчужденно проговорили: «Ты сам видишь, осталось пять минут. А затем все начнется снова», — и она вся ушла в работу, а за ней и вся ее группа.

Он остался один в грохоте, визге, среди мед-

ленно двигающихся самолетов, и ему стало невыносимо грустно.

— Да что же это? Что же? Я к ней со всей открытой душой, а она?.. — Он повернулся и пошел к выходу, затем оглянулся и увидел Петю Крашенникова. Тот стоял неподалеку от Нади, тоже около крыла, и, казалось, смеялся над Гришей. — Он. Да, он, — окончательно решил Гриша и выбежал из цеха.

Минуты. Минуты бежали…

Чей сегодня будет салют? Нади Рюминой или Пети Крашенникова? Такая мысль — соревноваться за салют — пришла Ванюшке Куклину — вихрастому, рыжеватому, с задранным носом пареньку из группы Пети Крашенникова. Об этом не знали ни заводоуправление, ни общественные организации завода, но это от Ванюшки Куклина распространилось по всему цеху, по всем группам, и как только наступило время салютов, Ванюшка Куклин стремглав кидался к мощному репродуктору и включал его. И когда в цехе начинали греметь пушки, руки девчат и ребят работали еще напряженнее, еще крепче, наддавая, потому что все чувствовали себя так, будто они не здесь, в мирной обстановке, а там, на фронте, и там, на фронте, своим трудом, воплощенным в

самолеты, они громят врага. И если группа Нади отставала на две — три минуты, Ванюшка Куклин вертелся на одной ноге и кричал:

— Отстали! Э-э-э! После драки кулаками машете.

Но если отставала группа Пети Крашенникова, Ванюшка Куклин молча сопел, не отрываясь от работы, искоса, недовольно посматривал на своего руководителя и на вопрос кого-нибудь из группы Нади: «Ну, как, Ванюшка, сегодня у вас дела?» — отмалчивался.

Вначале соревнование шло за каждый салют. Но их на дню было по нескольку, и все путалось: молодежь не успевала подсчитывать успехи той или иной группы. После этого было решено соревноваться только за «особые» — Варшава, Кенигсберг, Будапешт, Вена, Берлин. Сегодня как раз и были те дни, когда все внимание было сосредоточено на Берлине. Вот почему и ребята и девчата уже десятый день работали с наивысшим напряжением, удивляя заводоуправление такими темпами, каких еще не было за время войны.

— Чудак, — проговорила Надя, поблескивая карими, большими, с мохнатыми ресницами глазами, и по-девичьи пискнула, радуясь тому, что Гриша все-таки пришел.

«Ведь он такой хороший, — думала она и сейчас, ни на секунду не приостанавливая работы, — Такой хороший… Мой!..» — Она вся вспыхнула от впервые пришедшей мысли и застыдилась. Но мысль от этого не заглохла, и Надя про себя воскликнула уже радостно и просто: «Мой! Муж? И я поменяю фамилию. А как это будет звучать? Надежда Кудряшова! Хорошо! Очень приятно. Очень приятно!» — и ее руки заработали еще быстрее. Она посмотрела на своих ребят и девчат, и те, видимо, почувствовав ее взгляд, заработали тоже быстрее. А она крикнула:

— За Берлин, товарищи!.. Наши-то, ведь уже там, под Берлином!

Раздался резкий звонок. Он пронесся по цеху, и вдруг свет на циферблате задрожал, надпись «осталось 5 минут» мигнула, и кричаще загорелось «начало». И по всему цеху из грудей ребят и девчат вырвалось мощное, побеждающее:

— А-ах! — потому что «начало» говорило, что время обработки одного самолета для всех кончилось, что надо переходить на другой самолет, но все уже были на новых деталях.

Надя в эту минуту только успела спросить Петю Крашенникова:

— Который?

И тот, не отрываясь от работы, кивком головы показал на самолет, который уже приблизился к их «стоянке», то есть к месту работы. Кивнув, сказал:

— Вот он.

И самолет этот вдруг выделился изо всех и стал таким родным, как Гриша Кудряшов.

Дней пять тому назад, когда по всему заводу разнеслась весть о том, что с фронта за новой машиной прилетел Гриша Кудряшов, получивший Героя Советского Союза, весь тридцатитысячный коллектив завода в один голос заявил:

— Построить Грише особый самолет.

Старший мастер Иван Иванович, привычно поправляя кудлатые волосы на голове, сказал:

— Да ведь директор и без вас выдаст ему новый самолет.

— Нет, — запротестовала молодежь. — Мы дадим особый… совсем, совсем свой.

И вот уже четвертый день «особо шли» особые детали: по-особому работали медники, кузнецы, слесари, паковщики, монтажники. По-особому — для Гриши. И теперь этот самый «особый самолет» подошел к месту стоянки Нади Рюминой и Пети Крашенникова…

Это даже был не парк, а просто уголок старого дубового леса, перемешанного с молодыми побегами орешника и берез, с глухими балками, заросшими в низинах густым малинником. Парк был за рекой, и в него почти никто не заходил, поэтому он был глух и загадочно-мрачен…

Гриша пришел сюда раньше назначенного времени. Он страшно боялся опоздать и вот пришел без четверти девять, а уговорились они с Надей быть тут ровно в десять.

Вчера он долго сторожил Надю у проходной будки. Вскоре с завода хлынули рабочие, и среди всех он опять увидел ее, только не одну: рядом с ней шел Петя Крашенников, и они о чем-то оживленно говорили, а Надя смеялась так радостно и так заразительно, что у Гриши захолонуло сердце:

— Ну вот, Григорий Кудряшов, — задыхаясь, проговорил он. — Вот тебе… — да так и остался стоять на одном месте.

И только поздно ночью, не в силах угомонить свою боль, махнув было на все рукой, решив завтра же улететь на фронт, он позвонил Наде, намереваясь ей сказать: «Ну, что ж, пути наши разошлись», как тут же, не успев сказать то, что хотел, услышал ее голос:

— Да где ты? Где ты пропал? — с тоской и страхом прокричала она в трубку.

— Да нет… что ты, — и Гриша сразу почувствовал, как незаслуженно обидел Надю. — Я просто… ну, знаешь. Я могу тебе завтра рассказать все, все. Сегодня, конечно, где уж, поздно — двенадцатый час. А завтра… Хочешь, в нашем парке?..

И вот он — парк. Он стал еще глуше. Теперь сюда, очевидно, совсем никто не ходит: дорожки, кривые, извилистые, вытоптанные когда-то посетителями, устланы прошлогодней, примятой за зиму листвой. Идешь, а лист пристает к подошве.

Так прошел час, два. Гриша все ходил по извилистым тропам, пересекая балки, то и дело сворачивая на ложбину, откуда были видны река, город, и, затосковав, присел под старым рогатым дубом: уже одиннадцать часов, а Нади все нет.

— Да что же это такое? — с обидой проговорил он и в ту же минуту увидел, как от противоположного берега оторвалась голубая лодочка и быстро пошла к парку, а в лодочке что-то пестрое, яркое…

Лодочка быстро приближалась. И вот уже Надю видно всю. Да, это она в пестром розовом платье. Протянув руку Грише, она легко выпрыгнула

на берег.

— Запоздала я немного, Гриша, — виновато проговорила она, вся вспыхнув румянцем. — И смешно запоздала… Тебе нравится мое платье?

— Да. Очень. Ты в нем… ты в нем, как цветочек… такой полевой.

— Ну, вот, — и Надя так звонко рассмеялась, что рассмеялся, еще ничего не понимая, и Гриша. А Надя продолжала: — Так вот платье и виновник всему: мне обещали его в мастерской выдать в восемь утра, а выдали только в десять, — и стесняясь: — а мне хотелось, чтобы ты первый увидел меня в таком платье. И вот видишь?

Он благодарно посмотрел ей в глаза:

— Спасибо тебе, Надя, и прости меня, — и он рассказал ей все, все, что творилось с ним вчера, позавчера, третьего дня и там, на фронте. Он вообще не любил рассказывать про свои фронтовые дела. Но о последнем случае, когда у него сгорел самолет, он не мог умолчать перед Надей… — Я, Надюша, этого не ждал. Мы уже летели обратно, блестяще разгромив немецкий аэродром, как вдруг со стороны на нас ринулись фашистские истребители. Мы замкнулись в круг, знаешь, так, хвост в хвост, и стали удаляться, а истребители раскинулись около нас, как волки около кост-

ров. Мы уходили. А фашисты все крутились и крутились, боясь попасть в линию нашего огня: они ведь смелы, когда перед ними одиночка. Но вот откуда-то вынырнул, как прозвали мы его, «бешеный». Мы уже знали его: он не раз нападал на нас и почти всякий раз вырывал машину. И тут он откуда-то вынырнул, черный, юркий, выделывая головокружительные трюки. Да-а. Это был он — матерый пес. Бешеный! Увидев его вправо от себя, я отвернул свой самолет... И помню только одно: мой самолет весь дрогнул и пошел вниз, не слушая меня. Я вцепился в борт кабины и выкинул себя, видя, как чуть пораньше меня выбросился и мой друг — стрелок-радист. Парашют мой почему-то долго не раскрывался, а когда раскрылся, я увидел, что земля слишком близка... и смерть неминуема. И тут, тут у меня блеснула мысль: «Я не хочу так умирать» — и другое: «Надюша, пусть твоя любовь спасет меня», — Гриша смолк и снова посмотрел на Надю, в ее большие карие глаза.

— А тот... ушел? — с тревогой и досадой чуть погодя спросила Надя.

— Нет. Оказывается, я его сбил, но он успел поджечь и наш самолет. Это выяснилось потом, когда часа через два меня потребовали к полков-

нику. Когда я вошел к полковнику, то я увидел: в стороне от него стоял седоватый, весь увешанный крестами немецкий летчик. Полковник обратился ко мне и сказал: «Вас захотел посмотреть вот этот, кого вы сбили сегодня… Бешеный», — и тут же сказал что-то летчику на немецком языке. Тот вцепился в меня глазами и вдруг как-то весь повял. Оказывается, он был под Сталинградом, Ростовом, на Днепре, а сбил я его уже в Силезии. Видимо, он ждал, что перед ним станет тоже седоватый, умудренный летным опытом летчик. А тут перед ним стоял я. Он, опустив руки, проговорил: «Юн» — и заскрипел зубами. А я про себя сказал: «Мы с Надей такие».

Гриша долго молчал. Молчала и Надя. Затем она повернулась к нему и тихо произнесла:

— Ты был прав… тогда… когда падал?

— Да.

— Да? — и Надя посмотрела на него такими теплыми глазами, что ему захотелось вот сейчас же крепко, со всей силой обнять ее, но он только погладил ее руку. А она вскочила и, смеясь, браня себя, стала его тормошить:

— Гриша!.. Гриша!.. Я и забыла. Ко мне звонили и просили передать: ведь тебе надо быть в три часа на аэродроме…

День улыбался юными лицами. Да, да. Если посмотреть вверх, то там только солнце яркое, чистое на синем, голубом, без пятнышка, небе, а тут всюду улыбающиеся лица юношей, девушек… И гул, гул, тридцатитысячеголосый гул.

Вот они на заборах, на деревьях, на площадке, разряженные во все самое лучшее и с самыми лучшими человеческими чувствами, пришли сюда, чтобы проводить Гришу Кудряшова.

Никто этого не ждал: ни Федор Григорьевич, ни Иван Иванович. Иван Иванович было решил, ну, выделить от каждого цеха пять-шесть человек.

— Ведь выходной! Пусть ребята отдохнут, — говорил он.

Но вот они все пришли сюда, на аэродром, за час до вылета Гриши Кудряшова. Пришли. Все, весь завод.

— Нет. Мы их еще не знаем. От них можно было ждать всего, а вот этого, вот этого я никак не ожидал, — взволнованно проговорил Иван Иванович, — чтобы все пришли! Нет, я этого не ожидал. Да ведь они… они все готовы ринуться за Гришей, туда, на фронт.

Они стояли в центре аэродрома, в группе представителей от цехов. Здесь были и Надя, и Петя Крашенников, и Ванюшка Куклин. Гриша уже не

раз прощался с ними, тряс руку каждому, обнимал и целовал и, конечно, крепче всех он целовал Надю — впервые. И, может быть, именно поэтому, обойдя всех, начинал снова, чтобы снова, еще раз поцеловать Надю. Теперь он и его друг-радист уже сидели в самолете, внешне оба одинаковые — в шлемах, очках, закинутых на шлем.

Когда Гриша сел в кабину и протянул руки, чтобы пустить мотор, все разом смолкло: и гул, и щебет, и звонкий смех. Наступила такая тишина, что слышно было, как где-то пел скворец. И вдруг раздались такие оглушительные аплодисменты, что когда Надя подбежала к самолету, намереваясь сказать Грише прощальное слово — свое наедине — и сказала это слово, то Гриша ничего не понял, и она просто замахала руками, затем выхватила из кармана мел и написала на борту самолета: «Возвращайтесь скорее с победой». Гриша заглянул, еле разобрал, а когда разобрал, прокричал:

— Это ты кому, Надя?

— Всем и тебе, — прокричала она в ответ.

В ночь на второе мая Гриша «отпустил» последние бомбы на Берлин. Берлин пылал. Пожары его виднелись с самолета за сто-двести километров, и было трудно понять, где наши, где враг. Но

задание надо было выполнить, и Гриша вместе с другими летчиками вел свой самолет на Берлин… И вдруг в воздухе послышалась команда:

— На прожектора! Прожектора укажут!

И вот вспыхнули прожектора. Они прорезали зарево, впиваясь в темное небо, и ложились туда, где был враг. Сюда и «отпустил» Гриша последние бомбы. Второго мая Берлин пал.

…Как всегда, и в этот день Ванюшка Куклин быстро включил мощный репродуктор, отбежал к двигающемуся по конвейеру самолету. Пал Берлин… и руки молодых рабочих заработали еще быстрее. Только Надя крикнула:

— Ванюшка, а ведь этот салют наш: на полторы минуты мы обогнали вас!

Одиннадцатого мая Гриша на открытой машине въезжал в Берлин. Впереди рядом с шофером сидел его командир.

Дом за домом, квартал за кварталом шла машина мимо сплошных развалин. Мелькали груды разбитого, обожженного кирпича, изуродованные железные балки.

. . .

Машина проезжала мимо сумрачного здания. Это была имперская канцелярия.

— Я бывал здесь, на этой улице, несколько

лет назад. Да… теперь и не узнаешь. Но что это, дружок, у тебя такие глаза грустные… нет, не грустные, а какие-то далекие? — спросил генерал Кудряшова.

Гриша сначала потупил взор, затем выпрямился и, отдавая честь, проговорил:

— Я хотел бы вас просить, товарищ генерал-лейтенант… мне так хочется слетать домой.

— Да-а, — генерал-лейтенант еще раз посмотрел на Гришу и, понимая его, вспоминая свои молодые годы, проговорил:

— Чувствую. Ну, что ж, слетай на недельку. Ты имеешь на это полное право.

На следующий день к вечеру Гриша был уже дома.

А еще через час он постучал в дверь комнатки Нади.

Дверь открылась, и Гриша увидел стол, накрытый чистой скатертью, на столе свежие цветы и вазу с конфетами, покрытую салфеткой. Навстречу ему шла Надя в том самом платье, в котором она тогда пришла в старый заброшенный парк. У окна сидела ее мать. По всему было видно, что они кого-то ждали.

«Вот, не в ту минуту я к вам зашел», — горестно подумал было Гриша, но Надя положила ему руки

на плечи и, глядя в его глаза, прошептала:

— Мы тебя ждали. Уже пятый день. И здравствуй! Здравствуй, мой победитель!

Выходные данные

СЛОВО О СОЛДАТЕ
Сборник

Составители — Юрий Александрович Виноградов, Юрий Иванович Стаднюк
Рецензент Борзунов С. М.

Заведующий редакцией И. Д. Носков
Редактор Н. Г. Стасенко
Художественный редактор Н. Д. Михайлин
Технический редактор А. А. Ворон
Корректор И. Н. Киргизова

ИБ № 1865.
Сдано в набор 28.11.84. Подписано в печать 22.04.85.
Г-84907. Формат 84 х 108 1/32. Бумага книжно-журнальная.
Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая.
Усл. п. л. 20,16. Усл. кр. — отт. 20, 16. Уч. — изд. л. 21,34.
Тираж 100 000.
Заказ 4-1007. Изд. № 1/е-194. Цена 1 р. 70 к.

Ордена «Знак Почета» издательство ДОСААФ СССР.
129110, Москва, Олимпийский просп., 22.
Книжная фабрика имени М. В. Фрунзе,
310057, Харьков-57, ул. Донец-Захаржевского, 6/8.